

М
О
С
К
В
А

Москва

1
966

1966 1

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Владимир Попов.** РАЗОРВАННЫЙ КРУГ. Роман 6
Вл. Лидин. ЯСЕНЬ.— АЛЛЕИ СТАРОГО ПАРКА. Рассказы 82
Александр Яшин. ПОДРУЖЕНЬКА. Рассказ 114
Петрос Антеос. ДВА ПИСЬМА. Рассказ 128

СТИХИ

- Семен Кирсанов.** НАБЕРЕЖНАЯ. (Из «Московской тетради») 4
Лев Озеров. ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 80
Сергей Островой. ЛЮДИ.— РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.— ВЫСОЧЕСТВО.— МОЙ ЛЕС 111
Николай Котенко. В НАЧАЛЕ.— ХОР НАЧИНАЮЩИХ СОХАТЫХ 125
Сергей Поликарпов. НОВЫЕ СТИХИ 147

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

- Вл. Ишимов.** 80 МИЛЛИОНОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ. Репортаж-интервью 149

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

- Мих. Сонкин.** ПОЕЗД С ЦВЕТОЧНОЙ 159

Трибуна Читателя

- М. Скаткин.** «ИЗБИТОК СОДЕРЖАНИЯ УМА» ИЛИ ГАРМОНИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ? (По поводу статьи Владимира Тендрякова «Ваш сын и наследство Коменского») 178

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

- М. Алпатов.** ПРЕКРАСНОЕ ДА ЖИВЕТ ВЕЧНО! 186

ИСКУССТВО

- А. Абрамова.** НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ. (К Галерее «Москвы») 192



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь Мотяшов. ПУТЬ К РОДНИКАМ. Заметки о прозе 1965 года	195
Е. Книпович. МУДРОСТЬ ТАЛАНТА . . .	206
ГОД РОЖДЕНИЯ — 1965. Евг. Леваковская. КАК ПРОЛАГАЮТ ТРОПЫ.— Л. Аннинский. СИЛА ДУХА.— Ю. Томашевский. ТЕОРИЯ АЛЕШИ АНОСОВА.— В. Софронова. ВСЕРЬЕЗ И О ГЛАВНОМ	212
ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ? Сергей Баруздин. Не ПЕРВАЯ КНИГА.— В. Шапошникова. МАРШРУТОМ РАЗДУМИЙ.— А. Кулемина. ОТ СКАЗКИ К БЫЛИ	218



ЮМОР-66

НА КОМИЧЕСКУЮ ОРБИТУ! Игорь Чехов. НА ТРЕТЬЕЙ СКОРОСТИ. (Случай из практики).— А. Житницкий. ПИШЕТСЯ... (Литературная пародия).— Б. Шафер. МАСТИТЬЕ О НАЧИНАЮЩИХ.— Н. Станиловский. ПОГОВОРКИ И ОГОВОРКИ.— А. Фюрстенберг. ОСТРОЕ СЛОВО.— Лев Зайцев. МЕЖДУ ПРОЧИМ.— Л. Чернышев. МЫСЛИ ВСЛУХ.— УСТАМИ МЛАДЕНЦА.— ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА. Переводы Е. Бараса, М. Ефимова, Ю. Шашлова	220
---	-----



ГАЛЕРЕЯ „МОСКВЫ“

НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-31-65

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (*главный редактор*),
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,
Ю. В. МАЛАШЕВ (*заместитель главного редактора*),
Л. В. НИКУЛИН,
С. А. САВЕЛЬЕВ (*ответственный секретарь*),
Ю. С. СЕМЕНОВ, С. В. СМИРНОВ,
А. А. ЦЫГУЛЕВ (*заместитель главного редактора*),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор Н. И. БОБКОВА





Рисунок О. Вуполова

СЕМЕН КИРСАНОВ

НАБЕРЕЖНАЯ

(Из „Московской тетради“)

Я — набережных
друг.
Я начал жизнь и детство
там,
где витает Дюк
над лестницей Одесской.
А позже
я узнал
в венецианских арках,
как плещется
канал
у свай святого Марка.
У Темзы
я смотрел
на утренний и мутный
парламент
в сотнях стрел,
в туманном перламутре.
В душе
всегда жива
у лап гранитных
сфинкса —
суровая Нева,
где я
с бедою свыкся...
Но если
хочешь ты
в потоке дел столичных
отвлечься
от тщеты
своих терзаний личных —
иди
к Москве-реке
дворами, среди зданий,
и встань
невдалеке,
между двумя мостами.
Волна —
недалеко
блестит старинной гривной,
ты отделен
рекой

от набережной дивной.
Кремлевская стена
заглавной
вьется лентой,
где мнутся письма
руки
восьмисотлетней.
На зубчатом краю
витки
и арабески...
И вдруг я узнаю
гравюру
давней резки,
с раскраскою ручной,
с гербом
над куполами,
с кольчугою речной,
с ладьей
на первом плане.
А выше —
при крестах
в небесной иордани —
воздвиглась
красота
всех сказок, всех преданий.
Неясно —
кто стоит
(так сумеречны лики) —
без посоха
старик
или Иван Великий?
А в чудные врата,
как в старину
бывало, —
не входит ли чета
при мамках,
при боярах?
И — чудо всех церквей
под золотом
убора —
две радуги бровей

Успенского
 собора..
О нет,—
 я не ханжа,
живущий в мире ложном!
Но красота
 свежа
божественно, безбожно!
И в вышину
 воздев
персты Преображенья,
диктует
 новизне
урок воображенья.
Что слава?
 Без следа
мелькнула и погасла..
А красота
 всегда
для всех людей — богатство!
В малиновый покой
вечерний час
 оделся.

При старине такой,
как
 новизна
 чудесна!
Она приходит в свет
Москвой
 многооконной —
богатства давних лет
наследницей
 законной.
Смелее —
 новизна,
эпохе по плечу ты!
На воздух
 нанизай
хрустальные причуды.
Давно
 орлы в когтях
не держат судьбы наши,
и звездами
 Октябрь
возглавил главы башен.





Рисунок Г. Новожилова

РАЗОРВАННЫЙ КРУГ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Телеграмма Брянцеву не понравилась. И не категоричностью своей. Было непонятно, из-за чего вдруг загорелся сыр-бор. А то, что загорелся,— не вызывало никаких сомнений.

Подвинув к себе бланк, Брянцев поковырял ногтем наклеенную полоску бумаги с текстом, будто отыскивая спрятанные за ней слова. Снова прочитал телеграмму, на этот раз вслух: «Вылетайте первым самолетом. Самойлов».

Усмехнулся, дернул плечом и щелчком ударил бумажку. Она скользнула по отполированной поверхности стола.

— Что за манера загадывать людям загадки,— зло произнес он.— Никуда сегодня не поеду. Выплюсь... Завтра!

Вечернее солнце вдруг вырвалось из-за туч и залепило стену кабинета яркими оранжевыми квадратами. Они засветились так, словно за окнами пылал огромный костер. Вспыхнули плавающие в воздухе мельчайшие пылинки, за клубился невидимый до сих пор табачный дым. И Брянцеву показалось, что в кабинете жарко, душно.

Включил настольный вентилятор, но это не принесло облегчения. Подошел к окну, распахнул его. Квадраты на стене слились в большой сплошной прямоугольник. Привычный заводской шум заполнил комнату.

Отсюда было видно, как из главного корпуса выныривали шины, влекомые транспортером. Они медленно плыли в воздухе над заводским шоссе и скрывались в проеме стены склада готовой продукции. Шины были разные: от небольших — для малолитражных автомобилей, до гигантских — для сельскохозяйственных машин. И достаточно было взглянуть на их движение, не прекращающееся ни днем, ни ночью, чтобы судить о ритме работы участков завода.

Брянцев любил побыть в эти вечерние часы один в кабинете, подумать.

Временами он бросал взгляд на конвейер, и тогда ему казалось, будто притрагивается он к пульсу живого организма. Прожитый день лежал перед ним распластанный, как на листе бумаги. Глядя на этот незримый чертеж, Брянцев делал заметки в блокноте, и постепенно день завтрашний вставал перед ним с такой же ясностью, как и прожитый. Но не всегда удавалось добиться предельной ясности. Иногда что-то заедало, что-то выглядело расплывчато и туманно, как на недопроявленном негативе. Это раздражало.

Сегодняшний вечер мог быть спокойным. Цехи работали ровно, ничто не предвещало перебоев в ритме. Хороший день, хорошие перспективы на следующий. Вот только телеграмма...

Это был первый вызов в Комитет партийно-государственного контроля, и Брянцев не понимал его причины. Дела на заводе шли как нельзя лучше, можно было ожидать только поощрения. Но для поощрения вызывают не так и не туда. Может быть, дознались о Еленке?

При этой мысли у него заняло сердце, но не тревожно, а как-то радостно, точь-в-точь как ныло в семнадцать лет, когда полюбил впервые. Он даже улыбнулся этому сходству ощущений, улыбнулся с издевкой над собой: тоже-де школьник под сорок лет!

Посмотрел на часы. Половина седьмого. Если вызвать машину, заехать домой, бросить в чемодан пару чистых рубашек, носки, бритвенный прибор, можно успеть на девятичасовой. С востока лететь хорошо: в девять по-местному вылетел, в девять по-московскому прилетел. Такси — и через полчаса увидит Еленку.

Сердце у Брянцева застучало сильнее. Он протянул было руку к телефону, но тут же опустил ее. Нет, у Еленки он появится, когда решится вопрос с вызовом. Он не сумеет скрыть от нее свое беспокойство. Слишком редко они видятся, чтобы омрачать встречи.

Резкий звонок междугородней ударил в уши. Поколебался немного — поднимать трубку или нет. Поднял.

Вызывала Москва, референт Самойлова.

— Вы еще у себя, товарищ Брянцев? А мы вас ждем. Поторопитесь, пожалуйста.

— По какому вопросу? Какие брать с собой материалы?

— Вопрос не для телефона, — сухо ответил референт. — А что касается материалов — положитесь больше на свою память.

Брянцев бросил трубку, позвонил диспетчеру: «Пожалуйста, машину мне». Набрал номер квартиры.

— Тася, уложи чемоданчик, сейчас уезжаю.

— Ну, разве можно так... за десять минут?

— Что делать? — извиняющимся тоном сказал Брянцев. — Сам только что узнал.

Через несколько минут «Волга» со скрипом затормозила у подъезда его дома. Брянцев взбежал по лестнице, перемахивая через две ступеньки.

С тоской посмотрел на накрытый стол, откусил половину соленого огурца и направился в ванную. Все-таки грязновато шинное производство. Как ты ни старайся, а на лице, на шее всегда легкий налет сажи.

Удивительным сходством наделяет порой людей природа. Супруги Брянцевы были похожи друг на друга, как брат и сестра. Некоторые даже злословили: похожи, как два брата. И в этом была доля истины. Оба высокие, крепко сколоченные, у обоих большие лбы, широко расставленные глаза, упрямые подбородки. И разлет бровей одинаковый — щед-

рый, смелый. Но если внешний облик Алексея Алексеевича соответствовал его характеру, то грубоватая внешность Таисии Устиновны обманывала. Человеком она была чутким, поддельчивым, на редкость добрым. Принять, накормить, обласкать умела как никто. И что бы она ни подавала на стол, все было отменно вкусным, вкусным еще и потому, что угощала она от души. Оттого и повелось: и на Новый год, и в праздники всегда собирались у Брянцевых. Так было, когда Алексей Алексеевич работал мастером, потом начальником цеха. Не изменилось и после того, как назначили его директором завода. Тяготы гостеприимства Таисия Устиновна несла безропотно, даже с радостью, почему и приобрела не только славу первоклассной хозяйки, но и любовь всех, с кем сталкивала ее судьба.

Любили ее и за то, что была она отзывчива к чужой беде и умела свято хранить чужие секреты. За глаза звали не Брянчихой, не директоршей — звали сестрой. Может потому, что на фронте она была медсестрой, а может, вкладывали в это слово иной смысл: для всех словно сестра родная.

Жили Брянцевы тихо, мирно, считались безупречной парой. И если нужно было кому привести в пример образцовых супругов, неизменно вспоминали их.

Надев серый костюм, названный Таисией Устиновной «столичным» за особо элегантный вид, который приобретал в нем муж, Брянцев поднял виноватые глаза.

— Обедать не буду, Тася,— и положил на стол телеграмму.

Раньше он этого не делал, но теперь, когда каждая поездка в Москву предвещала встречу с Еленой, на всякий случай обосновывал свой отъезд каким-либо убедительным поводом.

— Довертись ты до язвы,— вздохнула Таисия Устиновна, давно смирившаяся с тем, что муж либо не обедал вовсе, либо ел наспех.

Она привыкла к внезапным отъездам мужа и научилась собирать его чемодан за несколько минут. Сегодня еще куда ни шло — предупредил по телефону,— а сколько раз бывало так, что и позвонить не успеет. Влетит взмыленный в комнату, не поест, не умоется, бросит в чемодан что попало под руку — и на аэродром.

Таисия Устиновна подошла к окну, проводила взглядом «Волгу» и стала убирать посуду. От этого занятия оторвал ее телефонный звонок.

— Будете говорить с Москвой! — скороговоркой выпалила телефонистка, и в трубке послышался мягкий женский голос:

— Можно Алексея Алексеевича?

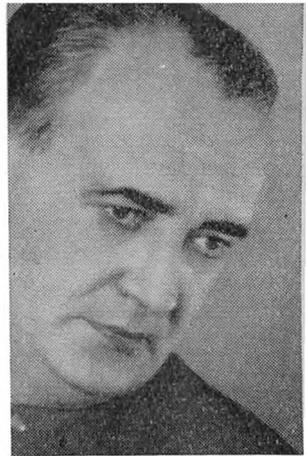
— Нет его. Он только что уехал.

— На аэродром?

— Да.

— Простите...

Таисия Устиновна не успела даже спросить, кто звонит, чего всегда требовал от нее муж. Многих она узнавала по голосу, но этот голос был ей незнаком.



Владимир Федорович Попов связал свою жизнь с Донбассом. За двадцать лет работы на металлургических заводах он прошел все ступеньки производственной лестницы — от разнорабочего до начальника сталеплавильного цеха. Первый роман В. Попова «Сталь и шлак» — о подвиге рабочего класса в годы Великой Отечественной войны принес автору известность. И в следующих своих книгах: «Закипела сталь», «Испытание огнем», «Продолжение подвига», «Люди, которых я люблю» писатель остается верен своей теме — воспеваю людям смелого поиска и беспокойной творческой мысли.

Новый роман «Разорванный круг» написан при участии Елены Поповой-Ленской, в соавторстве с которой был создан художественный фильм о металлургах «Горячая душа».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пассажиров сорок третьего рейса уже усадили в автобус, когда из всех микрофонов аэропорта прозвучало:

— Гражданин Брянцев Алексей Алексеевич приглашается в почтовое отделение для разговора с Москвой.

Брянцев рванулся со своего места, но его остановила бортпроводница.

— Ждать не будем, товарищ пассажир. И так задержались с вылетом.

Брянцев остался. Ощущение тревоги возросло. Для чего вызывали? Может быть, потребовалось представить какие-то документы? Нет ничего хуже, когда не знаешь причины вызова. Вместо одной папки берешь с собой десять...

Когда было министерство, так любил действовать Хлебников. Вызовет, не говоря зачем, и гоняет без передышки до седьмого пота, заставляя отвечать на самые неожиданные вопросы. Тяжело было с ним работать. Он считал себя непогрешимым авторитетом в области шинного производства и проводил единую техническую политику по-своему: неукоснительно осуществлял свои идеи и всячески тормозил другие, которые не разделял, а иногда просто не понимал. Стаж у него был большой, в свое время он успешно руководил несколькими заводами, и с его мнением очень считались. Попробуй повоюй с таким человеком, если у него самоуверенность помножена на власть!

Теперь Хлебников не начальник главка, он руководит институтом резины и каучука — НИИРИКом.

Уже в самолете, когда взрвели моторы, Брянцеву вдруг пришла в голову мысль: может, его вызывали к телефону, потому что отпала необходимость вылета?

«Черт с ними, пусть раньше думают. Не нужен — тем лучше, по крайней мере увижусь с Еленкой». При этой мысли он ощутил привычное волнение, и два часа, которые предстояло провести в пути, показались ему невероятно долгими.

Каждая встреча с Еленкой наполняла его душу каким-то благоговейным восторгом, который хотелось сохранить подольше. Все люди казались ему прекрасными, каждого хотелось согреть теплым словом, развеять. Не раз после этих встреч возвращался он домой то с одним, то с другим совершенно незнакомым человеком, попутчиком по самолету, которому не удалось устроиться в гостинице. Возможно, впрочем, им руководило и неосознанное желание хотя бы еще час-другой не оставаться с глазу на глаз с женой, как-то облегчить встречу с ней. Присутствие постороннего помогало спуститься с облаков на землю, не особенно ушибившись, как помогает приземлиться парашютисту шелковый купол парашюта.

Брянцев посмотрел в окошко самолета. И, как всегда, обманчиво ровная, спящая белая поверхность облаков вызвала у него представление об Арктике. «Даже не верится, что эта поверхность не ровна, как стол, — подумал Брянцев, не отрывая глаз от облаков, и тут же возразил себе: — Многое издали кажется ровным. Вот и наша жизнь с Тасей... Всем она представляется хорошо укатанной дорогой, а попробовал бы кто-нибудь сесть в мою телегу — сколько ухабов, сколько толчков ощутил бы он!»

Брянцев увидел вдруг длинную дорогу и, взглядевшись в фигуры идущих по ней людей, узнал себя и Тасю. Улыбнулся, поняв, что его одолевает сон, и поудобнее устроился в сиденье.

Проснулся от легкого толчка. Самолет приземлялся. Он спал так

крепко, что даже не почувствовал, как бортпроводница застегнула на нем предохранительный пояс.

Едва Брянцев приблизился к барьеру, за которым толпились встречающие, как сразу увидел Елену.

Она никогда не встречала и не провожала его. На вокзале, в аэропорту всегда могли оказаться люди, знающие Брянцева, значит, пришлось бы держаться в рамках строгой официальности. А это не по ним. Смешно и тягостно было бы притворяться — церемонно обмениваться рукопожатиями, перебраться ничего не значащими фразами.

Сегодня Елена нарушила этот запрет.

— Ты как узнала? — спросил Брянцев, нежно беря ее под руку.

— Позвонила домой, мне сказали, что ты выехал на аэродром.

Это было еще одним нарушением установившихся правил, но Брянцев не стал упрекать Елену — ценил каждую лишнюю минуту общения с ней. Он только спросил:

— Соскучилась? Заждалась?

— Скучать и ждать я привыкла... Встревожилась очень. Даже в аэропорт звонила.

— Так это был твой вызов?

— Мой.

— Зачем? Тебе же сказали, что я лечу.

— Хотела предупредить, чтобы ты прежде всего заехал ко мне.

— Но я всегда так делаю.

— А на этот раз не собирался, — сказала Елена, и Брянцеву ничего не оставалось как согласиться.

— Верно, не собирался... Но что случилось?

— Хотела предупредить о причине вызова. Чтобы не застали врасплох...

— Дознались о нас с тобой?

Она невесело усмехнулась в ответ.

— Нет, мы слишком хорошо законспирированы... У тебя какие отношения с Хлебниковым?

— С Хлебниковым? Не особенно хорошие, не особенно плохие. А вообще мы противоположны друг другу. Но при чем здесь Хлебников?

— Вызов в Комитет партгосконтроля — его инициатива.

— Не пойму, что ему надо. — Брянцев остановился.

Мимо проходили пассажиры. Кто-то поздоровался с Брянцевым, он ответил, так и не узнав поприветствовавшего его человека. Но это случилось часто: его знали в лицо значительно больше людей, чем знал он.

— Пойдем, — сказала Елена. — У меня такси.

Сели на заднее сиденье. Елена положила руку на руку Брянцева.

— Слушай внимательно, Алеша. Исследовали ваши образцы. Полная катастрофа. Антистаритель не сохраняет, а разрушает шины...

— Не может быть!

— Но это так. Я сама заходила в лабораторию к Чалышевой. Подобного я еще не видела. Резина разрушается на глазах. Трещины, рванины! Хлебников поднял шум на всю Москву. Он ведь всегда был против этих экспериментов, считал ваши опыты бесперспективными, и вдруг такое бесспорное подтверждение его правоты!

Огромный портфель, набитый всякими материалами, показался Брянцеву до смешного ненужным. В нем было все кроме самого необходимого: данных заводских исследований резины с предложенным инженером и рабочими антистарителем.

Долго ехали молча. Сверкнуло в лучах фар отраженным светом слово «Москва» на границе города. Засветились в вышине звездочки башенных кранов, зачернели громады строящихся зданий, засияли зелеными, розовыми, оранжевыми абажурами окна обжитых домов.

Лена сжала пальцы Брянцева.

— Леша...

Он повернул к ней лицо, поцеловал в лоб, как-то необычно поцеловал. Трогательно и признательно.

— Спасибо за предупреждение.

— Надумал что-нибудь?

— Нет, тут сразу не надумаешь. Когда тебе выворачивают мозги и одновременно кладут на лопатки...

— Куда вас, граждане? — спросил шофер.

— Сивцев Вражек, — сказала Елена.

— Улица Куйбышева, — поправил Брянцев. — Комитет партгосконтроля.

— Может, повременишь? Посидишь у меня, подумаем.

— Нет. Меня там ждут.

— Ты только не вздумай после остаться один. Вдвоем будем хандрить, — сказала Елена.

— Не люблю, когда меня утешают.

— А я и не буду утешать. Просто будем вместе.

— Не обещаю. Посмотрю.

— Я настаиваю, — твердо сказала Елена. — Я всегда знаю, что тебе лучше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Брянцев думал, что его примут сразу, но референт, даже не доложив о его приезде Самойлову, позвонил в институт Хлебникову:

— Олег Митрофанович, выезжайте!

Тот не заставил себя долго ждать и, не успев Брянцев просмотреть вечерний выпуск «Известий», появился в приемной в сопровождении незнакомой Брянцеву женщины неопределенного возраста. Казалось, она нарочно старается придать своему лицу самое неприглядное выражение: щурит и без того маленькие глазки, поджимает тонкие губы. Прямая, как жердь, она и на стул села, не прислонившись к спинке.

Хлебников несколько не изменился за те пять лет, что не видел его Брянцев. Сохранил и спортивную внешность, и плавность движений, и начальственную осанку.

— Первый самолет после получения вами телеграммы пришел два часа назад, — сказал он Брянцеву.

Брянцев ничего не ответил. Он понимал, что задираться не следует, но выдержки хватило лишь на то, чтобы не ответить резкостью.

Напряженную паузу нарушил референт:

— Заходите, пожалуйста.

С виду Самойлову было чуть больше тридцати. Высокий, худощавый, мягкие черты лица, доброжелательная улыбка. Что-то было в нем от комсомольского работника, которого посадили в кабинет и заставили заниматься чуждым, казалось, его натуре делом. Слишком уж не соответствовала его располагающая мягкость этой должности, на которой, как полагал Брянцев, нужно быть сухо деловым, суровым и даже жестким.

Самойлов пожал Брянцеву руку коротко, но крепко и указал на кресло у стола жестом гостеприимного хозяина. Другое кресло заполнил своим могучим телом Хлебников. Женщина уселась в сторонке у стены, но Самойлов запротестовал:

— Нет, нет, пожалуйста, к столу, товарищ Чалышева.

Брянцев с интересом взглянул на нее. Он никогда не сталкивался с Чалышевой, но много слышал о ней. В НИИРИКе она была единственным научным работником по антистарителям.

Самойлов не торопился начать разговор — то ли давал возможность Брянцеву освоиться с обстановкой, то ли раздумывал, с чего начать.

— Может быть, разрешите мне? — не выдержал рвавшийся в бой Хлебников.

— Нет, зачем же, — мягко возразил Самойлов и обратился к Чальшевой: — Покажите, будьте добры, Алексею Алексеевичу результаты испытания образцов резины его завода.

Чальшева достала из папки пачку фотографий, протянула Брянцеву. Тот взглянул на первую фотографию, на вторую, третью. Просмотрел их, как игрок, тщетно ищущий в своих картах хотя бы один козырь, и у него задрожали пальцы. Жесткая бумага фотографий, словно стрелка чувствительного прибора, усилила дрожь, сделала ее видимой всем.

Картина была страшной, страшнее той, которую нарисовала ему Елена. Трещина на трещине. Некоторые образцы распались на две, на три части. Брянцев снова пересмотрел фотографии одну за другой, теперь уже медленно, чтобы собраться с мыслями.

— Разрешите? — снова рванулся было Хлебников.

Но Самойлов остановил его жестом. Нет, не резким. Не категорическим. Просто оторвал от стола кисть руки, поднял.

Как ни был обескуражен Брянцев, он отметил про себя этот жест. Без пережимов человек. Даже в телеграмме не было ничего резкого, просто — «Вылетайте первым самолетом». Так поступают люди, которые верят в силу самых обычных слов.

— Я не понимаю вот чего, — овладев собой, спокойно произнес Брянцев. — Данные исследований нашего института совершенно противоположны вашим...

— Какого института? — оборвал его Хлебников. — Собрали рабочих, нарекли исследователями, наименовали институтом. Спекулируете высокими понятиями... — Он замолк, остановленный взглядом Самойлова.

— ...И кроме того, наши опытные шины показали хорошую ходимость в условиях дорог не только класса «А», но даже класса «Б», — продолжал Брянцев, когда Самойлов снова взглянул на него. — А это убедительнее, чем лабораторные испытания.

— Знаем мы эти исследования! — уже спокойнее проговорил Хлебников. — Надоест шоферу гонять по пятьсот километров в день, он сделает двести, а счетчик подкрутит. И вот вам результат!

— Это что, метод шоферов вашего института? — спросил Самойлов.

— Да нет, я еще по заводу знаю, — ответил Хлебников.

И снова Брянцеву стало легче на душе. Он сидел перед человеком, который относится ко всем объективно, не торопится стать на чью-либо сторону.

— Вы долго вели исследования, Алексей Алексеевич? — спросил Самойлов.

— Три года. До тех пор, пока сами не убедились в том, что резина с нашим антистарителем служит лучше, чем любая другая.

— Значит, вы убеждены в своей правоте?

— Убежден, — после некоторой паузы ответил Брянцев.

— Металла в голосе не чувствую, — вскользь заметил Хлебников.

— Признаюсь, эти результаты меня озадачили, — сказал Брянцев, кивнув на фотографии. — Но ведь есть же еще и здравый смысл...

— Он явно не в ладах с наукой, — бесстрастно проговорила молчавшая до сих пор Чальшева.

Брянцев повернулся к ней.

— Знаете, в чем вы не правы? Наука давно перестала быть монополией научных институтов. Она обосновалась и на заводах, а в последнее время и в таких общественных институтах, как наш.

— Сколько шин вы выпустили с вашим снадобьем? — спросил Хлебников.

— Шин? Вы хотите спросить, сколько тысяч шин? Более двадцати тысяч,— ответил Брянцев.

— Хороший подарок после Пленума ЦК по химии! И сейчас выпускаете?

— Да, выпускаем.

— В нарушение ГОСТа?

— А почему бы и нет? Нарушать ГОСТ нельзя, снижая качество продукции. Но кто будет возражать против повышения? Наши исследования...

Чалышева слабо улыбнулась. Улыбка не сделала ее ни привлекательнее, ни мягче.

— Исследованиям можно верить,— размеренно поучающим тоном начала она,— если люди овладели методикой, современной, совершенной, строго научной. Иначе исследования могут завести в такие дебри... в такие, в какие как раз попали вы. И это особенно справедливо в области тонкой химической технологии, к которой принадлежит шинная промышленность. Поймите: нельзя безнаказанно совать в такое сложнейшее физико-химическое соединение, как резина, качество которой иной раз зависит от ничтожной доли того или иного ингредиента, вещества, мало исследованные наукой. Ну, а о ценности ваших исследований... я думаю, не стоит об этом говорить.

На этот раз Брянцев промолчал. Невольно закралась мысль о том, что, может быть, Чалышева в чем-то и права. В конце концов — кандидат технических наук, зубы проела на этом деле.

Задумался и Самойлов. Столкнулись мнения двух организаций — завода и института. Картина, которую развернули перед ним сотрудники института, была ужасающей. Если верить им, то двадцать тысяч шин пошло в брак, и этот брак продолжают выпускать и сегодня. Они сидят здесь, дискутируют, а с заводского конвейера сходят бракованные шины и отгружаются потребителям. Можно ли не верить институту — государственной организации, в которой занято более тысячи человек?

— Я понимаю, конечно, что Пленум Центрального Комитета по химии активизировал творческую деятельность людей,— воспользовался паузой Хлебников,— но нельзя использовать эту волну для своих авантюристических целей...

Самойлов снова жестом остановил его.

— Мы сделаем вот что,— сказал он.— Вы, Алексей Алексеевич, сейчас же, из моей приемной, вызовете завод и дадите команду вернуться к старой ГОСТовской технологии.

— Правильное решение! — обрадовался Хлебников.

— ...Вы, Олег Митрофанович, получите шины с завода и проверите их. На ускоренных дорожных испытаниях. Обуйте машину и пошлите по разным дорогам. Закончите испытания — встретимся.— Он вызвал секретаря.— Закажите товарищу Брянцеву разговор с заводом.

— Я считаю дорожные испытания совершенно излишней тратой государственных средств,— возразил Хлебников.— Лабораторные испытания в данном случае дали полную ясность...

— И все-таки проведите испытания!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Давно не ходил Брянцев по ночной Москве один. Каждую свободную минуту он старался быть с Еленой. Это стало для него не только привычкой, но и необходимостью. Сегодня же ему хотелось побыть одному. Шел медленно, наслаждаясь тишиной засыпающего города. Все реже проносились мимо него машины, шурша шинами по асфальту, унося с

собой красный огонек. Только около гостиницы «Москва» в тишину ночи врывается дробный стук отбойных молотков и скрежет железа: строили подземный переход.

Москва показалась ему какой-то темной. Право же, у них в Сибирске центр лучше освещен, чем эта улица. Вот пойти бы сейчас на реку, пройти по набережной. Это всегда впечатляет и отвлекает. Нет, нельзя так долго испытывать терпение Еленки. Но и к ней спешить не хотелось. Придется оправдывать свое поведение перед ней, а он не нашел еще оправдания для себя.

Единственный выход из создавшегося положения, который у него был, — вернуться к старой технологии, — вдруг показался чудовищно нелепым.

Почему он так поступил? Испугался? Нет, бояться ему нечего. Если двадцать тысяч шйн, выпущенных по его распоряжению действительно брак, он все равно уже не директор и ответственность придется нести полной мерой. К директорскому посту он не рвался и не очень держится за него. Не очень? Ну, как сказать!.. Этот пост дает много возможностей, много можно сделать полезного, если быть решительным. Он и был таким. Кто осмелился бы внедрять новую технологию так, как сделал он, в противовес всем авторитетам, научным и техническим? Смелый шаг? Смелый. Так куда же девалась смелость сегодня? Почему не сказал Самойлову: «Я своего приказа не отменю!» Ведь понимал, когда шел на этот шаг, что бои будут, а при первом же наступлении сложил оружие. Нет, пожалуй, не сложил. Просто отступил перед превосходящими силами противника.

Остановился закурить, осмотрелся. «Прага» — на месте, кинотеатр — на месте, вот старый, стиснутый домами Арбат, но площадь не та. Она словно влилась в новую, незнакомую ему широкую улицу, пробившуюся сквозь жилой массив к Москве-реке. А, это и есть новый Арбат! Вот он каков. Смело рубанули!

Пересек площадь, направляясь к Гоголевскому бульвару.

Нет, почему он все-таки отменил работу по новой технологии? Усомнился в ней? Пожалуй, да. Но очень немного. Испугался ответственности? Нет. Решил сманеврировать? Вот это больше похоже на правду. Значит, сделал тактический шаг? Да. Так показалось лучше. А сейчас уже не кажется? Лучше было бы упереться: ни шагу назад! Да-а, тут есть над чем подумать... Как он вернется на завод? Что скажет рабочим, которые три года безвозмездно вели исследования, чтобы найти антистаритель, и нашли его? Ведь не зря он стал и директором общественного научно-исследовательского института. Вся полнота власти у него. Кто из бюрократов пойдет против нового движения, если его возглавляет директор? С противниками внутренними справился, а перед внешними отступил. В общем — молодец против овец...

Было уже около часа ночи, когда Брянцев поднялся на третий этаж и сунул руку в карман, где у него лежали ключи от своего дома, от сейфа и от квартиры Елены. Но не успел достать их, как дверь открылась. Елена была в пальто — либо только что вернулась, либо собралась уходить.

— А я уж хотела идти тебе навстречу... Что, убили?

— Били...

Каждый раз, когда Брянцев входил в эту небольшую, просто и мило обставленную квартиру, у него возникало ощущение, будто после долгих странствий он наконец вернулся домой. Безмятежное спокойствие охватывало его здесь. Ему решительно ничего не хотелось изменить в этой квартире, исправить, сделать по-своему, — желание, которое не оставляло его в Сибирске. Не было здесь ни громоздкого, с гранеными зеленоватыми стеклами буфета — гордости Таисии Устиновны, ни этажерки с

дешевыми безделушками, ни оранжевого абажура с длинной бахромой.

С наслаждением сбросил с себя пальто, пиджак, снял галстук, растегнул ворот. Пошарил под диваном, вытащил комнатные туфли, прошелся, расправляя плечи. Потом поднял руки, расслабленно опустил их, как бы сбрасывая накопившуюся в них тяжесть, и весело взглянул на Елену.

— Ну, здравствуй, Ленок!

— Приземлился?

— Ага. Даже заметил, какая ты красивая сейчас.

— Подлизываешься?

Брянцев не лгал. Ей и на самом деле очень шло скромное темно-голубое платье. Сейчас она удивительно походила на ту Леночку, которую он впервые поцеловал на школьном вечере.

— А Валерка где? — спросил Брянцев, стараясь оттянуть предстоящий разговор.

— Где он может быть? Спит. Может быть, расскажешь все-таки, что произошло?

— А поесть?

— Пойдем на кухню. Будешь есть и рассказывать.

Он ел и рассказывал. Рассказывал подробно, слово в слово, будто читал стенографическую запись. Даже более подробно, потому что ни одна стенограмма не передает того, что думает человек во время разговора и как ведут себя остальные его участники.

Елена слушала, не прерывала. Когда он закончил свое пространное повествование, сказала жестко:

— Зря уступил. Поворачивать колесо обратно будет трудно. И чем больше времени пройдет, тем труднее. Ты знал, на что идешь. Надо было подготовить себя к схватке. Хлебников — опытный боец и человек большой пробойной силы.

Брянцев не удивился. Елена не отличалась всепрощением, которое свойственно многим любящим женщинам. Умела осудить его поступки, если находила в них что-либо противоречащее ее взглядам, ее правилам. Брянцев ценил в ней эту редкую черту. Принимая то или иное решение, нередко думал, что сказала бы в этом случае она, как поступила бы сама.

Он внимательно посмотрел на нее. Добрые, чуть пухлые, чуть вздернутые губы. Мягкая линия подбородка, светлые с грустинкой глаза, в которые легко смотрится. И столько ума во взгляде, столько пронительности!

— Сердишься? — спросила Елена.

— Что ты? Восхищаюсь и преклоняюсь... — ответил он растроганно.

Она встала, подошла, поцеловала его.

— А ты так и не поцеловал меня... Ну, жду. Я и тогда ждала. На школьном вечере. Целых два года потеряли из-за твоей нерешительности. Могли еще в девятом классе начать целоваться.

Он коснулся рукой ее волос, заглянул в глаза, поцеловал в нос.

— Холодный, как у котят. Мы не два года потеряли, Ленок. Начали бы в девятом, привыкли бы друг к другу — поженились бы... А так разнесла нас жизнь в разные стороны — и смирились: не судьба, мол.

— Не судьба... — повторила Елена.

— Да, есть все-таки что-то такое, выше чего не прыгнешь. Какое-то прокрустово ложе, на которое укладывает тебя жизнь.

— Особенно, если ты сам хочешь у лечь на него...

Брянцев пытливо взглянул на Елену, стараясь понять смысл, скрытый в этих словах. В их отношениях, очень простых, и в их положении, очень сложном, каждое, даже на первый взгляд случайно оброненное слово приобретало глубокое значение и могло быть истолковано по-раз-

ному. Чтобы не было недомолвок, они всегда старались докопаться до этого значения.

— Я не о нашей с тобой ситуации,— сказала она.— Я вообще... Во всяком случае, пусть тебя в такие дни эта тема не тревожит...

Брянцев опустил голову. «Такие дни» были всегда, когда он приезжал в Москву. Просто так он сюда не ездил. Вызывали либо на очередной разнос, либо на согласование планов, что всегда сопровождалось нервотрепкой. И каждый раз, когда он заговаривал с Еленой о том, как им быть, как им жить дальше, она говорила: «Потом, не в такие дни...»

Порой он даже думал, что Елену устраивает ее положение, что к другому она не стремится. Там, в Сибирске, ему иногда казалось, что у нее есть еще кто-то, кто скрашивает жизнь,— не может же она выносить одиночество месяцами, ждать от встречи до встречи. Ну, были бы эти встречи хоть как-то регламентированы. А то ведь что получается? То две поездки в Москву в течение месяца, то за полгода ни одной, то прилетит на один день — именно на день, даже не на сутки,— то задерживается на две недели. Когда Брянцев задумывался над этим, ему невольно вспоминался рассказ одного политкаторжанина о Петропавловской крепости. Его не били, не истязали, только в разное время и на разные сроки закрывали наглухо ставни. На пятнадцать минут, на три часа, на целый день, а то и на два дня. И эти неожиданные переходы от тьмы к свету, от света к тьме расшатывали нервы, доводили до сумасшествия.

Как выдерживает Елена такие переходы, всегда долгожданные, всегда неожиданные? Он — мужчина, и то ему очень трудно. Да и по роду своей работы он почти никогда не остается один — занят с людьми с утра до ночи. А она работает от звонка до звонка, вечера у нее свободные. Разве что сын скрашивает жизнь. Но может ли сын заменить любимого человека?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Распоряжение директора, переданное в самой категорической форме, потрясло Бушуева. Молодой главный инженер даже растерялся. Что и как скажет он людям? С начальником цеха разговор будет короткий: прикажет — и тот сделает. Тем более что Гапочка поисками антистариателя не занимался и вначале даже критически отнесся к этой затее. Несколько раз пришлось его урезонивать, прежде чем он стал помогать рабочим-исследователям, а вернее — перестал мешать им. Но как объяснить происшедшее рабочим, когда сам он не мог объяснить мотивы, побудившие Брянцева сдать позиции? Рабочие-исследователи завтра же валом повалят, от них не отобьешься. Они имели право входить к директору без доклада, независимо от того, кто у него находится,— такой порядок завел Брянцев. В экстренных случаях приходили даже во время совещания.

Однажды начальник управления совнархоза просидел почти час, ожидая, пока директор разбирается с резиномесильщиками, у которых что-то не ладилось. Когда рабочие ушли, он раздраженно сказал Брянцеву:

— Я бы тебе посоветовал эту... — он покрутил в воздухе пальцами, так и не найдя ядовитого слова,— эту систему поломать. Неудобно как-то получается. Я человек свой, перетерплю, но ведь руководители и повыше к тебе приезжают.

— Ничего, и они терпели,— осадил его Брянцев.— И, представь себе, возмущения не выказывали, с интересом слушали. Ведь они с рабочими только мимоходом сталкиваются. И почему так повелось, что рабочий должен ожидать, пока ты со мной разговор закончишь? Ты зарплату за это время получаешь, каждую минуту тебе копейка капает — и когда папиросу закуриваешь, и когда про похождения на последней рыбалке

рассказываешь, а он безвозмездно исследования ведет. Понимаешь: без-воз-мезд-но. Так уж изволь подожди его. И поучись, кстати.

Так и укоренился этот порядок на заводе.

«Завтра работать не дадут»,— с тревогой думал Бушуев, поглядывая на телефон. Не поднималась рука взять трубку. Но как может он изменить ход событий? Главным инженером его назначили недавно, да и противоборствовать он не вправе, тем более не зная точно, что произошло в Москве.

Набрал номер квартиры Гапочки. Нет дома — в цехе. Позвонил в цех — и там нет. Нашел в диспетчерской, передал распоряжение директора.

— Что-о-о? — грозно спросил Гапочка.

— То, что слышали.

— Я этого не слышал,— сказал Гапочка и повесил трубку.

Бушуев позвонил еще раз. Гудок, гудок, гудок. Никто не поднял трубку. «Вот стервец! Сам не берет и диспетчеру запретил».

Разъяренный Бушуев — а он, случилось, ярился по поводу и без повода — сказывалась фронтовая контузия — вылетел из кабинета и помчался в цех.

Он не собирался сегодня вечером заходить в подготовительное отделение. Поэтому и надел новый костюм, белую рубашку. Можно было накинуть халат, но он об этом забыл, так же как и о том, что в подготовительном отделении всегда плавают в воздухе сажа и, если ты еще вспотел, то выходишь оттуда как негр — только зубы блестят.

Походил по цеху — нет Гапочки. Спросил одного-другого, — говорят, домой ушел. Остановился около Салахетдинова, который как раз загружал резиносмеситель: задал натуральный каучук, за ним — искусственный, высыпал мешок сажи, потом взял с нижней полки несколько брикетов антистарителя и положил на стол, поближе к резиносмесителю.

Бушуев подскочил к рабочему.

— Ты получил указание отменить антистаритель?

— Угу...

— Какого же черта суешь его?

— А я не для того здесь поставлен, чтобы неправильные указания выполнять, — спокойно ответил Салахетдинов. И вдруг взвился: — Не хочу я выпускать резину худшего качества!

Тут уж Бушуев потерял самообладание.

— Вон из цеха! С завода вон! — закричал он.

Смуглое лицо Салахетдинова потемнело, но он сдержался. Уставился на главного узкими умными глазами.

— Сначала скажите, кому агрегат сдать, — невозмутимо произнес он и с усмешкой посмотрел на белоснежную рубашку Бушуева. — Может быть, вы за меня отработаете?

Главный инженер быстро остыл: заменить Салахетдинова было нечем. Вернулся в диспетчерскую, позвонил Гапочке на квартиру.

— Слушаю, — как ни в чем не бывало отозвался тот.

На этот раз выслушать ему пришлось гораздо больше, чем за все годы работы в цехе. Он выдержал до конца и потом сказал:

— Товарищ главный инженер, я не могу заставить рабочих делать то, что считаю неправильным. И что они считают неправильным. И не забывайте: Салахетдинов — не придаток к механизму, а рабочий высшей категории. Он три года отдал исследованиям. Его убедить надо. А в данном случае — переубедить. Я не берусь. И вы зря взялись.

Утром произошло то, чего боялся Бушуев. Сразу после гудка к нему в кабинет ввалились резиносмесильщики ночной смены. Даже сажу с лиц плохо отмыли — торопились.

Появился сборщик шин Дима Ивановский, крепкий, жилистый парень, всегда чем-то озабоченный, всегда сосредоточенный. Поисками антистарителя он не занимался, но был одним из инициаторов рождения рабочего института и вникал во все дела. Пришел Кристич, сухощавый, подвижной, с тонким нервным лицом,— главный закоперщик в резиносмесилке. Сегодня он выходной и выглядел так, будто его только что от лунки оттащили: в высоких сапогах, в затрапезной телогрейке, в ушанке. Был здесь и инженер Целин, один из авторов антистарителя. Бледный, словно из него всю кровь выпустили, он сидел молча и недоуменно пожимал плечами.

Бушуев понял, что слух об отмене антистарителя разнесся с молниеносной быстротой.

И — началось. Резиносмесильщики говорили наперебой, делали разные предположения, тут же оспаривали их.

В разгар перепалки прозвенел междугородний звонок. Бушуев поднял трубку — Хлебников.

— С которого часа перешли на старую технологию? — спросил он.

Бушуев промычал что-то нечленораздельное.

— Не слышу. Не понял.

Главный инженер собрался с духом.

— Не переходили. И перейдем, когда вы лично, товарищ Хлебников, прилетите сюда и докажете нам, что наш состав резины хуже вашего. Как слышимость?

К его удивлению, Хлебников терпеливо объяснил, что применение антистарителя отменено временно, что к этому вопросу вернутся, как только они в институте испытают шины на ходимость в естественных условиях.

— Какая у вас норма пробега для испытательных машин в сутки? — спросил Бушуев.

— Пятьсот километров,— ответил Хлебников.

— Значит, на полгода езды. А потом еще полгода будете разводить научные дискуссии. А нам что же, выпускать незащищенную резину? Так?

В трубке долго ничего не было слышно. Потом Хлебников спросил деревянным голосом:

— Кто отказался выполнить распоряжение директора?

— Все,— ответил Бушуев.— А рабочие-исследователи в первую очередь.— Набрав полную грудь воздуха, словно собираясь нырнуть в неизведанную глубину, он крикнул:— И ваш покорный слуга в том числе!

В трубке что-то щелкнуло — очевидно, Хлебников бросил свою.

В кабинете долго молчали.

— Ну, теперь заварится каша,— сказал Бушуев.

— Что ж, будем варить ее, пока не разварится,— заметил Салахетдинов и с уважением посмотрел на главного инженера: не ожидал от Бушуева такого крутого поворота.

Рабочие перешли в комнату Целина, отведенную для общественного института рабочих-исследователей, в ту самую комнату, в которой столько было передумано и пережито, и долго строили догадки о том, что произошло в Москве, какой ключ подобрали к Брянцеву, обычно стойкому, упрямому, воюющему до конца. Потом отправились в цех поднимать настроение резиносмесильщиков.

Целин погрузился в невеселые думы. У него было такое ощущение, будто он висит на тонкой веревочке. Вот-вот веревочка эта оборвется и он упадет, да так, что больше не сможет подняться. Многоопытный и многобитый, он лучше всех понимал, в какое положение попал директор, распоряжение которого на заводе не выполняют.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Изобретательством Целин заболел давно — в первые дни своей работы в Ленинграде на заводе «Красный треугольник». Молодого инженера направили в технический отдел, но, к неудовольствию начальства, он не закопался в кипах бумаг, а целыми днями находился в цехах.

Еще в ту пору, когда он проходил производственную практику, родилась у него одна смелая мысль, но он боялся ее высказать, чтобы не засмеяли.

В начале тридцатых годов автомобильные шины собирали по слоям на надутой резиновой камере, укрепленной на вращающемся кронштейне — «журавлике». Тяжелый, трудоемкий и очень примитивный способ. Выполняли эту работу «дядьки» медвежьей силы, каждый делал за смену три-три с половиной покрышки.

Мысль, родившаяся у Целина, была простой: собирать шину в виде широкого кольца на плоском барабане и, уже сняв со станка, придавать ей нужную форму. Он изложил свой способ на бумаге, набросал несколько эскизов и, набравшись смелости, пошел к начальнику отдела. Тот выслушал инженера и потом долго рассматривал его, словно видел впервые.

— Я был лучшего мнения о ваших умственных способностях, — сказал наконец начальник отдела, — может быть потому, что вы их пока не проявляли...

Тогда Целин подал заявку в бюро изобретательства. Ее рассмотрели и вернули, подробно изложив мотивы отказа.

Еще и еще раз проверив свой проект, Целин снова пришел к убеждению в его осуществимости и взбунтовался: написал резкое письмо в «Резинообъединение». Прождав ответа с добрый месяц, попросил отпуск и поехал в Москву.

Его предложение разбиралось в кабинете начальника «Резинообъединения» Биткера в присутствии трех десятков специалистов. На всю жизнь запомнилось Целину выступление красивого, импозантного человека, говорившего с великолепным пренебрежением:

— Во время мировой войны четырнадцатого года один англичанин предлагал защитить Лондон от неприятельских бомб, повесив над городом сетку. Это предложение было настолько же патриотичным, насколько и идиотичным. Точно такой случай патриотического идиотизма разбираем мы с вами сегодня. У нас нет основания сомневаться ни в добрых порывах души этого молодого человека, ни в крайней нелепости его предложений...

Целин ушел с совещания уничтоженным. Но вернулся в Ленинград, отдышался — и творческий зуд снова обуял его. Беспартийный инженер пошел к секретарю партийного комитета.

Старый рабочий, участник боев за Зимний, долго слушал его, еще дольше думал. Слесарь по специальности, он мало понимал в шинном производстве, но имел одно неоценимое качество: никогда не делал вида, что понимает. И сказал честно:

— Я тебе верю. Но ты меня пойми: я слесарь. Касалось бы это механики — тут я любому сто очков вперед дам. Но это дело не моей компетенции. А совет мой таков: обратись к Серго Орджоникидзе. А я препроводилку напишу.

Целин написал письмо. Получилось без малого тридцать шесть страниц.

Принес письмо секретарю парткома, тот взвесил в руке стопку толстой слоновой бумаги и усмехнулся.

— Да ты что, Илья, как дите малое. Разве у него хватит времени такое письмо читать? Нет, милый, ты напиши на одной странице, но так,

чтобы нарком сразу всю суть дела схватил. А все остальное — в приложение. Нарком письмо прочтет, а приложением другие займутся — те, у кого времени побольше.

Тридцать шесть страниц Целин писал три дня, а над одной просидел неделю.

Секретарь парткома прочитал ее, одобрительно кивнул головой и взялся за перо. Плохо слушались пальцы, привыкшие к тискам и молотку, и буквы выходили такие, что машинистка через два слова на третье приходила спрашивать, что написано. Корявое получилось письмо у секретаря парткома, но честное и прямое, как и сам секретарь.

«Дорогой товарищ нарком Серго Орджоникидзе! Так собирать покрывки, как это мы сейчас делаем, нельзя. Целин предложил способ мотать покрывки на барабане. Человек он хороший, и партком ему верит. Хотя спецы говорят, что из этого ничего не будет, но попробовать надо. Американцы нам станков не продают, одна надежда на свои мозги.

Секретарь парткома Лобода».

Письмо ушло в Москву. А через неделю прибежала к Целину в цех запыхавшаяся курьерша.

— Главный инженер вызывает!

Целин похолодел. До этого дня он главного инженера и в глаза не видел. Слышал только, что человек строгий-престрогий.

Пожилой инженер, с сухим лицом аскета, в пенсне в золотой оправе, предложил Целину расположиться в кресле.

— Напрасно вы ко мне никогда запросто не зайдете, — с задушевной интонацией проговорил он. — Я понимаю, молодым специалистам мы уделяем мало внимания. Но, поверьте, не из злого умысла — руки не доходят. Текучка заедает. И вспомните добрую русскую пословицу: «Если дитя не плачет, мать не разумеет».

Не успел Целин прийти в себя от изумления, как вошел секретарь и торжественно доложил:

— Все в порядке, Виктор Сергеевич. Комната товарищу Целину выделена, — и положил на стол ордер.

Главный инженер стал расспрашивать Целина, как ему живется, как работается. А в душу благодетельствованного человека невольно закрадывался страх: за того ли его принимают и чем это кончится?

Кончилось все неожиданно. Главный инженер открыл папку, на которой золотом было вытиснено: «Весьма срочно», достал из нее телеграмму.

— Сегодня поедете в Москву, Илья Михайлович. Вас вызывает народный комиссар тяжелой промышленности товарищ Орджоникидзе.

— Это, наверно, по поводу моего предложения о новом способе производства шин, — обрадовался Целин.

— А-а! — в свою очередь обрадовался главный инженер, думавший, что Целин жаловался наркому на отношение к молодым специалистам. — Ну вот и хорошо!

Первый раз в жизни ехал Илья Целин в мягком вагоне. Долго сидел у окна, вглядываясь в темень, с наслаждением ощущая плавное покачивание рессор. Заснул под утро, но каждые полчаса тревожно просыпался, будто мог проехать Москву.

В приемной наркома — снова неожиданность. Крупный плечистый мужчина в тельняшке, выглядывавшей из расстегнутого ворота рубахи, верный помощник Серго матрос Семушкин, встретил приезжего грозно.

— Ты что тут разные фантазии пишешь? Думаешь, у наркома без тебя работы мало? — Увидев, что Целин растерялся, он улыбнулся: — Ну, ну, не привыкай робеть смолodu! Сейчас наркому доложу.

Семушкин вошел в кабинет и тотчас вернулся.

— Валяй,— сказал он и угрожающе шепнул вдогонку: — Смотри мне: пять минут!

Целин перешагнул порог и остановился. На него в упор смотрел человек, которого он хорошо знал по портретам. Орлиный взгляд, орлиный нос, гордая посадка головы.

— Проходи, проходи,— ободряюще произнес нарком.

И страх вдруг исчез. Целин подошел к столу, пожал протянутую руку, большую, крепкую, теплую.

— Прочитай твое письмо,— сказал Орджоникидзе.— Веришь в то, что пишешь?

— Верю.

— Ну вот и хорошо. Я, к сожалению, поговорить как следует с тобой не смогу. Ты извини, очень мне некогда. Хотел в глаза тебе посмотреть. Вижу — веришь. А раз так — широкая тебе дорога! У изобретателя какое преимущество перед остальными? Он верит в свое дело и хочет его осуществить. Верит и хочет. Понимаешь?

Нарком взял со стола письмо и объяснительную записку Целина, написал несколько слов.

— Сейчас же поезжай с этим в «Резинообъединение» к Биткеру.

— Я уже был у него.

Серго улыбнулся в усы.

— Так ты один был, а теперь вроде мы с тобой вместе поедем.

Пожав Целину руку, Серго пожелал ему успехов.

— Главное — не остывай! — заключил он.

Целин вышел в приемную, прочитал резолюцию наркома: «Биткеру. Если есть хоть один процент надежды на успех, пробуйте».

Вернулся он на завод с приказом Биткера незамедлительно изыскать средства и начать опыты.

Главный инженер завода с удовольствием назначил Целина ответственным за проведение опытов и освободил от всех других обязанностей. Этим он снимал с себя ответственность за дальнейшее: если уж у самого изобретателя не получится, то никто не будет виноват.

Прошел месяц. С примитивного деревянного барабана, обитого луженой жестию, сошла первая покрывка. И вскоре сборщик стал собирать восемнадцать-двадцать покрывок за смену. Восемнадцать-двадцать вместо трех. Постепенно тянувшие жилы кронштейны были заменены станками с целинским барабаном. С тех пор какие бы сборочные станки ни проектировали конструкторы, в основе их был заложен барабан, монолитный или разъемный, плоский или полуплоский, но всегда барабан.

Из всего этого Целин сделал для себя вывод: если веришь в свою идею, войуй за нее до конца, до тех пор, пока либо тебя разубедят, либо ты победишь. И принял за правило: никакие заключения специалистов по изобретению не считать окончательными. Звучит это немного парадоксально. Ну как так может быть, чтобы один человек понимал больше, чем пять, десять людей, специалистов в данной области? Обосновывал он свое правило очень просто: изобретатель тратит месяцы, иногда даже годы на разработку идеи, и его мысль, как луч, собранный в фокусе, позволяет проникать в неведомые глубины. Эксперты же затрачивают на изучение вопроса часы, иногда даже минуты, и их решение зависит зачастую от множества причин. Сказывается и неприятие чужой идеи, если она противоречит твоим убеждениям, и безнаказанность отказа. Кого и когда привлекали к ответственности за шельмование идеи, которая потом нашла широкое признание?!

Со многими людьми случалось воевать Целину, когда рождалась очередная новаторская идея. А их у него рождалось немало.

Однажды, уже в Сибирске, куда занесла его война, он занялся изучением шин в условиях эксплуатации. И вот что прежде всего бросилось

ему в глаза: очень быстро стареют покрышки — на них появляются трещинки. Сначала мелкие, они со временем делались гуще, шире, глубже, и вот уже целая сеть трещин изрезала покрышку, как морщины, стареющее лицо, только во сто крат быстрее. Резина становится твердой, жесткой, хрупкой, и покрышки работают половину гарантийного срока, а иногда и меньше.

Целин знал способ борьбы со старением резины. Пчелиный воск. Удивительное он имел свойство. Выпотевая из резины, покрывал ее защитной пленкой, и покрышка могла сохраняться годами. Было время, когда русский завод «Треугольник» выпускал лучшие в мире шины и свято хранил свой производственный секрет. И «Красный треугольник» после революции тоже выпускал шины, которые почти не старели. Так продолжалось до тех пор, пока шин было мало, а воска много. Со временем это соотношение изменилось, и долговечность шин снизилась.

Иностранные фирмы, разведав секреты «Треугольника», не смогли воспользоваться ими: пчелиный воск был дефицитен и дорог. Однако нашли ему заменители — кристаллические воска. И «Красный треугольник» нашел заменитель — парафин. Он был хуже, гораздо хуже, чем пчелиный воск, но и его не хватало.

Вот и завертелись у Целина мозги в одном направлении: чем заменить пчелиный воск?

Он не разделял точки зрения американских изобретателей, которые предпочитали эксперимент, иногда даже слепой, теоретическим поискам. Знаменитый Эдисон считал, что лучше провести тысячу опытов, чем искать определенную закономерность. Гудийр, пытаясь улучшить качество резины, подмешивал в нее все, что попадалось под руку: соль, сыр, орешник, чернила, негашеную известь.

Целин знал, что ищет, и потому сфера его поисков была определенной. В конце концов он остановился на церезине — продукте перегонки нефти. Церезин имелся в достаточном количестве и содержал в себе мелкокристаллический воск.

Но теоретические домыслы остаются домыслами, пока они не проверены практикой. Охотников же тратить на это время и средства не находилось. Работал Целин заместителем начальника сборочного цеха и был на плохом счету: организационная жилка у него отсутствовала. И все его требования наладить опыты с церезином пропускались мимо ушей.

Оставалось писать в разные инстанции, чем он и занимался в редкие свободные вечера — с утра до поздней ночи обычно находился в цехе. Но куда бы он ни обращался, его письма пересылались в НИИРИК — единственную организацию, которая серьезно занималась вопросом старения резины, — а оттуда неизменно приходили отказы. На штампованность отказов пожаловаться было нельзя — мотивировки всегда давались разные. То «ваши предложения противоречат современным научным представлениям», то «опыты с предложенным вами церезином проводились и признаны бесперспективными». А были и «лирические» заключения, вроде такого: «Горячо советуем вам направить вашу неумную энергию на менее сложные проблемы». В слове «неумная» машинистка, как на грех, сделала опечатку, пропустила «е»: получилось «неумную». Правда, отсутствующая буква была дописана чьей-то рукой. Целин уже узнавал эту руку. Ответы ему подписывала Чалышева. Руководители института менялись, а Чалышева оставалась. Сначала она подписывалась как «научный сотрудник». В последний год у Чалышевой появилось звание кандидата технических наук, и Целин со страхом ждал того дня, когда кандидат станет доктором.

Тяжело воевать одному, а Целин долгое время оставался один. И не потому, что чуждался людей, — нет. Не было человека мало-мальски сведущего, с которым он не делился бы своими замыслами. Он просто не

находил единомышленников, никто не разделял его идеи. Да и трудно было поверить, что рядовой заводской инженер, к тому же довольно незадачливый, неказистый с виду и печатью таланта не отмеченный, стоит на верном пути к решению сложнейшей проблемы.

В конце концов Целин ушел в проектный институт, который занимался вопросами производства шин. Тему исследования церезина удалось вставить в план. Но когда план утверждали в Москве, снова появилась на сцене Чалышева, представила убедительные данные о перспективности этой темы, и ее закрыли. Пришлось вернуться на завод.

Целин по-прежнему работал с утра до ночи, по-прежнему писал во все инстанции и по-прежнему получал отказы за подписью Чалышевой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Нелегко складывалась жизнь у Ксении Федотовны Чалышевой. Кончила школу — и заметалась: куда поступить учиться? Ни к чему особого призвания у нее не было. Четыре года подряд держала она экзамены в разные учебные заведения — и в гуманитарные, и в технические, пока наконец не удалось поступить в химико-технологический институт.

Каждая встреча с товарищами по школе оставляла царапину на сердце, и она избегала этих встреч. Ежегодно добрая треть из них приходила на выпускной вечер, на слет окончивших школу. Ксения тоже получала приглашения, но рвала их на мелкие части. Не пошла даже в тот год, когда защитила диплом инженера. Она и теперь ничего определенного о себе сказать не могла. Не знала, не выбрала, куда идти дальше. На завод не хотелось: шумно, грязно и много людей вокруг. Людей она не любила, потому что завидовала им. И острее всего тем, кто обзавелся семьями и был счастлив. Даже смех на улице вызывал у нее вспышку гнева, словно весь мир должен был скорбеть о ее неудавшейся жизни. Вот если бы ей забиться в какую-нибудь комнату одной и корпеть над несложной работой — большего она и не желала бы.

Судьба, наконец, улыбнулась ей. Ее приняли научным сотрудником в Институт резины и каучука. Помог отец — у него нашелся в институте друг детства. Но и здесь ее грызла зависть. Зависть к людям, которые работали с рвением, чего-то искали, за что-то боролись, тогда как она оставалась спокойной и бесстрастной, как камень на дне потока, омываемый со всех сторон водой, но застывший в своей неподвижности.

У нее были достоинства, за которые ее ценили, — педантичность и скромность. Полученную работу выполняла со скрупулезной тщательностью и ни на какие лавры не претендовала. Но ни разу ни одна собственная техническая мысль не шевельнулась в ее голове.

Так могло продолжаться многие годы, если бы не потребовали от научных сотрудников взяться за самостоятельную работу. Чтобы сохранить должность, надо было защитить диссертацию.

И снова Ксения Чалышева заметалась. Какую взять тему? Ее не увлекала ни одна. Но вмешались силы извне. Ее вызвал к себе профессор, знавший с детства ее отца.

— Ксения Федотовна, поговорим по душам, — доверительно сказал он. — Вам не обидно? Столько материалов готовили вы разным людям для диссертаций, а сами до сих пор не имеете ученой степени!

— Нет, не обидно...

— А завидно? Хоть немного?

Это был удар в больное место.

— Завидно, — сказала она, хотя даже сама себе в этом никогда не признавалась. Профессору она была обязана своим зачислением в инсти-

тут. Мало людей принимало участие в ее судьбе, и к тем, кто помог хоть теплым словом, она испытывала что-то похожее на нежность.

— Люблю откровенность,— сказал профессор.— Может быть, вы объясните, как это у вас получается такое сочетание — и не обидно и завидно?

У профессора было очень доброе лицо. Глаза небольшие, глубоко запавшие, но лучистые. Не от молодости духа — от доброты. И губы крупные, безвольные, и даже нос добрый — небольшой такой, пуговкой.

Чалышева молчала. Она не привыкла открывать тайники своей души.

— Хорошо, не буду требовать от вас откровенности,— сказал профессор.— Но извольте выслушать то, что я о вас думаю. Далеко не все способны к научной работе, но одних спасает упорство, других... простите, пахальство. У вас нет ни того, ни другого. Но знаете, чем вы богаты с избытком? Честностью. И за это я вас ценю.

Впервые посторонний человек говорил с ней так доброжелательно.

Что-то дрогнуло в душе Чалышевой, в душе, которая жила без тепла, без человеческой ласки. И все же она молчала. Только по выражению ее глаз, всегда безразлично спокойных, а сейчас словно подернутых пленкой, профессор понял, что она растрогана, и сам растрогался. Обычная человеческая слабость: мы любим тех, кому делаем добро.

— Перейдем к делу,— прервал ее размышления профессор.— Вам надо браться за диссертацию, Ксения. Проблемой старения резины вы не интересовались?

Нет, не интересовалась она этой проблемой, как не интересовалась никакой другой, хотя много знала, много читала из того, что полагалось знать и читать. Даже на всех защитах диссертаций присутствовала. Ее удивляли неожиданные мысли, смелые выводы, открытия, которые делали люди, а иногда скудоумие, наукообразная банальность мышления. Но ни то, ни другое не пробудило в ней желания заявить о себе. Одним она не могла подражать, другим — не хотела.

— Не интересовалась,— призналась Чалышева.

— А теперь заинтересуйтесь. Я эту тему специально для вас приберег.

— Дмитрий Павлович...— только и смогла вымолвить Чалышева и, запнувшись, прижала руку к груди — жест, на который не считала себя способной.

Профессор встал, открыл огромный сейф, достал пакет, тщательно перевязанный шпагатом, вскрыл его, извлек толстый том.

— Это для вас неоценимое сокровище,— почему-то переходя на шепот, сказал он.— Исследование антистарителей, произведенное одним институтом. Берите его, несите домой и никому не показывайте. Ни одной живой душе. Исследование закрытое, в печати не было и не будет.

Растроганный собственной добротой, профессор пожелал Чалышевой успеха, даже поцеловал по-отечески в лоб и остался в кабинете с радостным ощущением сделанного доброго дела.

В тот день она возвращалась домой, переполненная чувством благодарности. Ее не раздражали веселые, оживленные лица людей. У нее появилась цель в жизни, и, главное,— цель, которой не так уж трудно будет достигнуть. Нет, она не думала о том, чтобы просто заимствовать данные. Она будет работать, вести исследования. Но канва у нее в руках. Это все равно, что решать задачу, имея готовый ответ, даже больше — схему решения. Ко всему прочему ее привлекала тема. Она вполне соответствовала ее репутации. Открытий от нее никто не ждал, а вот сравнительное исследование разных зарубежных антистарителей и выбор наиболее эффективных и экономичных — это как раз для нес, зарекомендовавшей себя скрупулезностью в работе. Надо, конечно,

немало потрудиться над общей частью, над историей вопроса, проявить эрудицию, продемонстрировать глубину теоретических познаний.

Уже дома, страница за страницей перелистывая пухлый отчет, она убедилась, какой бесценный материал дал ей профессор. Здесь была тщательно описана не только методика исследований, но и помещены чертежи озоновой камеры, в которой образцы подверглись разрушительному действию окислительной атмосферы.

Она просидела над томом целый вечер и только в половине десятого вспомнила, что должна была зайти в комиссионный магазин на Сретенке, где продавщица обещала ей оставить кофейную чашку для коллекции, которую начала собирать еще мать. Вспомнила, впрочем, без всякого сожаления.

Трудно было найти в институте человека, который с большим рвением принялся бы за диссертацию, чем Чалышева. Ввиду важности темы ей разрешили начать исследование немедленно, параллельно с подготовкой к сдаче кандидатского минимума, дали в помощь лаборантов. Она была очень занята. Днем готовила смеси резин с различными антистарителями, испытывала их в озоновой камере, проверяла механические свойства, вечером зубрила немецкий язык, спецдисциплины, изучала трудно дававшийся исторический и диалектический материализм. Откуда только силы взялись в этом хрупком теле!

Лаборантов своих Чалышева замучила — не прощала малейшей неточности, требовала, чтобы они работали с такой же тщательностью, как она.

Многие диссертации после защиты легли на полки архива, никому ненужные. Работу же Чалышевой ожидала другая участь. Ее выводов ждали, и как только она их получила, институт выдал Внешторгу заключение: «Лучшим антистарителем является суперлюкс, производимый такой-то иностранной фирмой». Так значилось и в отчете института. Внешторг заключил с фирмой договор на поставку этого антистарителя.

Защита диссертации прошла прекрасно. Спорить было не о чем — результаты исследований уже были внедрены в производство. Так Чалышева стала единственным специалистом по антистарителям, а раз единственным, то и крупнейшим. Теперь к ней обращались за консультациями, приглашали на совещания, ей на экспертизу присылали заявки на изобретение антистарителей.

Внешне она ничуть не изменилась. Такая же отчужденная, замкнутая, немногословная. Но высказывалась она теперь категорически, твердо, с полным сознанием своего превосходства. И в душе у нее воцарился мир: она перестала чувствовать себя обойденной жизнью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Вам не кажется, Алексей Алексеевич, что директор, распоряжения которого на заводе не выполняют, может легко перестать быть директором? — спросил Самойлов, едва Брянцев переступил порог его кабинета.

Такая встреча смутила Брянцева. Он ответил не сразу, что делал всегда, когда внутренне вспыхивал, — придерживался мудрого правила: сосчитать до десяти. На десятой секунде ответил, но так, чтобы выгадать время.

— Нет, не кажется.

— А почему? — живо спросил Самойлов, удивленный спокойствием Брянцева.

— Видите ли, в Программе партии очень точно сказано о развитии общественных форм работы. Мы открыли одну из таких форм — инсти-

тут рабочих-исследователей. Оказывается, это могучая сила. Приходится не только управлять ею, но и считаться с ней, а иногда и подчиняться ей. Вот вам как раз тот случай. Это совершенно ново, и это нужно уметь понять.

Ответ озадачил Самойлова. Он любил поразмышлять, обобщить факты, сделать выводы. И в других уважал эту способность.

Взглянул на часы. Два. Коллегия начнется в три. Материалы у него подготовлены. Есть время поговорить.

— Садитесь, подумаем вместе,— миролюбиво предложил он.

Все больше нравился Брянцеву этот человек. Он шел сюда как на бой, вернее, на избиение, а его не только не уничтожают, даже не пытаются сломать.

— Не совсем себе представляю, как вы вернетесь на завод,— сказал Самойлов.

— После того как люди не выполнили моего распоряжения?

— Вот именно. Или вы привыкли к этому?

Брянцев снова сосчитал до десяти.

— Нет, такое у меня впервые. Может быть потому, что впервые отдал нелепое распоряжение. И, честно говоря, мне было бы тяжелее возвращаться, если бы люди выполнили это распоряжение.

— Почему?

— Это означало бы, что коллектив плохо воспитан и выполняет любое распоряжение, даже то, во вредности которого убежден. Ну, представьте себе положение машиниста тяжеловесного состава. Он вывел состав на крутой подъем, а теперь, на спуске, вагоны мчат уже сами и даже толкают паровоз. Разве может машинист сразу дать задний ход? Или даже круто затормозить? Вот точно так и в этом случае. Три года я подогревал людей, помогал им, поощрял их, прививал вкус к исследовательской работе. Они уже сами идут, а зачастую подталкивают и меня. Я говорю это не смущаясь, с гордостью. Началась цепная реакция творческих поисков, реакция неудержимая. Она не укладывается в привычные понятия, в бюрократические рамки, ломает их. И не препятствовать этому — радоваться надо! Вот я и радуюсь. И вы радуйтесь.

— Но вы сами этого не ожидали? — спросил Самойлов.

— Признаюсь, не ожидал. Привык к подчинению, недооценил возросшую сознательность.

— Еще вопрос. Вы тоже убеждены в неправильности вашего, то есть, простите, моего распоряжения?

— Убежден.

— Так какого же черта вы мне не сказали об этом! — вскипел Самойлов.— Почему сразу сдались?

Брянцев сосчитал до десяти.

— Я ведь тоже человек, а не кибернетическая машина. Когда на голову обрушивают такое, как эти изъеденные образцы, поневоле голова закружится.— Он встал.— Я могу идти?

— Сядьте...

Усевшись, Брянцев закурил папиросу. Какое-то безразличие ко всему овладело им. Будь что будет. Снимут — тем лучше. Уедут они с Еленкой куда-нибудь на край света, будут жить потихоньку. Была бы шея — работа везде найдется. Вот и случай представился разорвать тот круг, из которого не вырвешься.

Затянулся раз, второй. Вспомнил о заводском институте, об искателях, которые так нуждаются в его поддержке, и стало стыдно. Ну разве можно оставить их на полпути! Нет, не раньше, чем он расхлебает эту историю с антистарителем. Долго придется ее расхлебывать. Сегодня прилетит Целин, привезет покрышки. Послезавтра уйдет машина с этими покрышками в путь и будет колесить месяца три. Молодцы все-таки

ребята на заводе — заартачились. А Бушуев проявил неожиданную прыть...

Самойлову и нравился Брянцев, и вызывал у него раздражение. Раздражала не строптивость этого директора, а его непоследовательность. Он все же очень подвел, и как сейчас выходить из положения — не поймешь. Неудобно перед Хлебниковым. Сначала стал на его сторону и возмутился: случай беспрецедентный — директор самовольно изменил ГОСТ и выпускает бракованную продукцию; потом принял самое правильное — Самойлов был в этом убежден — решение: вернуться к старой технологии до полной ясности вопроса. А теперь, выходит, склоняется на сторону Брянцева. В каком свете он предстает? Что будет думать о нем Хлебников и тот же Брянцев? Личным самолюбием можно было бы и поступиться, но авторитет Комитета, тем более только что созданного, подрывать нельзя.

— Как вы мотивировали свое распоряжение на заводе? — осведомился Самойлов.

Брянцев понял ход его мыслей.

— На Комитет я не ссылался. Сообщил о позиции института, — ответил он.

Самойлов удовлетворенно кивнул головой, но тотчас спросил:

— Значит, рабочие на вашем заводе воспитаны в неверии к науке?

— Зачем вы так ставите вопрос? — укоризненно произнес Брянцев. — Они прекрасно знают, что резина — детище науки: конструкции шин, которые они производят, разработаны научными институтами, составы, которыми пропитывают корд, — тоже. Куда же им без науки? Но они трезво допускают возможность технических заблуждений, вот как в этом случае. У них высокая степень мастерства. Кроме того, они испытывали шины с антистарителем и в лаборатории, и на стенде, и, главное, на дороге. Рабочие верят тому, что видят, и никакими данными, полученными в лабораторных условиях, весьма далеких от естественных, их не переубедишь.

— Хорошо, будем ждать результатов испытаний ваших шин, — сказал Самойлов и взглянул на часы. — Но учтите, Алексей Алексеевич (не подумайте, что я вас запугиваю, просто такова ситуация): если ваш антистаритель окажется липой и вы выпускаете уйму брака, административным взысканием не отделаетесь. Вас привлекут и к партийной ответственности, и к уголовной. Подумайте: не слишком ли велик риск?

— Нет, не велик, — беспечным тоном ответил Брянцев. — Завалюсь — одного директора не досчитаетесь, в общем масштабе потеря незаметная. А если выиграю — вся резина, выпускаемая в стране, не только шинная — и кабельная, и шланговая, — вся без исключения будет жить в три раза дольше. Есть из-за чего рискнуть!

...Ясный день. Нарядная, шумная, согретая щедрым в этом году апрельским солнцем толпа на улицах резко контрастировала с настроением Брянцева, когда он возвращался в гостиницу. Угнетало сознание еще одной допущенной ошибки: как он мог согласиться на проведение испытаний своих шин в институте Хлебникова? Любой шофер, настрой только его соответственно, лучшие шины уходит так, что они и треть срока не прослужат. Но разве можно об этом сказать? Это означало бы выразить Хлебникову недоверие. А какие к тому основания?

Проходя мимо «Метрополя», посмотрел на афиши. Закатиться бы с Еленкой на два сеанса подряд, как когда-то, в юности, выключиться из круговорота. Нет, какая-то иностранная занудь. Придется сидеть дома, пережевывать события. Утомительно, но Еленка умеет это делать не без пользы. Удивительный она все-таки человек. У нее тонкая и точная реакция на людей и всегда ясное понимание ситуации. От ума это, от жиз-

ценного опыта или от непостижимой женской интуиции — понять трудно. Она знает многих людей на его заводе, знает не хуже, чем он, а то и лучше. И насчет Целина она сказала: «Ну что ты мучаешь человека на административной работе? Его призвание — изобретательство. Выдумай ему какую-нибудь должность, на которой он мог бы свободно думать. Он человек неограниченного творческого потенциала». Взвесил — и согласился. Только должность сразу подобрать не мог. А когда организовался общественный институт, вопреки всем мнениям и желаниям назначил Целина своим заместителем по институту.

У витрины гастронома Брянцев остановился. Утром они с Еленой позавтракали, она — по-московски: стакан кофе и бутерброд, он — по-заводски, плотно, как ест человек, который не знает, когда удастся поесть в следующий раз. Нервные встряски не приглушали, а возбуждали у Брянцева аппетит, и он почувствовал, что проголодался.

Зашел в гастроном, взял коньяку, пражских колбасок, которые так понравились ему в Чехословакии, копченой осетрины.

А рядом, в парфюмерном магазине, внимание его привлекли большие зеленые флаконы с хвойным настоем для ванн. Купил. Еленка любит оригинальные вещицы и будет довольна этому проявлению внимания.

Поднялся на девятый этаж гостиницы «Москва», где со вчерашнего дня ожидал его забронированный номер.

По вестибюлю метался истерзавшийся от тревоги и длительного ожидания Целин. Большой щит, обернутый бумагой и перевязанный веревками, стоял прислоненный к стене, нарушая торжественность вестибюля.

Целин со всех ног бросился к Брянцеву.

— Ну как? Ну что?

— Успокойтесь. Будем работать по нашей технологии.

Достав платок, Целин вытер пот. Сегодня он особенно не похож на замученного работой изобретателя — изысканно одет, кругленький, розовощекий.

— Ух! — шумно выдохнул он. — А у нас решили бог знает что. Даже Кристича со мной командировали!

— Зачем?

— Как же, ведущий рабочий, исследователь. Ему дали наказ: в случае чего — прямо в ЦК.

Осторожно, как драгоценную картину, внес Целин в номер щит, поставил в угол.

— Крепко жали? — спросил он усаживаясь.

Брянцев рассказал обо всем.

— Ух! — снова выдохнул Целин. — А теперь поедем в институт к Хлебникову. Жажду воочию увидеть Чалышеву, показать ей щит, наши материалы и посмотреть, какое у нее будет выражение лица.

— А покрывки?

— Их прямо с самолета повезли в институт. Эх, Алексей Алексеевич, надо было бы все-таки чтобы их испытывала нейтральная организация. Вы еще не знаете, что такое честь мундира...

Когда они грузили щит в автомобиль, подбежал Кристич.

— Что нового? — спросил он.

— Все по-старому, — только и ответил Брянцев и указал на заднее сиденье. — В институт с нами поедешь?

— А как же! всю жизнь мечтал настоящий институт посмотреть. Храм науки, так сказать.

Чалышева не ожидала такого нашествия и с любопытством смотрела, как вносили в ее лабораторию какой-то щит, развязывали веревки, снимали бумагу. Когда упаковка была снята, ее взору предстала не осо-

бенно тщательно сделанная заводским плотником некрашенная рама, на которой были укреплены растянутые полоски резины.

— Я хотел бы пригласить сюда и Олега Митрофановича,— сказал Брянцев.

Чалышева показала на телефон.

— Приглашайте.

Хлебников попробовал было сослаться на занятость, но вскоре явился, и не один, а с человеком в черной спецовке, с военной выправкой.

— Знакомьтесь,— сказал Хлебников,— Иван Миронович Апушкин, шофер-испытатель, бывший танкист.

Лицо у Апушкина суровое, смелое, честное — лицо солдата. Целин и Кристич переглянулись — хорош, мол, мужик, такой на разные фокусы не пойдет.

— Для чего притарабанили эту фисгармонию? — спросил Хлебников, взглянув на щит с натянутыми пластинами.

Пропустить бы издевку мимо ушей, но это было не в характере Целина.

— Это — гроб вашему гробу,— ответил он, показывая в сторону озоновой камеры, которая стояла в простенке между большими окнами.

— Ого! — произнес Хлебников.

— На этом стенде мы испытываем антистарители разных марок,— сказал Кристич.— Поскольку резина стареет от воздействия воздуха и солнечных лучей, мы держим наши образцы в естественных условиях. Стенд стоит у нас на крыше. В покрышке резина испытывает переменное напряжение. К сожалению, мы не сумели сделать стенд с переменной нагрузкой, наша резина работает только на растяжение.

— Кто этот товарищ? — ни к кому не обращаясь, спросил Хлебников.

— Александр Нестерович Кристич. Рабочий-резиносмесильщик,— ответил Брянцев.

— Я понимаю, что он трудится на рабочем месте. Но по образованию он... инженер?

— Десятилетка,— сказал Кристич и по выражению лица Хлебникова понял, что тот ему не поверил.— Теперь посмотрите образцы от «А-1» до «А-10». Это — незащищенная резина, она почти разрушилась. Образцы от «Б-1» до «Б-10», с суперлюксом, дали трещины. Все остальные, с разным количеством нашего антистарителя «ИРИС-1», неизменны. Оптимальное его содержание в резине мы установили в размере три и одна десятая процента...

— Какой техникум окончили? — быстро спросил Хлебников, уверенный, что ему под видом рабочего подсунули квалифицированного специалиста.

— Три года в ИРИ в качестве исследователя.

— ИРИ? Что это такое?

— Институт рабочих-исследователей,— не без достоинства пояснил Кристич.

Внимательно следивший за Кристичем Апушкин сдержанно улыбнулся. Ему нравился этот рабочий парень с болезненно бледным, нервным лицом. «Зубастый! Такому палец в рот не клади».

— А если потребуются более полные сведения — пожалуйста.

Кристич достал из портфеля два тома в коленкоровых переплетах и положил их на стол.

Хлебников прочитал тисненную золотом надпись: «Общественный институт рабочих-исследователей. 1964 год».

— Все всерьез, как у взрослых,— с улыбкой сказал он.— Но только — почему институт? Написали бы «Академия». «Академия рабочих-исследователей».

У Целина иссякло терпение.

— Гораздо серьезнее, чем у взрослых! — закричал он. Но Брянцев остановил его, бесцеремонно толкнув в бок.

— Мы эту дискуссию перенесем на другое время, когда вернется из поездки товарищ... товарищ...

— Апушкин, — подсказал Апушкин. — Ударение на «А».

— Ладно. Перейдем к делу, — согласился Хлебников и повернулся к шоферу. — Вот, Иван Миронович, какой вопрос вам придется решать. Только наши данные о качестве резины совсем другие. Ксения Федотовна, покажите... нет, нет, не фотоснимки, а образцы.

Целин, Крестич и Апушкин принялись рассматривать наклеенные на картон образцы, остальные наблюдали за ними.

Апушкин почесал рукой затылок и многозначительно хмыкнул.

— Все понятно? — спросил Хлебников. — Я боюсь, что три процента их антистарителя вызовут расслоение каркаса и отслоение протектора. Так что смотрите — никаких лихачеств. Норму не перевыполнять. А то все вы домой торопитесь...

— Как же не торопиться? Жена, двое детей. Соскучишься — ну и жмешь на всю железку. Особенно последние дни, когда душа изболится. — Помолчав, Апушкин добавил: — Может, холостяка послали бы?

Апушкину явно не хотелось приниматься за испытание этих шин. Было только неясно, что его отпугивало — качество резины или длительность поездки.

— Командировка будет недолгой, — успокоил его Хлебников, — эти шины много не пройдут. А вот насчет опасности... Разрешаю снизить норму до четырехсот километров в сутки, хотя дорог каждый день: товарищи шинники отстояли право выпустить эту... свою, с позволения сказать, продукцию до вашего возвращения.

— Вы едете один? — спросил Крестич шофера.

— Второго дадут на месте, на автобазе.

— Алексей Алексеевич, разрешите, я с ним поеду, — взмолился Крестич. — Я ведь права имею, хоть и на легковую. И веселее ему будет, и помогу чем-нибудь.

Брянцев взглянул на Хлебникова: не истолкует ли он просьбу Крестича как заранее продуманный маневр — посадить в машину своего соглядатая?

Хлебников так и понял.

— Я не возражаю, — сказал он. — По крайней мере потом никаких нареканий не будет. Тем более, что и маршрут тяжелый — Средняя Азия. Уж если испытывать, так будем испытывать на трассе Ташкент — Джизак.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В глубине души Брянцев верил, что на свете есть судьба, как ее ни назови: стечением ли обстоятельств или игрой случая. Он был убежден, что все обуславливает твоя способность решать жизненные задачи, но задачи эти ставит перед тобой судьба. В его представлении вся жизнь человека походила на шахматную партию. С одной стороны — ты, с другой — судьба. Исход зависит от того, насколько ты умен, искусен, терпелив, прозорлив. Но случается порой, что судьба делает мат в два хода. Так произошло с ним четыре года тому назад.

Он решил тогда отказаться от путевки в санаторий и поехать к своему фронтовому другу, который давно уже звал к себе в гости в станицу Федосеевскую, поохотиться, порыбачить.

Но прежде чем отправиться в Федосеевскую, решил заглянуть к отцу, в город своей юности — Новочеркасск.

Не был он в этом городе лет пятнадцать. Отец не часто навещал

сына — не ладил с Тасей. И Тася не любила старика. Будь он хилым, болезненным, нуждайся в ее помощи и доброте — не было бы для нее человека милее. Но хотя Алексей Георгиевич здоровьем не отличался — какое уж там здоровье у человека шестидесяти пяти лет, прошедшего империалистическую, гражданскую и Отечественную войны, — держался он подчеркнуто бодро, ни на что не жаловался и не утруждал других заботами о себе. Даже белье норовил постирать себе сам, чему обучило его вдовство. При таких отношениях не могло быть и речи о совместной жизни, да отец и не хотел уезжать из города, где родился, где долгие годы работал на чугунолитейном заводе, где его знали многие. Был он суров, неразговорчив, жил в своем мире — мире воспоминаний о войнах. Все остальное, включая и жизнь сына, проходило как бы мимо него, не радовало и не огорчало. Но разлада в семью он не вносил. Только раз, выпив лишнего, сказал сыну:

— Откуда ты это золото выкопал? Ей бы бороду нацепить — мужик мужиком!

— Жизнь мне спасла...

— Она многим спасла, однако никому такая блажь в голову не стукнула. Мне в первую войну унтер жизнь спас, так что я на нем должен был жениться, что ли? Или до конца дней в услужение к нему пойти? Если бы все твоему примеру следовали, то на фронте и сестер не осталось бы.

Старик уехал и три года не показывался. На письма сына отвечал коротко, открытками: жив, здоров, собираюсь жениться. Жениться он собирался уже много раз, но разочаровывался в своем выборе еще до женитьбы.

...Города нашей юности... Как часто встреча с ними разочаровывает. Хочешь видеть их неизменившимися с тех пор, как ты их оставил, потому что только такие они способны разворошить самые глубинные пласты твоей памяти. И то, что радует человека, живущего в этом городе, вдруг огорчает тебя. Здесь, на главной улице, ты бегал по булыжной мостовой, мыл босые ноги в лужах, слышал цокот лошадиных копыт. А теперь укатанная до блеска лента асфальта, по которой бесшумно катят машины, делает улицу чужой. Разросшиеся деревья скрывают фасады знакомых домов, и уже нужно напрягать память, вызывая воспоминания, вместо того, чтобы воспоминания сами рождались на каждом шагу.

Или вдруг вырос дом на углу, большой, многоэтажный, с огромными окнами. Он радует глаз каждого, но только не твой. Здесь стоял маленький трехоконный деревянный домик, где жил мальчишка, твой первый друг, поверенный всех твоих тайн. На этом углу столько было передумано и перемечтано, но вспоминаешь ты об этом с трудом и далеко не все. А сел бы на скамеечке у ворот того, уже не существующего дома и вспомнил бы не только мысли, бродившие тогда у тебя, но и чувства, которые испытывал, и даже настроения, владевшие тобой. И как-то неловко становится, что ты, в отличие от других, грустишь, видя, как хорошеет твой город.

Нечто подобное испытал Брянцев в родном городе, о встрече с которым давно мечтал. Новые дома, магазины, трамвай. В ту пору, когда он жил здесь, о трамвае только говорили. Теперь же новые, ярко окрашенные вагончики весело постукивали на стыках рельсов. И вдруг мелькнуло старое, характерное для этого города здание бассейна питьевой воды. Те же красные кирпичные стены, полого выложенные у подножья камнем, обросшим мохом и травой. Вот с этих склонов он катался мальчишкой на санках. Не баловал отец сына игрушками, Лешка все мастерил сам — и санки, и лыжи, и ружья, и сабли. Все было самодельное,

деревянное, но такое добротное, что отец решил: не иначе как сын столо-
ляром будет.

Брянцев так ушел в воспоминания, что чуть было не проехал Почто-
вую, на которой решил выйти, чтобы немного пройтись пешком.

Поставил чемодан на землю, огляделся. Все без перемен. То же ост-
роугольное здание аптеки на углу, куда бегал покупать лекарства для
матери. Только тогда здание казалось ему большим, а теперь оно словно
вдвое уменьшилось. Та же малолюдная, заросшая травой Покровская.

Свернул на свою Тихую, которую переименовали в улицу Революции,
подошел к калитке и почувствовал, что волнуется. Нет, негоже с отцом
встречаться как мальчишка — у них давно отношения сдержанные. Отец
всегда с восхищением рассказывал, как после боя командир казачьего
полка обходил раненых, снесенных в одно место и уложенных в ряд,
останавливался возле каждого на миг, говорил: «Благодарю, казак, за
службу» и шел к следующему. И позором считалось, увидев среди ра-
неных сына или брата, задержаться дольше, чем возле остальных. Так
он и сына воспитывал.

Заросший травой дворик, шпалеры винограда с крупными, еще зеле-
ными гроздьями, флигелек с бурой от ржавчины крышей, белыми, свеже-
выкрашенными оконными рамами. Какая-то собачонка, рыжая от въев-
шихся в шерсть репьев, залилась злобным лаем, но держалась поодаль.

Брянцев вошел во двор. На двери дома замок.

Из соседнего домика вышла женщина в переднике, заслонилась от
солнца вымазанными тестом руками.

— Родненький, да вы никак сыном будете! — зачистила она и стала
объяснять: — А батюшка ваш только утром уехавши. Когда вернется,
не знаю. В Красный Сулин подался. Сватается...

«Поделом тебе, — подумал Брянцев, — решил отцу сюрприз сделать.
А он, неугомонный черт...»

Странно как-то устраиваться в родном городе в гостинице. Но дру-
гого выхода не было.

В огромном номере «люкс», сняв пиджак, Брянцев вдруг почувство-
вал, что больше всего хочет сейчас спать. Разделся и быстро, чтобы не
передумать, юркнул в огромную, как катафалк, кровать.

Проснулся, когда уже догорал вечер. Выглянул в окно.

Улица полна гуляющих. Пошел и он побродить.

Тоскливо одному в чужом городе, а в родном еще тоскливее. Не
было бы войны, наверняка нашел бы он товарищей, а теперь трудно
было рассчитывать увидеть знакомое лицо. И все же он вглядывался в
каждого, кто встречался на пути.

Зашел в первый попавшийся магазинчик. За прилавком — бочонки,
на них золоченые барельефы львиных голов, в оскаленных пастьях краны.
«А, вот это откуда: „Мы пили вино из пасти львов...“», — подумал он,
воспроизведя запомнившуюся своей непонятностью строчку.

Попросил стакан донского сухого. Вино прозрачное, как янтарь, с
легким ароматом ладана, с мягкой кислинкой, утоляющей жажду, ему
понравилось. Он пил медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Сколько воспоминаний может вызвать глоток вина! Сюда, в этот са-
мый магазинчик, он как-то уговаривал зайти Еленку, но девочка постес-
нялась. Тогда он вынес полные стаканы на улицу. Пользуясь темнотой
вечера, выпили вино.

С этого мгновенья образ Лены уже не оставлял его. Он стал бродить
по заветным местам. Вот «Угол встреч» — за два квартала от ее дома.
Вот аллея, по которой они бродили часами, разговаривая, размышляя.
А вот «Угол расставаний». Здесь они прощались в тени тополя. Да, этого
самого тополя. Жив еще старик, только верхушка его высохла и ветви
походили на протянутые к небу руки.

Какая-то горячая волна родилась у сердца. Он стоял неподвижно, потрясенный тем, что так остро почувствовал силу прошлого. Лена!.. Она давно уже была вычеркнута из его жизни, и вспоминал он о ней легко, как вспоминаются наивные и чистые детские увлечения. А сейчас пробудилась непонятная глухая, тяжелая боль...

Отсюда до Еленкиного дома рукой подать, но ноги почему-то не шли дальше. И он понял почему: здесь начиналась запретная зона. Дальше этого тополя ему не разрешалось сделать ни шагу. «Да сколько вам лет, Алексей Алексеевич? — приземлил он себя. — Запрет был и кончился, как кончилось все».

Он зашагал крупными, решительными шагами, как ходил у себя в Сибирске по заводу.

Вот и ее дом. Полуторазэтажный, с широкой парадной дверью. Окно Еленки — на верхнем этаже, самое первое от парадной двери. Он был в ее комнате всего два раза, когда мать, Полина Викентьевна, уезжала погостить в Ростов, да несколько раз заглядывал туда — надо было только схватиться за кронштейн навеса над парадным и подтянуться на руках. Теперь он сделать этого не смог бы. И не потому, что ослабели мышцы. Навес был другой, легкий, жиденький — старый, очевидно, пришел в негодность. Фигурная медная ручка на двери с шарами на концах была заменена новой, дешевой. А вот рамка на щели для писем и газет осталась прежней. Он даже потрогал ее — поднял заслонку и отпустил. Она знакомо щелкнула, и тотчас возникло ощущение облегчения, которое возникало у него тогда: слава богу, никто не заметил, письмо уже там. Значит, сегодня они встретятся...

Мимо Брянцева прошла какая-то женщина, с любопытством посмотрела на него и остановилась. «Ох уж эти маленькие города», — досадливо подумал он. Чтобы скрыться от бесцеремонного любопытства, открыл решетчатую калитку и пошел по узкой тропинке.

Здесь они с Леной встретились однажды накоротке. Нарушив все запреты, он проник в опасную зону и увидел Лену на террасе в качалке. Пугливо оглядевшись по сторонам, она сбежала к нему и потащила сюда, за угол дома. Много ли было им надо? Два слова: «Сегодня, в семь», и один поцелуй, короткий, настороженный.

...Ему показалось, что он галлюцинирует, что он сошел с ума. На веранде, в качалке, с книгой в руках, сидела... Елена. Некоторое время она продолжала читать, но, почувствовав его взгляд, вскинула голову. Потом поднялась, медленно-медленно, словно освобождаясь от невидимого груза, и вдруг, выронив книгу, быстро сбежала по ступенькам. В нескольких шагах от Брянцева в нерешительности остановилась, посмотрела на него полным недоумения, тревожным взглядом.

И только тогда он вышел из оцепенения, шагнул к ней свинцовыми негнушимися ногами, обнял, прижался щекой к ее щеке.

Первой пришла в себя Елена. Выскользнула из его рук и увлекла за угол дома.

Она была все той же. Не такой, но той же. Те же глаза, живые, по-детски ясные, те же пухлые губы, легко раскрывающиеся в улыбке. Жизнь наложила свой отпечаток — у глаз появились морщинки, легкие, не каждому заметные, у губ — две горестные складочки. Но лицо осталось безыскусственным, открытым и так же чудесно сочетало в себе женственную мягкость и мальчишескую задиристость.

— А ты немного повзрослел!

— А ты такая же...

Елена вдруг спохватилась.

— Что же это я держу тебя среди двора? Пошли в дом! Представлю тебя маме. Ты ее помнишь?

Помнил ли он ее? Не только помнил, но и боялся этого злого гения своей любви. И он признался:

— Боюсь.

Она расхохоталась.

— Ну что ты Ле... Алеша!

— Честное слово, боюсь. Даже странно как-то. Может быть, это гипноз места? Говорят, ощущения, связанные с тем или иным местом, возрождаются...

Елена задержала взгляд на его лице.

— Перестань дурачиться, пойдем!

В большой комнате, казавшейся тесной, потому что в нее была втиснута обстановка целой квартиры, священнодействовала Полина Викентьевна: за ломберным столиком расчерчивала листки для преферанса. Она сильно изменилась — поседела, ссутулилась, но по-прежнему красила губы, брови, даже щеки румянила.

«Пиковая дама», — успел подумать Брянцев.

Увидев гостя, она медленно поднялась, величественно протянула руку. Брянцеву ничего не оставалось, как поцеловать эту сухую руку с покрытыми бледно-розовым лаком ногтями.

— Мой друг, вы не умеете целовать руки дамам, — слегка грассируя, произнесла она. — А вообще интересно, что из вас получилось, Алеша. Что вы теперь делаете?

— Покрышки, — коротко ответил он, внутренне раздражаясь.

— А-а! — протянула Полина Викентьевна так, будто этот ответ все объяснил ей. — А я, видите, как живу. Пришлось уплотниться, когда дочери выпорхнули из гнезда. Да вы присаживайтесь...

— Мамочка, мы тебе мешать не будем, — сказала Елена и повела Брянцева на веранду.

— Посиди здесь, я переоденусь.

— Я подожду тебя на улице. Или, еще лучше, знаешь где? Там...

— Ты еще помнишь?..

— Помню. Я все помню...

Брянцев топтался на «Углу встреч», стараясь успокоиться. Мысленно обращался к себе на «вы», называл «Алексеем Алексеевичем», даже чокнутым — термин, сохранившийся еще с той поры, когда он нервничал на этом углу, не зная, придет Лена или нет.

Послышался знакомый стук каблучков по тротуару, и Брянцев увидел быстро идущую Елену, легкую, стремительную.

Она улыбнулась ему и взяла под руку. Пошли по аллее. Молчали, стараясь скрыть друг от друга волнение.

Было уже поздно. Шум на улицах затих, только из городского сада доносились звуки музыки. А когда затихли и они, стало слышно, как в лугах, окружавших город, гомонили лягушки. И мягкость южного вечера, и лягушачий концерт, и знакомое шуршание гравия под ногами, и тепло Еленкиного локтя — все возвращало Брянцева в давно, казалось бы, забытое прошлое, властно стирало ощущение реальности.

— Неужели прошло девятнадцать лет? Не верится, — раздумчиво произнесла Елена, как бы обращаясь к самой себе.

Брянцев остановился, взглянул на нее.

— Здравствуй, Леноч!

Это была их старая манера — ни с того ни с сего среди беседы или молчания ощутить, что они вместе. Не в мечте, не в воображении, не во сне, а реально.

— Здравствуй! — охотно подхватила она эту знакомую ей игру.

— Вот тут стояла наша скамья...

— Ее нет. Я уже приходила сюда.

Он нежно сжал ее пальцы.

— Вот так и бывает в жизни, Ленок...

Многое хотелось им рассказать друг другу, еще больше — распросить друг друга. Но никто из них не решался на это. Может быть, из деликатности, а может быть, подсознательно избегали переступить незримые границы сегодняшнего вечера, уведившего далеко-далеко, почти в детство.

Часы на соборе пробили десять. Тот же чистый, острый звук колокола, только ритм боя почему-то изменился, будто торопились они сделать последний удар.

— Мне пора домой...— сказала Елена.

Он вздрогнул от неожиданности.

— Почему?

— Вот видишь, ты и забыл! В десять, по этому бою, мы начинали прощаться.

— Ну еще пяток минут,— умоляюще сказал Брянцев, точно воспроизведя интонацию восемнадцатилетнего Лешки.

Елена улыбнулась.

— На недельку-две я люблю приезжать сюда. Для меня это город воспоминаний,— сказала она.— Город встреч с детством, с юностью. А они у меня были счастливые.

— Город первой любви...— добавил Брянцев.

Она благодарно и растроганно взглянула ему в глаза и тут же отвела взгляд, словно боясь, что он увидит больше, чем ей хотелось.

— Я тебя не спрашиваю ни о чем, Алеша. Где ты, что ты, как ты? Нарочно не спрашиваю. Поступай так и ты. Давай немного поживем в нашем мирке. В том, прежнем... Ты завтра свободен?

— Конечно.

— Пройдемся по нашим местам. И проведем наш день. С утра до вечера. Согласен?

— Еще бы!

Подошли к заветному тополю. Брянцев прислонился к нему спиной. Так он делал всегда раньше, когда они целовались здесь: ствол был надежной опорой.

Лена разгадала его намерение. Помахала рукой на прощанье и пошла. Потом остановилась, крикнула:

— Завтра в девять утра! Там же!

У многих здравомыслящих людей утро отличается от вечера тем, что безжалостно разгоняет вечернюю романтическую дымку, восстанавливает трезвую ясность мысли, ощущение реальности происходящего. Эту особенность Брянцев знал за собой. Была она в годы юности и у Елены.

Проснувшись в номере гостиницы рано и сразу, как и подобает человеку, привыкшему к ритму заводской жизни, Брянцев даже немного поежил, вспомнив вчерашний вечер. Он не представлял себе, как они встретятся сегодня. По сути их связывала непрочная нить короткой, почти детской любви, а разделяла глубокая пропасть долгих лет разлуки.

За окном на безоблачном небе бушевало солнце, заливая город беспощадным светом.

Тщательно побрившись, Брянцев открыл чемодан и достал новую зеленую спецовку, припасенную для охоты. Кто знает, где они будут бродить, лучше чувствовать себя свободно. Почему-то решил, что Елена потащит его за город.

Но у нее была своя программа дня.

— Прежде всего — в школу,— сказала она, появившись на «Углу встреч». — А за костюм — ты молодец. В том, коричневом с искорками, ты выглядел чересчур торжественно. Как жених...

Утро подействовало и на нее отрезвляюще. Она избегала прямого взгляда и даже под руку его не взяла. Молча шагала рядом в простеньком ситцевом платье, в туфлях без каблучков.

«Слава богу, прошло вчерашнее наваждение»,— подумал он, испытывая радость от того, что опять стал взрослым.

Вошли в подъезд школы. Елена объяснила суровой сторожихе, что они когда-то учились здесь и хотят посмотреть свой класс. Сторожиха милостиво разрешила им.

Поднялись на второй этаж, перед актовым залом свернули в коридор направо. На первой двери по-прежнему висела табличка «10-й „А“».

Подчеркивая торжественность момента, Елена посмотрела на Брянцева долгим взглядом и открыла дверь. Прошла мимо доски к окну, села за крайнюю парту, оперлась подбородком на переплетенные пальцы. Это была ее обычная поза, когда она слушала объяснения учителя.

Брянцев не без труда втиснулся за другую парту и молча уставился на чисто вытертую доску.

Потом, в одно мгновение, словно по команде, они взглянули друг на друга уголками глаз. Так переглядывались они тогда. С этих взглядов все и началось...

Вспомнил, какого напряжения стоило ему не смотреть в ее сторону, а взглянув, оторвать взгляд от ее взгляда.

Сейчас он испытывал острое наслаждение от того, что между ними не торчат головы учеников, что нет в классе преподавателя, который ловил их взгляды, что он может смотреть не отрываясь...

Он поднялся и подошел к Лене. Она рванулась к нему, прижалась щекой к груди. Так они и стояли среди класса, пока не услышали шагов сторожихи.

А потом, когда они шли по улице мимо здания техникума, шли, потрясенные этим порывом нежности, Елена попыталась пошутить:

— Ах дети, дети, как опасны ваши лета...

И улыбнулась. Но улыбка получилась вымученной, грустной. Он тоже улыбнулся в ответ, и тоже вымученно, грустно.

— Будем продолжать нашу программу,— как бы встряхнувшись, сказала Лена,— хотя то, что произошло, честно говоря, в мою программу никак не входило.

Молча дошли до Соборной площади. Белая громада собора высоко вздымалась над двухэтажным городком, огромная тень от него падала на брусчатую мостовую. Купола были теперь покрыты оцинкованным железом — золоченые сняли гитлеровцы. Слева полукружье зданий разрезал Ермаковский бульвар, у самого начала его застыл на гранитном утесе Ермак, протягивающий России корону татарского ханства.

Посидели на ступеньках у бокового входа в собор, теплых, уже нагретых солнцем, вспомнили, как строили здесь планы на жизнь, которым не суждено было осуществиться, и пошли назад по Платовскому проспекту.

У винного магазинчика остановились.

— Помнишь? — спросил Брянцев.

— Это был мой первый стакан вина,— тихо отозвалась Елена.

Зашли в магазин, взяли по стакану сухого, чокнулись.

— Что значит стакан сухого для такого исполина?

— А сегодня тем более,— улыбнулся Брянцев.

У кинотеатра Елена чуть задержалась.

— Вот тут ты меня подкупил своей непосредственностью.

— Не помню.

— Ну как же! Бродили мы зимой часа три, я замерзла и предложила

пойти в кино. Ты помялся, но согласился. Подошли к кассе, и ты таким простым, естественным жестом достал из моей сумочки деньги, что, веришь, сразу роднее стал. Ведь у меня кавалеры были другие — маминого толка...

Когда дошли до угла Московской, Елена вдруг схватила его за руку и потащила к автобусу, который уже отходил.

— Куда? — спросил Брянцев.

— А тебе не все ли равно?..

Автобус катился мягко, подпрыгивая по булыжной мостовой окраинной улицы, потом затрясся по проселочной дороге, направляясь к роще. Справа раскинулось кладбище. Брянцев не узнавал эти места. Рощи как не бывало — ее вырубил немцы на топливо, на ее месте молодая низкая поросль. И высокой кирпичной кладбищенской ограды с отверстиями в виде крестов тоже нет.

Автобус резко затормозил. Конечная остановка.

Елена огляделась, выбирая, куда им направиться, и решительно повернула в сторону кладбища.

Та же церковь, такие же тихие, безликие богомольные старушки торчат на паперти. Но кладбища не узнать. Нет железных оград, нет железных крестов, разрослась сирень, делая дорожки почти непроходимыми.

Елена шла, раздвигая ветви, шла быстро, словно точно знала, куда идет, пока наконец кусты не расступились, открыв поляну. Здесь стоял большой просмоленный крест.

Брянцев сразу узнал его. Обогнули могилу и на тыльной стороне креста увидели большой ржавый гвоздь.

— Посидим здесь, — предложила Елена. Опустилась на траву, обхватила руками колени. Брянцев сел рядом.

Это он забил гвоздь. Ночью, на спор. Чтобы доказать ребятам и, конечно, в первую очередь Лене, свою храбрость.

Смешная тогда получилась история. Ребята во что бы то ни стало решили выиграть пари и спрятались неподалеку от креста, чтобы испугать Лешку. Но он перехитрил их — появился закутанный в белое. Увидев «привидение», неслышно вынырнувшее из кустов, мальчишки, истошно вопя, дали стрелкача и пулей пролетели мимо свидетелей, ожидавших у ограды финала этой проделки.

Брянцев взглянул на задумавшуюся Елену.

— Далеко ушла?

— Нет, я рядом. В том вечере. Ты меня восхитил своей смелостью, находчивостью. Тогда я оставила здесь свое сердце. — И смутилась. — Прости за выпренность.

— Мне и сейчас хочется тебя восхищать. Чем бы я мог? Подскажи.

Елена молча сбросила паучка, который запутался у него в волосах.

— В жизни ничто не пропадает, — сказал Брянцев. — Даже озорные проделки юности. Они дают закалку. Ты думаешь, мне на заводе смелость не помогает? О, еще как!

— В рошу пойдем? — спросила Елена, подымаясь.

— Нет, оставим на завтра.

Ее лицо вдруг просияло, стало детски радостным.

— Ты надолго сюда?

— На неделю.

— И я на неделю.

...Неделя прошла невероятно быстро. Они сидели на скамье, неподалеку от заветного тополя, он целовал ее влажные от слез глаза.

— Зачем ты приехал?

Это был не вопрос — укор.

Он погладил ее по голове, заглянул в глаза.

— Любимая...

Она отстранила его.

— Любимая,— повторил Брянцев, повторил твердо — так, будто давно собирался произнести это заветное слово и наконец решился, обдумав все и взвесив.

Скажи он это не в последний день, не в последний час, она не поверила бы ему. Но сейчас такое признание никаких притязаний не таило.

— Повтори,— попросила она.

Он повторил. Она вслушивалась в его голос, будто проверяла на слух искренность интонации. И вдруг повернула к нему счастливое лицо, обвила руками шею и так же твердо и четко произнесла:

— Любимый...

Они простились, испытывая горечь людей, нашедших друг друга и теряющих вновь.

— Посмотри последний раз на наш тополь,— сказала Елена.— Можно подумать, что он почти безжизнен. Но корни держат его крепко, и ему нужно немного влаги, чтобы он опять пошел в рост...

А утром, когда Елена пришла в гостиницу, чтобы проводить Брянцева на вокзал, он сказал, что никуда отсюда до конца отпуска не уедет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Быстро мчит по накатанному до блеска, словно отполированному асфальту новенький «ГАЗ-51» с трафаретом: «Испытания». Надпись эта спасает Апушкина от бесконечных проверок инспекторов ГАИ, штатных и общественных. Знают они, что в кузове лежит запломбированный груз, что в кабине сидят записанные в путевом листе люди. Поэтому Апушкин, увидев одинокого инспектора, остановившего для проверки одну или несколько машин, лихо берет влево и жмет, не снижая скорости. Только поприветствует его дружеским жестом руки, как старого знакомого, хотя видит впервые. И лишь самый докучливый, а порой самый неопытный инспектор остановит машину, якобы для того, чтобы попросить спички, а на самом деле убедиться: да, сидящий за рулем человек абсолютно трезв.

Больше всего в жизни не любит Апушкин одиночества. Но, как на зло, ему часто приходится ездить одному. И он рад, что рядом сидит Кристич.

С Кристичем с первого дня у него полный контакт. Словоохотливый парень, ничего не скажешь, сам на разговор идет. Вот только одна беда: не любит Апушкин инспекторов и контролеров, а получилось так, что контролера к себе в машину посадил. Не дает ему Кристич развернуться, прижимает на каждом шагу. Чуть зависил скорость — пошел нудный разговор о том, что с повышением скорости резина снашивается не пропорционально скорости, а в четыре раза быстрее; тормознул со скрипом — и у Кристича на лице появляется страдальческое выражение. Значит, опять жди лекцию. И для чего все эти предосторожности, когда резина-то дерьмовая! Он сам видел образцы, результат наперед известен.

И еще одного потребовал Кристич: через каждые две с половиной тысячи километров останавливаться, поднимать машину на домкрат и менять покрышки местами: внутренние — на внешние, левые — на правые, передние — на задние. Чтобы они в одинаковых условиях работали. Уж больно он настырный, этот Кристич.

Случалось и так: вечереет, до гостиницы километров сто, поднажать бы — хорошую комнату захватить можно. А Кристич не дает. И появляешься в гостинице, когда уже все занято, койку в общежитии со сле-

зами выпрашиваешь. А какой в общежитии отдых? Толчея всю ночь. Одни приходят, другие уходят.

Но не придирчивостью своей доводит Крестич Апушкина до белого каления, до холодного бешенства. Более страшный недостаток есть у его спутника: ни одного города не минует, чтобы хоть бегло не осмотреть его, ни одного музея не пропустит. Ну, город — куда ни шло, покрутил по улицам — и ладно. Музей — хуже. Музеи — настоящий бич для Апушкина. Ни живописью, ни скульптурой, а тем более битыми черепками да изоржавленными стрелами он отродясь не интересовался. А Крестич, мало того, что сам выискивает, что бы посмотреть, еще его за руку тянет. И ничего не поделаешь. Перед музеями всегда народ толпится — то туристы, то школьники. Не станешь же на глазах у всех отбиваться. Приходится идти.

Апушкин удивляется, почему он Крестичу командовать собой позволяет. Но это, очевидно, потому, что, если не брать во внимание пристрастие того к музеям и к выполнению инструкции, Крестич — чудесный человек. Компанейский, веселый — приятный, одним словом.

Особенно нравится Апушкину, когда Саша размышляет вслух, будто кроме него в кабине никого нет. И не о чем-нибудь — о страстях человеческих.

— У каждого человека страсть должна к чему-то быть, — говорит он размеренно, словно диктует кому-то для записи. — Человек без страсти похож на печь без огня — и сама холодна, и других не греет. В такой печи всегда какая-нибудь нечисть заводится, вроде тараканов. А тот, кто сам горит, — он и других зажигает. Только люди, одержимые какой-нибудь страстью, след после себя на земле оставляют и движут человечество вперед.

Нехитрая философия у Крестича, но Апушкин сердито посапывает, думает: «А какая страсть у меня есть? Никакой. Выполняю свою работу честно, но без сожаления променял бы на другую, чтобы поближе к людям быть. А след на земле? Разве что глянец навожу на асфальте».

— Значит, по-твоему, я не человек, — иронически усмехнулся он. — У меня страстей нет. И я на земле след не оставляю.

— Ну и чудак ты, — искренне возмущается Крестич. — А скажи, пожалуйста, когда ты танк в бой вел, что тобой владело? Не страсть ли очистить нашу землю от фашистов? Вот и след твой на земле. И какой след! А разве сейчас от твоей работы мало пользы? Выполняешь ее добросовестно, даешь шинникам на вооружение точные данные: какие шины делать, какие — нет. Ты — разведчик.

— А-а! — успокаивается наконец Апушкин. — Так, значит, страсть к работе тоже на твоих весах что-то весит?

— Как же иначе, друг мой ситцевый.

Справа от дороги открывается небольшое озеро. Деревья, окружившие его, подступили к воде так близко, что, кажется, растут прямо из воды.

— Постоять бы тут, — мечтательно вздыхает Саша.

— График не вышел, — холодно отзывается Апушкин. Он мстит спутнику его же оружием, хотя самому очень хочется поваляться на берегу, погреться на солнце. — Сам говорил — график. — И неожиданно переходит в наступление: — А скажи, пожалуйста, какая у тебя страсть, чтобы помогала человечеству идти вперед?

Вопрос озадачивает Крестича. В нем чувствуется явная издевка над его выпренной фразой. Он отвечает не сразу, подыскивает самые точные, самые убедительные слова.

— К техническим исследованиям, — говорит он.

— Знаем мы вас, исследователей...

На эту тему Апушкин и разговаривать не хочет. Он слышал в своем

институте нелицеприятные слова о рабочих-исследователях, видел образцы созданной ими резины и вполне разделяет предубеждение своего начальства. Даже зол на исследователей — на такой резине его ездить заставили! Черт знает, чем еще это путешествие кончится. Не пришлось бы лежать где-нибудь под откосом с задранными вверх колесами. Тоже мне, исследователи!.. Люди вон по пятнадцать лет учатся да еще в аспирантуре торчат, уже облысеют и обеззубеют, и то резина у них не получается.

О себе он не очень высокого мнения. Солдатом был, солдатом и остался. Пусть даже младший лейтенант, шофер. Но кругозор — никуда. От обочины до обочины...

А Крестич нет-нет да и вернется опять к своему общественному институту. Апушкину смешно. Каждый раз, когда Крестич произносит слова: «Общественный научно-исследовательский институт», в воображении Апушкина встает величественное здание института резины и каучука, с кабинетами, лабораториями. Посадить бы на место Чалышевой Крестича, а на место представительного, спокойного, авторитетного Хлебникова — вертлявого, крикливого Целина. Умора!

Апушкин так и представляет себе: прозвенел звонок, штатные исследователи расходятся по домам, а на их место заступают чумазные работники, пришедшие из цеха, и начинают колдовать с колбами и динамометрами. Вернее, не колдовать, а учиться колдовать — это ведь разница. Общественники, по его мнению, могут быть еще контролерами на транспорте, да и то с грехом пополам.

Прошла неделя. У Крестича иссякли «общие» темы — о цели жизни, о любви, о дружбе, о страстях человеческих. Только об искусстве говорил он по-прежнему неумолимо.

Зашли они как-то в один музей среди дня, запыленные, неумытые — дорога позади, дорога впереди, — и сразу в вестибюле Крестич около куска мрамора застыл. Стоит и Апушкин и ничего особенного не видит: девушка худенькая, грудь небольшая, бедра узкие, тонкие руки вверх вскинуты — пляшет.

— Что ты в ней нашел? — зашипел Апушкин. — Или голой девки не видел?

Крестич сверкнул глазами.

— А ты ее получше рассмотри! Походи вокруг, не спеша.

Апушкин сел на стул и уставился на скульптуру. А Крестич пошел по залам. Вскоре вернулся.

— Увидел что-нибудь?

— Ничего не увидел. Только стало казаться почему-то, что она вот-вот взлетит.

Облегченно вздохнув, Крестич сел рядом.

— В этом и сила настоящей скульптуры. Мрамор должен казаться живым. Запомни этот день — сегодня у тебя день рождения. И эту девушку: она впервые открыла тебе тайну искусства.

С этой поры Апушкин уже не возражал против посещения музеев. Иногда даже отставал, заслушавшись объяснений экскурсовода. Пока он понимал только одно: искусство — это целый мир, сложный, многообразный и для него пока еще совсем непостижимый. Но даже поверхностное соприкосновение с ним дает ощущение особой, ни с чем не сравнимой радости. Теперь он завидовал Крестичу, который умел проникнуть за черту неведомого, а значит и получать от искусства гораздо больше этой радости, чем он, Апушкин.

— Саша, ты в художники готовился, что ли? — спросил однажды Апушкин.

Прятедь ответил не сразу.

— Ко многому готовился... Как в школе воспитывали? «Будете, дети,

художниками, артистами, геологами, астрономами». О физическом труде никто из нас и не помышлял. Я в детстве рисовал неплохо, на гармошке играл. И вбил себе в голову: стану художником или музыкантом. А способностей не было. Хорошо, хоть вовремя это понял, хватило ума на завод пойти. Там я себя и нашел. А когда общественный институт организовали, определилось мое настоящее призвание — технические исследования.

Апушкин не оборвал Крестича, не отвернулся в сторону, как делал всегда, когда разговор заходил об общественном институте.

— У нас тоже такие, как ты, попадались — в общественный институт не верили, — говорил Крестич. — И среди инженеров, и среди рабочих. Специалисты считали, что нельзя рабочим самостоятельные исследования доверять. И некоторые рабочие были о себе невысокого мнения: где уж нам уж там уж замуж! Но я вперед забежал. Толчок к тому один человек дал. Калабин. С него все и началось. Осваивали мы свою, отечественную, сажу — до тех пор на импортной работали.

— Сажа импортная? — удивился Апушкин. — Эту дрянь из-за границы ввозили?

Крестич улыбнулся чуть покровительственно.

— Сажа — это не дрянь. От ее качества зависят свойства резины. Многие. А главное — износостойкость. Так вот, не пошла у нас новая сажа. Горит резина, пузырится, скорчивается. Так называемый «скорчинг» получается. Стоят станки, план заваливается — катастрофа. Инженеры-исследователи то один режим предложат, то другой. Рабочие выполняют их указания, а что к чему — не понимают. Эта работа вслепую надоела Калабину, и он вскипел: «Вы хоть бы мне объяснили, чего хотите добиться. Я на этой машине два десятка лет стою, резину чувствую и на ощупь, и по запаху, и по виду. Вы думаете, я всегда точно ваши инструкции выполняю? Сам корректирую процесс. И если буду знать, чего вы хотите, помочь смогу». Один инженер от него отмахнулся, а другой прислушался, остался с Калабиным после работы, и проговорили они до позднего вечера. После этого Калабин внес много интересных предложений. Если бы не он, долго еще осваивали бы отечественную сажу.

— Потом инженера наградили, а рабочий в тени остался? — попытался предугадать Апушкин ход дальнейших событий.

Крестич досадливо махнул рукой.

— Это, может быть, у вас в институте так: один работу делает, а другой отчет подписывает. У нас, когда резина пошла, инженер честно сказал директору, что без Калабина он ничего не добился бы.

— Правильный малый, — резюмировал Апушкин. — У нас, в гараже, деньги украсть — не украдут, а мыслишку слямзить за грех не считается.

— Так слушай. Пришел директор на завком и говорит: «Вы думаете, у нас Калабин один? Сотни их... Так почему же мы под спудом их опыт держим, почему не используем творческие способности, почему не побуждаем к творчеству?» Подумали, подумали — на самом деле: почему? Рабочий класс сейчас грамотный пошел, особенно молодежь. Кого ни возьми — семилетка, еще чаще — десятилетка. А у стариков хоть образования мало, так у них опыт годами накопленный. Решили создать первую группу рабочих-исследователей. Семнадцать рабочих и шесть инженеров. И как развернули дело! К ним потом еще присоединились. А сейчас уже это отряд в пятьсот человек.

— Где же вы все там размещаетесь?

Крестич рассмеялся.

— О-о, да ты, друг мой ситцевый, значит, думаешь, что мы по лабо-

раториям сидим? Не-ет, Иван Миронович. Мы ведем исследования на рабочем месте. Во время работы.

— Так при чем тогда «институт»?

— Фу, какой ты... Институт — это же не обязательно заведение. Это совокупность чего-то. Можно, например, сказать «Институт общественных контролеров». А у нас институт рабочих-исследователей. И факультеты разные есть. Кто технологией занимается, кто экономией.

— И ты, говоришь, нашел в нем свое призвание?

— Не сразу. Первое время не до этого было. Пришел из десятилетки со своими требованиями к жизни, а меня бах — в подготовительное отделение, на резиносмеситель. Думал уж специальность менять, а тут вдруг исследования начались. И интерес к делу проснулся. Да какой! За уши не оттянешь.

Апушкин не удержался, чтобы не съязвить:

— То-то ты со мной с такой охотой на три месяца в командировку поскакал.

— А ты, оказывается, злой. Оправдаться?

— Давай.

— Я три года в отпуске не был, три года из города не выезжал. И по выходным в цех бегал — как бы не пропустить что-то новое. Ведь мы все время искали этот антистаритель. То один пробовали, то другой, то третий. Когда его лучше ввести, на какой минуте смешения, сколько ввести. Надо было и оптимальный режим подобрать. От такого дела не оторвешься. А сейчас — пауза небольшая. Можно и мозги проветрить, и легкие от сажи очистить. Оправдался?

— Вполне, — дружелюбно произнес Апушкин и добавил с ехидцей: — К тому же, и проконтролировать захотелось, чтобы шофер не загнал шины каким-нибудь образом.

— А ты как думал? Кто же отдаст свое дитя на воспитание в чужие руки? Под своим надзором хочется до ума довести.

— И много у вас там таких... сумасшедших?

— Есть более точное и уважительное слово: «одержимых», — поправил Кристич. — Не все полтысячи, но сотня найдется. Они как дрожжи, которые будоражат тесто...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Брянцев предпочитал ночной самолет. Прилетишь в Сибирск утром — и прямо с аэродрома на завод. Оставалось добрых полтора часа до начала рабочего дня, можно посидеть в диспетчерской, ознакомиться с работой завода за время своего отсутствия и сразу включиться в круг нерешенных вопросов, в ритм заводской жизни.

Он вошел в здание заводоуправления, поздоровался с вахтером и направился в диспетчерскую. Отсюда осуществлялось непрерывное централизованное управление производством.

До Брянцева этот отдел был в загоне — сюда переводили инженеров, которые плохо справлялись с работой в цехе. Брянцев поставил дело с головы на ноги, отдел стал ведущим. На диспетчерский стул, который многие называли «электрическим стулом», потому что работа здесь была крайне беспокойная, он сажал пожилых многоопытных инженеров, которые по состоянию здоровья уже не могли вихрем носиться по цеху, но завод знали в совершенстве и руководили оперативной работой безупречно.

Сегодня за диспетчерским пультом сидел бывший начальник сборочного цеха Исаев. Может быть потому, что Брянцев сам когда-то работал

сборщиком, он считал, что люди этого цеха лучше всех остальных знают завод.

Увидев директора, Исаев не удивился, только радостно приподнял тронутые сединой брови и, прежде чем Брянцев успел спросить его о делах на заводе, спросил сам:

— Чем там кончилось в Москве, Алексей Алексеевич?

Брянцев понял, что происшествия последних дней взволновали весь завод.

— Пока утряслось,— ответил он и принялся просматривать сводку за последние сутки. План выполнен на сто два и две десятых процента. Прилично. Сырья достаточно — есть и натуральный каучук, и синтетический, и сажа. Можно несколько дней никуда не звонить, не бить тревогу.

— Мы вас очень подвели? — спросил Исаев, имея в виду отказ коллектива перейти на старую технологию.

Брянцев невольно улыбнулся. Никакого отношения к этому отказу диспетчер не имел, но так уж поставлено на заводе, что каждый член заводского коллектива считает себя за все в ответе.

— Нет, помогли,— ответил Брянцев.— Как тут Бушуев? Справляется?

— Откровенно? — спросил Исаев.

— Конечно. Иначе бы я не спрашивал.

— Оперативен, все вопросы решает. Не всегда правильно, но решает. Остается ему только одно: научиться решать правильно.

— Это придет со временем,— благодушно сказал Брянцев.— А решительность — свойство характера, и, если ее нет, привить очень трудно.

— М-да! — неопределенно произнес Исаев.— Но за одно его решение вам придется хлебнуть неприятностей. Новый дом без вас заселили. И одну квартиру он дал вне очереди Приданцеву.

Брянцев не сразу вспомнил эту фамилию. Но когда вспомнил, покраснел от досады. Это был сборщик, которого он снял с работы и которого во время его отпуска восстановил заместитель директора по кадрам Карыгин.

— Кто это смастерил? — спросил Брянцев.

— Инициатива Карыгина, поддержал ее Бушуев. Они вдвоем протаранили все организации.

— Дом заселили?

— Да, уже и новоселье справили.

— Черт бы их побрал! Теперь начнется кутерьма...

При распределении квартир Брянцев строго придерживался решения общественных организаций. Он считал этот принцип наиболее справедливым.

Настроение у него испортилось. Подставлять под удар Бушуева не хотелось: еще не нажив авторитета — потеряет его. Значит, надо брать вину на себя. Но что он сможет сказать в свое оправдание? А Карыгина придется высечь.

Посмотрел на часы. До девяти оставался час. Немного, но все же в нескольких цехах побывать успеет. Подумал, не позвонить ли жене о приезде? Решил не звонить. Пусть спит. Она любит поспать.

Едва Брянцев переступил порог подготовительного отделения и с привычным волнением ощутил ни с чем не сравнимый острый запах резины, как к нему подошел Салахетдинов и забросал вопросами: удалось ли отбиться или надо готовиться к новым боям, и очень ли подвели они своим упрямством? Только ответил Салахетдинову, подошли другие рабочие с подобными же вопросами.

В отделении протекторов тем же поинтересовался Калабин. Ну как не рассказать все человеку, с которого начал свое существование об-

шественный институт? Не зря ведь экскурсантов, приезжавших на завод перенимать опыт, всегда подводили к калабинской шприц-машине и торжественно говорили: «Это начиналось здесь».

Калабин слушал директора, но не отводил глаз от резины, которая, как тесто, выдавливалась из профилированного отверстия машины и ложилась на роликовый транспортер. Потом вдруг рванулся в сторону и стал замерять ширину протекторной ленты.

Брянцев постоял еще несколько минут, пока не убедился в том, что протекторы строго соответствуют заданному размеру, задержался у ножа, резавшего ленту на куски. Потом поговорил с контролерами ОТК, которые замеряли и взвешивали протекторы, и направился было в цех каландров. Но его остановил резиносмесильщик, человек с кротким характером и с угрожающей фамилией — Змий. Пожав Брянцеву руку, сказал доверительно:

— Мыслишка есть, Алексей Алексеевич.

Очень хотелось Брянцеву попросить рабочего повременить до завтрашнего дня, но Змий пришел в свой выходной день, значит, его гложет беспокойство. До сих пор он не принимал участия в исследованиях, все поглядывал, что получится у других, взвешивал и вот, наконец, решился. Разве можно его оттолкнуть?

— Слушаю, — не особенно радостно произнес Брянцев.

— Хочу режим смешения сократить еще на минуту и двадцать секунд.

Брянцев недоверчиво прищурился. Режим смешения, по общему мнению, и так был поджат до предела. Змий — рабочий не очень грамотный. Не ошибается ли он?

— А качество смеси?

— Улучшается.

— Откуда ты знаешь?

Змий заговорщически огляделся по сторонам.

— Вы меня не выдадите? Четыре ночи пробовал на свой страх и риск. Получается!

— Но это же нарушение технологии.

— Эх, Алексей Алексеевич, нарушать технологию вредно тому, кто плохо в ней разбирается. А с умом нарушать...

«Ого, — подумал Брянцев, — новая формула оправдания всяких нарушений, но довольно остроумная». И спросил:

— А кому я не должен тебя выдать?

— Начальник цеха, если узнает — заест!

Брянцев расхохотался.

— Вот это здорово! Начальника цеха боится, а директора в сообщники берет.

— Так я с вами сейчас не как с директором завода говорю, — резонно заметил Змий. — Я к вам как к директору института подошел. Вы-то должны меня понять, сами многим рискуете.

— Ладно, иди к Целину.

Брянцев долго смотрел вслед удалявшемуся рабочему. На самом деле: как он мог поступить, встретив препятствие? Теоретического багажа, чтобы доказывать свою правоту, у Змия нет, а техническая интуиция есть. И он проверил сначала на практике. Попробуй, прижми его! «Вы же сами...» Вот что значит пример руководителя, дурной или хороший. Насколько должен быть безупречен руководитель, чтобы его не попрекнули собственными же поступками.

До сих пор он мог пробираться тех, кто нарушал семейные устои. А вот когда у него произойдет семейная передряга, каждый сможет огрызнуться: «А что, товарищ директор, уходить от жены — это только ваша привилегия?»

В цехе каландров Брянцев задержался. Он никогда не проходил мимо каландровожатых. Это была дань восхищению искусством людей, которые на глаз умели определять степень обрезаживания корда с точностью до сотых долей миллиметра, на глаз настраивали свои машины так, чтобы они при огромной скорости прохождения кордной ткани успевали прорезинить все нити в отдельности и все полотно в целом. На заводах, построенных в последние годы, эту задачу решали автоматы, счетные машины, приборы, вооруженные изотопами, а здесь, в Сибирске, это делал человек. Десятки тысяч метров корда, хлопчатобумажного, вязкого, капронового, проходят через руки каландровожатого. Через руки ли? Ой, нет! Тут нужен весь человек, и не только со своим настроением, но и со всем комплексом ощущений и чувств.

Разве может каландровожатый хорошо нести вахту, если он сегодня разругался с женой? Или если ему не дали выспаться после работы дети, или теща перед выходом на работу попрекнула каким-то проступком, который в ее воображении вырос до размеров смертного греха?

Вот почему, попав в каландровый цех, Брянцев смотрит не только на машины, хотя и машины ему многое говорят, а на людей. Как было с Северовым? После очередной схватки с тещей он всегда держался победоносно, даже насвистывал что-то воинственное, но внимание его было отвлечено перипетиями домашней ссоры. Нет-нет да и получался у него плохо обрезаженный корд. А работа такая, что не зевай — за одну минуту сорок метров. Брянцев поговорил с Северовым по душам, и все оказалось проще простого: детей принесли в детский сад, надобность в теще исчезла. Теперь она ходит в гости, и только по воскресным дням. С тех пор качество пропитки и обрезажки корда на третьем каландре в смене «Б» неизмеримо улучшилось.

Нет, Брянцев не был похож в этом случае на волшебника, который творит добрые дела, оставаясь в тени. На этом примере он многих воспитывал, в том числе руководителей каландрового цеха. Так пропесочил их на профсоюзном собрании, а потом на партийной конференции, что у них спины были мокрые. Разве не их прямая обязанность интересоваться жизнью, бытом и настроением своих рабочих?

Настроение рабочих! Кто, когда на каком арифмометре мог подсчитать этот фактор? Не мог подсчитать и Брянцев. Но он его всегда учитывал и умел уловить настроение человека, даже мимоходом взглянув на него. Многим такое качество казалось сверхъестественным. А тем более у Брянцева. Большого, энергичного, с грубоватым, волевым лицом, с решительной походкой, его сначала воспринимали как олицетворение силы, и только силы. Тонких эмоций, чуткости от него не ждали. Но именно он отличался удивительной чуткостью. И не случайно Дима Ивановский назвал Брянцева «приемником с внутренней антенной».

Сегодня на третьем каландре работал Гольдштейн, инженер, которого Брянцев заставил начать свою деятельность с рабочего места. У него всегда грустные глаза и понурый вид человека, вынужденного выполнять работу, которая не нравится. Брянцев понимает: учился в институте, готовил себя к командной должности, а тут на тебе — рабочее место. Но Брянцев только такой путь и признает. Что это за руководитель, который не умеет делать то, что делает нижестоящий! Кончился век людей, годных только для руководящей работы. Настоящий руководитель должен пройти все звенья производственного процесса и знать их досконально.

Он хотел уже подозвать Гольдштейна и сделать ему «тонизирующее вливание», как вдруг увидел: за разматывающимся рулоном корда примостили какой-то барабан с движущимися плитами, явно кустарного происхождения.

Гольдштейн заметил удивленный взгляд Брянцева и подошел к нему.

— Барабан нашей конструкции для ширения кордного полотна,— объяснил он.— Алексей Алексеевич, мы на сужении корда миллионы рублей теряем...

— Сам?

Гольдштейн молча обвел пальцем широкий круг в воздухе, что означало: вся бригада.

— А идея чья?

Инженер пожал плечами.

— Скромничаете? Ладно, скромничайте. Люди и это оценят.

Навстречу попалась сестра Крестича Ольга. Она и на заводе модничала. Узкие, короткие, совсем не спеховочные брюки, пестрая блузка. Кокетливо улыбнулась Брянцеву.

— Куда вы девали моего брата? Уехал в Москву, не вернулся и ничего не пишет. Как в воду канул.

Пришлось ответить, что брат уже на пути в Среднюю Азию — поехал испытывать шины.

До цеха вулканизации Брянцев не дошел. Ровно в девять перешагнул порог своего кабинета и через несколько минут уже разговаривал с собравшимися у него людьми. Здесь были Бушуев, старший диспетчер Уваров, Целин и секретарь парткома Пилипченко, самый среди них молодой, угловатый, с острыми, как у подростка, плечами.

Брянцев вспомнил о квартире, предоставленной вне очереди, но подавил в себе желание заняться сейчас этим вопросом — от него ждали подробного сообщения о событиях в Москве.

В дверях появился Карыгин. Медленно, спокойно прошел по кабинету, поздоровался, уселся в кресло. У него тщательно выбритое квадратное лицо, большие умные глаза. Тяжелые глаза, ощупывающие.

Брянцев рассказал обо всем, что произошло в Комитете, в НИИРИКе, ничего не утаив и ничего не прибавив, как привык рассказывать первым своим помощникам.

— Вы бы там объяснили, Алексей Алексеевич,— участливо сказал Бушуев,— что течение реки повернуть вспять невозможно, что наши шинники предпочитают работать с «ИРИСОМ» хотя бы потому, что он облегчает процесс.

— Вот это как раз я и забыл сказать,— признался Брянцев.

И вдруг заговорили все разом, взволнованно, перебивая друг друга. Только Карыгин молчал, как бы оставляя за собой право последнего и — казалось по его виду — решающего мнения.

Но долго разговаривать им не дали. Начались непрерывные звонки из городских организаций. И все просили Брянцева приехать, доложить о положении дел.

— Приеду, только позже, дайте оглядеться,— неизменно отвечал Брянцев и всякий раз ловил на себе осуждающий взгляд Карыгина. Он словно говорил, этот взгляд: «Звонят из высшей инстанции, работа не работа — нужно поехать, отчитаться».

Ровно в десять начиналась ежедневная оперативка по селектору. Начальники цехов сообщали о работе ночной смены, предъявляли претензии друг к другу, спорили, и не всегда можно было установить, кто прав, кто не прав, кто точен, а кто привирает.

Когда Брянцев работал главным инженером, все оперативки он проводил сам. Теперь они с Бушуевым чередовались — надо было помогать молодому главному. Авторитет Бушуева еще не все признавали, особенно начальник цеха подготовки Гапочка. Тот предполагал, что сам скоро станет главным — на его кандидатуре настаивал совнархоз. Но Брянцев проявил настойчивость: Бушуев — и никто другой. Были у этого

человека качества, которые подкупали директора, — честность — ни разу никто не поймал его на вранье, объективность — личные отношения никак не влияли на отношения производственные и смелость — всю войну Бушуев провел в истребительной авиации, дважды был сбит, дважды падал на вражеской территории и дважды возвращался в строй. Он был очень настойчив, но не упрям. Когда понимал, что запоролся, давал задний ход, менял свое решение. И жадно тянулся к новому.

Мы зачастую уважаем людей, похожих на нас самих. Брянцев тоже уважал Бушуева за те качества, которые были в нем самом, и видел в Бушуеве то, чего не видели другие, — потенциальные возможности роста. Из-за Бушуева у него испортились отношения с совнархозом. Но ни разу не раскаялся Брянцев в своем выборе, ни разу не подвел его главный инженер. И было особенно досадно, что Бушуев попался на чью-то удочку, предоставив квартиру Приданцеву. Но об этом потом.

Разбирая накопившуюся почту, Брянцев слышал, как Бушуев воевал с Гапочкой. У Гапочки всегда все кругом виноваты, только он один прав. Ночью простоял у него резиносмеситель, еле-еле вытянули план, но об этом Гапочка ни слова. Все только о паре, воде, подаче вагонов.

И Брянцев не выдержал.

— Павло Иванович, — сказал он в микрофон, — переверните пластинку. Эта сторона у нее до того заиграна, что хрипит. Почему у Салахетдинова простоял резиносмеситель?

Директорского баса Гапочка не ожидал и растерялся. Брянцеву врать опасно. Поймает — месяц выволочку давать будет. И он сдался.

— Электрик зевнул. Мотор перегрелся.

— Вот с этого и начинали бы, — сказал Брянцев и вернулся к чтению почты.

Много пишут. Многие пишут. И из всей груды писем явствует одно: не хватает шин. Во многих автохозяйствах машины стоят на приколе. А это значит — недоставленные грузы, невыезденные удобрения.

Эх, если бы каждый шинник читал такие письма ежедневно! Брянцев однажды испытал силу их воздействия — прочитал несколько таких писем на рабочем собрании. И словно ток прошел по аудитории. Такие бурные выступления начались! Всем попало. И за плохое качество, и за простой, и за нечеткую организацию работы. И ему в том числе. А после собрания еще раз попало. Отвели его в сторону секретарь райкома Тулупов и Карыгин и стали читать мораль: надо ли обнажать перед всеми наши неполадки в народном хозяйстве?

Сдерживая закипавший гнев, Брянцев ответил:

— Письма такие полезны — они расшевелили народ. Что же касается неполадок, то рабочие о них знают больше, чем мы, потому что не страдают болезнью принимать желаемое за действительное. Кстати, учтите, это самое страшное для руководителя.

— У меня все! — гремит в динамике зычный голос Бушуева. — Больше ни у кого вопросов нет?

— У меня есть, — говорит Брянцев и придвигает к себе микрофон. — Товарищи, мы лучше, чем кто-либо, знаем, что единственный безошибочный путь испытания шин — это испытание дорогой. Наши шины сейчас ушли на ускоренные испытания в Среднюю Азию, где, как вы понимаете, самые жесткие температурные условия. Будем ждать. Основное направление нашей деятельности остается прежним: повышение ходимости шин. Вот на это и прошу направить творческие усилия и лаборатории и института рабочих-исследователей. У меня все.

— Селекторное совещание окончено, — сообщает Бушуев, и в динамике слышится щелчок.

Брянцев вздыхает с облегчением — теперь не придется ему отвечать на вопросы каждому в отдельности — и тут же звонит секретарше: — Вызовите ко мне Бушуева и Карыгина.

Они входят одновременно. Бушуев, большой, широкоплечий, с открытым, добродушным лицом, и коренастый, ожиревший Карыгин, затаившийся в себе, как всегда непонятный.

— Чью квартиру вы отдали Приданцеву? — спрашивает Брянцев, обращаясь к Карыгину, который в этот момент умещает свое грузное тело на стуле.

— Заварыкина, — невозмутимо отвечает Карыгин.

Бушуев молчит — он ничего не понимает в этой сцене. Лицо Брянцева сначала белеет от сдерживаемого бешенства, потом начинает наливать кровью.

Заварыкин давно работает, он лучший каландровожатый, но лучшей квартиры до сих пор не имеет. Вернувшись из армии, построил землянку в одну комнатушку и живет в ней впятером — жена, двое детей и старик отец, разбитый параличом. Брянцев побывал в этой сырой, пропитанной разными запахами развалюхе. Потому побывал, что каждый раз, когда распределяли квартиры, Заварыкина отводили, ссылаясь на то, что у него собственный дом. Дом! Брянцев убедился, что это за дом. Но до сих пор действовала формальность: собственникам государственных квартир не давать. Отчаявшийся Заварыкин хотел было уехать на другой завод, но Брянцев уговорил его подождать, пока построят новый дом, твердо пообещав предоставить квартиру из двух комнат. И не только Заварыкину обещал — дал обязательство на собрании в цехе каландров.

Он знал, с каким трудом завоевывает руководитель доверие рабочих. Знал, что рабочего человека достаточно обмануть один раз, больше он тебе никогда не поверит. И вдруг — отдать квартиру Приданцеву. Почему? Кто такой Приданцев? Неплохой сборщик шин, но он растратил профсоюзные взносы, получил взыскание по профсоюзной линии, и Брянцев перевел его на погрузку готовой продукции.

Так Приданцев и работал на погрузке, пока Брянцев не уехал в отпуск. А вернулся — и увидел его опять у сборочного станка. Кто восстановил? Карыгин. Почему? И только сейчас вспомнил: о Приданцеве беспокоилась Тася.

Чтобы не сорваться на крик, Брянцев сосчитал до десяти.

— Как вы до этого додумались? — спросил он Карыгина.

— Я выполнил вашу волю, — чеканно произнес тот. — Мне звонила ваша жена и просила от вашего имени.

Брянцев растерялся. Может ли быть такое? Впрочем...

Набрал номер квартиры.

— Ты дома? Сейчас пришло машину, приезжай на завод.

Таисия Устиновна ответила, что она не одета и не причесана.

— В одиннадцать часов утра женщина должна быть одета и причесана, — сказал Брянцев и позвонил секретарше: — Пошлите домой машину.

— Мы можем уйти? — спросил Карыгин.

— Посидите, — сухо ответил Брянцев. — Вам же трудно ходить, а вы будете нужны.

Карыгин постоянно жаловался на расширение вен, на тромбофлебит, говорил, что каждый шаг причиняет ему боль. Из сочувствия ходили к нему — и главный инженер, и секретарь парткома, и председатель завкома, ходил и директор. Мелочь? Но вокруг Карыгина создавался ореол таинственности — не он ходит, а к нему приходят. Значит, не согласны с теми, кто снял его после разоблачения культа с поста секретаря обкома, значит, до сих пор относятся к нему как к партийному руководи-

телю. И люди, которым приходилось побывать в приемной Карыгина (он сумел отвоевать себе и приемную, и отдельную секретаршу), делали свои выводы о роли этого человека на заводе.

Чтобы не терять времени, Бушуев стал рассказывать директору о положении на участке сборки новых шин.

Обычно Брянцев вникал во все детали работы нового сборочного пролета, но сейчас, поглощенный своими мыслями, слушал рассеянно.

Вошла Таисия Устиновна в пальто, из-под которого виднелся халат, в повязанной наспех косынке. Увидев Карыгина, остановилась от неожиданности.

— Садись,— сказал Брянцев тоном, не предвещающим ничего хорошего.— Ты о чем просила от моего имени товарища Карыгина?

— Я? От твоего имени? Я просто просила дать квартиру многосемейному человеку. Он живет у тещи...

— У тещи в четырехкомнатном доме, да еще с флигелем, который сдается в наем! — загремел Брянцев.

Карыгин приподнял руку, как школьник в классе.

— Простите, Таисия Устиновна, вы сказали, что это желание Алексея Алексеевича, которое он не успел высказать, поскольку срочно уехал.

Бушуев поднялся, чтобы уйти,— не хотел присутствовать при этой странной семейной сцене, но Брянцев задержал его. Мнением Бушуева он дорожил, пусть тот узнает правду.

— Я даже имени твоего не произнесла,— сказала Таисия Устиновна.

Карыгин поднялся, поднялся с трудом, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Вот что, дорогие супруги,— проговорил он.— Я надеюсь, что вы разберетесь без моего участия. Мужья обыкновенно верят женам. Но я даю слово коммуниста, что просьбу Таисии Устиновны воспроизвел со стенографической точностью.

Брянцев тоже поднялся, и это было понято как знак окончания беседы. Бушуев и Карыгин ушли.

Едва за ними закрылась дверь, как Таисия Устиновна расплакалась.

— Порядочные мужья прежде всего домой заезжают. Хотя бы переодеться. А ты... ты вытащил меня сюда как на судебное разбирательство. Еще народных заседателей посадил бы рядом...

Не знала Таисия Устиновна, какой болезненный удар нанесла мужу. Действительно, следовало бы сначала заехать домой. В том, что он поехал прямо на завод, немалую роль сыграло подсознательное стремление отдалить встречу с женой.

— Восстановление Приданцева на работе тоже не обошлось без твоего участия?

Эта мысль шевельнулась и раньше, но он не хотел спрашивать при Карыгине.

— Да,— всхлипывая, ответила Таисия Устиновна.

«Станный все же человек Карыгин,— подумал Брянцев.— Тогда он ни слова о Тасе не сказал — всю вину взял на себя».

— И — последний вопрос: значит, ты не раз совала нос в мои дела? Таисия Устиновна наклонила голову и ничего не ответила.

Брянцев зашагал по кабинету. «Зачем она все это делает? Неужели не понимает, как подводит меня? И что ею движет? Бабе сострадание или тщеславное желание показать, что она как жена директора многое может сделать?»

Он позвонил секретарше и попросил вызвать шофера.

Василий Афанасьевич вошел тотчас — очевидно, сидел в приемной. Брянцев сказал ему, чтобы отвез Таисию Устиновну в поселок «Самстрой», к Заварыкиным. Туда, куда ездили они весной.

— Это еще зачем? — запротестовала Таисия Устиновна. — Что мне там делать?

— Посмотришь, в каких условиях живут люди, у которых по твоей милости отобрали квартиру.

— Дождь вчера был, там грязь непролазная, — попытался образумить директора обычно безропотный шофер.

— Довезете до спуска и покажете, как пройти.

— Но Таисия Устиновна в туфлях, — шофер посмотрел на директора откровенно негодующим взглядом.

Слезы все еще катились из глаз Таисии Устиновны, она неловко смахивала их пальцем.

Брянцев протянул ей платок. И вдруг улыбнулся.

— Ничего, не горюй. Мы эту ошибку исправим. И людям поможем, и ты отучишься быть доброй за государственный счет. Езжай! — Он примирительно похлопал ее по плечу.

Нелегкая должность директора требует недюжинной способности мгновенно переключаться с одного вопроса на другой. Вулканизаторщика Каелу Брянцев принял так, словно только и ждал его.

Старый вулканизационный цех — самый тяжелый на заводе. Он мало поддавался механизации, и летом и зимой здесь стояла жара и рабочие ходили полураздетыми. Большинство предложений, которые они вносили, касались условий труда. Безусловно и Каела пришел с тем же.

Каела навис над столом директора, как утес над долиной. И нос, и губы, и даже подбородок у него тяжелые, а глаза с мудрой лукавинкой. Он один из самых активных исследователей. Собираясь на пенсию, Каела торопился выдать все, что накопил за годы работы.

На прием к Брянцеву сидело человек восемь сотрудников заводоуправления. Каела понимал, что у директора не очень много времени для разговоров с ним, и потому начал без обиняков.

— У нас положение такое, Алексей Алексеевич, — Каела положил на стол замусоленный чертеж автоклава. — Сюда десять пресс-форм заходит с покрышками и еще двести миллиметров свободного места остается. А форма вся — четырехста по толщине. Где же еще двести выкроить, чтобы одиннадцатую запихнуть? Лишняя пресс-форма — значит, производительность каждой камеры на десять процентов поднимется. Понимаешь?

Много повидал Каела на своем веку директоров и всех их называл на «ты», но по разным причинам: одних — из отсутствия уважения, считая их «временщиками», других — из неприязни, а Брянцева — с той фамильярной нежностью, которая отличает отношение старого кадрового рабочего к своему доморощенному руководителю, выросшему не без его участия.

— Понимаешь! — передразнил его Брянцев, но, поглощенный своими мыслями, Каела не обратил на это внимания.

— Так вот я и говорю: где еще двести взять? — Он уставился на Брянцева, тактично предоставив тому возможность подумать. Не получив ответа, продолжал: — Ты посмотри на плунжер, на который мы эти пресс-формы грузим. Он толщиной в пятьсот миллиметров, а для чего? Тут и трехсот хватит. Что, нет, скажешь?

— Не знаю. Плунжер инженеры рассчитывали, не с потолка же они такую толщину взяли.

— А может, и с потолка, — прищурившись, сказал вулканизаторщик. — А если они запас прочности десятикратный взяли? Старые инженеры как оборудование рассчитывали? На дураков. А мы-то с той поры поумнели небось. Поумнели, Алексей Алексеевич?

Только сейчас Брянцев заметил, что рабочий навеселе. Не очень,

но хватил. Не то от радости, не то для храбрости. Однако на нем чистый костюм, значит, пришел в свой выходной день, и делать ему замечание не стоит.

— Так вот, смотри,— продолжал Каела.— Если плунжер на двести миллиметров сточить, на мой глаз, ему прочности хватит и как раз для лишней формы место появляется. А как на твой?

Брянцев почувствовал себя тем самым дураком, на которых рассчитывали это оборудование. Сколько раз, со сколькими людьми он искал, как увеличить производительность автоклавов! Им удавалось это, но они шли сложным инженерным путем. А вот до такой простой вещи не додумались. Почему? Считали размеры агрегата, всех его частей каноничными. А Каела — то ли по технической малограмотности своей, то ли по природной смекалке — додумался. Надо, конечно, проверить расчетом его предположение, но Брянцев уже чувствовал, что Каела прав.

— С начальником цеха говорил? — спросил он.

— Боится он.

— С Целиным?

— Что Целин? Нет у нас сейчас Целина, был и весь вышел. Как улитка в себя спрятался.

Брянцев снял трубку, вызвал Целина к себе.

— Слушайте, милорд, как у вас с селезенкой? — спросил он, когда Целин вошел в кабинет.

У Целина полезли на лоб глаза.

— С селезенкой? С моей?

— О своей я бы у вас не спрашивал. Считалось, что сплин — следствие заболевания селезенки. Учтите: заболевание это сугубо аристократическое, нам оно противопоказано. Так что вы его с себя стряхните, пока другие не стряхнули. Займитесь Каелой. Поручите сделать расчет и доложите мне.

Не очень-то ласково взглянув на директора, Целин взял чертежи и ушел с рабочим.

Брянцев вызвал к себе начальника хозяйственного отдела.

Вошел молодой, энергичный человек, всем своим видом показывающий, что готов выполнить любое распоряжение директора.

— Грузовик есть с двумя ведущими? Вездеход?

— Найду.

— Грузчики? Четыре человека?

— Могут снять с погрузки шин.

— Тогда езжайте сами вот по этому адресу. Погрузите все имущество и тащите его со всеми жильцами ко мне на квартиру.

— Что? — не поверил своим ушам начальник АХО.

— Повторить?

— Нет, нет. Значит... на вашу квартиру?

— Значит, на мою.

Начальник АХО вышел с поднятыми от удивления плечами. Смысла распоряжения он так и не понял, ясно было лишь, кого и куда перевозить.

А Бушуев в это время расхаживал по кабинету Карыгина и старался разобраться в том, что же все-таки произошло с предоставлением квартиры Приданцеву.

— Да поверьте мне,— убеждал его Карыгин,— вы присутствовали на плохо отрепетированном семейном спектакле — партнеры не сыгрались.

— Мне понятно одно: в этом деле я играл глупую роль пешки... Но я никак не доберусь до режиссера спектакля!

— В данном случае актер и режиссер — одно лицо: Алексей Алексеевич Брянцев.

— Не верю,— решительно сказал Бушуев и, остановившись, в упор посмотрел на Карыгина.

Тот горестно вздохнул.

— Эх, Станислав Сергеевич, зелены вы еще. Даже для несложной внутризаводской дипломатии зелены. А я многое на своем веку повидал и не так легковоерно отношусь к людям...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Многое повидал на своем веку Карыгин.

Внешне жизнь у него проходила стремительно и была насыщена событиями. Не успел проработать и года в прокатном цехе Златоустовского металлургического завода, как его послали в Промышленную академию, которая готовила инженеров из самой гущи производственников. Вернулся на завод и вскоре из рядового инженера технического отдела вырос до директора завода. И на этом посту поработал не больше года: избрали вторым секретарем обкома партии, а затем и первым.

Шел 1937 год... Сотни людей, придя с работы домой, не возвращались на работу, или, уходя на работу, не возвращались домой.

В эту страшную пору и вырос Карыгин.

Его взлет никого не удивил. Он был молод, в уме и деловитости ему нельзя было отказать. Перед такими, как он, широко открывалось будущее, им предоставлялись все возможности проявить себя в полную меру.

В тридцать лет — секретарь обкома, облеченный единоличной властью карать и миловать, решать все вопросы — и хозяйственные и политические. Есть от чего закружиться голове! И главное — полная безнаказанность за все, что бы ни сделал, неограниченная возможность глушить недовольство и подавлять критику. Выступят против тебя на собрании — можно приклеить ярлык клеветника, который подрывает авторитет секретаря обкома, а значит, и авторитет партии, поставившей тебя на этот пост, напишут на тебя жалобу — она возвращается к тебе на твое рассмотрение и усмотрение. А жалобщик тоже получает ярлык клеветника и подрывателя основ.

Карыгин прivityк к власти, к беспрекословному подчинению. Он окружил себя людьми, постоянно готовыми выполнять его волю. Человек по природе одаренный, самоуверенный и властный, с недожиданными ораторскими способностями, он пользовался авторитетом. Сделать без всякой подготовки двухчасовой доклад, даже не заглянув в бумажку с тезисами, для него не составляло труда. Опрокинуть в споре противников, да еще поглумиться над ними всласть было для него легкой забавой.

Он очень рано понял смысл и безнаказанность показухи, считал, что гораздо важнее рапортовать об окончании сева, чем закончить его, рапортовать об уборке хлеба, чем убрать его. Победные реляции подписывал не моргнув глазом, а людей, которые поговаривали об очковтирательстве, вызывал к себе, не ругал, не кричал на них, а увещевал: «Эх, зелены вы, молодой человек, даже для внутрирайонной дипломатии зелены. Все равно мы сев закончили. Наш рапорт другие области подхлестнул, шевелиться заставил. Вот ведь в чем его политический смысл. Это понимать надо!»

С особым удовольствием подписывал он обязательства, всегда смелые, громкие, всегда обращающие на себя внимание. Знал, что впечатление эти документы произведут большое, а проверять их никто не станет. Если же паче чаяния и проверят, то ругнут один на один, без оглашения в печати. В общем — хвальба на миру, а срам с глазу на глаз. Беспроигрышная лотерея. И никогда не упускал случая изобрести какой-нибудь почин. Любой почин. То велась борьба за чистоту улиц, то

за сбор лома, то за озеленение городов. И не так важно было провести этот почин на деле, как первым выступить с ним в печати. Ему доставляло радость читать потом, что почин области взят на вооружение, подхвачен другими. И сколько раз бывало так: почин у него давно заглох, а в других областях его без конца подхватывают, и расходуется он, как круги по воде.

Разоблачение культа личности было сильнейшим ударом для Карыгина. Он почувствовал себя так, словно его самого раздели и выставили нагого всем на обозрение. Он затаил злобу, затаил глубоко в себе, потому что ни с кем не мог поделиться своими сокровенными мыслями. Они, эти мысли, пригибали его к земле, угнетали невыносимо. Но еще сильнее мучил страх за свою участь. Не придется ли расплачиваться полной мерой за все содеянное?

Предчувствие не обмануло его — он не досидел в своем кресле даже до перевыборов. Его попросту сняли и предоставили самому себе.

Куда может пойти человек в таких случаях? Естественно, на хозяйственную работу по своей основной специальности. Но Карыгин в металлургическую промышленность не вернулся. Даже выбрал город подале от металлургических заводов и поглуше — Сибирск. Здесь долго думали, куда его девать, и назначили на шинный завод. Уж чем-чем, а кадрами ведать сможет. Он и ведал ими. Несколько лет сидел тихо, выжидал, полагая, что вышло какое-то недоразумение и скоро все опять станет на свое место. Жизнь вел замкнутую — сам ни к кому и к себе никого. Разговаривал только с женой, и то во хмелю. Он и трезвый мрачен, у него даже складки лица, даже губы не приспособлены к улыбке: когда он старается улыбнуться, получается что-то вроде гримасы. А во хмелю он страшен. Он не буйнит, не кричит. Уставится в одну точку и твердит:

— Меня еще позовут...

Но шли годы, а его не звали. И он сам стал напоминать о себе, напоминать скромно, здесь, на месте. Напросится лекцию прочитать, доклад сделать. Вступил в Общество по распространению политических и научных знаний. На заводе обрадовались: всегда готовый докладчик есть, когда ни попроси — не откажет. Красных уголков много, чуть ли не каждый день где-то требуется докладчик либо лектор. Он стал желанным человеком в заводском партийном комитете: опыт-то у него большой — целой областью ворочал, не грех с ним посоветоваться.

Понемногу и в райкоме партии к нему привыкли. Солидный, рассудительный, начиненный мудростью человек. Кто разберется в причинах его падения? Он виноват или то время виновато?

Трудно сказать, какую силу приобрел бы Карыгин на заводе, если бы не Брянцев. Нет, Брянцев не вставлял палки в колеса своему заместителю по кадрам. Там, где было нужно, даже поддерживал его, укреплял его авторитет. Но он мешал Карыгину. Мешал своим присутствием на заводе, мешал тем, что контрастировал с ним. Во всем. И в большом, и в малом. К примеру, делает Карыгин доклад. Гладко, приподнято, без единой заковычки, говорит — как пишет. Сначала слушатели сидят, будто замороженные. Но проходит время, и гладкие, округлые фразы перестают задевать сознание, убаюкивают, катятся мимо. В зале возникает шумок, начинаются разговоры. Карыгин форсирует голос, но власть над аудиторией потеряна. А Брянцев даром красноречия не обладает. В начале выступления долго подыскивает точные слова, позволяет себе сделать паузу между фразами, поразмыслить. Речь Карыгина похожа на хорошо укатанную дорогу. Брянцев же говорит — словно едет по бульжнику. Но его слушают до конца, боясь проронить слово. Карыгин понимает, в чем тут дело: народ предпочитает форме содержание. Ему не так важно, как говорит, — важно, что говорит.

Не любит Карыгин ходить вместе с Брянцевым по цехам. К директору то и дело подходят рабочие, беседуют о делах — производственных и личных. Обращаются даже с такими просьбами, с какими должны бы обращаться к нему, Карыгину. А он вынужден стоять рядом, переминаясь с ноги на ногу и терпеливо ждать, когда окончатся эти нескончаемые разглагольствования.

«Неудивительно, что к нему тянутся люди, — думает потом Карыгин. — Брянцев — у кормила. В его руках вся власть. А какая власть у заместителя директора по кадрам? Какие он решает вопросы? Принять или не принять на работу?»

И он начинает разыгрывать роль вершителя судеб. Подолгу выдерживает поступающих на работу в приемной, подолгу беседует с ними. Исповедует по всем правилам. Обо всем расспросит — пьет или не пьет, как живет с женой, сколько человек семьи. Относительно репрессированных родственников обмолвится, скажет, правда, что это сейчас роли не играет, но все-таки обмолвится. И у человека создается впечатление, что Карыгин принимает его в виде исключения. Из сочувствия, из личного расположения. Он уходит, испытывая чувство благодарности. Хороший начальник попался. Хоть и строгий с виду, но с добрым сердцем.

Особенно тщательно опросу подвергает Карыгин инженерно-технических работников. Для них он, вопреки всяким правилам, даже особые вопросы подготовил.

Сидит человек, напрягает память, вспоминая, какое отчество у дедушки, которого никогда не видел, и в какой деревне родилась мать жены. Карыгин крутит головой, слушая нечеткие ответы. Горестно вздыхает, долго думает, устремив на посетителя свой тяжелый взгляд. И только когда увидит, что посетитель пал духом и готов забрать свои документы, снисходит. Берет отложенные в сторону документы и нарочито размеренно говорит слова, которые дважды перевернут душу, пока человек дослушает их до конца:

— Что могу сделать? Наше дело, как у саперов: ошибиться можем только один раз. Объективные данные у вас неважные. Но, черт побери, есть в вас что-то такое, что внушает мне доверие.

Никто о такой проработке не знал и узнать не мог — не станет же человек рассказывать, что принят на завод из милости, по доверию, особо ему оказанному.

Не раз пощипывали Карыгина на собраниях за барство, за секретаршу, которая к тому же держала людей по часу-другому в приемной. И он решил оградить себя от критики. Воспользовался случаем, когда Удальцов, в общем неплохой сборщик, сделал прогул. За такой проступок с завода не увольняют, но Удальцов имел неосторожность незадолго до этого случая всенародно в цехе накричать на Карыгина. Тот подсунул под горячую руку Лубану, предшественнику Брянцева, приказ об увольнении Удальцова и добился своего: люди поняли, что с ним шутки плохи.

А другой раз, оставшись замещать Лубана на неделю, Карыгин раздал на премии остатки директорского фонда. Умею, мол, карать, умею и миловать. Это опять произвело впечатление.

Не просто разобраться в поступках такого человека. Попробуй пойми, о чем он думал, когда давал квартиру Приданцеву, выполняя просьбу Таисии Устиновны. Хотел угодить Брянцеву или насолить ему? Ему не удалось восстановить коллектив завода против директора, предоставив квартиру Приданцеву, зато он настроил против Брянцева городское начальство.

Узнав, что семья Заварыкина перевезена на квартиру директора (а весть об этом распространилась с быстротой молнии не только по заводу, но и по всему городу), Карыгин предпринял контрмеры. Он хо-

дил по кабинетам райкома, горкома, горисполкома, согласовывал какие-то свои малозначащие вопросы, а перед уходом говорил будто невзначай:

— Лихо товарищ Брянцев вставил фитиль всем городским руководителям! Лучше и придумать невозможно. «Вот я какой сознательный: ради благополучия рабочего человека в одну комнату переехал. А ну, кто следующий?»

А когда завязывался оживленный обмен мнениями, доказывал, что поступок Брянцева — логическое завершение его постоянной линии заигрывания с рабочими, игры в демократию, линии, которая началась еще со времени создания института рабочих-исследователей. Уж не чересчур ли большую роль он отводит общественности? Как бы не добился того, что завод перестанет быть управляемым. Отказались же люди выполнить требование Москвы перейти на гостовскую технологию.

В этой фразе все продумано, каждое слово отточено. «Старая» — заменено «гостовской», «отказ от перехода на старую технологию» — не звучит, а «отказ от гостовской» — звучит. «Потребовал директор» — не звучит, «Московский институт» — прозвучит, но слабо, а «отказались выполнить требование Москвы» — производит впечатление.

Было над чем подумать после такого разговора с человеком, который прошел большую жизнь, который каждый день общается с рабочими, с инженерами.

Особенно серьезно задумался над всем этим секретарь райкома Тулулов. Он молод, на партийной работе недавно, а Карыгин — старый зубр. Как к его сигналу не прислушаться? «Неуправляемый завод, — раздумывал Тулулов. — Ничего себе, пилулька может получиться... Как только этот случай безнаказанно прошел? И с квартирой запрещенный прием: вот, полюбуйте, какой я! А остальные, значит, холодные чиновники? Нет, надо вмешаться, пока не поздно, прибрать директора к рукам. Только как его приберешь, когда на заводе слабый секретарь парткома? Подмял его директор. Когда там перевыборы? Ага, скоро. Но кого? Кого рекомендовать секретарем?»

Вывод напрашивался сам собой: конечно же Карыгина. Мало того, что у него опыт большой, у него хватка крепкая. Только такой и сможет обуздать Брянцева. Но он наверняка откажется. Для чего ему лишние хлопоты? Сидит на спокойной работе, оклад большой, дотягивает до пенсии.

И Тулулов решил: даст Карыгин согласие — не пускать его к партийной работе, — значит, рвется к ней, а откажется — принять все меры, чтобы стал секретарем парткома.

Карыгин отказался.

А вечером, сидя дома, думал вожаделенно: «Мне бы только помогли приподняться. А там я уж сам...»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Одно и то же каждый день: из Ташкента в Джизак, из Джизака в Ташкент. У Апушкина есть теперь сменщик, ездят они поочередно. Но сменщик ездит один, а с Апушкиным всегда Саша Кристич. Дорогу они делят пополам. Туда, по утренней прохладе, — Апушкин, обратно, по жаре, — Кристич. Нудно и однообразно. Никаких дорожных развлечений. И Апушкин не без удовольствия вспоминает их путь сюда, в Среднюю Азию. Он, собственно, привык к однообразию дороги — испытания, как правило, бывают челночные. Но одно дело выезжать из Москвы и возвращаться в Москву, а значит, домой, другое — когда ты надолго оторван от семьи и знаешь, что не скоро ее увидишь.

Шины оказались износостойкими. Кристич даже не смотрит на них. Раз в пятидневку делает замер, запишет в журнал — и все заботы. Только камешки, застрявшие между шашками, выковыривает, чтобы не грызли резину.

Постепенно его уверенность передается Апушкину, и тот не знает, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, хорошо, что заводским ребятам удалось сделать добротные шины, а с другой... Гарантийный километраж шины — тридцать две тысячи. Эти пройдут больше. Так все лето, гляди, прокатаешься по адскому пеклу. Повезло еще, что с ним Кристич.

Апушкин не очень любит, когда Кристич за рулем — у того руки и язык одновременно не работают. Что-нибудь одно: либо ведет машину, либо разговаривает. О товарищах по работе рассказывает, о Сибирске, а последнее время — больше о себе.

В войну сиротой остался, в детдом попал. Малышом совсем. Немного помнит он о том времени. Особенно запомнил, как стащил из красного уголка гармошку. Очень уж нравилось ему, когда на ней играли. По малолетству думал, что это так же просто, как играть на патефоне. Там только ручку крутить надо, а здесь — растягивать мехи да нажимать кнопки. Забрался с гармонью под кровать и тихонько пиликает. Вдруг видит — рядом чьи-то сапоги появились. Потом рука под кровать протянулась, схватила его за ухо и выволокла из укрытия. Поднял голову — директор детдома. Привел мальчугана к дежурному. «Вот, полюбуйтесь, как вы инструменты охраняете». Но гармонь не отобрал. «Поиграешь вдоволь, — говорит, — верни, захочешь снова — попроси, дадут. Чего доброго, музыкантом станешь».

Эта гармошка вскоре повернула его сиротскую долю.

Как-то приехала в детдом женщина, милая, с ласковым голосом. Только родимое пятно на лице портило ее — большое, до самого глаза. Долго ходила по комнатам, присматриваясь к детям. Увидела малыша, целиком поглощенного гармошкой, подошла, заговорила. Потом ушла. А Сашу директор к себе вызвал, сказал, что мать нашлась. Слишкоммышленым был мальчик, чтобы поверить, но обрадовался случаю уйти из детдома и так бурно выразил свой восторг, что сомнения не было: поверил.

Увезла Сашу Антонина Прокофьевна в свое село Дерябино, и зажил он там вольной жизнью. В школу ходить стал, товарищей новых завел. Антонина Прокофьевна работала телеграфисткой, достатка была среднего, но Саше ни в чем не отказывала, откармливала, отпаивала молоком, и вскоре он из заморыша в такого битюжка превратился, что всем на зависть. Гармонь ему купила, старую ливенку. Дедок один нашелся, подучил играть.

Все было хорошо, но на четвертый год счастливого житья Антонина Прокофьевна решила выйти замуж. Увидел Саша ее избранника и загрустил. Очень уж суровый человек, и какой-то весь деревянный — голос скрипел, как несмазанная телега, и ходил прямой, словно вместо позвонков у него кол был вставлен, и глядел одеревенелыми глазами. В этих глазах прочитал Саша свой приговор.

Три дня плакала Антонина Прокофьевна, а на четвертый отвезла сына в детдом — не захотел «деревянный» жениться на ней с приемным.

Саша уже кончал школу, когда вызвал его к себе директор и спросил, были ли у него сестры.

— Да, были. Катя и Оля.

Он смутно помнил: стоят возле него две девочки, одна побольше, другая поменьше. Старшая кормит их кашей и все приговаривает: «Будете есть кашу — большими вырастете». Положил директор перед ним

две фотографии. Девчата. Смазливенькие и совершенно разные. Черненькая и беленькая. Черненькая уже барышнится, а беленькая — его лет. Ничего эти фотографии ему не сказали. Директор повернул их обратными сторонами. «Оля Кристич», «Катя Кристич», — прочитал Саша и подумал безразлично: «Может, в самом деле сестры нашлись». Посмотрел на фотографии повнимательнее — черненькая девочка чем-то на него похожа.

«В гости зовут, — сказал директор. — Поедешь?» — «А может, они чужие?» — усомнился Саша. До сих пор ему не приходилось делить людей на чужих и родных. Подходил к ним с другой меркой — хорошие и плохие, добрые и злые, грубые и ласковые, люди, с которыми приятно общаться, и от которых хочется быть подальше. «Чудной ты парень. Сестры нашлись. Понимаешь — сестры! Это же родные люди! Больше у тебя никого на белом свете нет». — «У меня и мать находилась...» — мрачно буркнул Саша. — «Ты ее не суди, — сказал директор. — Ради приемного сына от личного счастья не откажешься. Она и так для тебя много сделала, четыре года скрасила. Для твоего возраста — это четверть жизни». — «Поеду, ладно уж», — решил Саша. Захотелось директору угодить да и девчонок посмотреть в натуральную величину. Может, стоит с ними водиться.

На вокзале его встретила Ольга, да так встретила, что у него сразу душа оттаяла. И целовала, и обнимала, и плакала, и смеялась. И совсем не старалась разобраться, какой он — хороший или дурной. Тогда-то Саша понял, что достаточно быть родственниками, чтобы тепло относиться друг к другу, и почувствовал уже на перроне сибирского вокзала, что тоже готов простить Ольге любой ее недостаток за ту теплоту, которой она одарила его.

Впервые попал Саша в такой большой город, и все здесь было ему в диковинку. И троллейбусы, и трамваи, и обилие цветов. Цветы всюду: вдоль тротуаров, во дворах домов, на балконах.

Ольга шла рядом, вела его за руку, как маленького, и говорила, говорила без умолку. Она была старше Саши на четыре года и многое помнила из того, чего не мог помнить он, — ему не было и пяти, когда семья эвакуировалась из Умани и когда при бомбежке эшелона погибла мать. Она словно предчувствовала беду и написала на спинах детей имена и фамилии химическим карандашом: «Растеряетесь если, — объяснила она, — потом вместе не соберемся. А так я вас всегда найду. Это вроде метрики».

Оля попала в Сибирск. До двенадцати лет жила в детдоме, а потом удочерили ее Прохоровы. Игнат Васильевич работал на шинном заводе. Детей у них было четверо, но все уже обзавелись семьями и разъехались. А они привыкли к шуму в доме, безлюдье и тишина их угнетали. Игнат Васильевич еще ничего — целый день на работе да и общественных дел хватало. А Юлия Николаевна все одна да одна. Вот и придумал ей муж заботу. Пошли в детдом, посмотрели детей и взяли самую шумливую — Олю. Когда же отыскалась Катя, взяли и Катю.

Рассказала Оля, что закончила школу и уже полтора года работает браслетчицей. Рассказала и о новых родителях — какие они добрые, заботливые.

Где двое, там и третьему место найдется. Сашу Прохоровы тоже не отпустили. Две недели прожил он беззаботно, а потом Игнат Васильевич решил повести его на шинный завод. Сначала заглянули в подготовительное отделение. Не понравилось Саше в этом цехе. Шумно, пыльно. В другом цехе сырую резину домешивали в валках. От липкой смоляно-черной массы шел острый запах. У Саши стали слезиться глаза, запершило в горле. Он закашлялся. Игнат Васильевич неодобрительно посмотрел на него и повел в новый цех, светлый, просторный, чистый.

Здесь Саша увидел Ольгу. Она принимала от подруг косо нарезанные куски кордного полотна, склеивала их быстрыми движениями в кольцо и пропускала между валками. Потом накладывала второй слой, третий. Она совсем не походила на домашнюю Олю, веселую и болтливую. Была сосредоточенна, удивительно точна в движениях.

«Так вот какие браслеты Оля делает»,— подумал Саша.

Больше всего понравился ему сборочный цех. Восхитила легкость, с какой сборщики надевали браслеты на вращающийся барабан. Бросилось в глаза и удивительное взаимодействие между станком и человеком: будто два живых существа без слов понимали друг друга. Но вот у одного сборщика на браслете образовались складки. Игнат Васильевич сердито засопел, когда рабочий стал разглаживать их. Но когда, так и не разгладив складки, рабочий стал надевать следующий браслет, подошел к нему, остановил станок. «Ты что?»— заорал сборщик.— «Я делаю что надо, а ты— что не надо».— «Подумаешь... Ты кто такой?»— «Ты не знаешь, кто я, зато я знаю, кто ты. Сукин ты сын!» Сборщик понял, что шутки плохи. Заюлил, стал снимать браслет, но Игнат Васильевич оттащил его от станка. «Зови мастера!» Но звать мастера не пришлось. Он как раз проходил мимо и сразу понял, что происходит. С ним рабочий вел себя смелее. «Ты бы лучше смотрел, чтобы браслеты нормальные давали!»— сразу перешел он в контрнаступление.— «Не стоять же мне из-за разини, которая немерные браслеты делает».

Пока мастер и рабочий разбирались, кто прав, кто виноват, Игнат Васильевич отправился к браслетчицам искать разиню и нашел. Виновницей оказалась Ольга. «Разве я так учил тебя работать, поганка?! Где ты такое подсмотрела?!»— набросился на нее Игнат Васильевич. Если бы Ольга удивилась, растерялась, было бы ясно, что она не знала о том, что делает брак. Но она закрыла лицо руками, заплакала и пошла прочь от станка. А Игнат Васильевич долго стоял понурившись...

В этот день до сознания Саши дошла одна простая истина, и он все больше убеждался в ее непреложности: шинник должен быть предельно честным.

Он говорит Апушкину:

— Ты знаешь, Иван Миронович, в чем сложность шинного производства? Оно все на честности построено. Изделие токаря можно замерить, сваренный сталеваром металл— проверить анализом, плохо сшитое пальто на глаз видно. А шины все одинаковые: черненькие, глянцевые. И когда собраны, не проверишь. Вот и получается: шины собирают из одних и тех же материалов, а ходят они по-разному: и сорок тысяч километров, и шестьдесят. На нашем заводе, как и на всяком, есть брак. К сожалению, от него пока никуда не денешься. Но у рабочих-исследователей ни разу брака не было. Они марку свою высоко держат и горды этим.

О многом еще рассказывает Крестич.

Апушкин все больше молчит— думает, на себя разные случаи примеряет. Почти на двадцать лет Саша моложе его, а знает больше, чем он, и понимает глубже. «Застыл я на одном месте,— признается себе Апушкин.— И давно...»

Особенно жаль ему второй половины своей жизни. Стряхнуть бы ее, начать снова с двадцати трех, да рядом с таким, как Крестич.

«Ишь, приноровился,— с завистью думает Апушкин о своем спутнике.— И руками работает, и голова не окрошкой набита. Вот это жизнь! Поучиться надо!» Но признаться в таких уничижительных мыслях вслух не хочется.

— Стоп,— время шины замерять,— прерывает его размышления Крестич.

— Может, до гаража дотянем,— робко предлагает Апушкин. Не любит он заниматься этим нудным делом среди дороги.

Кристинич понимающе улыбается.

— Честность, Иван Миронович, потому и трудна, что она порой в ущерб себе. Зато на пользу делу.

Апушкин безропотно подчиняется и выискивает глазами место на обочине, где удобнее остановиться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Каждые десять секунд — автопокрышка, каждый час — триста шестьдесят, каждые сутки — восемь тысяч шестьсот сорок. А за год набирается два с половиной миллиона штук.

Последние годы Госплан не увеличивает количество покрышек Сибирскому заводу, милостиво оставляет те же два с половиной миллиона. Те, да не те. Покрышки завод выпускает разные, и количество маленьких все уменьшается, а ассортимент гигантов растет. В штуках — цифра неизменная, в тоннах, в затратах труда — разница колоссальная. Заводчане знают это лучше, чем кто-либо другой, и всегда немного хитрят, исподволь проводят разные свои мероприятия. Но не шумят о них, не демонстрируют мощностей, которые наращивают к концу года. Однако ни разу не удавалось им перехитрить Госплан. Больше того. Зачастую Госплан ставит невыполнимую задачу, во всяком случае, заводчане в этом искренне убеждены. Тогда в Москву снаряжается «спасательная» экспедиция — едут плановики во главе с директором завода. Случается, что Госплан сдается, а чаще всего нет. Начинаются форсированные поиски способов, которые обеспечили бы план. Все поднимается на ноги, все подчиняется одной цели.

Бывший директор завода Лубан был умудрен жизнью. Как ни ругали его за консерватизм, он приберегал мероприятия по росту производства к концу года, когда новый план уже составлен. Вот почему предложение, подобное тому, какое сделал вулканизаторщик Каела, он стал бы осуществлять только в последнем квартале.

Брянцев был горячее и честнее. Появилась возможность сделать скачок в середине года или даже в начале — делал, не задумываясь над тем, что будет с планом на следующий год.

О предложении Каелы Брянцев рассказал Елене. Признался, что ему стыдно, как сам не додумался до такого незамысловатого, такого простого решения задачи. Она ответила ему словами, над которыми он потом долго размышлял: «Ты не кори себя за это. Музыканты делятся на творцов и исполнителей. Чтобы создавать музыку, нужен особый дар. Исполнители его не имеют, но они удивительно чувствуют и понимают музыку. Вот к таким относись и ты в области техники. Ты можешь не создать свое, оригинальное, но с ходу, с налету понимаешь ценность созданного другими. И ты больше, чем исполнитель. Ты дирижер большого оркестра».

Брянцев сначала даже обиделся на Елену: обрекла на творческое бесплодие. Но подумав, убедился в правоте ее слов. От брожения идеи до ее созревания, до реализации — дистанция огромного размера. Чего-то у него не хватало для преодоления этой дистанции.

Еще раз удивился он способности этой женщины любить человека таким, какой он есть, нисколько его не идеализируя. Что ж, это хорошо. Такая любовь гарантирована от разочарований.

Уменьшение толщины плунжера почему-то обеспокоило Карыгина. Поздно вечером, когда Брянцев сидел в кабинете один, он пришел к нему

и положил на стол докладную записку. В ней сообщалось о том, что некоторые цеховые работники высказывают сомнение в надежности работы ослабленного плунжера.

Брянцев прочитал записку, не понял ее смысла и признался в этом.

— Я обязан поставить вас в известность.

— Занимались бы вы лучше своим делом,— Брянцев отложил докладную в сторону.— Отдел сбыта до сих пор не укомплектован грузчиками, каждый день за простой вагонов платим, приходится авралы устраивать — из основных цехов людей брать. Вы же ведаете кадрами.

— Вот я и беспокоюсь, чтобы с ними ничего не случилось.

Это был какой-то новый ход заместителя. Брянцев не стал разбираться в деталях его хитроумной дипломатии и решил раз и навсегда показать Карыгину, что тот не является для него загадкой. Размашисто, через всю докладную, он написал: «Подшить в дело. Если что-либо случится, использовать как материал для обвинения директора в неприязни мер».

Протянул Карыгину записку и углубился в бумаги. Он не видел, как давнишняя затаенная ненависть Карыгина выплеснулась наружу и тут же спряталась, словно пламя, вырвавшееся на миг из печи.

— У меня еще один вопрос,— невозмутимо сказал Карыгин, сделав вид, что его не тронула полученная пощечина.

— По технике безопасности? — спросил Брянцев самым невинным тоном.

— Заварыкин поговаривает о расчете.

— За-ва-ры-кин? Ну, это уж свинство. Получил хорошие две комнаты, может подождать отдельную квартиру.

— Жены не ладят.

— Не слышал.

— Человека можно известить не только скандалами, но и нравоучениями. Этого не делай, это делай так... И если таким образом с утра до ночи...

— Разберусь,— резко сказал Брянцев.

— Тогда у меня все.

Когда за ним закрылась дверь, Брянцев вскочил с места и заходил по кабинету, чтобы как-то встряхнуться, прийти в себя. Есть люди, которые ему противопоказаны. Карыгин из их числа.

Вот в этом самом кабинете, казалось бы, не так давно Брянцев сидел с Лубаном, которого забирали на другой завод. Подписанный акт о сдаче-приемке завода лежал на столе, а Лубан все напутствовал Брянцева.

— Не такое уж плохое наследство я вам оставляю, Алексей Алексеевич,— усталым голосом говорил он.— И люди у нас хорошие... Вот только одну вину уношу с собой — Карыгина выгнать не смог. И вы вряд ли сумеете. Разве только медлить не будете. Сразу возьметесь — одолеете. Вам как молодому директору простят. Затянете — пеняйте на себя.

— Ну разве можно так, из субъективной неприязни...

— У меня к нему неприязнь объективная,— жестко сказал Лубан. Он долго молчал, видно, собирался с духом, и наконец заговорил снова: — Был у меня друг детства, Красавин Павел. Хороший парень. Учились в одно и то же время в Москве, только я по резине пошел, а он по металлу. Потом развела нас судьба. Его в Златоуст направили, на металлургический. Через два года там директора посадили за вредительство, а вместе с ним одиннадцать человек руководящего состава, и Павла в том числе. Ничего я о нем не слышал, а вот в прошлом году разговорился с одним человеком в поезде. Он оттуда вернулся, из мест отдаленных. Оказывается, с Павлом сидел и знал о нем все. Угробил их

всех молодой инженер Карыгин, которому дали дело на экспертизу. Такое заключение вынес... Полезные действия во вредительские превратил. Подробностей не помню — не металлург. Помню только ощущение чудовищного бреда, нарочитого оговора, заранее обдуманного. — Лубан снова помолчал, протер очки. — Позже я убедился, что мой, а теперь ваш зам своих привычек не оставляет. Когда в прошлом году он ушел в отпуск, потребовалось вскрыть его сейф. И знаете, что я там нашел? Полное досье на себя. Каждый шаг записан. Ничего не прибавлено, но все подано так, что сплошная уголовщина. Бери и сажай.

— Забрали досье? — поинтересовался Брянцев.

— Ясно, забрал. С тех пор он мне в глаза не смотрит. Рад, что ухожу.

И теперь, узнав, что Карыгин будет баллотироваться в состав партийного комитета завода, Брянцев решил сделать все, чтобы его не выбрали.

А тут появился на заводе еще один человек, имени которого Брянцев не мог слышать равнодушно: Чалышева. Молчаливая, тихая, она напоминала ему очковую змею, которая лежит притаившись и жалит исподтишка.

О ее приезде Брянцеву доложил насмерть перепуганный Целин. Он был убежден, что прибыла она не с добрыми намерениями, и ждал от нее любых козней.

Чалышева не сразу появилась в кабинете Брянцева. Сначала походила по отделам, знакомилась с какими-то материалами, разговаривала с людьми и только потом решила нанести директору «визит вежливости».

— Могу я знать, что вас интересует на заводе? — спросил Брянцев.

Ей не хотелось говорить правду, но и лгать было бессмысленно — все равно ему доложат. И она сказала, что приехала ознакомиться с практикой применения антистарителя «ИРИС-1» и методикой его испытаний. Прошлый раз, когда заводские работники приезжали в институт, она так была предубеждена против них, что не слушала никаких доводов, а сейчас решила разобраться в причине таких диаметрально противоположных выводов.

Брянцеву показалось, что Чалышева слегка повернулась другой, незнакомой ему стороной, и он, быстро откликнувшись на всякое доброе движение души, неожиданно для себя, а еще более для Чалышевой, сказал:

— Вы бы переезжали к нам на завод. Ну скажите, разве это правильно? Все научные работники засели в институтах, а такой крупный завод не имеет ни одного человека со степенью! Здесь, поверьте мне, необъятное поле для приложения своих способностей. И результаты работы видны скорее. К этому нас вынуждает необходимость. Квартиру вам дадим, не такую, какие дают в Москве. Мы живем пошире.

В кабинет с довольным видом победителя вошел инженер Лапин, специалист по рецептуре резины, человек небольшого роста, неопределенного возраста, в очках. Чалышева знала его. Он отличался петушиным характером, любил задираться и не раз выступал на совещаниях, иногда не без успеха опрокидывая установившиеся понятия. Любое свое выступление он начинал с цитаты из Эйнштейна, которую приводил наизусть: «Лейтмотивом в трудах Галилея мне представляется его страстная борьба против любых догм, опирающихся на авторитет. Только опыт и тщательное рассуждение он считал критерием истины».

За эту цитату Лапина прозвали Галилеем. В НИИРИКе — с издевкой, на заводе — любя.

— Эврика! Получилось! — торжественно доложил Лапин и поднял большой палец.

Брянцев не помнил, что должно было получиться или не получиться у Лапина, — тот постоянно работал над улучшением рецептуры резины.

Невероятно сложна эта рецептура. Более чем восемьдесятю химическими веществами оперируют резинщики, и в различных сочетаниях это дает тысячи разных рецептов. Недаром один из немецких ученых произнес фразу, которая стала летучей: «Бог все знает. Но и он не знает, из чего делают резину и колбасу».

— Что получилось? — спросил Брянцев.

— Новый ускоритель вулканизации! Дешевый, простейший и очень активный. Вы полюбуйте на кривую, посмотрите, как выросло плато вулканизации!

Лапин расстелил перед Брянцевым диаграмму.

Посмотрела на диаграмму и Чалышева. Она присутствовала при рождении изобретения. Появись такое в стенах института — шуму было бы на год. Скрупулезные теоретические исследования процесса и так и этак, подготовка диссертации, патентование... Лапин, конечно, не сможет теоретически обосновать свое изобретение, да и некогда ему. Завтра он отдаст этот метод цеховикам и начнет работать над чем-нибудь другим.

У нее заняла душа. Все-таки их институт мало связан с производством. Этим изобретением нужно бы тотчас заинтересоваться, проверить и сразу же распространить на другие заводы. Но кому интересоваться, если каждый занят своей проблемой — пусть плохонькой, но своей.

— Если это отвечает действительности — это великолепно, — сказал Брянцев. — Какие возможности у вулканизаторщика, особенно на крупных шинах! Молодцы. Кто работал?

Лапин назвал фамилии рабочих-исследователей. В их числе был и Каела.

— Каела? — удивился Брянцев. — Он только что свое предложение внес. И совсем другого порядка.

Лапин усмехнулся.

— Это же закономерное явление, Алексей Алексеевич. Вначале исследователи работают над чужими идеями, потом у них появляются свои. До химии Каела не дотянулся, а конструкторскую задачу решил.

В кабинет вошел Целин и, увидев Чалышеву, мирно сидевшую рядом с Брянцевым, замер от изумления. Брянцев взглядом предупредил возможный выпад с его стороны.

— Илья Михайлович, ознакомьте... — Брянцев к стыду своему так и не вспомнил ее имени и отчества, — товарища Чалышеву со всеми материалами. И, пожалуйста, ничего не тая.

Не выразив никакого энтузиазма, Целин пригласил Чалышеву к себе.

Предупреждение Брянцева не было излишним: Целин отличался чрезмерной подозрительностью. Он знал, что к изобретениям нередко примазываются, что их даже крадут, и всегда вел себя осторожно. Он никому не открывал секрета «ИРИСа-1», хотя и подал своевременно заявку в Комитет по делам изобретений и открытий. Авторов было два — он и инженер нефтеперегонного завода. Хотели привлечь в соавторы и Брянцева, который дал немало хороших советов, стал душой этой поисковой работы. Но Брянцев от соавторства отказался, объяснив свой отказ так: «Предложение без сопротивления не пройдет, а я, как соавтор, буду стеснен в своих действиях. А так никто не упрекнет меня. Делаю во имя дела — и все».

Позже Целин убедился, насколько прав был Брянцев. Сейчас он неуязвим. Он просто директор, который верит в пользу изобретения и добивается его признания.

К Чалышевой Целин отнесся с максимальной подозрительностью. Столько лет она мешала поискам, снимала его тему, где только могла, писала уничтожающие письма. И он не старался сделать вид, будто ее

появление доставило ему удовольствие. Он не грубил — знал, что за это попадет от Брянцева, но и радушия не выказывал. Чалышева понимала, что на другое отношение рассчитывать она не может, и не обижалась. Все данные испытаний — лабораторных, стендовых, ускоренных дорожных и эксплуатационных — она проштудировала, как прилежная ученица, и исписала столбцами цифр страницы толстенной общей тетради.

С таким же рвением обследовала Чалышева образцы резины и шины, подвергавшиеся светопогодному старению на крыше. Ту самую «фисгармонию», раму с растянутыми образцами резины, сдобренной разными антистарителями, которую Чалышева даже не удостоила взглядом в Москве, она теперь долго и скрупулезно изучала. Попросила сфотографировать ей все образцы, передать рецептуру резин, и, как ни ворчал Целин, он вынужден был это сделать. Покрышки Чалышева рассматривала и простым глазом, и в лупу.

Попав на испытательную станцию, она провела там целых два дня. Интересовалась не только результатами испытаний, но и тем, как проводятся испытания — какую скорость имеют шины, бегущие по изолированному ободу маховика, с какой силой прижимаются к ободу, сколько километров пробегает в час.

До сих пор Чалышева видела за идеей антистарителя одного человека — Целина, который надоедал ей своими письмами, предложениями и жалобами. Встреча с Целиным в институте укрепила ее мнение о нем — фанатичный, упрямый, канонов не признающий. Не веря в Целина, она не верила и в его «ИРИС-1». Субъективное впечатление мешало объективно оценить значимость его идей, мыслей, предложений.

На заводе она поняла, что эту идею отстаивает множество людей, и ей стало не по себе. До сих пор происходил поединок между ней и Целиным, и исход его был заранее известен. Это был неравный поединок между человеком, вооруженным доспехами, и полуголым противником с палкой в руке. Теперь она представляла себе это сражение иначе. Она одна — правда, в доспехах, — но против нее целое «народное ополчение». Два, три человека еще могли быть одержимыми ошибочной идеей, но десять, пятьдесят, сто...

Нет, в элементарном здравом смысле природа не отказала Чалышевой. Она поняла, что, применив «ИРИС-1», заводчане не только улучшили качество резины, но и усовершенствовали процесс, облегчили труд, снизили брак. Даже некоторые, в общем безразличные к репутации завода рабочие — и те цепко держались за «ИРИС-1», потому что с ним легче стало работать.

Чалышева прислушивалась к разговорам в столовой, вернее в маленькой комнате, отведенной для инженерно-технических работников, где подавали то же, что и в общем зале, только быстрее. Эти разговоры вызывали у нее уважение к заводчанам. У них, в институте, по безмолвному уговору было принято в свободное время разговаривать о чем угодно, только не о делах. А здесь больше всего говорили о производстве. Она слышала, как в столовой начальник цеха подготовки Гапочка рассказывал Бушуеву об исследованиях, которые вели рабочие, загоревшийся желанием избавиться от импорта ускорителя процесса пластикаций каучука — американского порошка «Пептона».

«Пептон»! Появление его было событием в шинном производстве. Чалышева, например, не могла и представить себе производства шин без этого ингредиента. А здесь, на заводе, оказывается, восстали против «Пептона». И она задумалась над тем, что эти люди со слабой теоретической подготовкой смело подвергают сомнению любые теоретические каноны, даже установленные Западом, которые она всегда слепо принимала на веру, поняла, что у этих людей свой ключ к познанию

истины — богатейшая техническая интуиция, основанная на многолетнем опыте.

Просмотрев потом рекламации в отделе сбыта, Чалышева убедилась, что их здесь меньше, чем на других заводах. Значит, антистаритель не разрушает шин.

Но самый большой удар перенесла она в центральной заводской лаборатории. Здесь стояла такая же озоновая камера, какой пользовалась она в институте, и заведующая лабораторией призналась, что не верит показаниям камеры. Иногда камера дает соизмеримые с дорожными результаты, а иногда — диаметрально противоположные. В чем секрет этой противоречивости показаний — установить не удалось, и они в своей лаборатории просто перестали принимать показания камеры во внимание.

Заведующая лабораторией обронила фразу, которая запомнилась Чалышевой: «Нельзя, например, определить, сколько груза перевезет за свою жизнь лошадь, если навалить на нее груз, в пятьдесят раз превышающий нормальный. То же самое происходит и при испытаниях в озоновой камере».

После этого разговора Чалышева позвонила на квартиру Брянцева, попросила передать ему благодарность за предоставленную возможность ознакомиться со всеми работами и сообщила, что уезжает.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Таисия Устиновна не знала теперь покоя ни днем ни ночью. При всей своей общительности она не выносила обстановки коммунальной квартиры, потому что просто не привыкла к ней. В Темрюке, у ее родителей, был собственный дом, в котором она жила, когда Алексей учился, а закончил институт, приехали в Сибирск, — сразу получили квартиру. Сначала небольшую, а два года назад — директорскую, трехкомнатную. Она привыкла чувствовать себя хозяйкой в доме и не представляла себе, что ее налаженная жизнь может так круто измениться.

Целый день открывались и закрывались двери. Приходили «на минутку» какие-то женщины, подолгу простаивали с Заварькиной на кухне, болтая о всяких пустяках. Семилетний Коська продолжал кататься по натертому полу в коридоре, как ни отучала его Таисия Устиновна от этого развлечения. К тому же Заварькины считали, что ежедневно мыть полы в кухне и в ванной незачем, а дети, привыкшие к вольному житью, забывали порой спустить воду в унитазе. Вдобавок жена Заварькина любила стряпать. Тут уж она не жалела ни труда, ни времени, отдаваясь этому занятию с упоением, и с утра до вечера толкалась на кухне. Квартира всегда была заполнена запахами то поджариваемых овощей для украинского борща, то тушеной капусты, то запеченной в духовке рыбы.

Но хуже всего было то, что грудной ребенок Заварькиных по целым ночам орал. Днем он спал, а наступала ночь — и его ничем не успокоишь.

Таисия Устиновна не скандалила, но удержаться от того, чтобы не читать нотации, не учить уму-разуму не могла и, случалось, доводила Заварькину до истерики.

В тот день, когда Брянцев отправил ее посмотреть, в каких условиях живет семья Заварькина, она вернулась домой в слезах и с горьким чувством раскаяния. Впервые она убедилась в том, что доброта к одним может обернуться злом к другим, что с добротой нужно обращаться осторожно. Приданцева пожалела — Заварькиных обездолила. Но когда через несколько часов грузчики начали заносить в квартиру скарб Заварькиных, слезы ее быстро высохли. Вот, оказывается, что означали слова мужа, когда он грозил научить ее быть доброй за свой счет.

Теперь Таисия Устиновна предпочитала доброту другого рода. Легче всего терпеливо выслушать, посочувствовать, походатайствовать. Это занимает минимум времени и ничего у тебя не отнимает. Даже, наоборот, прибавляет уважения к себе: вот какая я хорошая.

В молодости Тася знала радость и другой доброты — доброты самопожертвования. Это и соединило их с Алексеем. Изрешеченного осколками мины, без признаков жизни, подобрала она его на поле боя и отвезла в госпиталь. Жизнь его висела на волоске. Нужно было сделать переливание крови, но консервированной крови не оказалось. Хирург полевого госпиталя посмотрел на Тасю, крупную, рослую, сильную девушку, спросил коротко:

— Медсестра, какая группа?

— Вторая.

— Кровь отдашь?

— Берите.

Крови пришлось отдать столько, что Тася не смогла вернуться к своему трудному делу, и ее, как и Алексея, отправили в Альтенбург, в тыловой госпиталь.

Первым человеком, которого увидел Алексей, придя в сознание, была она, Тася. Все эти дни она не отходила от раненого. А через несколько дней война кончилась, и Тасю оставили при госпитале.

Она выделяла Алексея среди остальных, задерживалась у койки, заговаривала с ним. Нет-нет и руку ему погладит, когда он застонет от боли, умоет вспотевшее от мук лицо. И он платил ей признательностью. Перестал дичиться, расспрашивал, кто она и откуда. Она охотно рассказывала все, что могла, — о родном городке Темрюке, о родных, о подругах.

Отношения Таси и Алексея не укрылись от зоркого глаза хирурга, и он как-то подлил масла в огонь:

— Тася — твоя единокровная, Алексей. Начнешь ходить — на колени перед ней стань. Ты ей жизнью обязан.

Алексей поднял на девушку удивленные глаза.

— А я ничего не знаю...

— С поля боя под огнем тебя вынесла, кровь свою отдала. Столько отдала, что сама слегла.

Когда хирург ушел, Алексей спросил Тасю:

— Чего ж ты мне ничего не сказала?

— А что я выхваляться буду? Не тебя одного спасла. Ты — тридцать четвертый. И другому бы кровь отдала.

— Но отдала все-таки мне, — тихо сказал Алексей и, взяв ее большую руку, поцеловал в ладонь.

У Таси даже дыхание перехватило, кровь в голову бросилась. Всякое ей приходилось видеть, и от раненых, а особенно от здоровых. Была она дивчиной броской внешности, и охотников поцеловать, а больше потискать, находилось множество. Только сила спасала ее от особо назойливых. Так двинет, что редко кто на ногах устоит. А этот, который гораздо больше прав имел на ласку, вдруг руку поцеловал.

— Обжег ты мне сердце тогда, Алеша, — вспоминала она потом. — Словно пламенем взялось оно. И хоть вырвала я тогда руку и убежала, но это не потому, что рассердилась, — дух у меня занялся: ни вдохнуть не могу, ни выдохнуть. Вот и побежала я на улицу воздух искать.

Душевный человек был хирург. Сумел сделать так, что в тот день, когда рядового Алексея Брянцева выписали из госпиталя и освободили от воинской обязанности, была демобилизована и медсестра Таисия Соловьева.

Увезла Тася Алексея в свой Темрюк на Азовское море, слабого, изможденного. Ее матери и отцу, заведующему конторой «Заготскот»,

привыкшему все живое оценивать по степени упитанности, дочерний «военный трофей» мало приглянулся. Но деваться было некуда. Родители смирились, выхаживали Алексея как могли. И выходили, поставили на ноги. Только чуть-чуть хромота осталась. Припадал Алексей на левую ногу, когда натрудит ее. А потом приуныли: не захотел Алексей остаться в Темрюке, решил вернуться в Ярославль, откуда взяли его в армию, и поступить в институт. Сегодня свадьбу сыграли, а завтра проводили молодых.

Жили они хорошо. Таисия Устиновна была довольна своей судьбой, даже считала себя счастливой. Одно только омрачало ее жизнь — чрезмерная занятость мужа.

Нет беспокойных должностей, есть беспокойные люди. На каком посту ни работает такой человек, он всегда умудрится быть занятым с утра до ночи. Так устроен и Брянцев. Последнее время он, правда, научился выкраивать свободное время. Обедал дома, вечером возвращался не так поздно и взахлеб читал, наверстывая упущенное. Но после того, как в квартире поселились Заварыкины, снова стал приходиться поздно — ждал, когда соседи угомонятся.

Теперь в распоряжении Брянцевых осталась небольшая комната. Две кровати да письменный стол между ними. Как в гостинице. Не было и покоя. Странное дело: в самолете, под шум мотора, он засыпал мгновенно, в поезде тоже спал хорошо, а детский плач по ночам тревожил и часто не давал сомкнуть глаз. Он узнал, что такое хроническое недосыпание и как трудно работать на предельном напряжении сил. Таисия Устиновна понимала, что такая обстановка угнетает мужа, и принимала все меры, чтобы его не касались неурядицы и дразни, ставшие обычными, чтобы к его приходу в квартире водворялась тишина.

Но сегодня так не получилось. Брянцев подошел к двери и услышал голос Заварыкиной. Она проклинала тот день и час, когда переехала на квартиру к этой кулачке, которая не дает ни охнуть, ни вздохнуть, считает каждую царапину на мебели, пропади она пропадом, каждую соринку на кухне, чтоб она сгорела. «Значит, Карыгин не преувеличил, — подумал Брянцев. — Не ладят, грызутся».

У него возникло желание повернуться и уйти. Но куда? Было около двенадцати ночи. Не спать же в кабинете на диване. Он решительно сунул ключ в замочную скважину и хлопнул дверью, надеясь, что Заварыкина стихнет. Но не тут-то было. Весь гнев она обрушила на Брянцева.

— Угмоните вы ее, Алексеич! — кричала она, не обращая внимания на то, что проснулся и расплакался ребенок. — Я к ней на квартиру не просилась, сама приехала, сама нюни распустила, сама перевезла, пусть и потерпит малость! Замучила прямо! Полы ей чуть ли не языком вылизывай, плитуса протирать требует. Да мне в том курятнике трижды лучше жилось, потому что я там хозяйкой была!

— Успокойтесь, — мрачно сказал Брянцев и прошел в свою комнату.

Таисии Устиновны в ней не было. Открыл дверь в ванную — и ахнул. Вся ванная заполнена пухом. Пух был везде: на полу, в раковине, в ванне, на халате жены, в волосах.

— Что это за пейзаж? — спросил он.

Таисия Устиновна смутилась и принялась сбивчиво объяснять: хочет сделать пуховую перину, но пуха не достать, она накупила подушек, обдирает перья, а стержень выбрасывает. Раньше она этим заниматься не решалась, не хотела загрязнять квартиру, а теперь ей все равно.

— Значит, трест пух-перо! — внутренне смеясь, резюмировал Брянцев.

— Трест не трест, а кустарь-одиночка.

Таисия Устиновна увидела себя со стороны, глазами мужа, и ей самой стало смешно.

— Приданое себе готовишь?

Она встрепелась, уставилась на мужа настороженными глазами, но увидев, что он добродушно улыбается, ответила резко:

— Не говори ерунды.— И отправилась на кухню разогревать ужин.

Брянцев сидел один в своем «номере», как он называл комнату, в которой они теперь жили, и думал о том, как хорошо было бы очутиться сейчас в другой комнате, ощутить теплоту Еленкиного плеча, испытать то, ни с чем не сравнимое состояние душевной приподнятости и покоя, которое неизменно возникало у него от одного только ее присутствия...

Уже позже, в постели, просмотрев газеты, Брянцев сказал жене:

— Ты все-таки оставь ее в покое. Человека не переделаешь.

— Тебе легко. Утром ушел, ночью пришел! — зашипела Таисия Устиновна.— Живешь, как квартирант. А я целый день с нею с глазу на глаз.

— Могу дать совет: иди работать.

— Медсестрой?

— Сможешь врачом — иди врачом.

Таисия Устиновна нахмурилась. Сколько раз убеждал ее муж учиться, когда учился сам. Не лишь бы учиться, а тому, к чему душа лежит. Но у нее ни к чему душа не лежала. Очень убедителен был пример матери. Никаких наук не постигала эта женщина и счастливо жила с отцом. Так почему ей должна быть уготована другая участь?

— Дикое говоришь. Молодой была — не работала, а сейчас... Людям на смех... Жена директора завода пошла медсестрой!

— Ах, вот оно что... Странные взгляды у тебя. Так ты ничего и не почерпнула в жизни.

— Какая ни есть, а меня любят. А вот ты скажи, почему тебя не любят?

— Кто?

— Начальство городское.

Брянцев ответил не сразу. Подумал, как объяснить, чтобы было понятнее.

— Не любят за упорство. Не за упрямство. Упрямство — это способность стоять на своем, независимо от того, прав ты или не прав. А упорство — другое качество: способность отстаивать свою правоту. За это тоже не любят, особенно если впоследствии ты оказываешься прав.— И уже про себя подумал: «И не дай тебе бог напрямик или обиняком это подчеркнуть. Лучше промолчи. Поражение приносит тебе меньше неприятностей, чем победа...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Много друзей и противников появилось у Брянцева еще в ту пору, когда он одержал на этом заводе первую большую победу.

В кабинете директора завода Лубана шло обсуждение проекта реконструкции сборочного цеха, разработанного «Шинпроектом». Никто из руководителей завода не додумался пригласить на это обсуждение рядовых инженеров цеха. Брянцев пришел сам и, чувствуя всю неловкость своего положения, забился в угол, чтобы не попасться на глаза директору завода и особенно главному инженеру Хлебникову, которого боялись, как огня. Это был человек большой эрудиции, подчеркнуто аристократических манер, чопорный, холодный. Он мог ответить на любой вопрос по истории и теории шинного производства в Советском Союзе и за границей, но всячески отгораживался от решения оперативных вопросов, считал их уделом нижестоящих. «Вы кем работаете? —

неизменно спрашивал он, когда к нему обращались за советом.— Сменным инженером? Вас в институте учили? Вот и решайте сами». И инженеры шли советоваться к директору. Лубан не был так эрудирован, как главный инженер, но был отличным практиком и помогал безотказно.

Начальник проекта Глафилов, с вдохновенным лицом художника и поэтической шевелюрой, довольно бойко и быстро доложил о реконструкции цеха. Суть ее сводилась к тому, чтобы плотнее установить станки и за счет освободившейся площади добавить еще три десятка новых.

Хлебников слушал доклад, занимаясь своим любимым делом — чистил и полировал ногти. Начальника сборочного цеха реконструкция тоже мало волновала. Москвич, он собирался вернуться в Москву, в «Шинпроект», и портить отношения с ним ему не хотелось. Обсуждение шло вяло, спокойно и близилось к благополучному завершению.

И вот тогда из своего угла, прикрытый мощной спиной Гапочки, поднялся Брянцев.

— У меня один вопрос,— сказал он.— Сколько времени затратили проектанты на проект?

— Около года,— охотно ответил Глафилов, не ожидавший подвоха.

— Так почему же работу, которая делалась около года, вы считаете возможным обсуждать около часа? Не слишком ли это мало, чтобы составить суждение о проекте?

— Одному мало, а другому более чем достаточно,— сказал Хлебников, любуясь длинным острым ногтем на мизинце.— Вы находитесь в приятном заблуждении, считая, что в проектных делах понимаете больше, чем они.

— Считаю...

Брянцеву не удалось закончить фразу — его прервал смех. Смеялся и директор завода.

— Я ведь не поставил даже запятой, не говоря уже о точке,— повысил голос Брянцев. Голос у него низкий, звучный, приковывающий внимание.— Я считаю, что если вынести проект на обсуждение рабочих цеха, людей, которым придется работать в реконструированном цехе, они подскажут другие решения.

— А какие решения подскажете вы? — не унимался Хлебников.

Брянцев помолчал, собираясь с мыслями, и сказал:

— Мое мнение таково: сократить расстояние между станками — значит приблизить условия нашей работы к условиям капиталистического предприятия. Это раз. Но это, так сказать, соображение политическое. Второе. У нас есть уже один станок, модернизированный нашими рабочими. Он увеличивает производительность труда сборщика на двадцать процентов. На двадцать,— подчеркнул он.— А в Политехническом музее стоит образец станка, разработанного ЦНИИШИНОм, который позволяет поднять производительность на тридцать процентов. Вы же, товарищ Глафилов, рассчитываете поднять производство всего на пятнадцать. Для вас это, может быть, достаточно, для нас — нет.

— Простите, мы исходим из реальных условий, а не из мифических. Из наличия существующего оборудования, а не будущего! — уже сердясь, сказал Глафилов.

— Но ведь это потеря перспективы или просто делячество. Ваш проект устареет прежде, чем будет осуществлен. Я был в Политехническом музее, мне дали возможность поработать на этом станке, и я убедился, что тридцать процентов — далеко не предел.

Лубан явно заинтересовался выступлением Брянцева.

Это тот самый инженер, который каждый год вместо путевки на курорт требует командировку на шинные заводы и потому всегда в курсе всех технических новшеств. Это ему подписывал он письмо на Мо-

сковский шинный и в Политехнический музей с необычайной просьбой — помочь собрать на экспонируемом станке несколько покрышек.

— Сегодня вы мне напоминаете одного моего приятеля. Он до сих пор живет без радиоприемника,— неожиданно добродушно произнес Глафилов.— Знаете, почему? Только соберется приобрести приемник, как узнает, что скоро выпускается новый, более усовершенствованный. Так он и обходится до сих пор репродуктором... Вы становитесь на его позицию. Увы, нет границ для лучшего! Но нам важнее при существующем дефиците шин пятнадцать процентов в этом году, чем двадцать в следующем.

Снова смехок прошел по кабинету. Не улыбнулся только Лубан.

А молодой инженер, не обращая внимания на Глафилова, так же размеренно, спокойно, как и начал разговор, продолжал:

— На это могут быть разные точки зрения. Раз уж есть образец станка, наша задача сводится к тому, чтобы ускорить его серийное изготовление и на него ориентироваться. И вообще мне кажется, что реконструкция цеха начата не с того конца. Нужно расширять тылы, все участки, которые готовят полуфабрикаты для сборщика,— они уже сегодня отстают.

— Вы используйте эти тылы лучше,— назидательно произнес Глафилов.— Погрязли в расхлябанности — вот...

— Простите,— прервал его Брянцев,— вы знаете коэффициент использования нашего оборудования?

Нет, начальник проекта этого не знал и знать не мог. Прошло полтора года, как они получили исходные данные для проектирования. Мало ли каких результатов могли достичь производственники за это время?

— Ноль девяносто шесть,— сказал Брянцев.— Даже если мы добьемся единицы, что практически невозможно,— и то у нас будут отставать тылы. А если мы рванемся на сборке...

— Если бы у бабушки росли...— взорвался Глафилов, но его остановил директор.

— Сколько вам нужно дней, чтобы внимательно рассмотреть проект с рабочими цеха? — спросил он Брянцева.

— Десять.

— Де-сять? — Глафилов даже задохнулся от возмущения.— Нам нужно привезти согласованный проект в Москву послезавтра! Иначе все громы небесные обрушатся на нас.

— Ну, где год, там десять дней роли не играют,— с философским спокойствием заметил Лубан.— Отдадим проект в цех.— Он посмотрел на начальника цеха, который всем своим видом выражал полное безразличие, и добавил: — Ответственным за проведение этой работы по всем сменам назначаю товарища Брянцева.

Сколько ни вопил Глафилов о срыве плана проектных работ, о том, что большой коллектив лишается премии, сколько ни грозил карами за срыв правительственного задания, Лубан был непреклонен.

Оставшись вдвоем, директор и главный инженер долго молчали. Каждый ждал, что скажет другой. Лубан не вытерпел.

— А здорово вас сегодня отстегали, Олег Митрофанович! И кто? Начальник смены. Кого? Главного инженера, эрудита, который всегда сто очков дает вперед! Вот кого растить надо. Начальником цеха делать, начальником производства ставить. К мозгам еще душу иметь надо, дорогой мой.

Как ни старался Брянцев, а десяти дней ему не хватило. Еле-еле уложился в тринадцать. Но в цехе не осталось ни рабочего, ни инженера, который не вник бы во все детали проекта. Брянцев сумел заставить поворожить мозгами и конструкторский отдел завода. Даже добрался до

недоступного Хлебникова, и тот вдруг внес в проект несколько поправок, чтобы не уронить своей инженерной чести: как же — рабочие предлагают, а он, главный инженер, выходит, ничего не видит.

Три дня сидел в гостинице вернувшийся из Москвы Глафиров, пока дождался вторичного обсуждения проекта. Три дня бегал потом по городским организациям, жалуясь на взбунтовавшихся шинников, но так и уехал с требованием завода изменить проект.

Глафиров был человеком упрямым и энергичным. Он поднял шум всюду, где только можно было. И всю свою злость выливал на Брянцева. Пять комиссий выезжало на завод, целый месяц отняли они у Лубана, но директор не сдался. Пришлось все же Глафирову переделать проект в полном соответствии с заводскими требованиями.

Лубан тоже не терял времени. Добился, чтобы модернизированные станки запустили в серийное производство и вне очереди передали на сибирский шинный. Так в Сибирске, впервые в стране, появились самые усовершенствованные сборочные станки.

Отныне Брянцев находился под неусыпным наблюдением Лубана и уверенно шагал со ступеньки на ступеньку по лестнице руководящих должностей.

До встречи с Еленой это продвижение было ему приятно: он испытывал радость отдачи всех своих сил заводу. Встреча внесла сумятицу в душу. Еще в Новочеркасске он понял, что не сможет жить без нее и, хотя не сказал об этом, но принял решение уйти к ней. Удерживала жалость к Таисии, которая, правда, уменьшалась по мере того, как возрастали жалость к себе и к Елене и страх. Не поймут всей глубины чувств, заклюют, ошельмуют. Ведь он не только руководит производством, но и воспитывает людей. И не словами, не нравоучениями, а собственным примером. Идти на болезненную хирургическую операцию на виду у всех...

Уехать из Сибирска Брянцев не хотел. Привык к заводу, к людям. Любил людей, и люди отвечали ему тем же. И что значит уехать, затеяв реконструкцию по-своему и не доведя ее до конца? Скажут — спасовал, струсил, заварил кашу, а другим ее расхлебывать. Первый раз он отложил уход из семьи, когда, вернувшись из Новочеркасска, узнал, что его назначают главным инженером, потом — когда назначили директором. И только снова собрался с духом, как началась кутерьма с антистарителем. А сейчас тем более нельзя выходить из боя...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

С тех пор как институт рабочих-исследователей получил известность во всей стране, Сибирск стал местом паломничества представителей разных предприятий и работников прессы. Журналисты приезжали, как правило, с фотокорреспондентами. Одни с готовностью принимали все на веру, другим успехи рабочих-исследователей казались фантастическими, и они устраивали дотошный допрос с пристрастием, пытаясь обнаружить просто «шумовой номер». Наиболее добросовестные старались изобразить все реалистически, запечатлеть то, что они видели, но находились и ловкачи — те беззастенчиво «организовывали» материал. Таким обязательно нужно было собрать живописную группу, потребовать от людей либо сосредоточенно-значительного выражения лиц, либо сияющих счастьем улыбок и обязательно сфотографировать рабочих, беседующих ни с кем иным как с секретарем парткома на фоне какого-нибудь впечатляющего агрегата.

Секретарь парткома Пилипченко не выносил этих инсценировок. Он был предельно безыскусствен, честен, — за эти качества и избрали его

секретарем партийного комитета,— и никогда не принимал бы участия в инсценировках, устраиваемых журналистами, если бы не Карыгин. Тот упорно твердил ему, что надо учитывать соотношения своего авторитета и авторитета директора. У директора он неизмеримо выше и наращивать его не обязательно. «Отказываетесь вы — они Брянцева ташут. И получается нонсенс: институт — организация общественная, а представляет его директор».

Противоречивые чувства испытывал Валентин Герасимович Пилипченко к Карыгину — и антипатию и уважение. В причинах антипатии он разобраться не мог — она возникала откуда-то из подсознательных глубин,— а вот уважение обосновывал просто: очень уж политически подкован Карыгин — с чутьем, дальновидный, бывалый. Такому по плечу деятельность любого масштаба. Ну как ему, молодому партийному работнику, вчерашнему цеховику, не прислушиваться к этому ветерану?

Ни в приятели, ни в подшефные к Карыгину Пилипченко не напрашивался. Карыгин пришел к нему сам в тот знаменательный вечер, когда секретарь парткома провел свое первое в жизни общезаводское партийное собрание. Хорошо провел. Задел в докладе многих, что вызвало бурные споры, и был очень доволен собой. Даже секретарь райкома Тулупов, уходя, крепко пожал ему руку и шепнул: «Ну вот видишь, паниковал, отказывался — не потяну, не справлюсь. А как сразу заворачиваешь! Держи так».

Уставший от шестичасового напряжения — все-таки каждого нужно было слушать от слова до слова,— Пилипченко пришел в партком и сел отдохнуть, выкурить одну-другую папиросу, продлить ощущение того радостного подъема, который дает сознание хорошо сделанного дела.

Вот тут и зашел к нему Карыгин. «На огонек»,— как он объяснил.

— Хорошее собрание? — спросил Пилипченко со свойственной ему непосредственностью.

— Собрание хорошее, а доклад дерьмовый.

— Почему?

— Вы походили на сумасшедшего автоматчика, который поливает огнем всех подряд — и чужих, и своих. Надо быть похожим на артиллериста: выбрать одну точку и лупить в нее.

Пилипченко сидел сраженный и озадаченный. А Карыгин принялся объяснять:

— Вы сегодня пощипали многих и многие остались вами недовольны. Не так нужно, дорогой мой дебютант. Нужно вытащить за ушко одного человечка и показать его с фасада. А потом, когда и он и весь зал будут думать, что вы приметесь за другого, опять его показать — теперь с тыла. Потом с одного бока, с другого. Все будут видеть, что вы умеете бить насмерть и каждый будет вам благодарен, что не принялись за него...

«Это — голова,— думал про себя Пилипченко.— А честность какая! Принципиальность! Никто его за язык не тянул. Сам пришел. Подсказать пришел, поучить. Без стеснения, не взвешивая, как будут приняты его слова — враждебно или с признательностью».

Способность Карыгина ухватить самую суть, увидеть то, чего не видят другие, дать свое истолкование фактам, свою оценку, постоянно восхищала Пилипченко.

Сидели они как-то на директорской оперативке в кабинете Брянцева. Брянцев всегда слушает начальников цехов и отделов терпеливо, пока до конца не выскажутся, не прервет человека, если тот только явно не заврется или не выйдет из положенного регламента. И на этот раз он долго слушал разглагольствования Гапочки, у которого все были кругом виноваты, в том числе и директор. Долго молчал, когда Гапочка

уселся на место, покручивая усы, придающие ему сходство с Тарасом Бульбой, потом неожиданно сказал:

— Дорогие мои руководители, признайтесь откровенно: не надоело ли вам каждый день сидеть по часу на селекторе, возводить друг на друга обвинения, предъявлять друг другу претензии и заставлять меня и главного инженера разбираться в том, кто прав, кто виноват, кто, простите, врет без всякой меры, кто в меру, а кто говорит правду? Вот нас полсотни человек. По часу в день — пятьдесят человеко-часов, и не каких-нибудь, а отнятых у самых квалифицированных людей на заводе, у «мозгового центра», я бы сказал. Вы же в конце концов не цирковые лошади, которые ходят по манежу до тех пор, пока дрессировщик щелкает бичом. Может, обойдемся без ежедневной оперативки? Учредим совет начальников цехов и отделов, который собирался бы накоротке два раза в неделю и решал полюбовно все вопросы.

Начальники цехов сначала опешили от такого предложения. К оперативке они привыкли и как обходиться без нее — даже представить себе не могли. Но поразмыслили — и согласились.

На другой день оперативки не было.

Пилипченко слушал тогда Брянцева и никакой крамолы в этом новшестве не увидел, никакой политической оценки ему не дал. А Карыгин сразу же, как только они вышли из кабинета, сделал развернутый анализ действий директора, да такой, что дух захватило.

— Ты, Валентин Герасимович, партработник молодой и многое не видишь, — говорил он. — У директора нашего ошибка одна и та же, постоянная и углубляющаяся — переоценка сил общественности. Правда, партия призывает к развитию общественных форм деятельности, но у Брянцева в душе нет уголка, в котором умещалось бы чувство меры. Он выпустил из рук последнюю узду, с помощью которой мог управлять. Идите, лошади, куда хотите, сами ориентируйтесь. И еще одно: для чего так себя выставлять? Родилась у тебя мысль — приди в партком, посоветуйся. Одобрят — и пойдет как инициатива парткома. Это же тебе, Валентин Герасимович, в копилку. А он — нет, в свою копилку складывает. Бах, бах — и готово, его инициатива. Одобрят не одобрят — заявочный столб поставил. И помяни мое слово: получится у нас неуправляемый завод!

Пилипченко даже вздрогнул. Шуточное ли дело: неуправляемый завод! И удивительно, до чего совпадает терминология Карыгина с терминологией секретаря райкома. Тот тоже как-то эти слова произнес, непривычные и... страшные.

Или вот совсем недавно пришли они с председателем заводского комитета профсоюзов убеждать Брянцева присвоить звание цеха коммунистического труда первому сборочному, которым руководит Гапочка. Прихватили с собой для подкрепления Карыгина.

На днях должно состояться партийное перевыборное собрание с отчетом Пилипченко, а он не мог щегольнуть сообщением о присвоении хотя бы одному цеху звания цеха коммунистического труда. Всякий раз, когда заходил об этом разговор, Брянцев восставал. Восстал и на сей раз.

— Сколько в цехе бригад коммунистического труда? — спросил он. — Двенадцать? А всех — двадцать одна? Так вот, когда все бригады получат это звание, — пожалуйста. А пока что повременим.

Напрасно говорили Брянцеву, что на заводе синтетического каучука уже четыре цеха стали цехами коммунистического труда, а на нефтеперегонном — пять. Он стоял на своем:

— Такое высокое звание не должно присваиваться сверху. Оно завоевывается снизу. Завоюют его все бригады — значит, цеху можно присвоить автоматически.

Его убеждали, что неприлично как-то получается: создается впечатление, будто их завод отстает. И райкому партии неудобно перед остальными районами и перед горкомом.

А Брянцев твердил одно:

— Это пусть другим районам будет неудобно, что присваивают высокое звание не по заслугам. У нас такого не случится. Прогулы в этом цехе есть?

— Четыре.

— Выходы в пьяном виде?

— Два.

— Учеба?

— Лучше, чем у остальных, но не очень. Зато рабочих-исследователей много. И хорошо работают.

— Этого недостаточно. Не вижу данных!

Тогда пошел в атаку Карыгин. Стал доказывать, что звание цеха коммунистического труда можно дать авансом, что это мера воспитательная — она заставит людей подтянуться.

Взглянув на него уголком глаза, Брянцев сказал:

— Я в принципе против авансов. По той простой причине, что люди разные и коллективы разные. Одни стремятся аванс отработать, а другие починут на лаврах, решив, что взяли бога за бороду.

Брянцев подумал, закурил папиросу. Вдруг его осенило.

— А знаете что? Давайте присвоим звание коллектива коммунистического труда институту рабочих-исследователей. Чем у них не коммунистический труд? Тут даже формула посложнее: «От каждого по возможностям, каждому... ничего кроме морального удовлетворения». Вы смотрите, друзья, как эта формула труда опрокидывает понятие об общественной работе. Принято считать общественной такую работу, которая не дает никаких материальных благ тому, кто ее делает. Но она ведь и не создает никаких материальных ценностей. А эта форма труда благ не дает, но ценности создает колоссальные. Сколько наши исследователи сэкономили государству за три года? Триста миллионов рублей в старых деньгах! А с антистарителем под миллиард подберемся. Да, да, товарищ Карыгин. Не делайте кислого лица.

— Есть одна украинская поговорка, Алексей Алексеевич. Не обидетесь? — Карыгин выжидательно посмотрел на Брянцева.

— Давайте.

— «Дурень думкою богатеет...»

— А без думки и богатый обеднеет, — походя отпарировал Брянцев.

Договорились вынести предложение на заседание завкома профсоюз. Но вышли от Брянцева — и Карыгин сел на своего конька.

— Вам кажется, вы над ним верх взяли? Да он же вас, как мальчиков, облапошил. Цеху звания не присваивать, а институту — дать. А что такое институт по сравнению с цехом? В цехе и партийная организация, и профсоюзная, а в институте ни той, ни другой. Вот и получается: там, где командуете вы, звания не заслужили, а там, где единоначальник он, — коллектив коммунистический! Логика?

Ничего не скажешь, логика железная... Пилипченко неловко, что сам не додумался до таких тонкостей. Но на этот раз у него зарождается недоверие к своему наставнику. А не демагог ли Карыгин? По сути вся оригинальность его умозаключений состоит в том, чтобы любое душевное движение человека, который имеет несчастье ему не нравиться, любой поступок объяснить дурными мотивами, осквернить, опозилить.

Пилипченко почувствовал, что ему, мечтавшему до сегодняшнего дня об уходе с партийной работы, о возвращении к привычному любимому труду, не хочется уступать свое место Карыгину, сдавать завоеванные позиции. Вот такому, как Брянцев, он передал бы свой пост с радостью,

а Карыгину... Но ничего не поделаешь: срок выборной работы кончался, вопрос в райкоме предreshен.

Несколько раз делал Пилипченко доклады по рецепту Карыгина и не понимал, почему они не пользовались успехом. По этому же рецепту подготовил он и свой отчетный доклад. Но за два дня до перевыборного собрания пересмотрел его и переделал наново.

Вместо того чтобы вытаскивать за ушко двух-трех человек, затронул многих людей: одних — поднимая, других — критикуя. Особую радость испытывал он, когда говорил теплые слова о человеке, чья роль в производстве была большой, но незаметной — об этих людях обычно не говорят и не пишут. Аудитория бурно реагировала на каждый такой пример. Когда он упомянул о Фоминой, старой работнице, готовящей латекс для пропитки корда, — раствор, от которого во многом зависела продолжительность жизни шины, — в зале зааплодировали: добрался-таки до пластов, до сих пор не поднятых на поверхность. Он не обмолвился ни одним плохим словом в адрес директора завода, хотя это настоятельно советовал сделать Карыгин: пусть, мол, увидят люди, как ты вырос за это время, если сумел увидеть недостатки руководителя и решил указать на них.

Прения по докладу проходили бурно. Активнее всех вели себя рабочие-исследователи. У них вообще сильно развит наступательный дух, и им всегда казалось, что результаты их работ медленно внедряются в производство.

Только что отгремел громopodobный бас Каелы. Старый вулканизаторщик недоволен: его предложение приняли, один автоклав переделали, а с остальными не торопятся.

Пилипченко выразительно смотрит на Брянцева, сидящего рядом с ним в президиуме. Тот улыбается: значит, есть помехи, выше которых не прыгнешь, и он не чувствует себя виноватым.

Завершает прения Дима Ивановский. Он говорит быстро, и создается впечатление, будто ему неловко, что задерживает столько людей.

У рабочих Ивановский пользуется уважением, хотя многим сборщикам он наступил на мозоли и ни чем иным, как личным примером: за два года работы у него нет ни одной бракованной покрышки. Выбил-таки почву из-под ног «объективщиков», которые любили ссылаться на качество материалов. Теперь им нечем крыть. Ивановский работает на тех же материалах, а результаты у него как ни у кого: ноль брака. Год тому назад Диму чуть было не смяли из-за одного случая. Отклеился на покрышке личный номер, которым каждый сборщик маркирует свои шины, и разнеслась весть: «Он не все покрышки маркирует, вот почему у него нет брака». А Приданцев со своими приятелями потребовали общественного суда. Пришлось тогда парткому обуздать горланов. Но на каждый роток не накинешь платок — все равно шипели за углами.

Сегодня Ивановский берет реванш. Он проработал второй год без брака, но приклеивал свои номерки к шинам так, что зубами не отделешь.

— Исходя из опыта второго года, — завершает он свое выступление, — можно сделать вывод, что все ссылки на качество материалов лишены каких бы то ни было оснований. Что соберешь, как соберешь — то в результате и получишь.

— А почему вы топчетесь на одном месте? — неожиданно задает вопрос секретарь райкома Тулупов. — Сто два процента плана — и не больше!

Пилипченко этот вопрос понятен. По настоянию секретаря райкома Ивановский не внесен в рекомендуемый общему собранию список членов парткома, а вместо него введен Карыгин. Вот и старается Тулупов

как-то принизить Ивановского, чтобы не взбрело кому в голову добавить его к списку.

— У меня лучшее качество шин получается при таком выполнении,— спокойно отвечает Дима Ивановский.— Делаю больше — шины получаются хуже.

— Значит, у тех, кто дает сто восемь процентов, шины хуже ваших?

В зале стоит напряженная тишина. Что же ответит сборщик? Есть вещи, о которых неудобно говорить.

— Я этого не сказал. Я сказал — у меня. У каждого свой потолок.

Секретарю райкома не нравится этот скромный ответ. Он не настраивает аудиторию против сборщика, а наоборот, располагает к нему.

— А вы можете по сто восемь делать?

— Были дни, когда делал сто двенадцать,— отвечает Ивановский, не понимая, к чему клонится весь этот разговор.

— Для чего?

Ивановский не спешит с ответом, думает и в конце концов признается чистосердечно:

— Хотел показать, что и я могу.

— Значит, сознательно шли на ухудшение качества?

— Да.

По притихшему залу прокатывается легкий шумок.

За Ивановского вступается Брянцев.

— Такие дни у него единичны. Обычно он сознательно идет на потерю первенства, на потерю заработка, чтобы обеспечить высокое качество шин. Нет лучших шин на заводе, чем шины Ивановского.

«Какого черта ты лезешь?» — думает Тулупов, но спрашивает сдержанно:

— Это можно доказать?

— Хоть сейчас. Нужно принести срезы шин Ивановского и хотя бы Приданцева. Невооруженным глазом видна разница.

На помощь секретарю райкома приходит председатель собрания Прохоров. Он спрашивает — нет ли еще желающих выступить в прениях. Желаящие есть, но уже поздно, и собрание решает перейти к заключительному слову.

От заключительного слова Пилипченко отказывается, и Прохоров оглашает список людей, которых райком партии рекомендует в состав партийного комитета завода. Хорошо подобраны люди — толковые, честные, знающие. Собравшиеся встречают каждую кандидатуру гулом, более громким, менее громким, но явно одобрительным. Даже на фамилию Карыгина среагировали хорошо, хотя и гораздо сдержаннее, чем на остальных.

— Какие будут предложения? — спрашивает Прохоров.

Встает Салахетдинов.

— Я предлагаю список в целом одобрить и не дополнять.

Вот этого Брянцев боялся больше всего. Если предложение пройдет, Карыгин безусловно будет избран в состав партийного комитета. Что делать? Дать отвод он не может — нет фактов. Остается только один выход.

Брянцев встает и, волнуясь так, что у него слегка дрожит голос, произносит фразу, которая заставила секретаря райкома приоткрыть от удивления рот.

— Я предлагаю добавить к списку Дмитрия Акимовича Ивановского.

Зал одобрительно гудит: действительно, такого хорошего парня забыли!

Пилипченко понял этот ход, заговорщицки посмотрел на Брянцева. Достаточно к списку прибавить хотя бы одного человека — и Карыгин

провалится. Он безусловно соберет голосов меньше, чем другие, и останется за чертой.

Секретаря райкома не покидает выдержка. Он спокойно выступает против предложения Брянцева, но все же у многих создается впечатление, будто Тулупову Ивановский не нравится. Что-то уж очень вязался он к нему сегодня, целый допрос учинил. Собравшиеся настраиваются против Тулупова, они целиком на стороне Брянцева — вступился за Диму, да еще в партком выдвинул. В самом деле: если не Ивановскому, честнейшему парню, быть в парткоме, так кому же?

Из зала кричат:

— Добавить Ивановского! Голосуйте!

Диму включают в список.

Со своего места Брянцев хорошо видит Карыгина, сидящего в первом ряду. Тот быстро пишет записку и передает ее Тулупову. У секретаря проясняется лицо, и он тотчас же вносит спасительное предложение: увеличить численный состав парткома на одного человека. Значит, будут избраны все, кто получит больше пятидесяти процентов «за».

Людам безразлично: одним больше, одним меньше. Больше — даже лучше. Они готовы принять предложение Тулупова, но опять поднимается Брянцев.

— А во имя чего мы должны это делать? Нам по уставу положено двадцать три человека.

— А что это вы учите блюсти партийную дисциплину, — кричит на Брянцева Тулупов, — если сами ее нарушаете?!

Из зала раздаются голоса:

— Чем же он нарушил?

— А без окрика нельзя?

Карыгин медленно склонился на палку. Понял, что игра проиграна.

Брянцев хотел поработать в своем кабинете, но не тут-то было. Неожиданно ввалился Карыгин. Он был страшен. Багровое оплывшее лицо, мутные глаза. Он не опирался на палку — нес в руке, забыв о ее назначении.

— Хотел бы я знать: вы понимали, что делали? — с ненавистью произнес он, глядя на Брянцева немигающими глазами.

Брянцев не смог сдержать улыбки.

— А вы полагаете, что у меня это по наивности получилось? Конечно, понимал!

Карыгин так сжал палку, что у него хрустнули пальцы, резко повернулся и с небывалым проворством вышел из кабинета.

«Оказывается, быстро ходить умеет!» — зло подумал Брянцев.

Не успел он остыть, как появился Тулупов. Выражение его лица тоже не предвещало ничего хорошего.

— Я вас не узнаю, Алексей Алексеевич...

— Давно? — сдержанно спросил Брянцев.

— Сегодня...

— По-моему, это началось раньше. С тех пор, как вы стали больше слушать обо мне, чем меня.

— А вы ведите себя так, чтобы о вас не говорили!

— В этом кресле такое исключено... Говорить всегда будут. Кому-то бросил резкое слово, кому-то квартиру не дал, с кого-то добросовестной работы потребовал.

— Вот, вот! Значит, недоброжелателей у вас достаточно. А вы не подумали, что в результате вашего демарша вы сами можете не попасть в состав партийного комитета? Ивановский попадет, а вы — нет.

Эта мысль Брянцеву действительно в голову не приходила. А ведь может такое случиться: недовольных директором на заводе всегда

больше, чем кем-либо другим, и он никогда не соберет ста процентов голосов «за». Если у него сегодня окажется больше противников, чем у Карыгина, хотя бы на одного человека, финал будет неожиданным: Карыгин войдет в партком, а он, директор завода, нет.

Выражение озабоченности, появившееся в глазах Брянцева, не укрылось от Тулупова. Он был доволен произведенным эффектом.

— Вы, конечно, о себе не подумали, когда подкладывали петарду под Карыгина, — сказал он.

— А вы обо мне не подумали, когда пытались проташить Карыгина.

— Признаюсь, да!.. Но вам-то чего вожжа под хвост попала?

— У меня отвращение к подлецам с детских лет.

— Алексей Алексеевич, давайте поговорим по душам, — неожиданно миролюбиво предложил Тулупов и уселся в кресло, всем своим видом подчеркивая, что беседа будет продолжительной.

— Охотно. Если у вас есть...

— Душа?

— Если есть такое желание.

— Есть. Кое-что накопилось...

— Вот и зря. Не надо было копить. Появились сомнения — нужно сразу выяснять. Я лично против таких накоплений.

Тон Брянцева не нравился Тулупову. Таким тоном разговаривают равный с равным, а он все-таки секретарь райкома... Нет, прав, конечно, Карыгин в том, что рядовой секретарь парткома с этим директором не справится. Здесь нужен человек волевой, такой, как Карыгин.

— Алексей Алексеевич, почему вы берете на себя смелость меня учить?

— А вы почему? Я все-таки лет на пять, на шесть старше вас. И по партийному стажу старше. И почему вы считаете себя лучшим коммунистом, чем я? Ведь личные качества наши приходят с жизнью, с опытом, а не со стулом, на который нас сажают. Я не говорю о вас... Но часто бывает: посадят человека в кресло — и он уже оракул. Держит себя так, будто сразу и ума ему прибавилось, и знаний, и чутья. Смешно получается: почему-то все считают себя вправе учить директора. Доверяют ему многотысячный коллектив, миллионные средства, а любой инструктор любой организации, даже из финотдела, его поучает.

— Какие у вас ко мне претензии? — спросил Тулупов.

— До сих пор не было никаких. Сегодня появились. Вы применили неприемлемый метод — нажим. До сих пор у нас свободно разрешалось добавлять кандидатов к списку, и никаких бед от этого не было. Ни одного сукиного сына ни разу в партком не избрали.

— Что вы знаете о Карыгине? — спросил Тулупов, поняв наконец, что Брянцев действовал столь решительно не из мелких соображений, а в силу глубокой убежденности в своей правоте.

— Многое. Но, к сожалению, ничего не могу доказать. Поэтому и не дал формального отвода. А вот в беседе по душам — могу.

Он стал рассказывать Тулупову все, что узнал о Карыгине от Лубана.

Тулупов не усидел на стуле. Слушал, нервно шагая вдоль длинного стола, приставленного к письменному. Он сохранил от комсомольских времен живость и резкость движений и не научился еще придавать своему лицу непроницаемое выражение, свойственное некоторым многоопытным работникам. Оно отражало все, что он думал, что переживал, и поэтому нравилось Брянцеву.

— Надо было обо всем этом поставить меня в известность раньше, — упрекнул он Брянцева, когда тот закончил свой рассказ.

Брянцев пожал плечами.

— Когда? Так прийти и просто рассказать — ни к чему. И контактов у нас особых не было.

Тулупов молчал. Он думал о том, что теперь ему делать. Запросить соответствующие организации? Но если слова Брянцева подтвердятся, как он будет выглядеть? Мягко говоря, не совсем в хорошем свете. Увлёкся, проглядел. Просто вычеркнуть Карыгина из числа людей, на которых он опирался,— это полумера. А что можно предпринять еще?

И вдруг, как это случается порой в минуты обостренного мышления, все поведение Карыгина, которое казалось ему до сих пор таким партийным, предстало перед Тулуповым в совершенно ином свете. Карыгин во всех своих действиях преследовал одну цель: дискредитировать Брянцева.

Бывает так, когда весы, на которых ты оцениваешь деятельность людей, в течение нескольких мгновений изменяют свое положение, и они, неизменно склонявшиеся в сторону одного человека, начинают склоняться в сторону другого. Так произошло и сейчас: Карыгин вдруг стал невесомым, а Брянцев обрел вес.

Тулупов остановился посередине кабинета и, взглянув на Брянцева, увидел его как бы другими глазами. Перед ним сидел усталый, хотя он всячески старался этого не показывать, человек, несущий на себе огромный груз ответственности, человек, который не побоялся сегодня навлечь на себя гнев райкома, но выполнил свой партийный долг и оградил его, секретаря, от серьезной ошибки. Посмотрел на часы. Пять минут первого.

— А не пора ли по домам, Алексей Алексеевич? Говорят, вы за последнее время совсем от дома отбились...

«Опять говорят,— подумал Брянцев.— Воображаю, что они сделают со мной, когда будут разбирать мое персональное дело об уходе от жены. Тут уж пощады не жди».

Тулупов вышел, а Брянцев позвонил диспетчеру и попросил подослать ему дежурную машину.

Темный коридор освещался только светом, вырывавшимся из приемной заместителя директора по кадрам, и едва Тулупов поравнялся с ним, как из двери вышел поджидавший его Карыгин.

— Юрий Павлович,— сказал он,— можно вас на минуточку?

— Другой раз,— вежливо ответил Тулупов и прошел мимо.

На площади перед заводоуправлением стояла трехтонка. Брянцев легко перемахнул через стенку кузова и уселся на скамью. Тулупов стоял перед открытой дверкой кабины и тоже полез в кузов.

Замелькали огни фонарей вдоль шоссе.

О чем думал секретарь райкома, директор не знал, но чувствовал, что им владели невеселые мысли.

«Теперь дело его совести,— решил про себя Брянцев,— запрашивать о Карыгине или спустить на тормозах...»

Подъехали к широкооконному дому, занимавшему почти целый квартал. Тулупов пожал Брянцеву руку, крепко потрянул ее, и Брянцев понял, что приобрел в его лице друга. Но понял также, что приобрел сегодня и врага. Беспощадного и притом скрытого. Правда, в райком партии Карыгин больше не ходок, но мало ли есть в стране организаций, где его не знают? Пришло на память старое охотничье правило: медведя надо класть наповал, потому что нет ничего опаснее раненого зверя.

(Окончание следует)



ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

• • •

Со мною вместе обучался Аристотель,
И Лессинг, и Михайла Ломоносов...
Один писал поэтику для чукчей,
Другой — трагедии на адыгейском,
А третий — лирику на эвенкийском.
Мои друзья аварцы, таты, нивхи,
Которых называли гиляками,
Мои друзья литовцы и якуты —
Им некогда сулили вымиранье,—
Как я люблю их в общежитье нашем!
Районного значения поэты,
Рассказчики значенья областного,
Они — землепроходцы, пионеры
И первооткрыватели...
Друзья!
Я обнимаю вас, мои Гомеры
С Обской губы, Шекспиры Семиречья
И Чеховы с Курильских островов,—
Без вас уже нельзя мне, дорогие,
Без вас могучий наш язык немеет,
Без вас слова мои неполнозвучны.

• • •

Щетинится Прага. И камни углами
Туман раздвигают. И вот перед нами
В седых переулках распахнуты лавки,
И вещи блестят до последней булавки.
Какие здесь трубки! Какие здесь книжки!
Но мы спешаем на холм Яна Жижки,
Где вздернуто к небу тугое копыто,
Где пражское лето пылает открыто,
Где город уходит в зеленые дали,
Где Фучика этой красой соблазняли
(Сперва, мол, он сможет пейзажем упиться,
Потом же, разнежась, все выдать убийце),
Где он свою Прагу всем сердцем увидел,
Где выстоял он и не предал, не выдал,
Где он укрепил свою силу-отвагу...
Вот здесь мы, друзья, и увидели Прагу!

• • •

Бездонное авиационное небо,
Гудящее утром, гудящее днем,
Гудящее ночью. Раскатистый гром
Средь ясного неба. Как это нелепо!
Как это прекрасно! Устойчивый шум
Заполнил просторы небесного свода.
И к этому гуду привыкла природа,
Как он ни огромен, как он ни угрюм,
Как он ни торжественен. Рокот моторов
Сливается с гулом бескрайних просторов.
И нет уже света небес для меня
Без этого гула, без этого гуда
Без этого обыкновенного чуда
Средь ночи крошечной, средь ясного дня.

• • •

Людам отдайте строчки,
Одежду, обувь, тетрадки, —
Только сейчас, без отсрочки,
Только теперь, без оглядки.

Типы, характеры, судьбы,
Рожденья, скитанья, свадьбы...
Только не оттолкнуть бы!
Только не оплошать бы!

Надо вершить толково,
Надо вершить умело
Скорую помощь слова,
Скорую помощь дела.

●

РАССКАЗЫ

ЯСЕНЬ



Рис. И. Кононова

Иван Елизарович взял корзиночку, поставил в нее четыре пустых бутылки из-под молока и перешел через улицу в молочную. Продавщица Туся, знавшая старого художника, обычно приходившего скромно купить сырок на ужин, спросила бойко:

— Или внуком обзавелись?

— Вроде этого,— ответил Иван Елизарович,— и даже не одним, а двумя сразу — мальчиком и девочкой.

— Подумайте! — отозвалась Туся чуть озадаченно.— Или близнецы?

— Почти.

Иван Елизарович мог бы, наверно, давно уйти на пенсию, но он работал, притом много работал, и едва наступала весна, уезжал куда-то с большим плоским ящиком, висевшим у него через плечо, а под мышкой были складной стульчик и зонт, похожий на те зонты, которые летом устанавливают в кафе на улицах. Иван Елизарович был высокий, со щетиной подстриженной бородки, и глаза у него были и до сих пор зоркие и ничего не упускавшие.

Как-то он дал Тусе билет на выставку, и она пошла посмотреть его картины: на одной было поле с цветами, на другой — глубокая голубая даль под облаками, и Туся увидела то, чего всегда так не хватало ей: она родилась в городе, знала лишь свою широкую, в деревьях, улицу Заморенова, по которой бегала в школу, а облаков в Москве почти не видишь, нужно запрокинуть голову, чтобы увидеть их...

— Я и не знала, что вы можете так передать,— сказала она почти-тельно, когда Иван Елизарович снова зашел в молочную.— На ваши картины посмотришь — прямо за город захочется.

— Ничего особенного на этот раз я не выставил,— ответил он морщась.— Два-три этюдика, и только.

Он был, видимо, недоволен, что мало поработал, или художники всегда недовольны собой, всегда им кажется, что могли бы сделать лучше.

И жил Иван Елизарович как-то скудно, не потому, однако, что был стеснен в средствах, а приучал себя к некоторой скудости, приучал себя довольствоваться малым, в себе же самом он жил широко, и даже для многих других хватало его богатства.

— В самом деле, Иван Елизарович,— внуки? — переспросила Туся.

— Чего же удивляться... у меня их множество,— ответил он загадочно.— Полный дом моих внуков. Ведь я уже так давно живу на свете.

Туся взяла у него пустые бутылки, сменила их на полные и задумчиво посмотрела сквозь окно, как он, еще ничуть не согнутый временем, переходит улицу.

Дом, в котором жил Иван Елизарович, был четырехэтажный, лифта не построили, и все труднее становилось подниматься на четвертый этаж, все круче становилась лестница, и Туся, хоть и сомневаясь, думала о том, что теперь у Ивана Елизаровича внуки и, значит, забот прибавилось.

Туся родилась на улице Заморенова, в самом ее конце, где уже начинались владения Трехгорки, мать была ткачихой, а Туся после окончания семи классов пошла в школу торгового ученичества и стала работать продавцом — сначала в магазине «Бакалея», а когда открыли новую молочную, светлую и выложенную белыми кафелями, перешла работать сюда и теперь уже знала многих, кто приходил за молоком, или за чайным сырком, или за кефиром и ряженкой... Она хорошо понимала, что не так-то легко ходить за продуктами, и всегда жалела старых людей, которым особенно трудно это, но Иван Елизарович казался еще совсем не старым, он держался прямо, и глаза у него были зоркие, всё видели: и облака, и каждый цветочек в поле, и дали, розовые на закате, словно где-то горит костер.

Иван Елизарович стал подниматься с корзиночкой, в которой стояли бутылки с молоком, к себе на четвертый этаж, но по дороге позвонил в одну из квартир, сказал галантно: «Пожалуйста, Кириллу Николаевичу»,— и отдал корзиночку с бутылками открывшей дверь молодой женщине.

— Спасибо, Иван Елизарович,— сказала она.— Просто совестно беспокоить вас.

— Ничего, как-нибудь,— усмехнулся он.— Подумаешь, какое дело — пошел человек покупать себе, попутно купил и для вас... все-таки мы с вами не леопарды, а люди, Лиля.

Он помахал рукой, стал подниматься выше, и та, которую называл он Лилей, услышала вскоре шаги в его мастерской. На лестнице всегда пахло немного скипидаром и свежим деревом подрамников, которые Иван Елизарович сам мастерил, сам натягивал на них холст и грунтовал его. Лиле казалось сначала, что по стариковской привычке или от чудачества изготавливает он сам подрамники и грунтует холст, а потом она узнала, что художники, которые любят свое искусство, предпочитают делать все сами, особенно грунтовать холст, а еще лучше написать сначала на нем что-нибудь, а потом начисто стереть краски мастихином, и тогда грунт становится зеркальным и словно сам притягивает к себе кисти...

Иван Елизарович жил в этом доме уже свыше сорока лет, целую жизнь, если задуматься, он был еще вхутемасовцем, когда отец, старый этнограф и антрополог, Елизар Елисеевич Кирпиков, поселился здесь, и в ту пору они жили втроем — отец с матерью и он, Ваня Кирпиков. Отец был учеником Анучина, писал в свое время статьи для журнала

«Землеведение», любил природу, научил и сына любить ее и радовался его ученическим пейзажам. В первый же год, когда переехали сюда, Елизар Елисеевич вместе с другими жильцами посадил во дворе деревья — молодые липки из питомника, а под своим балконом — далеко внизу — посадил саженец ясеня, любимого им дерева, и яшень стал расти, и все, что случилось в их доме за сорок два года, все события, радости и горести в жизни тех, под окнами которых рос, — знал и помнил и мог рассказать этот яшень...

На книге «Воды и суши», которую Дмитрий Николаевич Анучин подарил отцу, была авторская надпись: «Без воды нет жизни на суше, как нет ее и без добрых дел». Книга всегда лежала у отца на столе, и пока были живы отец и мать, они строго делали все по этой надписи, и не было ни одного доброго дела, от которого они уклонились бы... А потом отец умер, умерла и мать, и он, Иван Елизарович, стал из молодого вхутемасовца сначала подающим надежды художником, а там и испытанным художником, начал преподавать в институте, получил звание профессора, и вот уже немало бывших его учеников выставляют свои работы на выставках.

Но все это только внешняя сторона его жизни, есть еще и внутренняя, и сколько лет ни прошло, нередко по-прежнему портит он холст, с досадой соскабливает написанное, всегда хочется написать что-нибудь лучше, да и сейчас не перестаешь надеяться на это...

Бутылки с молоком, которые принес Иван Елизарович, Лиля поставила в холодильник, потом подошла к ширме и осторожно заглянула за нее: Кирик спал, она постояла и послушала, как он спит, и что-то набежало на миг, но она даже не захотела задуматься, что именно набежало, только ресницы стали мокрыми, и Лиля сама обманула себя, не вытерев их, а лишь поморгав ими... Кирик спал, ему было полтора года, и значит — уже больше полутора лет, как круто, и горько, и несправедливо изменилась ее жизнь. Возле рамки с портретом матери на пианино стояла вазочка с веткой мимозы... наверно, из Сочи или Сухуми прилетела на самолете эта ветка.

В комнате матери теперь, после ее смерти, жила подруга — Люда Северинова, она знала всю ее, Лили, судьбу и все пережила вместе с нею; а Кирик после того, как ушел его отец, стал как бы их общим сыном, и первой была именно она, Люда, кому дала прочесть Лиля последнее письмо Юрия, присланное из Симферополя:

«Не упреки меня в малодушии, что я не сказал тебе все сразу, — писал Юрий. — Но в письме легче высказать, а в разговоре скажешь иногда не то и не так... впрочем, ты сама понимаешь это. Я отношусь к тебе сердечно, но то, что называется любовью, узнал только теперь, и поверь, что это не просто увлечение. Разумеется, если возникнут какие-либо обязательства в отношении тебя, то я их выполню... но сердцу, ты сама понимаешь это, не прикажешь».

Юрий писал так, словно они не были женаты почти три года и словно и не знает, что она ждет ребенка. Однако в письме было скользкое между строк, что — случись что-нибудь — лучше ей, Лиле, проявить благоразумие. Кирик родился тогда, когда его отец был уже далеко в стороне, и Лиля вписала сына в свой паспорт; а год спустя, когда для развода все было оформлено, они с Юрием встретились в народном суде, и пока в зале разбиралось чье-то дело, сидели на скамейке в коридоре.

— Все-таки я не подлец какой-нибудь, не думай, — сказал Юрий. — Я ведь, когда уезжал со съемочной группой в Крым, ничего не знал и ты мне ни о чем не сказала прямо.

— А если бы сказала? — спросила Лиля.

— Не знаю, что и ответить... во всяком случае, правила общественного поведения мне известны.

— Значит, ты все равно ушел бы, даже если бы я тебе и сказала, что жду ребенка? — спросила Лиля напрямик.

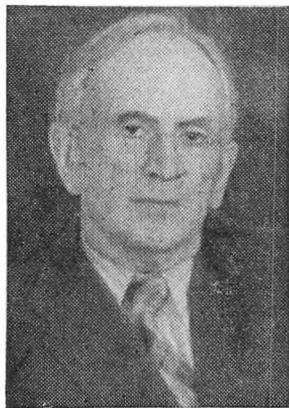
Юрий в Крыму загорел, шли съемки фильма, в котором он играл главную роль, по роли ему полагались усы, и он отпустил усы, делавшие его хлыщеватым, да и синий плащ «болонья» хлыщевато шуршал на нем; он был, конечно, красив, Юрий, но какой-то совсем далекой, скорее отталкивающей красотой, и Лиля искала в себе не чувство, которого уже не было, а сожаление, но и сожаления не было... не было ничего, кроме ее испорченной жизни, Кирика, описанного в ее паспорт, и такой печали от всего, такой печали. На суде они оба с равнодушным друг к другу заявили, что у них нет ничего общего, у каждого давно своя жизнь, и женщина-судья, повидавшая немало этих битых семейных чашек, и не пыталась уговорить склеить, только напомнила Юрию об его обязательствах.

— Вот и все,— сказала Лиля, вернувшись домой, где ее ждала Люда.— Просто и быстро, как будто и не было.

А Кирик с его судьбой — это только ее, и ничего ей от этого несуществующего отца не надо, пусть снимается в фильме, играет, наверно, положительного героя, и усы придают его лицу обольстительное мужество.

После окончания консерватории по скрипичному классу Лиля поступила в оркестр Радиокomiteта, а Люду после окончания Гитиса приняли в труппу драматического театра, они жили теперь вместе, а Кирик был как бы общий их сын. У Люды тоже что-то не сложилось, но, к счастью, в самом начале: кончавший вместе с ней институт осетин Асаев уехал к себе на родину, должен был вернуться в Москву, потом написал уклончиво, что принят в труппу государственного театра, занят в шекспировском спектакле; а некоторое время спустя уже прямо написал, что родители против его женитьбы, считают, что он еще не устроен в жизни и нужно повременить с этим. Люда поняла, что Асаев затерялся в шекспировских далях, может быть, нашел более близкую ему по душе осетинку, и все к лучшему, если так. Они обе — Лиля и Люда — знали друг о дружке все и жили теперь как две сестры.

Рядом с портретом Лиловой матери стоял на пианино и портрет отца, но отца Лиля знала лишь по рассказам матери, она не помнила его, не могла помнить и то темное и страшное, что принесла его судьба в их жизнь, знала лишь, что мать осталась вдвоем с ней, когда ей было всего полтора года, сколько сейчас и Кирику, но отец никуда не ушел от них, его просто не стало в одну ночь. Отец на фотографии был в форме комдива, с ромбом в петлицах, с сильным, решительным лицом, он сражался с басмачами в Средней Азии где-то возле Кушки на афганской границе, приехал оттуда с двумя орденами Боевого Красного Знамени, и мать гордилась им. А потом в одну ночь отца не стало, и только, когда Лиля выросла и кончила школу, мать рассказала ей обо всем, рассказала и о том, что отец предчувствовал свою судьбу и готовился к ней. Так темно, так печально пошла их жизнь потом, мать преподавала в детской музыкальной школе, а родом они с отцом были из одного села,



Владимир Германович Лидин принадлежит к старшему поколению советских писателей.

Основные его произведения — «Норд», «Идут корабли», «Пути и версты», «Могила неизвестного солдата», «Великий, или Тихий», «Изгнание», «Ночные поезда», «Люди и встречи», «Дорога журавлей», «Друзья мои — книги», «Сердца своего тень».

В нашем журнале опубликовались отрывки из книги В. Г. Лидина «Люди и встречи» и циклы рассказов.

знали друг друга детьми, учились в одной школе и полюбили друг друга еще в школе, а потом они поженились, и отец увез ее в Москву, где учился в кавалерийском училище. Квартиру отцу дали, когда он вернулся из Средней Азии, и в этой квартире родилась она, Лиля, родился и Кирик в ней, а отца уже давно не было, не было и матери, не было и Юрия... сейчас в Крыму весна, и море, наверно, скоро станет совсем теплым.

Лиля прошла в кухню, поставила на плиту кастрюлечку, чтобы сварить манную кашку для Кирика. Было уже почти десять часов, а в одиннадцать началась музыкальная передача и нужно было поспеть в радиостудию. Вода вскоре закипела, Лиля стала помешивать кашку и время от времени пробовать ее, достаточно ли разварилась крупа. А Кирик спал, у него были свои положенные часы, в хорошую погоду он спал во дворе в колясочке, и приходилось сидеть рядом; иногда — когда бывала свободна — сидела и Люда, а иногда Иван Елизарович выходил во двор почитать газету, говорил: «Музицируйте себе спокойно, Лилечка... я с Кириком посижу, ему тоже интересно послушать, что делается на свете».

Как-то, когда Лиля запоздала, а день выдался свежий, Иван Елизарович не дождался ее возвращения и отнес Кирика к себе на четвертый этаж, а колясочку оставил в подъезде. Кирик поспал на воздухе, теперь хотел есть, и Иван Елизарович не очень уверенно мелко нарезал для него яблоко, посыпал сахаром, но Кирик морщился, зажимал ложку деснами, Иван Елизарович выговаривал ему: «А если тебя на какой-нибудь прием пригласят, тоже будешь так есть?» — ловко поворачивал ложечку ребром во рту Кирика, и тот все-таки принял за яблоко. Иван Елизарович понимал, как трудно Лиле, он помнил ее мать, Анну Ксенофоновну, и знал горечь ее жизни. А Лиля в ту пору была совсем крохотной девчушкой, потом стала аккуратной школьницей, а теперь она уже молодая мать, и ее сын лежит сейчас у него на диване.

— Извините меня, Иван Елизарович,— сказала Лиля запыхавшись,— задержали на репетиции. Так мне совестно перед вами!

— А если бы я был дед? — спросил он.— Могло ведь случиться, что я был бы дедом вашему Кирику? Ах, Лиля, Лиля!

Лиля ничего не ответила, только как-то заморгала, и ему было жаль ее.

Лиля взяла сына и унесла его, а Иван Елизарович высыпал на балкон недоеденные кусочки яблока, и на балконе скоро затрещали воробьи.

Для весенней выставки Иван Елизарович готовил картину «Вид из окна мастерской», он хотел вложить в этот вид все то, что пережито им, старым художником, в своей мастерской, всю долгую жизнь с ее думами, надеждами и невзгодами: это, конечно, поймет не каждый, но тот, кто знает законы искусства и мысли художника, и то, что художник хочет выразить своим настроением, — тот поймет... Ясень, когда-то маленький саженец, давно дотянулся до балкона его мастерской на четвертом этаже, это было уже старое, сильное дерево, и его ветви, когда покрывались листьями, все более заслоняли свет, но это было похоже на тень под аркадами, как на картинах Сильвестра Щедрина, похоже на тень от побегов вьющегося винограда. Ясень бросал живую тень и в мастерскую, и нужно было передать трепет его листы, передать так, чтобы по отраженной тени на полу почувствовать, как ясень раскачивается и шевелит ветками.

Ясень тогда дотянулся только до второго этажа, его верхушка чуть шумела и раскачивалась внизу, а в то июньское утро она была почти неподвижна, утро было совсем теплое, не остывшее за ночь, и день обещал быть жарким, — он дотянулся тогда лишь до второго этажа, ясень, когда сын Михаил взбежал по лестнице, крикнул на ходу: «Папа, включи радио! — и Иван Елизарович удивленно посмотрел на него. — Папа,

включи радио,— повторил Михаил, но уже совсем тихо,— война!» И Иван Елизарович включил радио, и они втроем — он с женой и сын — слушали радио в холодной пустынности теплого июньского утра.

Это было так давно и совсем недавно, сто лет назад и только вчера, и вот уже двадцать два года, как нет Михаила на свете, а теперь ему было бы всего сорок два года, зрелость и полнота жизни, расцвет жизни, а если бы он стал художником, или писателем, или ученым — расцвет зрелого творчества... Иван Елизарович скрыл от жены содержание той бумаги, которую получил когда-то, бумага называлась страшным словом «похоронная», и сказал жене, что Михаил, видимо, попал в плен и до конца войны нечего рассчитывать узнать о нем что-либо.

Жена умерла, не дождавшись конца войны, а значит, и вести о сыне, который мог где-нибудь томиться. Иван Елизарович поехал после войны в те места, где был убит сын, но могила была общая, и оставалось только предположить, что Михаил лежит именно в ней. За могилой ухаживали школьники сельской школы, организовали музей боевой славы, и Иван Елизарович, вернувшись в Москву, послал для музея несколько своих военных зарисовок и пейзаж хмурой предзимней Москвы с повисшими над ней телами привязанных аэростатов.

Лиля никогда не видела Михаила, и никто из тех, кто вырос за двадцать два года в доме, не знал его, они были тогда еще маленькими детьми и, наверно, им казалось теперь, что он, Иван Елизарович, так всегда и жил один, бобылем, писал свои картины, весной с большим зонтом и плоским ящиком с красками уезжал писать этюды, и его считали немножко чудачком, старого художника с его привычками и причудами. Зимой Иван Елизарович носил меховую шапку клобуком, а летом — берет, но широкий, так что один его край свисал. Это был очень старый берет, Иван Елизарович привез его из Испании, где баски носили именно такие береты, привез из Бретани и рыбацкую синюю робу из холста почти парусной твердости, и когда надевал робу и берет, становился похож на художника времен Возрождения, с зорким взглядом молодых глаз, седой бородкой и выпушкой седых волос из-под берета, и ни один московский вернисаж нельзя было представить себе без Ивана Елизаровича, но на вернисажи он надевал длинный коричневый пиджак, какие уже никто не носит...

Убирать мастерскую Ивана Елизаровича приходила Катя Еремеева, жившая в том же доме, но в полуподвальном этаже. Катя двенадцать лет назад приехала из деревни, ей было тогда шестнадцать лет и она боялась из-за автомашин переходить улицу. Катя была курносенькая, смышленная и душевная, в доме она сначала работала дворничихой, зимой убирала снег и соскребала лед на тротуаре, потом ее перевели работать в домоуправление, и она помогала управдому, попутно начала учиться, окончила школу рабочей молодежи, поступила на курсы стенографии и теперь уже работала и стенографисткой; но Ивана Елизаровича она не оставила, приходила убирать его мастерскую, и когда в фартуке, в карманчик которого засунута была пыльная тряпка, и в козыночке расхаживала в его мастерской, Иван Елизарович наблюдал за ней издали, говорил: «Великий Овидий в наше время, наверно, заново написал бы свои «Метаморфозы». Но Катя привыкла, что Иван Елизарович говорит с ней всегда возвышенно и непонятно, отвечала: «Ладно уж... нечего для меня слова придумывать», вынимала из карманчика фартука пыльную тряпку и наводила порядок в его мастерской. Иван Елизарович сидел в углу дивана, смотрел на нее и размышлял вслух с самим собой:

— Метаморфозы не в том, Катя, что вы из деревенской девочки стали стенографисткой, записываете речи в тетрадки и от вас пикуда не уйти оратору... метаморфозы не в этом. Они совсем в другом.

— В чем же? — поинтересовалась Катя, не признаваясь, что не очень-то твердо знает значение этого слова.

— В духе, — ответил Иван Елизарович значительно. — В том, как вырос ваш дух. На посиделки с гармошкой вас сейчас вряд ли заманишь, вам нужны театры и концерты, вам подавай что-нибудь вроде «Гамлета».

Катя только недавно смотрела в кино «Гамлета» и подивилась, что Ивану Елизаровичу известно это.

— А откуда вы знаете, что я была в кино на «Гамлете»? — спросила она. — Просто никуда от вас не скроешься.

— Конечно, не скроешься, — подтвердил он не то грустно, не то иронически. — Я столько в своей жизни написал картин, и этюдов, и всего на свете, что от меня никуда не скроешься.

Катя не поняла его: наверно, он хотел сказать, что привык широко и далеко видеть мир, и он действительно видел широко и далеко, судя по его картинам.

— Я недавно в Третьяковке на ваши «Вербы» смотрела, — сказала Катя. — Как подметили, Иван Елизарович, просто потрогать каждую сержку хочется.

Но Катя всегда была сдержанна, даже если хотела сказать что-нибудь приятное человеку, и всегда чуть подсмеивалась над ним, Иваном Елизаровичем, но любовно, и он понимал это и даже поощрял на острое слово.

— Что такое дом, в котором живешь? — продолжал он размышлять вслух. — Четыре стены, да окна в них, да еще перегородки и двери... и что такое вообще жизнь обычных людей, их скромная биография? Однако без их биографий нет ни истории, ни жизни общества, и если задуматься над этим, то и ваша, Катя, казалось бы, неприметная судьба становится биографией времени, без вашей судьбы времени этого не поймешь и не оценишь.

Иван Елизарович говорил о том, о чем часто думал наедине: судьбы людей, живущих в одном доме с ним, прошли цепью своих удач или неудач, радостей или горестей, рождались дети, уходили старики, и внуки уже не помнили своих бабушек, которые часами сидели во дворе возле их колясочек, внуки были уже сами отцами, и, проходя как-то по двору, Иван Елизарович остановился вдруг, минуту вспоминал, кто этот молодой человек, который катает детскую колясочку, и понял наконец, что это Коля Устинов, с которым когда-то он ездил на птичий рынок покупать ему в подарок щегла.

— Виноват, разрешите узнать, кого вы изволите катать в колясочке? — осведомился тогда Иван Елизарович учтиво.

— Моя дочка, — сказал Коля Устинов. — Маечка...

Иван Елизарович заглянул под полог колясочки, посмотрел на крохотное личико синеглазой девочки, произнес только: «Понятно», но было совсем непонятно, когда Коля Устинов успел вырасти и стать отцом, и удаляясь, Иван Елизарович услышал отцовский негодующий голос Коли: «Да будешь ты когда-нибудь спать!», Коля уже тащил семейную тележку. Иногда весной, когда становилось тепло, во дворе появлялось вдруг несколько девочек и мальчиков, одни — только научились ходить, другие — первый год пошли в школу, и все это были дети тех, кого Иван Елизарович знал детьми, это был круговорот времени, чудесное его возвращение, и не хотелось думать, что стареешь и годы уходят постепенно из-под твоих ног...

Катя, убрав мастерскую, снимала с себя фартучек и снова становилась стенографисткой, ее стали приглашать по временам в Дом кино записывать выступления кинорежиссеров, и Катя уже знала многих из них, особенно ей нравился кинорежиссер Кармен, бесстрашный и побы-

вавший всюду — и на войне, и на Кубе, и она всегда немного волновалась, записывая его выступления.

Однажды летом она поехала к бабушке в деревню в Калужскую область. Бабушка была уже совсем старенькая, и Катя знала, что видит ее, должно быть, в последний раз. Бабушка смотрела на Катю, вытирала слезы — совсем другой стала Катя, словно ее подменили, только сердечность ее осталась прежняя.

— Ты чем занимаешься-то? — спросила бабушка.

— Записываю, что люди говорят, — сказала Катя. — Иногда нужно записать, что говорят на собрании или на заседании, я прихожу и записываю.

— А зачем? — спросила бабушка.

— Чтобы сохранилось, — ответила Катя неуверенно, но подумала при этом, что не одна ее стенограмма хранится где-нибудь в архиве, похороненная на вечные времена, и есть ораторы, которых легко записывать, а есть такие, которые больше чихают и сморкаются или пьют воду, чем говорят...

Катя сидела в доме бабушки, где выросла, но детство казалось теперь так далеко унесенным, что и не верилось, будто она жила здесь когда-то, пасла гусей и цыпки на шершавых руках всегда болели. А бабушке казалось, что Катю давно поглотил город, и она боялась за нее.

— Ты смотри да оглядывайся, — сказала она, — шуму в городе много и людей разных много... не очень-то каждому верь.

— А я кому не нужно — не верю, — сказала Катя. — А кому можно верить — отчего ему не поверить?

Она подумала в эту минуту об Иване Елизаровиче, и о маленькой, старательной секретарше редакции одного журнала — Марии Семеновне, жившей в квартире на третьем этаже, и о Нюре Румянцевой, которой минуло пятнадцать лет, когда Катя поступила дворничихой в дом, а теперь Нюра была в Мали, где-то в Африке, прислала раз с оказией ей, Кате, шелковую косыночку с изображением голубых рек и городов Мали и надписями по-английски: «Бамако, Нигер, Тимбукту»... Катя думала теперь, что, как ей казалось, Мали с его голубыми реками и пальмовыми рощами где-то на краю света, и судьба Нюры Румянцевой казалась непостижимой, — так, наверно, казалась бабушке и Москва, и то, что она, Катя, научилась записывать целые речи и посылает ей каждый месяц пятнадцать рублей, — все это казалось бабушке непостижимым. Но она все-таки боялась за Катю, так много людей вокруг, которых нужно остерегаться... она ничего не знала о доме, в котором Катя нашла свою судьбу, и о людях, которые помогали ей найти свою судьбу, и Катя рассказала ей только, что по старой памяти ходит убирать мастерскую одного художника, который умеет на своих картинах передать и как весной тает снег на полях, и как вербы покрываются первыми пушистыми сережками.

Из деревни Катя вернулась растревоженная встречей с тем, с чего началась ее жизнь, и печальная от мысли, что, может быть, в последний раз увидела бабушку. Она пришла убирать мастерскую Ивана Елизаровича с заплаканными глазами, и он, привыкший все понимать, только посмотрел на нее искоса, сначала ничего не спросил, а потом спросил:

— Ну, что такое у вас, Катя?

Она помолчала, вытирая пыль, но слезы бежали по ее щекам, и она всхлинула и сказала:

— Бабушку жалко.

Потом она рассказала, что бабушка стала совсем старая и слабенькая и, конечно, боится за нее, Катю, боится и ее стенографии.

— Ясно, — сказал Иван Елизарович и вдруг показал Кате свою руку, обращенную к ней ладонью, и спросил:

— Что это, Катя? Рука? Ну, и полагайтесь на нее. Пока я ем, полагайтесь.

— Я и так полагаюсь,— ответила Катя, снова всхлипнув, и она вытирала пыль и тихо плакала, а Иван Елизарович сидел в углу дивана, делал вид, что читает книгу, и Катя, поглядывая по временам на его худую длинную руку, думала о том, что Иван Елизарович не даст ее в обиду... он был как отец, а на мольберте стояла его начатая картина «Вид из окна мастерской»...

Нюра Румянцева окончила педагогический институт иностранных языков, говорила по-английски и по-французски, а ее отец, Никита Васильевич, работал столяром на мебельной фабрике, и в доме, если нужно было починить что-нибудь из мебели, обращались к Никите Васильевичу, и он чинил, но денег не брал даже с домоуправления, а посмеиваясь говорил: «В общественном порядке». Никиту Васильевича все в доме любили и уважали. Он был мастеровит, с ловкими, спорыми руками, вежливый и уважительный, но все-таки образование у него было четырехклассное, больше в свою пору не позволила вытянуть нужда, а Нюра говорила по-английски, теперь уехала в Мали, а до этого два года провела в Индонезии, и все так просто, будто съездила куда-нибудь в Рязань или погостила в Ленинграде у знакомых.

Катя поехала провожать Нюру на Шереметьевский аэродром, когда та улетала в Мали. Катя впервые была на аэродроме, воздух над широким полем, казалось, дышал запахами всех стран, по временам голос объявлял по радио посадку на тот или другой самолет, подъезжал маленький поезд с открытыми вагончиками, а некоторое время спустя в стороне слышался густой нарастающий гул... Самолет в Мали улетал почти в полночь, и на темном поле низко горели зеленые, красные и желтые посадочные фонари. Через полчаса так же увезет маленький поезд и Нюру куда-то в конец поля, и не увидишь, как поднимется и полетит самолет, а завтра Нюра будет уже в Африке, и Кате казалось, что она теряет Нюру и неизвестность поглотит ее.

— В четыре часа дня по московскому времени будем уже в Бамако,— сказала Нюра.— Ты к папе заходи, пожалуйста... мама на лето поедет к тете в деревню, а он все лето будет один, отпуск у него только осенью.

Нюра уже побывала в Индонезии, теперь на очереди Мали, а там будут и другие страны, и она, казалось, не волновалась, что впереди долгий путь по воздуху.

— Не страшно лететь? — все-таки спросила Катя.

— Теперь это как в поезде,— ответила Нюра.— ничего и не чувствуешь. Почитаешь журнал, поспишь, потом дадут завтракать, а там, смотришь, уже и Африка.

Нюра улетела, и Катя вернулась домой все же в некотором душевном смятении. Дом словно опустел без Нюры, все-таки всегда можно было забежать к ней на минутку или хоть увидеть, как Нюра с красной плоской сумкой, в которой лежат книги и тетради, идет в институт или возвращается из института... Никита Васильевич проводить дочь не смог, и Катя зашла к нему на другой день, когда он вернулся с работы, и рассказала, как было на аэродроме и как Нюра улетела.

— Сейчас, наверно, уже на месте,— сказала она, поглядев на свои ручные часики.— Сейчас это просто, сел и полетел, поспал немного, поел немного — и уже на месте.

— Будем надеяться,— отозвался Никита Васильевич, но невесело, Нюра у него и жены была одна, других детей у них не было.

— Ты все-таки заходи иногда, Катя,— попросил он.— Грустно все-таки.

— Непременно буду заходить, Никита Васильевич, как заходила... мне тоже интересно послушать, что Нюра напишет из Мали.

Письма от Нюры, однако, долго не было, а потом пришло письмо, посланное, видимо, с оказией и брошенное в почтовый ящик в Москве, пришло письмо и для Кати.

«Дорогая Катя,— писала Нюра,— все собиралась написать тебе, но такая масса впечатлений, что не знаешь, с чего и начать. Город очень своеобразный, много пальм и банановых деревьев, и народ приветливый, но очень бедный, ведь еще совсем недавно Мали была колонией»...

Мария Семеновна, к которой Катя поднялась на третий этаж, работала секретарем в редакции женского журнала, и когда что-нибудь касалось судьбы той или другой женщины или девушки, это всегда волновало ее.

— Ты дай мне адрес Нюры,— попросила она.— Мы пошлем ей письмо из редакции, может быть, напишет для нас очерк о положении женщины в Мали. Фотоаппарат-то у нее есть с собой?

— Как же. Ей Никита Васильевич «Зоркий» купил, и цветную пленку с собой захватила. Нюра хорошо фотографирует,— и Катя достала из сумки фотографию, на которой Нюра сняла ее во дворе возле ясеня.

— А если еще и снимки к очерку придет, то совсем здорово будет. Напишем, чтобы непременно прислала со снимками.

Мария Семеновна всегда хотела сделать людям что-либо доброе, и, казалось, только искала повода, чтобы сделать доброе. Во время войны она, маленькая и проворная, тогда еще не старая, дежурила наравне с мужчинами на крыше дома, тушила зажигалки, ее единственный сын Сережа был на фронте, и Катя, конечно, не могла увидеть это, но рассказала впоследствии одна из жилищ, что в тот день, когда Мария Семеновна получила извещение о пропаже сына без вести, она не отчаялась, продолжала делать все так, будто ничего не случилось в ее жизни, а год спустя взяла из детского дома на воспитание мальчика-сироту Андрюшу, и теперь Андрей был уже инженером-нефтяником.

Но Мария Семеновна не уходила на пенсию, по-прежнему работала в редакции журнала, и когда отмечалось тридцатилетие журнала, ее наградили медалью «За трудовую доблесть». Андрей женился, жил с женой отдельно, и теперь в своей маленькой квартирке Мария Семеновна осталась одна, книги заполняли ее комнату, и она побуждала Катю прочесть то одну, то другую книгу.

— Когда почувствуете, что Пушкин или Чехов ваш друг и вы без них жить не можете, тогда все будет в ваших руках, Катя... Человек должен обзаводиться хорошими друзьями, и более верного друга, чем писатель, который пришелся по душе, и не найдешь.

Мария Семеновна взяла как-то билеты в Большой театр, и Катя пошла с ней послушать «Евгения Онегина», а потом по-новому стала читать Пушкина, словно его герои были теперь ее знакомыми...

Столько разных людей жило в доме, где Катя начала с уборки двора, зимой — лопатой и скребком, а летом — метлой, или приходилось поливать из шланга тротуар и газоны, а пока не купили шланг, поливала из лейки.

Врач Игорь Александрович Португалов был крупный, с сильными, уверенными руками, которыми делал операции на сердце, и об его операциях писали в газетах, а в «Огоньке» был однажды напечатан портрет Игоря Александровича, склоненного над операционным столом, в марлевой полумаске и с резиновыми перчатками на руках. Иногда, встречая Катю во дворе, он спрашивал на ходу: «Ну как, грызем науку?», но Катя знала, что он сочувствует ей и интересуется ее судьбой. Португалов жил на одной площадке с Марией Семеновной, его сыновья — Леша и Юра — оба уже кончали школу, а еще совсем так недавно, кажется,

ездили по двору на детских велосипедах и им попадало от сторожа, когда они срывали с зацветшей ивы ее сережки.

— Вот и сыновья мои выросли,— сказал Португалов раз при встрече с Катей.— В будущем году получат паспорта, такая-то история...

Может быть, он хотел добавить, что давно умеет делать операции на сердце, но что в нем заключено — в сердце, способном любить или сжиматься от горя, что заключено в его составе? Катя всегда хотела спросить Португалова, есть ли в человеческом сердце тот уголок, в котором сосредоточивается все, что дано испытать сердцу, но, наверно, Португалов высмеял бы ее, и она не спрашивала.

Однажды ночью, во втором часу, ее разбудили стуком в окно в полуподвальном этаже, и она, не зажигая света, открыла форточку.

— Ради бога,— сказал женский голос,— в какой квартире живет врач Португалов? Он очень срочно нужен.

Катя знала, что Игорь Александрович только недавно вернулся после суточного дежурства в больнице.

— Да он только что заснул, наверно... у него через день дежурство.

Но женщина не слушала ее и говорила задыхаясь:

— Ради бога, в какой квартире живет Португалов?

— Подождите немного,— ответила Катя.

Она оделась, вышла во двор и вгляделась в лицо молодой красивой женщины, стоявшей возле ее окна.

— Разве вы не знаете сами... Игорь Александрович целые сутки не спал, а он ведь молодой человек, как же будить его ночью? — сказала Катя с упреком.

— Да понимаете ли вы, у меня дочь умирает!

Женщина заплакала, и Катя поспешно проводила ее до квартиры Игоря Александровича и сама позвонила. Дверь открыл младший его сын, Леша, сказал: «Папа спит, я не могу будить его». Но женщина плакала, и он пошел все-таки будить отца.

— Ну, что тут такое? — спросил Игорь Александрович, выйдя в переднюю в пиджаке, накинутом поверх пижамы.

Он выслушал, что сказала ему женщина, подумал, спросил: «Вы на машине?» — «Такси внизу», — ответила женщина, и Игорь Александрович ушел одеваться, а десять минут спустя серая машина с шашечками рванула от ворот. Катя постояла в темноте ночи. Был уже ноябрь, и в небе холодно блестели звезды. Она размышляла о том, что вся жизнь Игоря Александровича состоит из одних тревог, он не успевает подумать о себе, и вот уже Леша и Юра стали юношами, скоро получат паспорта, а Игорь Александрович, наверно, еще ни разу не отдохнул как следует. Но вместе с тем это было самое важное в жизни и самое нужное в ней, что есть такие люди, которые всегда торопятся для других, а для себя не спешат, не привыкли торопиться и пропускают себя понемногу. Катя вспомнила, как Игорь Александрович, помянув о паспортах сыновей, добавил: «Такая-то история», — наверно, он имел в виду свою жизнь, в которой за делами и заботами о других позабыл подумать о себе. И Катя, глубоко уважая этого человека, в то же время ощущала, что попросту любит его за большое сердце, которое отдает он людям... и в каждую операцию на сердце другого он вкладывает частицу своего сердца.

Игорь Александрович уехал с женщиной, искавшей его, и Катя только через несколько дней, встретив его во дворе, смогла спросить, что случилось тогда ночью.

— В самую чуточку попали,— сказал Португалов, как всегда слегка небрежно.— В самую чуточку... заклинило клапан, пропала бы девочка.

Он не объяснил, что значит «заклинило клапан», не сказал и того,

что сделал, наверно, операцию, он просто был доволен, что спас чью-то жизнь, а что две ночи до этого не спал — было уже позади и ни к чему вспоминать это.

— Памятник нужно поставить вам, Игорь Александрович,— сказала Катя прочувственно.

— Во, во,— подхватил он,— я и сам об этом подумывал... Проявите инициативу, Катя, а я поддержу.

— Вам все шуточки, Игорь Александрович... а когда все-таки себя начнете беречь?

Жена Португалова, Серафима Михайловна, болела, лежала уже несколько лет полупарализованная, и Игорь Александрович давно был лишен заботы о себе, а у сыновей находились свои дела, и плохая надежда была на них.

Как-то, возвращаясь из больницы, Португалов встретил во дворе Ивана Елизаровича.

— У меня к вам просьба,— сказал Иван Елизарович,— попозируйте мне, хочу написать ваш портрет.

— Это для чего же? — осведомился Португалов.

— Ни для чего, а только для меня, художника.

— Ну, если для вас...— но Португалов подумал все-таки, не результат ли это работы Кати: если не памятник, то хоть портрет на холсте.

— Готовлюсь к выставке российских художников,— сказал Иван Елизарович, уже прошупывая его своими зоркими глазами.— А вас я давно хотел написать. Долго мучить не буду.

Но уже через неделю Португалов привык к мучке. Впрочем, о многом они поговорили друг с другом в мастерской Ивана Елизаровича, пока тот работал. Они поговорили о том, что уже множество лет живут в этом доме и многих из тех, с кем они поселились здесь, давно нет на свете, выросли дети и переженились или повыходили замуж, и уже новое поколение давно бегаёт во дворе, ездят пока на трехколесных велосипедах, пишут мелом на стенах свои имена или прячутся в подъездах друг от друга. Время идет, оно, вернее, бежит, или, еще вернее, летит, или даже несется, хотя кажется, что поступь его неспешна, неспешно стареешь, неспешно седеешь или лысеешь, а дети тем временем, конечно, растут, и вот в будущем году Леша и Юра станут уже студентами, а девочка Катя, приехавшая откуда-то из Калужской области и боявшаяся вначале переходить улицы, теперь стенографистка, а они оба — Иван Елизарович и Португалов — уже старики, и один старик пишет портрет другого старика...

Иван Елизарович писал Португалова в кресле на фоне балконной двери, а за ней был ясень в коричневатых пучочках еще не распустившихся почек. Португалов сидел спокойно, не менял позы, и они только изредка говорили что-либо друг другу.

— Вам позавидуешь,— сказал Иван Елизарович, смешивая краски на палитре и недовольный своими мазками, которые то и дело поправлял или счищал совсем.— Вам позавидуешь. Хирургия — наука точная, всё без ошибки... а в искусстве ошибаешься, и до самой старости ошибаешься, все находишь, что не то.

— А мы не ошибаемся? — усмехнулся Португалов.— Еще как ошибаемся... вы ошиблись — в худшем случае картина не получилась, а мы ошибемся — можем человека загубить, и случается, что ошибаемся. Все трудно, все ответственно, и хорошо, что ответственно, так и нужно, чтобы было ответственно... и перед самим собой ответственно в первую очередь.

— Вот именно,— отозвался Иван Елизарович, взял мастихин и стер верхнюю часть портрета: не получались на портрете глаза Португалова, и нужно было искать все заново.

Португалов посмотрел в его сторону, посмотрел, как тот начисто стирает написанное, и сказал:

— А в нашем деле, к сожалению, так нельзя... в нашем деле не согрешь, если сделал что-нибудь не так, позавидуешь вам, художникам.

Но Иван Елизарович ничего не ответил, он всматривался в его глаза, он искал то, чего не нашел и что нужно было найти, и вдруг схватился за кисти, стал торопливо смешивать краски и наносить мазок за мазком на холст, отходя, всматриваясь издали и снова возвращаясь, чтобы нанести еще мазок: может быть, он нашел то, что лежало в глубине глаз Португалова — его строгую доброту и его добрую строгость.

— Ведь всегда пишешь не портрет,— сказал он наконец, видимо довольный тем, что нашел.— Портрет — это только сходство, а сходство лучше всего может передать фотография. Пишешь то, что в душе человека, а не то, что на его лице... на его лице только нос, ну и щетинка иногда бывает, если не побрился.

— А что у меня в душе? — поинтересовался Португалов.

— Вот напишу — тогда узнаете.

Они еще немного подшутили друг над другом, а потом Португалов посмотрел на свои ручные часы: время для позирования истекло.

Незаконченный портрет Португалова был прикрыт холстиной, и Катя, приходя убирать мастерскую, не решалась украдкой заглянуть под холстину: Иван Елизарович никому не показывал недовершенных работ, и Катя понимала его сдержанность.

— Долго вам осталось писать с Игоря Александровича? — все-таки осведомилась она раз.

— Ровно столько, сколько осталось,— ответил Иван Елизарович.

Но она не обиделась: к художникам и к их работе всегда нужно относиться по-особому.

— Ладно,— сказала она только.— Пишите себе на здоровье, а Игорь Александрович стóит того, чтобы с него написать портрет, он памятника стóит, вы многого не знаете о нем, а я знаю.

— А что вы о нем знаете? — осведомился Иван Елизарович.

— А то, что себя не щадит, и ночью с постели вскочит, если кому-нибудь нужна помощь.— Катя вспомнила плачущую женщину во дворе.— Если кому-нибудь в сердце клапан заклинило,— добавила она.

— Это плохо,— сказал Иван Елизарович,— это плохо, если в сердце заклинило клапан. Вот это и нужно передать на портрете, над этим я и бьюсь.

Он не пояснил, над чем бьется, но Катя понимала: нужно передать на портрете Португалова именно то, что отличает его от других.

Но отличало от других и Ивана Елизаровича, и не только потому отличало, что он был художником, а по всей его душе с ее сочувствием к другим и желаньем помочь человеку, если кому-нибудь трудно приходится. Катя не очень верила в то, что Ивану Елизаровичу приятно читать газету во дворе возле колясочки с Кириком, но Лиле было трудно, и он хотел помочь ей.

Катя убирала мастерскую, а Иван Елизарович сидел в углу дивана и смотрел на нее издали.

— Сегодня у меня темный день, Катя,— сказал он.— Сегодня ровно двадцать два года, как я получил извещение, что мой сын погиб на войне... двадцать два года, целая жизнь, а я никак не могу примириться с этим.

Иван Елизарович никогда не говорил грустно, обычно он подшучивал даже над самим собой, и Катя поняла его боль и потерялась, как выразить ему сочувствие, чтобы не углубить в нем эту боль.

— У меня отец тоже погиб, и дядя Степан погиб, такой хороший человек был и первый плотник у нас в деревне.

Она хотела сказать, что тоже досталось ей горя, а мать вскоре после гибели отца умерла, не так-то легко остаться круглой сиротой.

— Именно в этот день в тысяча девятьсот сорок третьем году, и весна была такая же холодная, как сейчас.

Иван Елизарович посмотрел в сторону балконной двери, за которой ясень уже покрылся коричневатыми пучочками, еще не раскрывшимися.

— Оглядываться что же, надо вперед смотреть,— сказала Катя, но ей было жаль Ивана Елизаровича с его одиночеством.— А таланта вам дай бог сколько отпущено, значит, постарайтесь побольше отдать...— Она хотела было добавить: «народу», но постеснялась, что словно поучает его.— Пошли бы в кино, Иван Елизарович... Хотите, я билет возьму? Говорят, комедия одна идет, просто прелесть.

— Нет,— сказал он,— посижу дома. Взятся к детской книжке рисунки сделать.

Катя кончила убирать, он пересел к столу, подвинул к себе банку с кисточками, и когда Катя уходила, он уже нащупывал кисточкой краски в ячейках металлического ящичка, а потом принялся писать акварель. Он всегда отгонял от себя всякие другие мысли, когда работал, и Катя задержалась немного, пока он не увлекся работой, и незаметно ушла, он даже не услышал, как она ушла.

Во дворе Катя встретила возвращавшуюся с работы Марию Семеновну. Обычно та торопливо шла со своим портфельчиком, а сейчас лицо у нее было словно озаренное, и она задержалась и сказала Кате, видимо обрадовавшись, что есть кому сказать это:

— Зайдите ко мне позднее, Катя, прочту вам письмо от Андрюши... Пишет, что нашли все-таки нефть, целых восемь месяцев искали, а нашли. Вам будет интересно послушать, как забил фонтан.

— Конечно, интересно,— уверила Катя поспешно.— Непременно найду, только у меня сегодня запись, раньше девяти не управлюсь.

— Приходите, когда сможете, будем чай пить вместе,— и Мария Семеновна заторопилась дальше со своим озаренным лицом, на котором никогда не умела ничего скрыть — ни печали, ни радости.

Но после ухода Кати Иван Елизарович писать акварель не стал; он только чуть тронул кое-где ватман красками, потом открыл нижний ящик стола и достал портфель с замочком. В портфеле лежало то, что осталось от сына и от жены: их фотографии и письма, и еще любительские, уже чуть пожелтевшие снимки — на даче в Прозоровской. Миша стоял возле террасы, держал за руль велосипед, жена сидела на террасе и смотрела на сына, она была еще совсем молодая, в светлом летнем платье, а Иван Елизарович выглядывал из-за ее плеча, его волосы были такие черные, что и нельзя было представить себе теперь, какими они были когда-то. Мише шел шестнадцатый год, а четыре года спустя началась война, и ему было двадцать два года, когда его убили... и больше никогда он, Иван Елизарович, не видел жену в светлом платье, и никогда она не улыбалась больше так, как на снимке, когда глядела с балкона на сына, стоявшего внизу со своим велосипедом.

Это был темный день воспоминаний, и акварельные краски не подчинялись в этот день, они не слушались его, Ивана Елизаровича, обычно уверенной руки. Ему стало смутно и не совсем хорошо, и он лег на диван и лежал один в своей мастерской. Апрель за балконной дверью был холодный, и соки в деревьях задержали свой ход, они берегли нежные почки, которые мог схватить утренник... они берегли их, и Иван Елизарович лежал на диване и думал о мудрости такого береженья робких молодых побегов, а разве Мишу в ту пору нельзя было уподобить такому молодому побегу, но как было уберечь его?..

Катю все-таки обеспокоил Иван Елизарович, она не очень-то поверила, что он взялся за работу, и, вернувшись с совещания, где записы-

вала прения, решила, прежде чем зайти к Марии Семеновне, подняться в мастерскую. Иван Елизарович лежал на диване, когда она зашла, и Катя сразу поняла, что ему нехорошо, но не стала расспрашивать.

— Хлеба завтра купить для вас? — спросила она деловито. — Возьму половину обдирного и булку, а то в хлебнице у вас хлеб уже совсем черствый.

— Хорошо, — коротко согласился он.

Она поглядела на него издали, сказала: «Ну, значит, я пошла», но, спускаясь к Марии Семеновне, как обещала ей, позвонила в квартиру Португалова.

— Это я — Катя, — сказала она. — Открой, Лешенька, мне только на минутку.

Леша впустил ее, но встал перед нею и сказал твердо:

— Папа отдыхает.

— Ах, боже мой, разве я не понимаю... но такой случай, ведь не дай бог опоздать.

И в ту же минуту голос Игоря Александровича спросил из комнаты:

— Это кто — Катя?

— Я самая, Игорь Александрович, — заторопилась Катя. — Знаю, что это нехорошо мешать вам отдохнуть...

Но Игорь Александрович уже поднялся и вышел в прихожую.

Катя рассказала об Иване Елизаровиче, о том, что у него сегодня темный день, наверно, это и повлияло на него, а сейчас он лежит, значит, нехорошо с сердцем, она заметила на столике возле дивана стеклянную трубочку с валидомом. Португалов накинул на плечи пальто, сказал сыну: «Я на минутку, только условлюсь насчет следующего сеанса». Леша укоризненно посмотрел на нее, Катю, но что делать, если жизнь вторгается со всеми своими тревогами и опасностями?

Леша мечтал после окончания школы поступить на режиссерский факультет кинематографического института, и Катя побывала раз на школьном вечере, программу которого составил Леша и сам вел его. Леша был высокий, в отца, но глаза у него были его больной матери — Серафимы Михайловны, кроткие и голубые. Кате казалось, однако, что лучше бы Леше выбрать себе какую-нибудь профессию поостроже, чем работа в кино. Кино больше подходило для шустрого, деятельного Юры, возившегося с какими-то частями для радиоприемника, который он сам смастерил и ловил им все на свете. Но Леша все-таки понимал, что отцу следовало подняться к Ивану Елизаровичу, если тот заболел.

— Ладно, — сказал он Кате. — В следующий раз не впуссу. — Но она ответила ему: «Впустите» — она знала мягкую натуру Леша.

Португалов поднялся на четвертый этаж, постучал в дверь и, когда Иван Елизарович открыл ее, сказал так, будто зашел между прочим:

— Мы в прошлый раз насчет сеанса не условились, а у меня вся неделя набитая. Раньше субботы никак не смогу.

Но он зорко тем временем оглядел Ивана Елизаровича.

— Не нравиться вы мне сегодня, — сказал он, усаживая Ивана Елизаровича на диван и перехватив его руку у запястья. — Не нравиться вы мне сегодня, — повторил он, в то же время нащупывая вяло бывший пульс. — И хорошо, что до субботы не смогу позировать, и вообще чтобы до субботы — никуда.

— Это Катя наябедничала? — спросил Иван Елизарович.

— При чем тут Катя... Она еще не врач, слава богу, — сказал Португалов сердито. — Не послушаетесь меня — не буду больше позировать... пусть портрет останется незаконченным. Я кое-что выпишу вам, Катя закажет в аптеке... и никаких дежурств возле детей во дворе, слышите?

— Слышу, — сказал Иван Елизарович. — Я теперь знаю, как написать ваш портрет... чтобы люди шарахались.

Они еще поскрипели немного друг на друга, и Португалов ушел, написал рецепт и велел сыну отдать его Кате. Леша пошел искать Катю, но она стояла на площадке лестницы этажом ниже и, должно быть, ждала, когда Португалов вернется от Ивана Елизаровича.

— Сейчас же закажу,— сказала она, и Леша показал на строгую надпись на рецепте «cito!» и объяснил, что это означает — «срочно».

Катя пошла в аптеку, заказала лекарство и, вернувшись, поднялась к Марии Семеновне.

— Ну вот, Катюша, будем пить чай,— сказала Мария Семеновна довольно: она была довольна всем, это можно было почувствовать.

Они сели за стол, Катя не выдала своего беспокойства за Ивана Елизаровича, чтобы не омрачить хорошего для Марии Семеновны вечера.

— Андриуша, между прочим, колебался, куда ему поступить: в геологоразведочный или в археологический, а я посоветовала в геологоразведочный... все-таки археология — это прошлое, а геология — это будущее, даже представить себе нельзя, сколько еще богатств в земле лежит!

Мария Семеновна достала письмо Андрея и прочла то место, где говорилось о забившем нефтяном фонтане. Нефть оказалась с богатым содержанием, и уже можно было с уверенностью сказать, что нефть эта — промысловая.

— Порадовался, наверно, мой мальчишечка,— сказала Мария Семеновна: Андрей давно стал для нее родным сыном, и она была матерью, а Сережа, погибший на войне, был как старший брат Андрея.— Еще бы выдать вас, Катюша, замуж за хорошего человека, я бы не знаю как порадовалась... ведь я вас совсем девочкой помню, а стенография — не только профессия, это еще и вроде науки. И сколько вы полезного и нужного послушаете и запишете, а потом расшифруете: значит, никогда не забудете, врежется в память.

Было так утешительно, что в их доме живет много хороших людей, и хотелось, чтобы все были хорошими, но это не совсем получалось, и Катя внутренне обижалась, встречаясь с виолончелистом Любовичем и Леокадией Степановной Сверчик, экономистом, которые жили в одной квартире и никак не могли поладить друг с другом.

— Живу в одной квартире с психопаткой,— горестно говорил Любович, скорбно поднимая кверху свои черные глаза под черными мохнатыми бровями.— А я музыкант, разучиваю Шопена под скрежет этой старой сковороды.

— Тоже мне музыкант! — говорила Леокадия Степановна.— Ему в кино «Иллюзион» где-нибудь в Пошехонске играть, а он себя музыкантом воображает. И характер, характер... хуже всякой бабы!

Было всегда мучительно, когда на общее собрание жильцов выносили эти ссоры, и многие хорошие люди болезненно сжимались, а те, кто был посмелее, старались уговорить: «Да помириться вы, ради бога... как вам не стыдно только!» Но Сверчик кричала: «Да я его и видеть не желаю!», а Любович скорбно поднимал кверху свои черные глаза под мохнатыми бровями и говорил: «Боже, боже... и ты терпишь такое существо на земле», словно он был проповедник или праведник в пустыне.

Катя все-таки не верила, что их нельзя примирить, и раз набралась духу и пошла к Сверчик.

— Вы, Леокадия Степановна, можете, конечно, не слушать меня, но, честное слово, Любович уж не такой плохой человек, просто надо суметь подойти к нему,— сказала она возможно убедительнее.

— Не говорите мне о нем,— отозвалась Сверчик, прикладывая концы пальцев к обоим вискам, словно у нее сразу же началась мигрень.— Не говорите мне ничего о нем.

— А вы не знаете разве, что у него в городе Смела немцы жену и двух детей убили, и он с тех пор как тронутый ходит? — спросила Катя.— Можно и совсем с ума сойти от такого.

Сверчок помолчала.

— У него немцы убили жену и двух детей? — спросила она с недоверием, наверно, готовая предположить, что он распустил такой слух, чтобы вызвать к себе сочувствие.

— Двух детей — мальчика и девочку,— сказала Катя.— Вы разве не видели в его комнате мячик? Это все, что он нашел в своем доме, когда наши пришли в Смелу.

Леокадия Степановна ничего не ответила, и Катя постояла и ушла. Но что-то случилось все же... что-то все же случилось, и все это скоро заметили. Ни Сверчок, ни Любович не приходили больше с жалобами друг на друга в домоуправление, и на общем собрании жильцов сидели тихо, и ни один из них ни в чем не упрекнул другого.

— А что же — не люди разве? — сказала Катя горячо, когда Мария Семеновна спросила ее, не примирились ли Сверчок с Любовичем? — Люди и есть люди... надо только суметь подойти друг к другу.

— Вот, Катюша, у вас уже и своя философия,— отозвалась Мария Семеновна не то грустно, не то растроганно.— Рассуждаете правильно. Пожалуй, кое-кому у вас поучиться следует.

Может быть, Мария Семеновна уже обдумывала статью на одну из высоких тем для своего женского журнала. Но что-то действительно произошло в отношениях между Сверчок и Любовичем: то ли по-новому открылся он ей со своим горем, которое тяжело носил в себе, или Любович узнал о Леокадии Степановне, что не так-то весело сложилась ее личная жизнь и что человек, которого она любила, ушел от нее к другой и она ничего не нашла взамен...

Любович остановил раз Катю во дворе.

— Я как-то просил поставить мне отдельный счетчик,— сказал он.— В общем, это ни к чему... мы с Леокадией Степановной рассчитали, кому сколько платить за электричество, у нее — холодильник и уют, у меня электробритва и машинка для гренков, в общем всё в ажуре.

— Ну и лучше, если в ажуре,— сказала Катя.— Честное слово, так лучше... Леокадия Степановна — экономист, это ладно, но ведь она и женщина, и с печенью у нее плохо, так страдает иногда, что смотреть больно. И вам в жизни не сладко пришлось, чего же вам еще обижать друг друга?

Любович посмотрел на нее своими черными глазами, помолчал, потом сказал:

— Подумать только, какая вы, Катя,— и ушел, а Катя еще постояла во дворе, посмотрела, как он переходит улицу, опускает письмо в оранжевый почтовый ящик и идет дальше, сутулый, в своих мыслях...

Юра Португалов смастерил такой радиоприемник, что он весь умещался на ладони, чуть побольше спичечной коробки, ходил с ним довольный, и всегда из его кармана слышалась музыка.

— Транзистор,— пояснил он Кате чуть снисходительно, словно сочувствуя ей, что она не может понять этого чуда техники.— Иначе — полупроводниковый триод. Я со временем такой сконструирую, что весь свет ловить сможет.

— Ну да? — усомнилась она.

— И Латинскую Америку, и Антарктику ловить сможет. Уедет, например, ваш жених в Мирный, а я коробочку положу перед вами, и услышите: «С антарктическим приветом!»

— У меня нет жениха,— чуть обиделась Катя,— и вам не советую рано жениться, Юра.

— Фью,— свистнул он,— а я уже три года женат и пятеро детей у меня — все девчонки, вроде вас.

Юра был громкий и насмешливый, в отца, но руки у него, должно быть, были вправду золотые, раз смастерил такой радиоприемник, и можно было представить себе, что еще он сможет смастерить в своей жизни.

А в середине апреля случилось прямо чудо: вернулась из Мали Нюра, и Катя издали не узнала в этой стройной, коричнево загоревшей девушке, одетой как-то особенно, но не по-модному, а ловко-спортивно,— Нюру. Она всматривалась, а Нюра нарочно не торопилась, хотела, чтобы Катя изумилась и вскрикнула,— она шла не спеша ей навстречу и сказала не доходя:

— Здравствуйте, Екатерина Алексеевна.

Катя раскрыла глаза, а потом вскрикнула, бросилась к ней, а Нюра и ждала этого.

— Ну, как же ты... как же вы? — сказала Катя: уж очень Нюра не походила на ту, прежнюю.

— А как — вы? — спросила Нюра и покачала головой.— Ты что же думаешь, я зазналась?

— Да нет,— сказала Катя смущенно и чуть восторженно в то же время.— Просто ты стала какая-то другая.

Конечно, Нюра стала другой, но не потому, что изменилась в душе, просто много увидела, мир открылся перед ней — и жаркий мир Африки с ее борьбой, и цветистая певучая Индонезия с ее красками, а теперь Нюра приехала с группой малайских общественных деятелей в качестве их переводчицы, приехала всего на две недели, потом снова уедет в Мали, а через несколько дней повезет группу в Ленинград, затем в Киев, затем в Волгоград...

— Приходи сегодня обязательно,— сказала Нюра.— Я вечером с группой в Кремлевский театр иду, а к десяти, наверно, буду уже дома, а если запоздаю — посидишь с отцом.

Нюра ушла, туфельки у нее были спортивные, с красивым перехватом, и ступала она как-то мягко: наверно, переняла походку женщин Мали.

Никита Васильевич купил по случаю приезда Нюры торт «Прага», и когда Катя пришла вечером, Нюра еще не вернулась из театра, и Катя посидела вдвоем с Никитой Васильевичем.

— Совсем Нюра другой стала, я и не узнала ее сначала,— сказала Катя, но без зависти. У Нюры была своя судьба, и у нее, Кати, тоже своя, и ей нельзя ни на что жаловаться: все-таки она добилась того, что искала для себя, теперь уже твердо стоит на ногах, у нее своя профессия, и с этим ничего не страшно.

Нюра вернулась оживленная, смотрела балет «Эсмеральда», и вся делегация осталась очень довольна.

Все было, как несколько лет назад, когда Нюра еще училась в институте: пили чай, на столе стоял торт, Никита Васильевич смотрел на Нюру, тайно вздыхал, смотрел на Катю, тоже тайно вздыхал и сказал наконец:

— Время-то наше какое... давно ли вы обе девчонками были, а что успели уже, вот что оно делает — наше время!

Нюра стала рассказывать о Мали, какие там порядки и нравы, и как забитый народ выходит постепенно на дорогу, а не так-то легко бывшей колонии выбраться на дорогу, не так-то просто отступаются те, кто привык здесь хозяйничать. Отцу Нюра привезла вязаный свитер, а Кате — шарфик, легкий и прозрачный, с какими-то тропическими бабочками среди цветов на нем. Нюра какой была, такой и осталась, прибавилось только знание жизни и повидала она многое, но душа ее была

здесь, в их доме, в их дворе, по которому она бегала девочкой, потом степенно с книгами в сумке пошла в школу, и Леша и Юра росли вместе с нею, тоже выросли, и у каждого уже определилась своя судьба: Леша станет кинорежиссером непременно, а Юра станет радионинженером непременно, и Катя рассказала о транзисторе, который смастерил Юра.

Потом отец ушел отдохнуть, а они остались вдвоем, сидели, как прежде, две подруги, и не убавилось со временем, что нужно было рассказать друг дружке, а только прибавилось.

— Замуж еще не собираешься, Нюра? — спросила Катя.

— Не знаю... Есть один сотрудник нашего посольства, по-моему, хороший человек, немножко с недостатками, но я указываю ему на них, и он соглашается и не обижается. А у тебя как?

— Да ладно, — отмахнулась Катя. — Я об этом пока и не думаю, — но в дом приходил проверять телефонные аппараты monter Костя Стахов, тихий и вежливый, хорошо знавший свое дело, и раз, проверяя телефонный аппарат в конторе домоуправления, он сказал:

— Я вас очень уважаю, Катя... смотришь — и стенографические курсы окончили, значит, понимаете, что человеку нужно в жизни.

Больше он ничего не сказал, Костя Стахов, но каждый раз, когда он приходил, Катя сама чувствовала, что словно сжимается у нее сердце. Костя Стахов был круглым сиротой, жил вместе с тетей, сестрой матери, не курил и не пил и никогда не позволял себе ни одного лишнего слова.

Нюра не стала ни о чем расспрашивать, и они посидели задумчиво, как сидели когда-то, только тогда было детство, потом юность, а сейчас они уже шли по дороге жизни...

Мария Семеновна взволновалась, узнав, что приехала Нюра, непременно захотела увидеть ее, и по возвращении Нюры из поездки с делегацией по Советскому Союзу Нюра выбрала время и зашла вместе с Катей к ней.

— Получили наше письмо, Нюра? — спросила Мария Семеновна сразу. — Как с очерком для нашего журнала?

— Какая же я журналистка, Мария Семеновна, — сказала Нюра. — Снимки я привезла, женщины в Мали сначала не очень любили, чтобы их фотографировали, наверно, напугали колонизаторы, а сейчас снимаются охотно... А к нам они хорошо относятся.

Нюра захватила свои цветные фотографии: был и базар в Тимбукту, и лодки рыбаков на Нигере, и женщины, обрабатывающие сизаль — волокно из агавы, или у колодцев с овальными глиняными сосудами на плече...

— Ладно, не можете очерка написать, дайте подписи к фотографиям, — сказала Мария Семеновна, отобрав несколько снимков. — Все-таки корреспондентский билет мы вручим вам... Может быть, что-нибудь набежит, — смотришь, и напишете.

Мария Семеновна была на страже интересов своего журнала, и Нюра в конце концов пообещала, что постарается написать, если только получится.

А день спустя Нюра уже улетала с делегацией, и в те минуты, когда Катя проверяла счета в конторе домоуправления, летела уже, может быть, над Средиземным морем. Нюра словно раздвинула стены их дома и их двор, она принесла с собой часть широкого мира, но широкий мир звучал и в транзисторе Юры, и в операциях Португалова на сердце, и в весенних пейзажах Ивана Елизаровича. Он уже несколько раз уезжал за город со своим плоским большим этюдником через плечо и со складным стульчиком, а полосатого зонта еще не брал с собой, апрель был мягкий и прохладный, с серыми перламутровыми деньками, и едва оглаживал

почки на деревьях, уже налитые и готовые брызнуть острыми листочками...

К Любовичу приехала сестра из Смелы, она была старая и больная и приехала посоветоваться с московскими врачами насчет ног.

— Это моя единственная сестра,— сказал Любович Кате.— Больше у меня никого не осталось. Нас было одиннадцать человек — братьев и сестер, и все погибли, кто в Смеле, а кто в Освенциме, все до одного.

Катя помогла как-то подняться на третий этаж сестре Любовича с ее больными ногами, и та сказала у двери. тяжело дыша:

— Спасибо, милая девочка... Желаю, чтобы у вас никогда не болели ножки и чтобы всегда у вас было все хорошо!

— Спасибо, Роза Абелевна,— ответила Катя, уже знавшая ее имя.— А вы поправитесь, в Москве хорошие врачи. Хотите, поговорю с одним врачом, он живет в нашем доме, правда, специалист по сердцу, но он посоветует.

И Катя спросила Португалова, и он посоветовал одного физиотерапевта и дал к нему письмо с просьбой принять в своем институте сестру Любовича.

— Целое расписание поездов,— сказала Роза Абелевна оживленно, вернувшись от физиотерапевта, и показала Кате действительно целое расписание: и диета, и какие регулярно делать движения больной ногой, и как ее массировать.— Спасибо, милая девочка, а вашему доктору скажите, что я просто целую его... Конечно, никакой радости не может ему дать, что его целует старуха, но я все-таки целую его.

Может быть, у сестры Любовича было большое сердце, вместившее вместе с горечью и печалью потребность в том, чтобы поменьше было в жизни горечи и печали, но она как-то, со своей мудростью и своим не поддавшимся ожесточению существом, пришла по душе Сверчик, и они мирно беседовали друг с дружкой, как познавшие горький опыт женщины, и возможно, началось со счетчика, а кончится полным примирением Любовича с Леокадией Степановной...

— Придете в следующий раз — я вам крылышки пририсую,— обещал Иван Елизарович, когда Катя рассказала ему о сестре Любовича и ее согласии с Леокадией Степановной.— Считаю вас ангелом мира.

— Всегда вы шутите, Иван Елизарович,— почти рассердилась Катя,— а здесь человеческие отношения, это нужно понять.

Он посмотрел на нее, курносенькую, со слабым румянцем на щеках, сказал:

— Подумать только, я и не замечал никогда.

— Чего вы не замечали? — спросила Катя подозрительно.

— Всегда был убежден, что у вас голубые глаза, а они у вас серые, слегка тонированные голубым.

Катя не стала слушать, махнула рукой и ушла, а Иван Елизарович остался стоять посреди мастерской и думал о своем, думал глубоко, печально и просветленно в одно время.

Апрельские серые деньки постепенно набухли дождем, который был так нужен готовившейся пуститься в путь зелени. Дождь пошел раз к вечеру, шел всю ночь и весь следующий день, теплый, длинный дождь весны, из тех, какие называют обложными, а в природе тем временем шло движение соков в деревьях, их корни впитывали влагу, и нежная зелень прошла по верхушкам. А потом поднялся первый, по-весеннему нарядный день, и солнце плеснуло по крышам, почти мгновенно прохшим.

Весенняя выставка открывалась через две недели, Иван Елизарович готовил для нее несколько подмосковных пейзажей: «Март в лесу», «Кольцевая дорога» и «Вербы над прудом», и оставалось успеть закон-

чить портрет Португалова. Игорь Александрович пришел в последний раз позировать, а через несколько дней портрет уже должно было смотреть жюри.

— Глаза я дотянул, кажется,— сказал Иван Елизарович, вглядываясь ему в самые зрачки и все же поправляя что-то на портрете.— По моему — вы.— Он еще тронул что-то кистью.— По моему — вы.

Потом он стал писать, а Португалов сидел в кресле, стараясь не менять позы.

— В сущности, написал два портрета сразу,— сказал Иван Елизарович, отойдя от мольберта, всматриваясь издали и потом снова нацеливаясь кистью.— Это, может быть, никто не поймет, но мы с вами пойдем. Мы с вами пойдем, потому что уже больше сорока лет живем в одном доме и столько судеб прошло перед нами... И он все это видел, ваш двойник, он рос и все видел, и вот видит нас с вами сейчас и понимает, что можем мы чувствовать и какие у нас, уже стариков, мечты. Однако мечты никогда не могут быть старыми, они всегда молодые, они как облако — с ними сердце не стареет.

Португалов не очень понимал, о каком его двойнике говорит Иван Елизарович; он — врач — привык мыслить точно и определенно, как точно и определенно делал операции, но у художников свой ход мыслей, и он уважал особенности этого хода.

— Не обменяю на спокойствие, на тишину мирной старости — не обменяю на все это тревогу сердца, самую важную, самую нужную для человека тревогу сердца,— сказал Иван Елизарович.— В этом — движение, без которого не было бы и самой жизни. Именно так.— Он сделал еще несколько мазков и отложил кисти.— Теперь, пожалуй, можете и взглянуть на себя.

Португалов поднялся с кресла, стал смотреть на свой портрет, а Иван Елизарович стоял за его спиной и ждал.

— Спасибо,— сказал Португалов наконец.— И за двойника моего — спасибо. Теперь я понял, он и в мои окна не один год заглядывал и все знает обо мне, а теперь дотянулся и до вашего балкона.

Иван Елизарович открыл дверь, и над самым балконом были ветки ясеня, пучочки листьев на них стали после дождя из коричневых оливково-зеленоватыми, а в самой середине, наверно, изумрудными, но это было еще впереди. Иван Елизарович подошел к ограде балкона и подержал в руке ветку с ее листочками. Он был доволен, что одновременно с портретом хирурга Португалова написал и портрет этого ясеня, тайного собеседника на протяжении десятилетий, знавшего радости и печали многих семей в их доме, смотревшего сверху, как катаются сначала на трехколесных, потом на двухколесных велосипедах Юра и Леша Португаловы, и как они бегут с учебниками в портфельчике в школу, и как Катя сначала шуркала метлой по асфальту двора или соскребала лед, потом стала ходить на счетоводные курсы, за ними и на курсы стенографии, а на чемодане Ньюры, когда она вернулась из Мали, были цветные наклейки с изображением пальм и баобабов... Как-то ночью стояла во дворе плачущая женщина, и Катя пошла с ней будить Португалова, и он уехал с женщиной на такси, а несколько дней спустя небрежно сказал, что заклинился клапан на сердце ее дочери, словно вызывали слесаря починить замок, а чего ему стоило это, Игорю Александровичу, он не сказал. Он вообще редко говорил о своей работе и был недоволен, когда его фотографировали с белой полумаской на лице и потом в этом виде напечатали в журнале его портрет. «Я хирург, а не балерина»,— сказал он тогда. Но таким же был и Иван Елизарович, он тоже редко говорил о себе и не любил, чтобы о нем сообщалось что-либо,— Катя знала это. Она знала и то, что Иван Елизарович закончил портрет Португалова,

и теперь холст должен просохнуть, а потом Иван Елизарович отвезет его вместе с пейзажами на выставку.

Катя увидела в этот день Ивана Елизаровича сидящим с газетой в руках возле колясочки, в которой спал Кирик. Иван Елизарович читал «Известия», посмотрел поверх газеты на Катю, спросил:

— Записывать что-нибудь?

— Да,— ответила она,— обсуждение фильма «Большие обещания».

Катя чуть задержалась, она хотела услышать от Ивана Елизаровича, что он закончил, наконец, портрет Португалова, но она знала, что он сознательно медлил с ним, потому что одновременно писал и ясень за балконной дверью и дождался, когда на дереве раскроются после дождя почки: он хотел, наверно, написать дерево во всей молодой его силе, хотя это было уже старое дерево; но, может быть, в его замысле было напомнить о том, что и старость нередко дает молодые побеги...

Иван Елизарович, однако, ничего не сказал о портрете, он перевернул лист газеты, провел еще носом сверху вниз по нему и попросил:

— Купите мне по дороге чайный сырок, Катя, а то что-то не хочется идти в молочную.

— Куплю, нечего вам и ходить,— ответила Катя. Но она поняла, что Иван Елизарович, вероятно, пообещал Лиле посидеть с ее Кириком.

Катя ушла, а Иван Елизарович остался читать газету, вечер был уже совсем теплый, в начале мая, наверно, будет еще холодно и деревья побоятся сразу выпустить свои листочки, но потом наверстают, польются листвою, и густые ветви ясеня снова начнут заглядывать во все окна на своем пути.

Катя зашла в молочную, за прилавком стояла Туся, они хорошо знали друг дружку, и Туся спросила, отпуская ей чайный сырок:

— Для Ивана Елизаровича, наверно? Возьмите тогда еще две баночки «Виолы», она редко бывает.

И Катя купила для Ивана Елизаровича еще две баночки «Виолы».

АЛЛЕИ СТАРОГО ПАРКА



Мать осталась на лето в московской квартире, а для жены и сына Демидов, как обычно, снял дачку у старого седельника Яшкунова, с которым всегда было интересно поговорить о московской жизни в прошлом, да и на рыбалку не раз ходили они вместе и встречали холодную утреннюю зарю.

Инна Витальевна вместе с сыном Николаем переехала на дачу в середине мая, и для Демидова началась та летняя жизнь, когда после душного озабоченного дня, выйдя из дачного поезда, глубоко вдохнешь лесной и полевой воздух, а еще через полчаса, умывшись, сядешь обедать на терраску, уже наполовину затянутую поднимающимся хмелем.

Лето наступило сразу, и в городе сразу стало жарко, задерживаться с возвращением на дачу всегда не хотелось, и Демидов прямо с работы садился в метро и ехал на вокзал. Мать оставалась совсем одна в пустой квартире, оставалась, собственно, сторожить ее, и Демидова всегда мучила эта мысль. Конечно, можно было бы устроить так, чтобы Антонина Андреевна поехала с ними, пожила бы вместе на даче, нашлось бы для нее место в двух комнатах, которые он снимал, и Демидов все собирался сказать жене об этом, собирался, но откладывал. Уже давно для матери многое сложилось не так, как следовало: чтобы получить квартиру из трех комнат, он уговорил мать сдать свою жилплощадь и соединиться с ними. Мать жила отдельно, своей жизнью, жила в доме, где все было дорого ей. Но она думала о сыне и о его семье, все же его жизнь была впереди, а ее жизнь уже позади, и она решила расстаться с тем, с чем были связаны многие радости, и многие трудности, и горе, которого никогда не забудешь, — все было связано с этим домом, и в нем родился и вырос сын. Но сын женился, у него уже был теперь трехлетний мальчик, за которым кто же лучше присмотрит, чем бабушка, и Антонина Андреевна рассталась со своей комнатой, а квартиру сын получил хорошую, и они поселились все вместе.

С женой сына Инной Антониной Андреевной старалась ладить, шла ей во всем навстречу, и Демидов успокоенно решил, что все пойдет по хорошему и что между матерью и женой не будет разлада, как это нередко случается.

Инна Витальевна работала на радио, организовывала литературные передачи, была деловой, подтянутой, может быть немного более требовательной, чем полагается женщине, сразу определила характер отношений с матерью мужа — спокойный, корректный, но несколько держащий в отдалении, и Антонина Андреевна покорно, не выражая истинных чувств, приняла новый порядок своей жизни, — порядок, при котором хозяйкой была Инна, а она, Антонина Андреевна, словно лишь жила в их доме.

Как-то само собой получилось и то, что трехлетний Коля оказался целиком на ее руках, мать занята на работе, а бабушка дома: она и обед приготовит, и за внуком присмотрит, а в летнюю пору, когда выезжают на дачу, присмотрит и за квартирой. Все это было, наверно, так же, как и в ряде других семейств, жизнь идет, для женщины наступает век бабушки, и это нужно принять.

Но Демидову, однако, казалось, что все получилось не совсем так, как нужно, и что за спокойной корректностью Инны Витальевны стоит еще нечто, чего она по своей сдержанности никогда не выражает: все же лучше жить одним, самостоятельно, и незачем было соединяться с матерью из-за квартиры; в свое время можно было бы устроить обмен, а пока пожить в двух комнатах, но своей жизнью. Она ни разу не сказала об этом мужу, но Демидов чувствовал это и испытывал боль за мать.

Отец умер от приступа грудной жабы, когда ему, Пете Демидову, было всего три года, и мать осталась с ним на руках, но не поддавшись отчаянию, окончила медицинские курсы, стала работать медицинской сестрой, не вышла из-за сына вторично замуж, чтобы все ее чувства достались только сыну, чтобы ни с кем не делить их. Демидов знал, что мать отдала ему всю свою жизнь, была всегда с ним, для него и ради него... Это обычно так трудно и болезненно, когда сын находит женщину,

которая заступит место матери, станет заботиться о муже, а мать отойдет в сторону, начнет ревниво поглядывать, не терпит ли сын в чем-либо ущерба, и нередко страдает за него, страдает тайно и горестно. Так оно и получилось, и Антонина Андреевна, наблюдая сначала издалека, а затем и совсем близко за жизнью сына, находила, что многое в ней не так, Инна Витальевна уверенно подчинила его себе, и он не противится ей не по слабости характера, а потому, что не хочет осложнений, которые так портят и так искажают отношения в семье...

Бывший седельник Яшкунов работал некогда на известной седельной фабрике Живаго, любил порассказать о старой Москве, о «конкур-иппик» или «листочке», когда всадники и амазонки состязались в манеже на Цветном бульваре или выезжали кавалькадами за город и по бумажному следу отыскивали ускакавшего вперед седока, и Демидов посиживал со старым седельником на крылечке, покуривал, вечер мягко опускался на плечи, а потом жена звала ужинать, и он шел на терраску, освеженный вечерним воздухом и тишиной почти сельской жизни. Ужин всегда был строгий, Инна Витальевна не хотела полнеть, все в доме было соразмерно и умно рассчитано, и Демидов не мог отказать жене в ее умении организовать жизнь — правда, на свой образец.

Сидя однажды с женой за столом, под лампой с низким абажуром, под который слепо залетали ночные бабочки, Демидов все же сказал, по как бы между прочим:

— А в Москве духотища... по вечерам особенно, стены так нагреваются за день, что в квартире просто дышать нечем.

— Лето и должно быть жарким,— отозвалась Инна Витальевна.

— Это хорошо для тех, кто может жить за городом... а сколько людей сейчас в Москве.

— В Москве много парков, да и скверики сейчас всюду разбивают... особенно на месте снесенных домов.

Они думали каждый по-своему, и Демидов уже давно ощущал, что они думают каждый по-своему и что жена умело прикрывает свой эгоизм рассудительностью, которая все больше становится неприятной и даже чуждой ему.

— Хорошо рассуждать так, сидя на дачной террасе за чаем,— сказал он.

Она удивленно посмотрела на него.

— Кажется, я была сегодня на работе, вернулась только в шестом часу.

Ее красивое матовой красотой лицо осталось, однако, спокойным, как спокойны были ее полуобнаженные руки со спадающими до предплечья короткими рукавами легкого летнего платья; сам он, невысокий, простоватый, начавший со слесарской работы на заводе, нередко с некоторым недоумением думал, что Инна с ее требовательностью могла в нем найти? Он никогда не признавался себе в том, в чем был теперь уже твердо уверен: Инне нужно было устроить свою жизнь, от добра добра не ищут, он, наверно, вполне подходил ей в качестве скромного, трудолюбивого мужа, а для прочности нужен был ребенок, и Демидова всегда оскорбляла мысль, что маленький Коля выполняет какую-то предназначенную ему матерью роль...

Но после рождения сына, когда все стало бесспорно и прочно, Инна отдалилась, и Демидов ощущал, что она отдалилась, у нее своя жизнь, а в радиостудии и актеров, и чтецов, и писателей предостаточно, и лучше об этом не думать.

— Я имею в виду не всю Москву с ее жителями,— сказал он неожиданно резко,— а всего-навсего свою собственную мать. Она печется в квартире, охраняет наше имущество, а мы с тобой все-таки дышим свежим воздухом на даче.

— Во-первых, у нас в квартире балкон,— сказала Инна Витальевна.— Я в этом году во всех ящиках посадила цветы, нужно лишь поливать их. А во-вторых, в квартире не только наше с тобой имущество, но имущество и Антонины Андреевны, и потом, что ты хочешь всем этим сказать?

— То, что, можно было бы потесниться, и мама пожила бы с нами на даче хотя бы месяц.

— Я могу взять отпуск не в сентябре, а в августе... под Москвой в августе бывает еще совсем тепло.

Инна Витальевна сразу дала понять, что ей все равно как будет, когда она уедет на юг в отпуск, а продолжать московский быт еще и летом совсем не склонна.

Демидов помолчал, потом ушел курить на крыльцо, к нему подсел Яшкунов, и они, как обычно, поговорили о московской жизни в прошлом. Яшкунов рассказал, что в магазине Живаго на Петровке стояло в витрине чучело лошади под английским седлом, а знаменитые наездники Вильям Кейтон и Барышников покупали краги и стеки только у Эггорна на Тверской.

— Ты сам-то родом откуда будешь? — спросил Яшкунов.

— Отец костромич... недаром я на костромского плотника похож,— усмехнулся Демидов.

Яшкунов, с седой, свалынной на сторону бородкой, искоса поглядел на него.

— Ну и хорошо... костромичи — плотники дай бог, такой сруб рубили, что сто лет стоял без ремонту, шип в шип, гвоздей и не признавали вовсе.

Но Яшкунов понимал не только в седельном или плотничьем деле, понимал он и то, что между ним, Демидовым, и его женой нет того сердечного согласия, когда и семья шип в шип.

— И сына своего по-костромски приучай,— сказал он вдруг, и Демидов понял ход мысли старика.

Они сидели на крыльце и курили, а в доме двигалась жена. Демидов ощущал ее движения, он знал, что после размолвки она захочет размягчить его, она тонко и искусно умела это.

— Плотник во мне крепко сидит: и лес люблю, и деревенскую жизнь люблю, и на сеновале спать — ничего лучше нет.

— А я только на сеновале и сплю,— сказал Яшкунов,— сено свежее, луговину окосил, один клевер да мята. Приходи, покалякаем перед сном.

Он ушел, а Демидов еще посидел один. Жена лежала в постели и читала, когда он вошел в комнату.

— Иван Тимофеевич приглашает к себе на сеновал... давно не спал на свежем сене,— сказал он.

— Что за фантазии! — слегка возмутилась Инна Витальевна.— Пожалуйста, без глупостей.

— Почему же это глупость — поспать на свежем сене?

Он взял подушку и одеяло, и чужое и настороженное стояло в комнате. Но он не дал этому разрастись, сказал, как если бы собрался на рыбалку: «Спи спокойно, чердачок тут же во дворе»,— поцеловал жену в лоб и, не дав ей ничего ответить, ушел на сеновал.

Сено было свежее, пахло клевером и мятой, и Демидов расстелил простыни, подгреб повыше сено в изголовье и лег, а Яшкунов уже лежал в стороне. В треугольник чердачного лаза видно было небо и легкая, почти кисеевая четвертушка недавно родившегося месяца, совсем деревенская, простодушная четвертушка.

— Женщины не любят, когда мужики одни ночуют,— сказал Яшкуннов.— Мужики тогда обо всем своем переговорают, а женщины не любят, когда они из-под их воли уходят. Мужик по-ихнему должен думать и с их согласия. Это редкие, которые не амазонки, а моя — нет, моя тихая... моя Анята не такая.

Он не спросил, какая у него, Демидова, жена: может быть, ждал, что тот сам расскажет о ней, сам поделится тем, чего не нашел, хоть и искал, а если и нашел, то совсем не то, что искал... Но Демидов лежал, закинув руки за голову, смотрел в треугольник лаза на месяц, теперь похожий на чепчик, и недобро думал о том, что хорошо на даче говорить о московском балконе с цветами в ящиках, а в комнатах духота, и горячие кирпичи отдают всю накопленную за день жару. Он вспомнил, как в детстве упал с качелей и повредил себе позвоночник, и как мать сидела возле его постели, торопилась с работы, приходила запыхавшись, и ночью она была рядом, он просыпался — и она была рядом, и он не мог уяснить, спала ли она и тоже проснулась, или не спала, а была только рядом, и целый год, пока он не поправился, она была рядом, она отдала ему все свои ночи, и он тогда не понимал еще, что она отдала ему всю свою жизнь, и если бы он и не ушиб позвоночник, она была бы рядом, она не захотела уйти от него, разделить с кем-нибудь свою любовь, он был у нее один, сын, ее Петя. Демидов думал об этом, и что-то вдруг пришло взамен того тяжелого, что мучило его, он еще не мог осознать, откуда пришло это легкое, совсем светлое, как дымок, и с этим чувством он заснул, и клевер и мята пахли вокруг него...

Утром жена встретила его спокойно, с обычной выдержкой, и он лишний раз подивился ее умению сглаживать углы.

— Ну, как спалось на сеновале? — спросила она.

— Отлично. Сено свежее и мяты много.

Они поехали в город вместе, за мальчиком присматривала жена Яшкуннова, та самая тихая Анята, о которой говорил муж, говорил с суровой нежностью, и в поезде Инна Витальевна читала переводной роман, а Демидов читал газеты, которые купил в станционном киоске.

— Я сегодня рано освобожусь,— сказала Инна Витальевна, когда подъезжали к Москве.— Постарайся и ты не задерживаться. Пойдем погуляем, пойдем на речку, я и Коле обещала.

— Постараюсь,— ответил он.

В Москве они сели вместе в поезд метро, но у Инны Витальевны была пересадка на площади Свердлова.

— Так не задерживайся, Петя,— сказала она добро, и Демидов посмотрел сквозь окно, как она идет по перрону на высоких острых каблучках и с красным плоским чемоданчиком в руке.

Мать открыла ему дверь и сказала обрадованно и в то же время встревоженно:

— Ты, Петенька?

В этот час, после окончания работы, он обычно был уже на вокзале или даже ехал в электрическом поезде.

— Дела какие-нибудь задержали? — спросила мать.

— Да нет, никаких дел,— сказал он беспечно.— Просто заехал проведать тебя.

— Чего же тебе после работы еще в городе томиться,— сказала мать.— День-то какой душный... Наверно, к ночи соберется гроза.

Мать грозы всегда боялась, и он подумал о том, как ей должно быть особенно страшно одной в пустой квартире. Он посмотрел на седые волосы матери, разделенные с девической аккуратностью на прямой про-

бор, посмотрел на всю нее, высокую, придиричиво опрятную, какой она была всегда, с ее умелыми руками медицинской сестры, которыми облегчила не одному страдание.

— Поспею и на дачу,— сказал он.— Дай чего-нибудь пить.

— Садись, садись, Петенька,— заторопилась она.— Приготовила клюквенного морсу, твоего любимого... словно предчувствовала, что ты заедешь.

Она достала из холодильника кувшин с морсом, Демидов снял пиджак, и они сидели вдвоем, как когда-то, а дверь на балкон, на котором цветут в ящиках цветы и где можно подышать свежим воздухом, была закрыта, снаружи шла только жара...

— Ну, как вы там, на дачке? — спрашивала мать.— Ужасно по Коленьке соскучилась... всегда так-то: ждешь не дождешься лета, а потом не дождешься, когда оно кончится.

Демидов отпил глоток морсу, морс был тоже из детства, как все было из детства, прежде всего — мать с ее нежностью, с ее тихими глазами, в которых всегда можно было прочесть только любовь и заботу о нем, сыне, и тревогу за него, сына. Одно только это и было всегда в ее глазах.

— Есть новость для тебя,— сказал он довольно.— С двадцатого июля путевка в хороший дом отдыха под Москвой. Поедешь, отдохнешь от московской жары, наберешься сил... а мне твои силы нужны, мама, без них я никуда, хоть и сесть начал, и семья у меня, и все на свете, что полагается человеку, который вот-вот сам начнет стареть, а ты для меня — моя молодость, так что не сдавай, пожалуйста.

Он говорил шутливо, но мать с тревогой смотрела на него.

— Какая тут путевка, Петенька, что ты! — сказала она.— А за квартирой кто присмотрит?

— Знаешь что, я вот плесну на все бензином и подожгу... Тебе еще охранять барахло?

— А кому же, Петенька? — сказала она кротко.— Инночка на работе, да и к ребенку торопится... а я на покое, мне ведь и делать-то нечего, только цветы на балконе полить.

— Двадцатого июля ты уедешь, мама,— сказал он твердо.— Путевка уже у меня на руках. А с квартирой и без тебя управимся.

— Не могу я, Петенька... путевку у тебя возьмут, а я не поеду.

— Поедешь, мама,— сказал он,— поедешь. Ты для меня поедешь... А мне все равно придется целый месяц в городе прожить. Сейчас утверждают один проект, на дачу ездить не смогу, а Инна с мальчиком и без меня обойдутся, дача вполне благоустроенная и хозяева хорошие.

Она лишь горестно вздохнула.

— Если бы я и поехала, Петенька, душа-то будет у меня не на месте, а с этим какой отдых?

— А у тебя на месте душа, когда я чужому эгоизму потакаю? Ты ведь никогда эгоисткой не была и меня не учила этому.

Она испуганно взглянула на него: уж не прошла ли трещина в его отношениях с женой?

— Все в порядке, мама,— успокоил он ее.— Но я хочу жить по своим правилам, и буду жить по своим правилам, и сына своего научу жить по этим правилам. Если хочешь знать правду, то я жалею теперь, что сдвинул тебя с места... приходил бы я к тебе, и были бы мы вдвоем, сколько захотели бы, и говорили бы друг с другом, ни на кого не оглядываясь. Инна — честная, порядочная женщина, но она считает, что человек должен жить только для себя, а ты всю жизнь учила меня, что человек должен прежде всего жить для других, а потом уж для себя. Мне тридцать восемь лет, поздновато переучиваться.

Он только теперь осознал, почему ночью, на сеновале, пришла вдруг неожиданная легкость, какая-то ясность души, словно пробился родничок с острохолодной водой... Еще весной они с женой решили, что будут жить с мальчиком на даче, тем более, что у него, Демидова, отпуск в июле, а в начале сентября жена собиралась в Гагры, куда ее приглашала одна из сослуживиц. Впрочем, Демидов не знал никого из тех, с кем она работала в радиостудии, и ему казалось иногда, что она считает его человеком совсем другого круга, ему и поговорить не о чем со всеми этими дикторами или комментаторами, которых он знал только по вечерним радиопередачам.

Но лежа на сеновале ночью, вдыхая деревенский запах скошенных трав, он нашел выход, и все то, что застилало собой этот выход, отошло, и легкое и умиротворенное пришло взамен...

Он зашел во время работы в местком, сообщил, что отпуском в этом году не воспользуется, а тут подоспела и удача: у одного из инженеров была путевка для жены в подмосковный дом отдыха в Михайловском, но жена решила поехать к родителям в Киев, и инженер уступил ее путевку.

Демидову было все равно, как отнесется к этому Инна Витальевна, он думал лишь о том, что мать поедет в Михайловское, подышит там воздухом, побродит по аллеям старого парка, и представлял себе эти аллеи, и столетние деревья, и голосок кукушки в чаще, и робкую, так мало знавшую радостей в жизни мать.

— Зачем ты затеял все это, Петенька! — сказала Антонина Андреевна беспомощно.

— Ничего я не затеял, просто мне придется еще крепко поработать над проектом, здесь у меня все под рукой, а ездить на дачу только день разбивать.

Он посидел еще у матери, оставил ее смятенной, но все-таки больше счастливой, чем смятенной, не оттого, конечно, что поедет куда-то, а оттого, что сын подумал о ней и не ушел от нее далеко...

На дачу Демидов приехал только в девятом часу, Инна Витальевна спросила: «Что случилось? Я уже начала беспокоиться», но он ответил коротко: «Заехал к маме», — и пошел умываться.

Наверно, жена помнила то, о чем он сказал ей накануне и что насторожило ее, она не знала еще и того, о чем он мог говорить с Яшкуновым, когда ушел к нему на сеновал, о чем могут говорить мужчины, когда они одни и мужское и гордое поднимается в них...

— В общем, я могу поехать в отпуск и в августе, — сказала она. — В Гаграх в августе еще жарко конечно, но художники обещают устроить в их доме отдыха в Гурзуфе.

— Зачем же, поезжай в свое время, — ответил он. — Я в этом году в отпуск не пойду, а с двадцатого июля, пока мама будет в доме отдыха, проживу в Москве... кстати, и проектную работу закончу.

— Вот как, — сказала Инна Витальевна только. — Это новость.

Она, наверно, могла бы сказать еще многое, но она знала из десятков литературных передач, из рассказов или глав из романов, читавшихся по радио, что в некоторых случаях выдержка лучше сильно выраженных чувств. Демидов давно уверился, что выдержка жены основана на ее опыте и понимании слабостей человека, но он больше не хотел быть слабым, и жена, именно в силу своего опыта, ощущала это.

— Будем жить мирно, Инночка, — сказал он, подошел к ней и поцеловал ее в лоб, — будем жить мирно.

Вечером Яшкунов спросил его:

— Ну как, Петр Порфирьевич, опять придешь ночевать?

— Да нет, останусь в доме,— ответил Демидов.— В субботу на рыбалку соберемся, тогда вместе и заляжем.

Ему незачем было забираться на сеновал, чтобы выйти из-под чьей-то воли, он остался сидеть на террасе и смотрел сквозь просветы в хмеле на месяц, вставший в стороне на бледном июньском небе. Дни еще росли, было совсем светло, и месяц словно задерживался со своим светом, пока не стемнело, потом фосфорически забелел над садом. Наверно, и в конце июля, когда мать поедет в Михайловское, будет он так же висеть над аллеями старого парка с его вековыми деревьями и сторожкой тишиной, в которой слышны только шаги старой женщины, бредущей наедине и в то же время рядом с кем-то, кто всегда неразлучен с ней и без кого ей незачем было бы жить на свете.

ЛЮДИ

Земля от лютой стужи
Была едва жива.
Мороз колот деревья
На мелкие дрова.

Такой был холод адский,
Что все сучки подряд
Выскакивали с треском,
Как пушечный заряд.

Замерзло все живое.
Сидеть бы век в тепле.
А людям надо было
Работать на земле.

И люди шли сквозь холод,
Не знающий границ.
И на груди, у сердца,
Отогревали птиц.

РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Я в лес вхожу, как в пеструю толпу.
Не смейте говорить мне, что деревья
Друг друга повторяют. Это ложь.
Вы только к ним позорче присмотритесь.
Деревья тоже разные. Как люди.
Одни растут в тени. И незаметны.
Другие на виду. Как на базаре.
И если ты их громко не похвалишь —
Страшись, несчастный! Мечь тебя найдет!
А вот стоит ветвистый великан,
А рядом с ним невестится березка.
Они друг другу нравятся, наверно.
По принципу контрастности. Как в жизни.
Как у людей. Совет им да любовь.
А это кто? Глядит чернее ночи.
Все норовит схватиться за соседа.
Сам махонький, плюгавенький, невзрачный.
Он, говорят, от зависти так высох.
Все злобится. Все сохнет на корню.
Кому же он завидует? Соседу!
А почему завидует? Тот выше.
Тот даже в бурю листьев не роняет.
И ночью виден всем издалека.

Ах, эти мне завистники, ей-богу!
Завидуют всему, что ни случится.
Не знаю как у вас, а в нашем доме
Один жилец от зависти умрет.
А вот стоят две елки. Две подружки.
Одна из них шершава. Узловата.
Другая гладкокожа. Как игла.
Вам кто милей? Которая поглаже?
А мне милее та, что пошершавей.
Люблю характер, выраженный броско.
А гладеньких и скрытных не люблю.
Вчера в лесу, когда деревья спали,
Скончался клен. Вы слышали? А рядом
Вдруг засветился пламенем зеленым
Поднявшийся над травами дубок.
Бушует жизнь. Таков лесной закон.
Деревья гибнут — лес не умирает.
Теперь вы понимаете, надеюсь,
Что значит лес! И если кто-то скажет,
Что будто я от жизни оторвался,
Что я в лесу скрываюсь от людей,—
Не верьте вздору этому. Не надо.
Деревья тоже разные. Как люди.
Вы только в них попристальней взглянитесь.
И обнажится сердце перед вами.
И распахнется этот мир зеленый.
И настезь лес! Как перед другом друг!

ВЫСОЧЕСТВО

Я к горе обращаюсь:
— Ваше высочество!
Вы облачной свитой окружены.
Вам очень, наверно, побегать хочется.
А вы неподвижно стоять должны.

За весь ваш век — хоть одно б движенье.
Хоть скрыться б куда-нибудь. На денек.
Пойти бы с дорогою на сближенье.
Зайти к соседке на огонек.

Вы не зайдете — другие попросятся.
Он ведь не дремлет — коварный Кавказ.
Чего ж вы стойте? А белки носятся.
Они, ей-богу, счастливей вас.

Что им до царственного стоянья.
До неподвижности в тысячу лет.
У каждого есть свои расстоянья,
Дороги свои. А у вас их нет.

И хоть вы царите, ваше высочество,
И свитою облачной окружены,
Я знаю — вам очень побегать хочется,
А вы все время стоять должны.

И я, питающий к вам уваженье,
Говорю вам, не поднимаясь с колен:
— Ваше высочество! Только движенье!
Все остальное — тщета и тлен!

МОЙ ЛЕС

Живу в лесу.
Молюсь колесу.
В грибное лукошко
Кладу росу.

Витая стежка
Бежит сторожка.
Под синей осинкой
Сидит сторожка.

А у осинки —
В глазах косинки.
На тонких ветках
Висят ворсинки.

Артелью белки
Ведут побелки.

Бегут березы
Играть в горелки.

Лесные палаты
Чуть сыроваты.
Ползут сквозь чащу
Корней раскаты.

На все усадьбы
Синичьи свадьбы.
Ах, тем синицам —
Меня позвать бы.

Лось без опаски
Идет сквозь краски.
...Мои цветные
Лесные сказки.



ПОДРУЖЕНЬКА

РАССКАЗ

Поздней осенью, собирая грибы в пристанционном перелеске, Катерина Федосеевна встретила серенькую облезлую кошку, ничем не примечательную, беспородную, и пожалела ее.

— Откуда ты взялась, милая? Худющая какая! — сказала Катерина Федосеевна и позвала: — Кис, кис!

Любую бездомную дворняжку назови Жучкой — она завилает хвостом и пойдет тебе навстречу, если не совсем запугана и не одичала. А как назвать бродячую кошку?

— Кис, кис, кис! — настойчиво и ласково позвала кошку Катерина Федосеевна. — Вишь, куда забралась, потаскушка, — в лес!

Кошка недоверчиво прынула в сторону, но почуяв доброту в голосе старой женщины, остановилась, жалобно мяукнула и, подняв хвост с прилипшими к нему репейниками, пошла на зов.

— Голодная ты, что ли? — с сочувствием и упреком рассматривала ее Катерина Федосеевна. — В таком лесу да голодать! Неужто и промыслить ничего не смогла? Вишь, кожа да кости.

У кошки почему-то не было усов, глаза ее гноились, шерсть была короткая и грязная, неухоженная, и уши в парше.

— Сама себя прилизать не удосужилась. А может, ты больная, и тебя, больную-то, занесли в лес да и бросили на погибель? Есть же люди!

Катерина Федосеевна поставила корзинку с грибами на землю, прислонила к дереву палку, с помощью которой разбирала траву и приподымала нижние ветки елочек, и взяла кошку на руки. Поглаживая ее, она осторожно вынула из хвоста ко-



Рисунок В. Носорукова

лучие ежики репейника, после чего кошачий хвост стал совсем голым, как прутик. Заметив, что кошка безусая, она подивилась: «Наверно, кто-нибудь вырвал, либо спалил». А кошка припала всем телом к ее теплой байковой кофте и благодарно замурлыкала.

Катерина Федосеевна растрогалась:

— Одинокая, видно. Ну, чего ж, пойдем тогда. И будет теперь у тебя свой дом, станем жить вместе. Какая-никакая — все скотинка, а то у меня давно никого нет.

От волнения она даже палку в лесу забыла.

По дороге к поселку, около железнодорожного переезда, встретила Катерина Федосеевна соседка солдатка — суматошная бабенка Валя — и давай сразу огороды городить:

— Что это за чучело на руках у тебя, Федосеевна?

— Да вот кошечку в лесу нашла, пожалела,— ответила Катерина Федосеевна и показала из-под кофты безусую кошачью мордочку.

— С ума ты сошла, Федосеевна, драную кошку на грудях в дом не сешь! Да еще из лесу. А вдруг это смерть твоя?

Катерина Федосеевна не испугалась оговора — от этой пустомели доброго слова не дождешься! — только плотнее прикрыла свою походку байковой кофтой, будто оберегая ее от дурного глаза, да огрызнулась нешибко:

— Типун тебе на язык, несуразное говоришь. Иди лучше куда шла!

Кошка всю дорогу тихо сидела у самого ее сердца и мурлыкала так тепло и старательно, что зряшные слова соседки больше не вспоминались.

Дойдя до дому, Катерина Федосеевна оставила в сенях корзину с грибами, не стала их тотчас перебирать, как делала раньше, а занялась кошкой.

— Перво-наперво я тебя покормлю,— сказала она ей.— Только чем? Сама-то я теперь больше грибами балуюсь. А тебе молочка бы надо. Ну, да не все сразу. Вот погоди-ка, есть у меня в чулане кое-чего. Пойду пошукаю.— И Катерина Федосеевна направилась в сени, в чулан.

Спущенная с рук у порога, кошка пугливо озиралась, щуря большие глаза, медленно переступала с ноги на ногу, будто шла по воде, не по полу.

В избе этой ее ничто не удивило: изба как изба. Слева — окна и прямо — окна, в углу — стол, на столе что-то вроде куска хлеба, на окнах жужжат мухи. Есть печь, чтобы спать в тепле и покое, есть полати. За печкой отгорожена занавеской кухня, там должен быть и вход в подполье, а под опечком, где дрова, наверно, стоит и миска с молоком. Осмотревшись и ничему не удивившись, кошка затрусилась за печку, на кухню, но там, под шестком, ничего кроме дров не оказалось, и она, вынырнув из-под занавески, привычно вспрыгнула на лавку, затем на стол.

Когда Катерина Федосеевна вернулась в избу, кошка воровато соскочила со стола и юркнула под лавку — кусок хлеба изо рта она не выпустила.

— Вишь, озорница, что делает, терпежу нет! — пожурела ее Катерина Федосеевна.— Ну ничего, сыта будешь — и воровать не потянет. Воруют, когда жрать нечего. Вот я тебе кусочек сальца нашла. Кис, кис! Как тебя звать-то, не знаю?

Кошка, почуяв сало, пронзительно замыкала, но и от хлеба не отходила. В подслеповатых глазах ее появился жадный огонек.

— То-то! На, кушай! Сальца-то, правда, кот наплакал, а все не хлеб черствый. Съешь и будешь знать, чье сало съела. А звать я тебя буду Подружкой.— Катерина Федосеевна наклонилась и сунула кошке под лавку, прямо в зубы, розоватый соленый кусочек. Потом вдруг засомне-

валась, присмотрелась.— Уж не Дружок ли ты? Нет, Подружка,— шариков вроде бы не видно...

Катерина Федосеевна рада была поразговаривать с кошкой, ей уже казалось, что та отвечает на каждое ее слово.

Сама она тоже захотела поест, принесла с кухни из суденки грибки соленые и вареные, отрезала ломоть хлеба от черной краюшки и уселась за стол. Ела и все заглядывала под лавку да говорила, говорила без умолку.

— Вот мы с тобой и не одинокие теперь. Подруженька ты моя...

Женщине, привыкшей всю жизнь вести хозяйство и кормить семью, труднее переносить одиночество, чем мужчине, особенно если у нее и скота не осталось. Одинокий мужчина много времени тратит на то, чтобы покормить себя, а для женщины это не труд.

Из семерых детей выжили и выросли у Катерины Федосеевны два сына и дочь. Сыновья погибли на войне смертью храбрых, а дочь уцелела, но тоже покинула ее; выучилась, вышла замуж и уехала с мужем в какое-то Заполярье: там будто больше платят, а молодые задумали обзавестись добром, пока здоровье есть.

Муж Катерины Федосеевны, когда они остались вдвоем, не захотел помирать в родной деревне — спятил с ума под старость — и тоже поехал искать хорошей жизни. Помотался по белу свету года два, потом устроился недалеко от дома на железной дороге, стал жалованье получать. Приглянулось — и ее к себе вытребовал: я, говорит, служащий теперь! Что было делать, согласилась Федосеевна. Продали они корову, зарезали свинью, овец, половину мяса дочке посылками в Заполярье переправили, избу свою деревенскую на станцию перевезли. Надорвался старик — умер, в три недели свернуло, будто и живым не был. Даже с дочерью не повидался: пока болел — не успела она приехать, а когда умер — чего ж, говорит, и приезжать.

Вот когда пожалела Катерина Федосеевна, что покинула свое деревенское житье-бытье! Дома, говорят, и стены помогают. А где они теперь, эти стены? Вышла бы во двор, в поле, забрела бы к Аграфене Мелентьевой или к Миколихе Трошкиной — каждая слеза пополам, каждый вздох поровну! А в лесу, за коровьим выгоном, что ни березка — подружка твоя, вместе росли, вместе сок набирали, заодно и листья ронять.

Здесь тоже, конечно, лес, и грибы в нем и все такое, но разве это свой лес, тот? Уехала она из родной деревни, будто живой воды лишилась, от святых даров отреклась.

Схоронив мужа, Катерина Федосеевна и сама поступила на казенную службу, стала полы на станции мыть да подметать. Работает день и ночь, даже спать домой редко ходит, не любо ей в пустой избе ночевать. И по привычке каждый месяц какую-нибудь посылочку для дочки отправляет.

Работает и все ждет, что пошлет ей дочка внука на воспитание. Не послала дочка ни внука, ни внучку, весной сама с муженьком на побывку прикатила. Не хочу, говорит, иметь детей, без них спокойнее, а тебе, говорит, пенсию выхлопочем.



Александр Яковлевич Яшин — известный советский поэт, лауреат Государственной премии, автор более тридцати сборников стихов и поэм.

Стихи Александра Яшина часто появляются на страницах московских журналов, но в последние годы читателей стали привлекать и прозаические произведения этого автора.

В № 6 журнала «Москва» за 1962 год была опубликована повесть Александра Яшина «Сирота», вышедшая затем отдельным изданием.

«Детей не хочешь иметь, а я-то тебя имела!» — с обидой подумала Катерина Федосеевна, но говорить ничего не стала: может, теперь так и надо, времена другие...

Пенсию они ей выхлопотали, это верно, не обманули. С тех пор и живет Катерина Федосеевна одна-одинешенька, год уже скоро, живет — дни коротает. Изба есть, а ни кола ни двора. Купила бы козу, да капиталов нехватка. Некого покормить, не за кем поухаживать. Завела бы квартирантов, да где их взять — станция невелика, в жилье никто не терпит нужды. Не с кем покалякать, не с кем душу отвести. Кабы в деревне — сходила бы к колодцу, а здесь и колодцев нет. Да и люди кругом грамотные, стрелочница — и та четыре класса кончила, книги читает.

— Заживем мы сейчас душа в душу с тобой, подруженька ты моя сердешная. Уж и выхожу я тебя, уж и выкормлю! Будешь бога благодарить, что мне на глаза попалась, — причитала Катерина Федосеевна, убирая со стола. — А дочка моя, вишь она какая, ей покой нужен.

Кошка объелась, и ее стошнило. Встревоженная Катерина Федосеевна, не зная чем ей помочь, заметалась по избе, переворошила в шкафчике все лекарства, оставшиеся от мужа, — он тоже скудался желудком, а дать что-либо не решилась: подходяще ли для животины то, что человеку на пользу шло? Вдруг ей хуже станет, видно, еще молодая, желудочек у нее нежный. Кто их знает, что за фталазол такой, что за пурген? Спросить бы соседку солдатку, да как ее спросишь, еще на смех подымет, зряшная: чучело, дескать, драное лекарством кормить? С ума сошла Федосеевна!

Ослабевшая кошечка подергивалась и тоскливо мяукала, тоненький хвостик ее, будто прутик, лежал поперек половиц. Катерина Федосеевна чуть не заплакала от сердечной жалости.

— Что же это я наделала, глупая? — упрекала она себя. — Угостила соленым салом с голодухи! От такого угощенья ноги протянуть можно.

И все-таки пошла за советом к солдатке, больше некуда было.

— Что стряслось, Федосеевна? — спросила та, заметив по лицу старухи, что заявила она неспроста. — Нечастая гостья, хоть и рядом живем.

— Прости, Валюша, что беспокоила тебя, — сказала Катерина Федосеевна. — А только не найдется ли у тебя молочка немножко?

— С ума ты сошла, Федосеевна! Корова у меня, что ли? — удивилась Валя.

— Знаю, что не корова, только, думаю, с чайную чашку не найдется ли?

— Неужто для кошки для этой драной?

— Для кошечки, Валя. Взяла я ее к себе на воспитание. — И в угоду солдатке Катерина Федосеевна даже подшутила над собой: — Слыхала, говорят: «Не было у бабы хлопот, так купила поросенка».

— Ладно кабы поросся, а то кошку! — все еще не хотела понять ее Валя.

— А без кошки, Валя, что за дом? Кошки нет, стало быть, мышей нет, а мышей нет, стало быть, достатку бог не дал, царь не умеет народом править.

— Ну вот о чем, старая, вспомнила, о царе! — удивилась Валя. — Где я тебе молока найду?

— Прости, коли так! — сказала Катерина Федосеевна и повернулась к порогу.

Но Валя остановила ее.

— Сядь, посиди маленько. Я Кольку пошлю к Поликарповне. Колька! — крикнула она.

Валя жила в коммунальной двухкомнатной квартире с сыном и дочерью. Сынок родился еще при отце и сейчас заканчивал десятилетку.

Катерина Федосеевна считала, что сын у Вали законный, и ничего против него не имела. А вот дочка, по слухам, появилась на свет, когда батько уже с немцами воевал, и один бог знает, чья она. Из-за этого Катерина Федосеевна и относилась к солдатке Вале с ревнивой подозрительностью и считала ее про себя несамостоятельной, непутевой. Что угодно могла она простить женщине-солдатке, только не беспутную жизнь.

Колька поворчал немного, что его от книг отрывают, но сходил, куда послала мать, и принес полную чашку молока.

Катерина Федосеевна даже не поблагодарила как следует, заторопилась домой.

— Подруженька! — позвала она кошку, еле открыв дверь в избу. — Вот я тебе раздобыла еды, это не солонина, не грибки какие-нибудь. Да где ты, жива ли?

Кошка спала на ее постели, прямо на подушке, свернувшись улиткой, — маленькая, серенькая, голова в передних лапах, хвостик прутиком промеж ушей. На мгновение она приоткрыла глаза, взглянула лениво, без всякого интереса на свою новую хозяйку и тотчас заснула снова и словно бы даже захрапела.

Катерина Федосеевна сразу притихла и от порога к суденке с кружкой молока прошла на цыпочках. Сон всегда дороже еды, в это она верила давно. Для человека — дороже, значит и для любого живого существа тоже.

Было уже поздно, и Катерина Федосеевна сама стала укладываться. Чтобы не потревожить Подружку, она решила эту ночь переспать на печи.

Хлопот с кошкой было, конечно, немало, но ведь Катерина Федосеевна сама хотела, чтобы у нее были хлопоты. Можно сказать, она даже придумывала их себе. Чем больше было хлопот, тем легче переносила она свое одиночество.

Через Валу она познакомилась с Поликарповной и стала брать у нее každодневно по бутылке козьего молока. Все для кошки. Сама она козье молоко в рот не брала, брезговала.

По утрам Подружка просыпалась рано, и Катерина Федосеевна только радовалась этому, потому что сама не любила спать подолгу. Наполнив молоком чайное блюдце, она добавляла в него кусочки хлеба. Крошево это кошка съедала неторопливо, с удовольствием. Сперва лакала молоко, затем подбирала хлеб. А Катерина Федосеевна стояла, либо сидела рядышком и смотрела на нее во все глаза. Иногда она спрашивала:

— Что, глянется? По душе тебе крошенинка моя?

Подружка, занятая своим наиважнейшим в жизни делом, даже не поднимала головы от блюдца, будто не слышала, о чем спрашивает хозяйка. Она ласкалась, мурлыкала, терлась о ее ноги, пока хотела есть, а наевшись, уходила в сторону, отфыркивалась, отряхивалась, особо отряхивала лапки и уже не обращала никакого внимания на свою кормилицу, словно ее и не существовало.

Катерина Федосеевна налюбоваться не могла своей Подружкой.

Однажды кошка вылакала все молоко, а хлеб не съела. Катерина Федосеевна походила по магазинам и нашла для нее полкило белого хлеба, — в поселке он появлялся нечасто. От белого хлеба кошка не отказалась. Но скоро и он ей надоел. Тогда Катерина Федосеевна начала покупать мясо.

Глаза у Подружки скоро прояснели, перестали гноиться. На морде появились усы. Она раздобрела, обросла длинной шелковистой шерстью, словно нарядилась в новую юбку, и все чаще умывалась, все дольше

спала, а когда после еды охорашивалась, Катерина Федосеевна, глядя на нее, любовно ворчала:

— Затрясла своими воланами. Вишь, модница какая!

Но и насытившись и раздобрев, кошка воровать не перестала: то на стол вскочит, то в суденку заберется, должно быть, это у нее в привычку вошло. Тащит мясо, припасенное для нее же, и даже хлеб ест, если он краденый.

Первый месяц Катерина Федосеевна боялась выпускать кошку на улицу, чтобы та не заблудилась где-нибудь. У порога около веника для нее стоял ящик с песком — в избе пахло тяжело и густо. А когда Катерина Федосеевна решила наконец выпустить кошку на прогулку, та исчезла сразу на двое суток. Тревожные это были сутки для одинокой женщины, но ведь не в милицию же заявлять о пропавшей кошке.

«Может, она подалась от меня к старым хозяевам? — думала Катерина Федосеевна. — Может, я не угодила ей чем-нибудь?»

Две ночи она почти не спала: Подружка могла появиться в любой час, не откроешь дверь вовремя — обидится, совсем уйдет.

Под утро вторых суток сон все-таки сморил Катерину Федосеевну. Приснилось ей, будто покойный муж топит Подружкиных котят за гумном в глубокой яме, из которой деревенские бабы глину добывали, чтобы печи подмазывать. Вытряхнул он котят из мешка, а их было четверо, и все серенькие, как воробышки, а яма до краев полна водой, плавают они, тощие, маленькие, мяучат, а муж в них палками кидает, чтобы скорей на дно шли. Кошка-мать бегаёт вокруг ямы, ревет не своим голосом, то в одну сторону кинется, то в другую, а муж, покойник, и в нее палками кидает. Стала бегать вокруг ямы и Катерина Федосеевна, хочется ей крикнуть мужу: «Что ты делаешь, бессовестный!», а голоса нет, и замаякала она по-кошачьи. Тогда муж, покойник, и в нее — палку за палкой...

Проснувшись Катерина Федосеевна, будто избитая, тело ноет, а кошка Подружка на постели под боком лежит, руки ей лижет, даже страшно стало. И припомнились ей слова соседки Вали: «А вдруг это смерть твоя?»

— Откуда ты взялась, окаянная, спаси Христос! — с трудом выговорила Катерина Федосеевна, отодвигаясь от кошки, и всхлинула не то от радости, что она вернулась, не то от страха.

Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность. Прибирая постель, Катерина Федосеевна упрекала свою Подружку:

— Неужто к старым хозяевам бегала от меня, изменщица? Разве тебе у меня худо, чего тебе еще надо? А может, по лесу опять шаталась? Про кого это сказано: «Сколь ни корми, а все в лес смотрит»? Уж не про кошку ли? Нет, это про волка. А может, про кошку? Как же ты в избу-то попала, голубушка? Дверь заперта, окно тоже... Не через трубу ли? Через трубу ведьмы лезят...

Но присмотревшись, Катерина Федосеевна заметила открытую форточку и следы грязных лап на стекле изнутри и снаружи окна.

— Вот ты какая у меня лазунья! — сказала она. — Догадливая! Ну погоди, не будешь убежать. Все равно приворожу!

Растопив печь, Катерина Федосеевна выскребла из кошелька остатки пенсии, сходила на базар и приготовила для кошки мясные котлетки, какие мужу научилась готовить, когда он болел, — сочные, поджаристые, с дымком.

— Служи, лазунья! — скомандовала она ей, как собаке, держа котлету над ее головой.

Почуяв в руке хозяйки жареное мясо, кошка взвилась, подпрыгнула и в кровь разодрала ей пальцы, но котлетку все-таки схватила.

Катерина Федосеевна смазала царапины на пальцах жиром и накормила Подружку досыта. Наевшись, та забралась на подоконник и стала ловить мух на стекле. Потом заснула на весь день, опять же на хозяйкиной подушке.

Случилось однажды, угостила Катерина Федосеевна кошку мороженой треской, а в другой раз купила на базаре у ребятишек речных окуньков. Подружке особенно по душе пришлось свежая рыба, должно быть она ее пробовала где-то раньше. У окунька Подружка отгрызла сначала голову, но есть стала его не с головы, а со спины, и только напоследок, когда добралась до хвоста, съела и голову. Жевала она неторопливо, похрустывая и щурясь от удовольствия, почти засыпая к концу еды. На полу оставались рыбы внутренности, да хвост, да красные перья.

— Не для меня ли оставляешь? — пошутила Катерина Федосеевна, подбирая с пола кошачьи объедки.

После свежих окуньков Подружка перестала есть мороженую рыбу. Да и свежая рыба устраивала ее теперь не всякая. Хорошо шли гладкий пескарь, сладкий голый налименок, жирный сазанчик. А плоскую костлявую густеру с жесткой, как панцирь, чешуей она совсем не признавала за еду.

Испробовав свежие, сочащиеся жиром котлетки, Подружка стала отказываться и от мороженого мяса.

Пришлось Катерине Федосеевне изворачиваться, доставать каждый день то парное мясо, то свежую рыбу. А когда в доме не было ни того, ни другого, кошка ходила за нею по пятам, заглядывала в глаза и мяукала ожесточенно и требовательно.

Но Катерина Федосеевна так привязалась к своей Подружке, что безропотно переносила все ее домогания, жарила и рыбу и котлеты, отказывала во многом себе, даже чай стала пить некрепкий, только бы не остаться снова в одиночестве. А когда небольшой пенсии не хватало до конца месяца, она подрабатывала в молодежном общежитии стиркой белья, мытьем полов.

Посылочки для дочери она тоже справляла теперь не каждый месяц: все равно та отзывалась письмом не на всякую посылку.

Многое прощала Катерина Федосеевна своей Подружке, не могла смириться лишь с ее воровством да еще с тем, что она то и дело исчезала все-таки из дому. Стоило хозяйке зазеваться, не захлопнуть за собой дверь, как Подружка серой тенью шмыгала промеж ног и не возвращалась по двое, по трое суток. Разыскивать ее было бесполезно. Но Катерина Федосеевна всякий раз искала ее. И это были самые большие, самые изнурительные хлопоты, которые доставляла ей Подружка.

С особенным удовольствием кошка убегала из дому через форточку. Если случайно открыты были в избе и дверь и форточка, кошка исчезала через форточку. Тем же путем любила она и возвращаться в дом. Оконные стекла с обеих сторон всегда были в грязи, занавеска то и дело оказывалась продранной и валялась на полу.

А в палисаднике под окнами перестали водиться птички. Раньше Катерина Федосеевна прикармливала синичек, снегирей, сейчас птички боялись ее избы. Кошка выслеживала их часами в кустах смородины и калины и, поймав, приносила в зубах домой еще живыми, злобно урча и тараща глаза. Под лавкой, под столом то и дело появлялись перышки — желтые, красноватые, пестрые.

Правда, мышей в доме тоже не стало. Ну и ловила бы себе мышей, это ей по закону положено, а птичек зачем трогать?

Как-то в форточку залетела синичка. Кошка прямо взбесилась, опрокинула горшок с примулой, смахнула со стола две чайных чашки,

а когда Катерина Федосеевна схватила ее за загривок, она извернулась и укусила ее. Синичка ударилась о стекло, упала на пол, и кошка все-таки ее съела.

С неутолимой алчностью Подружка кидалась на всякую живность. Она и рыбу охотнее жрала живую, а не мертвую. Даже ящериц в избу приносила. С этим Катерина Федосеевна тоже примириться не могла.

— Душегубица некрещеная! Мало тебе всякой еды на свете, мало котлет, все норовишь кому-нибудь горло перегрызть! Веретельниц-то домой зачем тащишь? Накличешь беду какую-нибудь...— ворчала она.

И еще было горе: с появлением кошки в избе у Катерины Федосеевны почему-то стали вянуть цветы. Любимая ее герань в большой глиняной кринке, которая раньше, в деревне, служила квашней для блинов,— широколистная жирная герань погибала на глазах. Ни подкормка, ни поливки не помогали, и нельзя было понять, отчего герань сохнет.

Но самое большое бедствие началось ранней весной, когда под окном у Катерины Федосеевны, не давая ей спать, по целым ночам ревмя ревели Подружкины ухажеры, а сама Подружка, беснуясь, металась по избе и не хотела ни есть, ни пить, пока не вырывалась на свободу. В эти недели домой она заглядывала редко, как правило, под утро, растрепанная, усталая, мяукала жалобно, а нажравшись, заваливалась на постель или забиралась на печь и спала до вечера. Вечером все начиналось сызнова.

Катерина Федосеевна помучалась, помучалась и решила не закрывать форточку совсем, только жарче стала топить печь.

Однажды она до полночи собирала очередную посылочку для дочери — довязала шерстяные носки, — в Заполярье, по ее представлениям, всегда стояли трескучие морозы, где набраться теплых носков; насушила кулек картошки из остатков со своего огорода; бережно свернула и сунула в тот же фанерный ящик последний рукотерник с петухами, уцелевший еще от ее девического приданого, да старомодную стеклянную в медной оправе брошку... Собирая все это, она ждала, не вернется ли кошка, и думала о дочери, что вот выросла и бросила старуху одну, ни сама в гости не приезжает, ни ее к себе не позовет. Да и Подружка тоже хороша!..

Оставалось обшить фанерную посылочку дерюжкой, но Катерина Федосеевна уже не смогла этого сделать, легла и заснула.

Вот тогда-то к ней через открытую форточку и заглянул огромный черный котиче и заревел по-человечьи, да так страшно, как только совы режут по ночам в глухом таежном лесу. Катерина Федосеевна не заметила, как очутилась на ногах, и, еще не совсем проснувшись и не опомнясь от первого неясного испуга, увидела вдруг прямо перед собою, чуть повыше своей головы, в прямоугольном темном проеме окна, самого настоящего черного дьявола с холодным лунным огнем в круглых глазах, с рогами вместо ушей.

До самой смерти она не могла вспомнить, что с ней было потом, — кричала ли она, и когда успела включить свет, и каким образом в руках у нее появилась кочерга, и сама ли она захлопнула форточку или кто-то другой закрыл ее, и почему потом она оказалась лежащей на полу.

Утром соседка Поликарповна, подоив козу и не дождавшись Катерины Федосеевны, сама принесла ей бутылку парного молока. Катерина Федосеевна с трудом встала с полу, открыла дверь, подняла кочергу и поставила ее в угол.

— Что это ты, Федосеевна, днем с огнем сидишь? — удивилась Поликарповна. — Уж не заболела ли?

Катерина Федосеевна молча добрела до выключателя, молча повернула его. Потом взяла бутылку с молоком и тут же половину молча вы-

лила в блюдо для кошки, хотя кошки в доме все еще не было. Руки у Катерины Федосеевны при этом дрожали.

А Поликарповну осенила недобрая догадка.

— Неужто все мое молоко ты кошке спаиваешь? Кабы знала, ни разу бы не дала. Валькиным ребятам отказывала, а тебе отпускала. Из-за денег я, что ли?

— Заболела я,— тихо и как-то неразборчиво сказала Катерина Федосеевна и легла на постель поверх одеяла.

Больше от нее нельзя было добиться ни слова.

Тотчас после Поликарповны к ней прибежала расторопная солдатка Валя, помогла ей лечь под одеяло, взбила подушку, хотела чем-нибудь покормить, но Катерина Федосеевна ничего есть не стала, тогда Валя перед уходом приказала ей:

— Лежи, не рыпайся. Я сейчас на работу, а вечером забегу. Поняла? И врача к тебе пришлю. Поняла? У тебя ведь дочка есть, может, ей телеграмму послать?

— Не успеет опять! — сказала Катерина Федосеевна.

— Кто не успеет, дочка или телеграмма?

Катерина Федосеевна показала глазами на закрытую форточку и с трудом произнесла еще одно слово:

— Открой!

Валя открыла форточку, больная успокоилась и сразу заснула.

Вечером пришел врач. Катерина Федосеевна не отвечала ни на один из его вопросов, только с тревогой поглядывала на форточку, словно ждала кого.

— Дует? — спросил врач и хотел закрыть форточку.

Катерина Федосеевна вымолвила:

— Не надо!

И снова заснула.

Разбудила ее Подружка. Голодная и взъерошенная, она со стуком прыгнула из форточки на пол, метнулась под шесток к своему блюдцу, вылакала приготовленное для нее молоко, но не насытилась, а потому забралась на постель к своей хозяйке, стала ходить по ней, мяучить и чистить и точить на ее груди свои когти.

Катерина Федосеевна спросонья вздрогнула вся. Вздрогнула даже кровать под нею. Расширившиеся до предела глаза больной женщины с ужасом остановились на кошке, словно она опять увидела перед собой ночного дьявола. «Может, это смерть моя?» — казалось, кричали ее глаза. Но скоро в этих глазах засветился добрый спокойный огонек. Катерина Федосеевна медленно вытянула из-под одеяла правую руку и ласково положила ее на спину Подружки.

— Не уходи! Подруинька... — попросила она.

Кошка, прогнув спину, выскользнула из-под тяжелой руки хозяйки и снова побежала к печке, под шесток, но в блюде по-прежнему было пусто, тогда она, осмотревшись и что-то по-своему сообразив, прыгнула на суденку, опрокинула незаткнутую бутылку с остатками молока и, с опаской поглядывая на хозяйку, принялась вылизывать белую лужу и на суденке и на полу.

Катерина Федосеевна не крикнула на нее, не пригрозила ничем, даже не пошевелилась, и кошка, по-видимому, поняла, что больше ей нечего бояться. Зализав молоко и отряхнув лапки, она забралась в кринку-квашню с геранью, покрутилась, помялась на одном месте и уже без всякой опаски, прямо на глазах у потрясенной хозяйки, сделала свое маленькое дело, после чего брезгливо разворошила под собой цветочную землю.

Катерина Федосеевна поняла наконец, отчего повяла ее любимая герань.

— Подлая! — прошептала она Подружке.— Ящик ведь есть! — и отворотила от нее свое лицо.

Подружка еще раз отряхнула лапки, взобралась на кровать и, мурлыкая, легла хозяйке на грудь,— печка в этот день была не топлена.

— Подлая! — повторила Катерина Федосеевна, но прогонять от себя кошку не стала. На бледных щеках ее появились слезы.

Валя застала обеих спящими — Федосеевну и ее Подружку. Круглая, бойкая, она коlobком прокатилась от порога, поставила на стол корзину с едой и вдруг возмущенно вскрикнула, увидев на груди Катерины Федосеевны спящую кошку:

— Издевательство какое! Больного человека придавила, паскуда.— Она шлепнула кошку по усатой морде и сбросила ее с груди старухи.

Катерина Федосеевна проснулась, лицо ее искажилось от боли, словно Валя шлепнула ее, а не кошку.

— Оставь! — выговорила она.

— Как это оставь? Развалилась на тебе свинья жирная, а ты терпишь. Она и задушить может, только допусти — лесная ведь. Вот я выброшу ее в форточку, пусть знает свое место.

— Закрой! — прошептала Катерина Федосеевна и показала глазами на форточку.

— Ладно, закрою, коли так, не выброшу,— согласилась Валя и хлопнула форточку.— Делишки-то как твои? — спросила она больную.— Выкарабкаешься или нет? Карabкаться надо. Может, дочке телеграмму все-таки послать? Адрес-то где у тебя?

— Покорми! — сказала Катерина Федосеевна.

— Вот это резонный разговор. Сейчас покормлю. Тут я принесла тебе кое-чего.

— Кошку! — сказала Катерина Федосеевна.

— Как это — кошку? Сперва тебя покормлю, а потом уж кошке — что останется.

— Кошку! — повторила больная.

— Ладно, коли так, покормлю и кошку. Нашла кого полюбить! — Валя выложила на стол еду из корзинки и кинула кошке кусок хлеба.— Жри, потаскуха!

Кошка подошла к хлебу, обнюхала его и, отвернувшись, с недоумением посмотрела на свою хозяйку, на Катерину Федосеевну.

— А ведь она не голодная у тебя! — обиделась Валя.— Ишь, лесная царевна! Ей, наверно, сметанки надо, а то, может, котлетку жареную подать, бифштекс-рамштекс?

Катерина Федосеевна закрыла глаза.

Суматошная Валя тихо просидела у постели старухи целый вечер, накормила-таки ее манной кашей с ложечки и пообещала заглянуть до ночи еще разок.

— А то свою Маруську пошлю! — сказала она.

Все это время кошка скрывалась за печной трубой, дремала, изредка приоткрывала глаза, словно шторы на окнах раздвигала, следила за своей хозяйкой. А когда за Валею захлопнулась дверь, она мягко спустилась с печи, забралась на стол и спокойно и плотно поужинала, выбирая что по душе.

Катерина Федосеевна видела все, но уже ничего не говорила.

Совсем поздно в избу, постучавшись, вошла Валина дочка, Маруся, школьница лет пятнадцати, робко примостилась у кровати бабки Федосеевны, которой почему-то всегда побаивалась, сидела не двигаясь, все ждала какого-нибудь приказания или просьбы, но сама спрашивать ни о чем не решалась.

Катерина Федосеевна взяла ее руку в свои — жилистые и холодные — и долго молча гладила, словно извинялась, что раньше не признавала ее.

В избе было прохладно и сыро, пахло лекарствами.

Под бревенчатым потолком тускло горела электрическая лампочка, обернутая бумагой.

Кошка опять сидела за печной трубой, чего-то ждала, но к хозяйке не подходила и даже не глядела в ее сторону.

— Шить умеешь? — вдруг спросила Катерина Федосеевна.

Маруся вздрогнула от неожиданности.

— Чего шить?

— Посылку обшей. Вон...— Она показала глазами в угол избы.— Адрест напиши... В шкапу. Пошли дочке.

Маруся принялась за работу.

На другой день врач, прослушав больную и выписав новые назначения, сказал:

— Душно у тебя здесь, бабуся. Я к тебе сестру пошлю, пока в больнице место не освободилось. Она и печку будет топить.

— В деревню бы меня...— попросила Катерина Федосеевна.

— Тоскуешь? — с заинтересованностью посмотрел на нее врач.— А кто тебя там лечить будет?

— В деревню бы...

— В деревню — да... Но тут уж я ничего сделать не могу. Вот поправишься, тогда...

Перед уходом он открыл форточку.

— Не надо! — с испугом сказала Катерина Федосеевна.

Но было уже поздно: кошка сорвалась с печи, мякнула, взвилась в форточку и, скрежетнув когтями по стеклу, скрылась.

— Ясно! — сказал врач.

Подружка появлялась в избе еще не раз, но лишь в те часы, когда больная старуха почему-либо оставалась одна.

Воровато поглядывая на свою хозяйку, а то делая вид, будто вовсе не замечает ее, кошка подбирала остатки еды со стола, затем обшаривала и обнюхивала все закутки в избе и снова исчезала через форточку. А если в избе не оказывалось никакой еды, она забиралась к Катерине Федосеевне на грудь, тормошила ее и требовательно мяукала.

Просыпаясь, Катерина Федосеевна спервоначалу, как всегда, пугалась, но потом внимательно и бесстрастно следила за своей Подружкой, все уже понимала и ни о чем не заговаривала с ней.

В последний раз Валя застала Подружку на груди Катерины Федосеевны, когда та была уже мертвая.

— Задушила-таки, проклятая ведьма! — взвизгнула Валя, хватая кошку за мягкий пушистый воротник.— Ну погоди, сейчас-то я знаю, что с тобой делать, сейчас ты не уйдешь от меня. Сдам я тебя куда следует!

НИКОЛАЙ КОТЕНКО

В НАЧАЛЕ

Были.
Первым, наверное, было черное.
Это из были —
Когда ничего еще не было:
Ни былинки, ни неба, ни шороха.

Но скорее, в начале сверкало белое.
Представляете —
Белое-белое,
Невесомое,
Бесконечное —
Ни Земли, ни Солнца,
Ни утра, ни вечера.
Потом это выпало на Землю снегом,
И сединой на волосы матери,
Потом это стало квадратом ватмана,
Листом блокнота,
Над которыми некие —
Физик ли,
Лирик ли,
Слепой ли,
Зрячий —
Сидели ночами до белой горячки.

А может, в начале было прозрачное,
То есть бесцветное,
Незаметное,
Невидимое,
Неощутимое
И безответное?
Потом это стало
Стеклом в окошке...
Впрочем, в это верить не хочется:
Ведь стекло, оно всегда безучастно
И к нашему горю,
И к нашему счастью,
К нашим любовям,
И к нашим ссорам.
Оно не плавится под нашим взором,
Когда мы любим кого-то сильно,
Когда ненавидим — не стынет инеем.
Ему наплевать — безразлично до зависти,
Чьи скользят по нему глаза:
Простого смертного
Или начальника,—
Нет, такого не могло быть в начале!

А что, если было в начале желтое?
Потом это стало пустыней жесткою,
В человеке оно повторилось желчью,
Желтухой
И разной прочей холерой,
От которых он желтеет, хиреет.
Потом оно запетляло лисами —
Символом хитрости и обмана,
Потом закружилось осенними листьями —
Цветом старости, увядания.
Правда, желтый цвет у пшеницы и ржи,
Желтый цвет и у хлебной корки.
Но также желтый — у фальши и лжи
И у поношенной гимнастерки.

Нет, конечно же, в нашем начале
Было зеленое.

Ведь подумайте:
Какие чаянья возникают весной,
Когда вы влюбляетесь так отчаянно
В самый крохотный листик клена!..

А может, всех раньше
Было оранжевое —
Чтоб ранью прохладною
Вспыхнуть Солнцем?

А может, сводится
Начало к другому —
Ультрамариновому,
Расплескавшемуся в океанов неизмеримость,
Вылившееся в цирковый купол неба?..

А черного цвета не было,—
Черный придумали люди.
Так вот всегда: создадут, сотворят,
А потом проклинают, отрицают, не любят!
Но этого цвета очень мало:
Только черная точка на конце ствола,
Да черная траектория пули,
Да черное небо
В черных глазницах,
Да черный клюв
У черной птицы,
Да черная лента
На черном гробу,
Да в черных зрачках
Черная грусть.
Да черные руки,
Неподвластные щелоку
И архигорячей воде.
Да Черное Солнце у Шолохова
И больше —
Нигде!

ДВА ПИСЬМА

РАССКАЗ

События, составляющие исторический фон этого рассказа, относятся к периоду до марта 1956 года и первым последующим месяцам.

В марте 1956 года, вскоре после XX съезда КПСС, состоялся VI Пленум ЦК компартии Греции. Он вскрыл серьезные ошибки руководства компартии Греции, наметил новую генеральную линию и избрал новое руководство партии. Решения VI Пленума определили исторический поворот в жизни компартии Греции и содействовали новому мощному подъему демократического движения в стране.

I

...Попытаюсь изложить, как все произошло. По порядку. И по возможности кратко. Потому что боюсь. Если не сумею выдержать, если не стисну зубы и не допишу письма — я пропала. Да я и не имею права. Ты должен узнать обо всем от меня. Как странно... Я борюсь с болезнью в тюремной больнице, а помочь мне можешь только ты, брат Кимона, находящийся так далеко отсюда.

...Ты первым узнал о нашей любви. Тогда ты был рядом с нами, мы оба считали тебя самым близким человеком и знали, что тебя это обрадует. В первый же день свободы мы рассказали обо всем. Помнишь? 13 октября. Накануне немцы покинули Афины. И вместе с ними словно уполз тяжелый черный занавес. Все в этот день будто рождалось заново, приобретало свой цвет, вкус, запах...

В пять часов утра я вышла из нелегальной типографии с портфелем, набитым листовками («Немцы уходят!», «Наши Афины свободны!»). Во дворе чирикали воробьи, и я замерла, пораженная, словно впервые в жизни услышала щебет птиц.

Наш разговор состоялся у книжного магазина Элефтерудакиса на улице Стадиу, в том месте, где она выходит на площадь Синтагма. В больших стеклах витрины, на фоне знамен, лозунгов и волнующегося людского моря отражались наши лица. Мы с Кимоном были бледны от долгого пребывания в подвале. А может, больше от волнения.

Мы разговаривали. Вдруг, помню, я увидела блеск своих глаз в витрине. И именно в это мгновение меня пронзила мысль, словно какое-то великое для всего мира открытие: значит, есть счастье! Я безмерно счастлива!

Мы, работники нелегальной печати, выбирались из тайников, из недр нашей земли, которая бережно хранила нас четыре года оккупации, и попадали в потоки света, улыбок, знамен и цветов. Мы ходили как пьяные. Впервые крутились в многошумном, сверкающем людском афицком водовороте, в самый великий его час... Город гудел, будто огромная река, меняющая русло...

Ах, меня опять понесли те волны... Я хватаюсь за железные стойки кровати, словно тону. Нельзя кричать! Придет опять монашка со шприцем, а потом — мутные и тяжелые, как густые пары, кошмары... Темный подвал, запах земли, типографской краски, запах волос Кимона... Не могу больше...

Сколько прошло дней?.. Говорят, у меня был новый приступ. Делают чаще уколы. Врач заглядывает и по вечерам.

Но какое это имеет отношение к делу? Я должна продолжать. На чем я остановилась? Может, на той реке, что меняет русло?.. Просто для нас это была первая демонстрация. Я, кажется, писала тебе, что то, что до сих пор душилось мраком, сыростью и тревогами подпольной работы, расцвело в один день... 13 октября. Вечером состоялась наша «свадьба».

Я хочу признаться тебе, что когда впервые спустилась в подпольную типографию, то больше всего испугалась именно этого полумрака, сырости и запаха земли, а не вражеских сапог на тротуарах. Меня обуял страх остаться навсегда одной там, под землей... И вот наступил вечер, когда мы, вместо того чтобы спуститься в темные недра наших Афин, поднялись на одну из самых светлых вершин города, на холм Ликавитоса!..

Ты привел нас в свою комнатушку на Ликавитосе и расстался с нами поздно ночью. Ты пошел ночевать к Ясону, из бюро студенческой организации, ты, наверно, помнишь его. Тогда у нас, студентов-подпольщиков, был обычай брать имена наших предков. Помнишь? Кимон, Ясон... Тебя тогда звали Фидием. А меня Антигоной. Я имею в виду Ясона из Политехнического института. С худощавым лицом, толстыми очками и прерывистым, как кашель, нервным смехом. Но при чем здесь Ясон?

Твоя комната находилась в последнем доме, у роши. Одно ее окно глядело на сосны Ликавитоса, другое — на еще робко освещенные Афины. Из одного до нас доносились отзвуки дневных демонстраций и победные песни Сопrotивления, из другого — древний шелест сосен и извечный шепот влюбленных.

Это был не октябрь, это был наш Май! А ночь — незаходящая заря. Откуда лился этот свет? Помню до каждой черточки лицо Кимона, его черные волосы. Тогда впервые я почувствовала, что они пахнут типографской краской. Наши тела, иссохшие от четырехлетнего голода, побелевшие от четырехлетнего пребывания под землей, казалось, излучали свет. Это не была наша первая брачная ночь, это был первый день нашей жизни!

Уже перед рассветом мы вспомнили о тебе. С признательностью. Ведь ты помог нам избрать этот путь — и в глубь земли, и на вершину сегодняшнего Ликавитоса, самого светлого в нашей жизни. Именно ты, «старик», несмотря на то, что ты был старше нас всего на пять лет.

Вспомнили о Ясоне. И почему-то на мгновение сжалось сердце. Почему Ясон не пришел на нашу «свадьбу»? И потом почему, когда ты сказал, что пойдешь ночевать к Ясону, по твоему лицу пробежала тень? Может быть, ты знал уже тогда?

...Над вершиной Акрополя вставал рассвет. Кимон впился взглядом в далекие бледные огни города и долго молчал. О чем он думал? Что видел широко раскрытыми глазами в этой фиалковой предрассветной мгле? Я хотела, чтобы он не думал ни о чем другом, кроме нашего часа. Ни о завтрашнем дне.

Я погрузила руки в волосы Кимона и повернула к себе его лицо. Что нам несет этот день? Он смотрел на меня невидящим, отсутствующим взглядом.

Вдруг из роши грянул птичий хор, словно первый луч солнца был палочкой дирижера, взмаха которой ожидали притаившиеся певцы. Что

несет с собой наступающий день? Я видела, как начинает светиться Акрополь, словно выступая из вечной ночи, в которую был погружен. Он будто отвечал, но только не тревогам Кимона, еще неясным и неопределенным, а моим надеждам. Даже не надеждам, а моей уверенности, что есть счастье! Да еще какое! Есть народ, и он бессмертен! Я видела его! И Свобода — не иллюзия! Вот она передо мною — вознесшаяся на веки веков! И вновь ее заливают лучи солнца на Священной Скале!

Я закрыла глаза Кимона своими губами, чтобы он не видел больше того, что видел, не думал о том, о чем думал.

И все же то, что «нес с собой этот день», пришло. И не нашлось в мире силы остановить это!

Пришли англичане. Бывшие немецкие прислужники и палачи распоясались: оскорбляли, били и убивали патриотов на улицах.

Пришли времена гражданской войны.

Пришли американцы, с ними — трибуналы, смертники, концлагери, пустынные, скалистые Эгейские острова, залитые кровью, склоны гор, утыканные крестами...

А затем пришло поражение. Второе поражение за столь короткое время. Словно на нашу грудь внезапно опустилось небо, как серый мешок с камнями Макронисоса. Все покрыл пепел...

Но меня опять унесло. Не могу...

Снова прошло несколько дней, прежде чем я смогла взяться за письмо. Каждое утро во время обхода врач говорит что-то насчет уколов и лекарств медсестре и уходит, не оставив после себя даже улыбки.

В этой маленькой двухместной палате я одна. На другую кровать приносят больных, когда гибнет всякая надежда. Итак, в моем соседстве опять смертники. Это бывшие партизанки, ранеными захваченные в плен, или изувеченные тюрьмами и концлагерями заключенные, томившиеся еще со времен диктатуры Метаксаса и оккупации, или подруги по подполью.

Меня нагрузили столькими наказаниями, столькими тайнами и исповедями, рассказанными прерывистым шепотом в темноте, что я чувствую себя каким-то кораблем-призраком, который должен обязательно пройти через это пространство смерти и достичь берега со всем своим грузом. Кораблем, который не имеет права затонуть и успокоиться на дне, пока не передаст людям не «SOS» — здесь, где мы находимся, спасенья нет, мы это знаем, — а все их истории. И прежде всего собственную историю.

На чем же я остановилась?.. Не могу сосредоточиться. Я исписываю лист с обеих сторон и прячу в матрац. Если смогу закончить, то вышлю все листы, сошью в одну тетрадь и отошлю тебе. У меня есть возможность переслать ее на свободу. Если же не допишу, то их сожгут вместе с матрацем...

Потом для всех вас, кто ушел в горы, и для тебя тоже, пришло изгнание, чужбина. Я не испытала этого. Но мне кажется, что, по существу, и мы все оказались изгнанниками. Разница, наверно, заклю-



Греческий поэт Петрос Антеос родился в 1920 году. В 1937 году в афинских журналах появились его первые стихи и рассказы. В годы гитлеровской оккупации Петрос Антеос был активным участником движения Сопротивления, секретарем ЦК Национально-освободительного фронта молодежи, одним из руководителей организации Сопротивления греческой молодежи, сражался в рядах Народно-освободительной армии.

В 1945 году в Афинах вышел первый поэтический сборник «Песня нашего народа». В 1948 году в партизанской типографии была отпечатана вторая книга поэта «Героический рейд».

В 1960 году издательство «Иностранная литература» выпустило в переводе на русский язык книгу стихов Петроса Антеоса «Улыбка Греции».

чается в том, что вы оказались вдали от Родины, на чужой, но дружественной земле, а мы оказались пленниками на родной, залитой кровью земле, которая стала вдруг чужой и враждебной.

Мы с Кимоном были приговорены к смертной казни. «Несущие в себе смерть»,— писали мы друг другу, стараясь шутить.

«...Мы должны отыскать,— писал мне Кимон в одном письме,— кто виноват в том, что наш народ постигла такая участь, какую не заслужил даже его злейший враг!..»

В другом письме, спустя год, эта мысль достигла у него критического накала: «...В каждом случае кораблекрушения всегда много виновных. Прежде всего те, кто стоят у руля! Затем те, кто видел подводные рифы, но рассуждал, что у руля-де стоит не он, надеялся, что рулевые сами заметят опасность, ведь они же несут ответственность. Виновны и те, кто смог бы разглядеть подводные рифы и имел смелость вмешаться, но в это время сладко спал. Мне кажется, что мы принадлежали к третьей категории. Мы спали. И самое худшее, боюсь, и сейчас, после второго поражения, мы продолжаем почитать...»

Шло время... Иногда менялись правительства. Иногда новый закон дарил кому-нибудь жизнь. Некоторые «смертники» переводились в «пожизненные». Некоторые «пожизненные» после новых судов получали свободу и выходили из тюрем. Меня и еще нескольких женщин «по снисходительности» освободили.

Я нашла Ясона, который вышел несколькими месяцами раньше. Он страдал пороком сердца, и его выпустили как «неизлечимо больного». Я попросила Ясона помочь мне увидеть Кимона на Эгине. Мне показалось, что он согласился с неохотой. Но я решила, что он заботится обо мне, боится подвергнуть меня новой опасности. Подруги и Ясон помогли мне приобрести самые необходимые вещи. Мои родственники жили в провинции. Они так много претерпели за это время, что я не рискнула с ними увидиться, боясь навлечь на них новые беды.

Стояла весна, очень светлая весна, может быть потому, что была первой после стольких лет тюрьмы. Мне было двадцать шесть лет, я жила ожиданием встречи с Кимоном. Ветер Саронического залива, который мы пересекали, направляясь на Эгину, развеивал мои волосы. Я опять размечталась. Слово не было за плечами ужасных лет ожидания смерти, словно я не видела перед собой острова, где находился в оковах близкий мне человек.

Первой неожиданностью был отказ Ясона проводить меня до тюрьмы. Он сказал, что подождет в кафе на берегу. Когда же я попыталась уговорить его, услышала в ответ то, что на нашем языке, как ты знаешь, кладет конец любым разговорам: «Нельзя». Ну, раз нельзя, я решила отправиться одна, подумав, что так, пожалуй, даже лучше, мне удастся побыть с Кимоном несколько минут наедине. Ясон, словно угадав мои мысли, посмотрел на меня из-за толстых стекол очков на угловатом лице и добавил:

— Знаешь, Кимон очень изменился...

— Всех нас эти годы изменили немного, Ясон. И тебя...

— А тебя нисколько,— сказал он с какой-то неясной грустью, не глядя на меня.

— И все же, я думаю, в основе никто из нас троих не изменился,— продолжала я, ничего не понимая.

Ясон снял очки и стал протирать их шарфом.

— И все же Кимон изменился... Мне говорили товарищи, которые вышли оттуда. Изменился в другом... Как бы тебе объяснить?.. Может быть, в том, что ты называешь «основой»...

В это время загудел пароход. Мы подходили к пристани. Торопливая равнодушная толпа прижала нас к трапу, и наш разговор пре-

рвался. Когда же я ступила на остров, у меня осталась только одна мысль: скорее, как можно скорее бежать в тюрьму, к Кимону...

С отчаянием гонимых птиц мы бросились к двойной железной сетке. Наши дрожащие руки гладили разделявшую нас проволоку. Между нами огромное расстояние в пять сантиметров, которое невозможно преодолеть! Оставались только глаза. Глаза и голос. Но голос перехватывало, он трепетал и исчезал в хаосе голосов и рыданий, окружавшем нас со всех сторон. А рядом — надзиратели с огромными, волосатыми, грязными ушами, прильнувшими к обнаженным трепещущим сердцам.

Я с мольбой посмотрела на эту шумную толпу в черных платках, с красными глазами и поднятыми руками: «Дайте нам поговорить, ведь эти несколько минут и есть наша жизнь, оставьте нас!», но встретила в ответ такую же мольбу в других глазах. Итак, оставались только глаза. Боже мой, как Кимон похудел! Он всегда был худой, но сейчас осталась только тень от того Кимона, которого я знала. Ах, я не должна была пугаться, не должна! И может быть, все, что последовало за этим ничтожным мгновением, когда мой взгляд панически искал прежнего Кимона, такого привычного и дорогого, и находил, не в силах скрыть ужаса, только тень, было моей ошибкой? Но теперь я понимаю: это было лишь первой ошибкой. Почему я так растерялась и разразилась такими неудержимыми рыданиями? Куда я шла? На остров радости? Или в одну из самых страшных тюрем, к Кимону, который во время оккупации провел четыре года в подполье, а затем почти столько же в тюрьмах в ожидании смерти?

Может быть, чтобы отвлечь мое внимание, Кимон спросил меня об Ясоне. Он знал, что ты далеко, поэтому Ясон оставался самым близким нам человеком. Сквозь гул голосов до меня донесся его голос, и я схватилась за него, как за спасательный круг.

— С ним все в порядке! — крикнула я, захлебываясь рыданиями.

— Где он? — расслышала я.

— Здесь. Он провожал меня до острова. Ждет на берегу! — Я подумала, что Кимону не нужно было объяснять, он сам понял, что Ясону нельзя прийти в тюрьму. И вот тогда... я впервые увидела (именно тогда, а не после) самое страшное, что можно увидеть в глазах человека. В глазах Кимона что-то потонуло и угасло.

— Свидание окончено!

Нас развели силой.

Последовал, как всегда, внезапный перевод Кимона в тюрьму Идзедин на Крите, самую отдаленную и, как ты знаешь, самую скверную тюрьму. Добраться до нее было невозможно. Нужны были деньги и чья-то помощь. Несколько раз просила я Ясона связать меня с подпольной организацией, но встречала отказ. Он говорил, что передал обо мне «выше», что ждет ответа, а пока следует порвать со всеми старыми связями, потому что за мной, наверно, установлена слежка.

Но однажды, когда я доняла его своими недоуменными вопросами о позиции организации по отношению ко мне, Ясон проговорился, что «выше» не знают о его встречах со мной. Значит, он скрывал наши встречи как что-то опасное, запрещенное? Значит, он боялся сказать партии правду? Это было что-то непостижимое! Однако он боялся сказать правду и мне. Но какую правду? Что с нами произошло? Неужели мы дошли до того, что боимся друг друга? И если Ясону было нельзя встречаться со мной, то почему он не осмелился сказать мне об этом и прекратить все?..

Я порвала с ним все контакты и стала скитаться по знакомым из дома в дом. Но друзья, которые меня принимали, изо дня в день все таяли. Я перебивалась на хлебе и простокваше. Не с кем было пере-

молвиться словом. Кимону я писать перестала. Что я могла ему написать? Что меня изолировали? Разве можно было об этом писать?..

Шло время. И вот, спустя три месяца после перевода Кимона в Идзедин, я получила от него непонятное письмо. Чем дальше я его читала, тем больше запутывалась. Оно было написано тем мелким почерком, к которому привыкают все, кто долгое время работал в подполье.

Вначале «шифром», который постепенно устанавливается между ключенными и близкими, он сообщал мне о своей больной сестре — я поняла — о р г а н и з а ц и и. Писал мне, что слухи о ее болезни доходят до тюрьмы, но он, к сожалению, не может ей помочь, потому что вдали от нее и сам изолирован... К тому же, добавлял Кимон, он тоже больной. Правда, сейчас, пояснял он, ему лучше, хотя бы потому, что теперь он знает свою болезнь. Но друзья по тюрьме, решив, что болезнь инфекционная, считают опасным его общение с другими.

Этот разговор о болезни, учитывая, что Кимон болен туберкулезом, — а об этом, конечно, знали его преследователи, — был искусно зашифрован, и поэтому, если бы даже письмо попало в руки асфалии, из него ничего нельзя было выудить.

Пока все в этом письме, даже непонятная внезапная боязнь товарищей по тюрьме заразиться от Кимона, имело какую-то логику, и я как-то понимала. Но дальше шло совсем непонятное!

Кимон советовал мне выйти замуж! Серьезно, с приведением разумных доводов, которые изложил по пунктам, с любовью мужа к жене, которая проявлялась в каких-то словах, ускользнувших из-под контроля его неумолимой «математической» логики, он советовал мне, да что я говорю — советовал, — просил меня, свою жену, даже большее, свою единственную любовь, которую успел испытать в жизни, выйти замуж! И даже нашел мне жениха! Ясона! Он расхваливал его, доказывая, как теорему, что раз уж так сложились обстоятельства, то он лучший человек, на которого бы я смогла опереться в те тяжелые дни, не говоря уж о более тяжелых, что ждут впереди (он сам подчеркнул эти слова).

Боже мой, что я ему ответила! Было бы страшно и мучительно вызывать все это в памяти, но еще страшнее писать тебе об этом.

Потом, после случившегося, я поняла, что это была моя самая большая ошибка! Такое письмо не может послать женщина мужчине, которого любит. А может быть, именно потому, что любила, я и написала ему так? Ну, конечно, я помню. Все во мне кричало: «Любимый мой! Дорогой мой! Единственный!», а перо скрипело по бумаге, разбрызгивая горечь и желчь. Как тяжело сознавать теперь, что этим письмом я оборвала последнюю нить, которая там, в двойной изоляции — от врагов и от своих, — связывала его с жизнью.

Я отослала письмо и, недолго думая, побежала разыскивать Ясона. Только он мог мне объяснить, что, наконец, происходит, мог удержать от безумия. В записке, которую оставила на старой явке, я сообщила ему, что буду ждать его там три дня в определенное время. Он явился только на третий день, испуганный и встревоженный. Он очень спешил и сразу дал мне понять, что встреча — это безрассудство с моей стороны, которое может нам дорого обойтись. И тогда я поняла, что Ясон больше всего боялся не асфалии...

Я подала ему письмо. Он начал читать и сразу забыл и о своей осторожности, и о моем безрассудстве. Вытащив меня на улицу, Ясон остановил такси и сказал шоферу, чтобы он ехал к морю, в Фалиро. Всю дорогу он молча читал письмо Кимона. В Фалиро мы зашли в маленькую таверну. Я помню, перед нами, через застекленную дверь, открывался вид на разъяренный Саронический залив. Ясон посмотрел на

меня через очки покрасневшими глазами и резко закашлялся. Я видела, как его грудь вздымается в одышке.

— Ты поняла, наверно... Кимон изолирован от партии,— выдавил Ясон.— Еще на Эгине, когда мы ездили...

— Ты знал это еще тогда? И ничего не сказал мне?

— Я не мог тебе сказать об этом. Не потому, что нельзя. Не только потому.

— Значит...

— Я объясню. Теперь это можно. Это поможет тебе понять и письмо Кимона, и многое другое. Кимон знал об этом еще с октября 1944 года. И его брат Фидий тоже.

— О чем же, наконец, вы все знали, кроме меня? — жалобно простонала я, ничего не понимая.

— Так, ничего...— Ясон снял очки и стал протирать старым шелковым шарфом толстые помутневшие стекла.

Пока хозяин расставлял на столе стаканчики с узо, я вгляделась в угловатое лицо Ясона, словно постаревшее, в его близорукие глаза, без очков тусклые, как у рыбы, и подумала с грустью: «Неужели это тот самый Ясон из бюро студенческой молодежи? Тот самый бесстрашный юноша из Политехнического института, застрельщик демонстраций в годы оккупаций?..»

— Итак, Ясон, что же это за «ничего», о котором я не знала? — спросила я и почувствовала неловкость. Мне показалось, что мой голос, против моей воли, звучал иронически и жестоко.

— Ничего... Я любил тебя, Антигона...

Он наклонился, пытаюсь надеть очки. Внезапная волна жалости захлестнула меня. Я потянулась к нему и поцеловала его в лоб.

В Фалиро жила его сестра, вдова. Ее муж был партизаном и погиб. В тот же вечер Ясон отвел меня к ней.

Мы шагали по берегу моря, волны которого яростно бились о скалы. Ясон рассказал мне, что Кимон в изоляции за то, что «копал там, где нельзя». Даже будучи смертником, он оставался один, лишенный последних утешений, рукопожатий и приветствий товарищей по заключению. Ему привесли известные ярлыки: «Подозрительный», «Оппортунист», «Червяк».

Ясон, конечно, не верил ничему, что говорили о Кимоне. Он считал его «одной из самых ясных голов» в студенческом движении Сопротивления. Но Ясон боялся раскола организации в тяжелых условиях подполья, считал его величайшим злом для партии, даже большим, чем ошибки руководства, начинающие все яснее проявляться в бредовых лозунгах о якобы «революционном положении в стране», когда было невозможно найти даже убежища для подпольщика.

И наконец, Ясон доверил мне то, о чем нельзя было знать никому. Он сказал мне, что недавно во главе подпольной организации встал его друг и друг Кимона, некий М., из бывших кадров студенческой организации. Ясон верил, что теперь положение изменится. Этот политехник, который раньше высмеивал нас, филологов, за подобные штучки, теперь вдруг сам вспомнил и читал вслух стихи Паламаса:

...По лестнице зла,
до последней ступеньки дойдя,
Почувствуешь вдруг,
что крылья растут у тебя!
Огромные, прежние крылья растут,
Что опять высоко над Землей вознесут!..

Ах, бедный мой Ясон, разве есть на лестнице зла последняя ступенька?..

У сестры Ясона я постепенно успокоилась и пришла в себя. Я чувствовала себя почти виновной, видя, как изо дня в день тает Ясон. От

него остались кожа и кости. Приходил он всегда ночью, приняв все меры предосторожности, не только чтобы избежать слежки асфалии, но и боясь быть схваченным в доме сестры. Тогда бы его наказали еще и за нарушение конспирации, ты сам знаешь...

Ясон приносил мне материалы подпольной молодежной газеты для редактирования. Мы беседовали немного о положении, об арестах, которые в последнее время все учащались. Иногда обсуждали какой-нибудь из последних лозунгов партии, которые всегда так неожиданно и неподготовленно выбрасывала, увеличивая путаницу, подпольная радиостанция.

А потом Ясон проходил через кухню, брал сверток, который ему всегда готовила сестра, и исчезал в ночи. Никогда, ни одного раза он не оставался ночевать, что бы ни было: лил ли дождь как из ведра или ломались от ветра ветви деревьев во дворе.

Я была довольна, что нашла теплый человеческий угол после одиночества и преследований. Я была очень признательна Ясону, который дал мне возможность вновь что-то делать для нашей организации, для того, во что я верила. В доме его сестры я не чувствовала себя обузой. В этом мне помогла сама сестра Ясона. Она обеспечивала меня работой на дому: я обтягивала пуговицы для магазина, где она служила.

Как странно! Я дошла до того, что работаю нелегально для собственной нелегальной организации. «Двойное подполье». Чем-то похоже на «двойную изоляцию» Кимона. Вот и нашелся способ хоть в какой-то степени разделить его горькую участь, не переставая служить своей идее. Может быть, именно это и сохранило мне какие-то внутренние резервы, необходимые для жизни.

От Кимона не было никаких вестей, а Ясона я спрашивать избегала. Однажды вечером он радостно сказал, впервые смело и прямо посмотрев мне в глаза:

— Я говорил с новым секретарем М. об этом варварстве, о несправедливой изоляции Кимона в тюрьме. Он внимательно выслушал меня, попросил рассказать все, что я знаю об этом деле. Даже о тебе вспомнил. Спросил, почему не используем тебя в работе.

— И ты рассказал ему обо мне? — испугалась я (значит, и я начала пугаться, еще не уяснив, чего и кого, как когда-то боялся Ясон). Но при всем доверии, которое Ясон питал к М., он ничего не сказал ему обо мне. Я успокоилась.

Так прошло почти два месяца. Я настолько успокоилась, что смогла написать простое, дружеское письмо Кимону. О его письме я, конечно, не упоминала, потому что свое посылала почтой, а оно должно было пройти через цензуру. В письме я дала ему понять, что и меня тревожит здоровье его сестры и «диагноз врачей», что я делаю все возможное, чтобы он был «рядом с нами». Я была уверена, что он поймет значение слов «рядом с нами». Первое значение — о моих попытках прекратить изоляцию — он поймет обязательно. Что касается второго, что я жду его... может быть, поймет и это...

Неожиданно возобновились налеты асфалии. Начались облавы. Опять замелькали фотографии арестованных членов ЦК и нелегального аппарата. Опять запестрели в газетах огромные заголовки: «Новый большой успех асфалии!», «Ликвидация подпольной организации Компартии Греции!» Атмосфера страха резко сгустилась. И самым ужасным в этом положении была подозрительность, которая подогревалась самим руководством через радиостанцию, выступающую с нелепыми «разоблачениями». Все это парализовало нас изнутри. Иногда мы, работники подполья, чувствовали себя осажденными воинами, истекающими кровью, замечавшими вдруг за кольцом окружения своего командира, который вместе с врагами целится нам в лоб...

Ясон совсем замкнулся в себе. Приходил очень редко. Только за тем, чтобы взять материал и оставить новый. Казалось, все свое существование он связал с молодежной газетой. Несмотря на все невзгоды, она продолжала выходить. И это было одним из тех чудес, которые можно объяснить только волей борца, дошедшей до последнего предела.

В тот вечер он пришел такой истерзанный — всю ночь лил дождь, — что я вдруг поняла, как он проводил ночи. Я не знала, где именно, но только не в доме. Я не успела открыть рот и спросить его, он тут же, у двери, вытащил из ботинка и протянул мне последний номер нашей газеты.

— Читай, — сказал он.

Смутно чувствуя что-то ужасное, я, боясь упасть, опустилась перед диванчиком на колени и развернула на нем свежий номер нашей газеты, еще пахнувший типографской краской. Мои глаза бегали по мелким заголовкам. На первой странице — ничего особенного. На второй — тоже. И вдруг... в последнем заголовке справа, внизу, буквы начали прыгать, словно хотели убежать с листа. Собрав все силы, я заставила себя вчитаться в прыгающие строчки: «...Разоблачаем шпика асфалии, продажного провокатора Никоса Карписа по кличке «Очкарик» или «Ясон»!..» и дальше: «...Доводим до сведения всех товарищей, что мы, изучив удары асфалии по нелегальной организации, а также подозрительную деятельность за последние три года выпускника Политехнического института Никоса Карписа, бывшего «смертника», которого асфалия выпустила на свободу, и особенно его последние выступления против руководства, обнаружили: Карпис, он же «Очкарик», он же «Ясон», состоит на службе асфалии в качестве шпика, продажного провокатора! Поэтому призываем всех...»

Подняв глаза от газеты, я увидела только дверь, открытую в ночь. Ясона не было. Он ушел.

Я бросилась на улицу с единственной мыслью найти его, но передо мной была только ночь, враждебное рычание моря и вой ветра. Не знаю почему, я побежала в сторону, противоположную кафе, туда, где светились редкие огни и была о скалы волна. На повороте какая-то машина резко осветила берег. И я увидела его! С отчаянием обреченного Ясон шагал к морю. Догнав его, когда он, словно в полусне, уже зашел в воду, я повисла у него на шее и вытащила на берег...

Час или больше мы молча шли в сторону Эллинико. У скал, которые образовывали закрытый уголок, защищенный от ветра и волн, он остановился и потянул меня за руку. Пригнувшись чуть не до земли, мы вошли в сухую темную нору вроде морской пещеры, заваленную сухой травой и водорослями. Пахло мятой, морем и теплым человеческим жильем. До меня донеслось вначале сухое знакомое покашливание сердечника, потом голос:

— Вот здесь, в скалах, целую неделю ютился «шпик»!

Не видя лица Ясона, не слыша из-за рокота волн даже его дыхания, я почувствовала, что он плачет.

Опустившись рядом с ним в темноте, я протянула руку, желая коснуться его лба, как поступают с больными. Мои пальцы нащупали жесткую небритую щеку, худое лицо, оправу очков. Моя рука намокла. Я не отняла ее. Поспешно, словно, стыдясь, Ясон начал говорить:

— Значит, и до меня дошла очередь. Хотя я боялся этого больше всего, признаюсь, а все же стал «копать там, где нельзя». Мне хотелось узнать, что же скрывается за нелепыми лозунгами и клеветой на честных товарищей? Я, кажется, говорил тебе, что рассказал М. о Кимоне. Он слушал с интересом. При следующей встрече мы вновь разговорились, и я открыл ему свои мысли, приводя самые убедительные аргументы, я говорил о нашей политике, которая отчуждает нас от масс.

М. ободрял меня. Что смело, мол, критикую, что он сам тоже терзается сомнениями, но не знает, как действовать, кому довериться. Вот тут-то я уже вторично рассказал ему о Кимоне. Он вновь ободрил меня. Тогда я открыл ему не только мысли, но и сердце. Что происходит в тюрьмах? Как можно товарища, приговоренного к смерти, изолировать от друзей, лишить их приветствия? Его ведут на казнь, и никто ему не скажет даже «прощай». За что? За то, что высказал свою мысль? За самое высокое, что отличает человека? И кому высказал? Своим товарищам, самым близким нам в мире людям!

— Продолжай, продолжай,— подстрекал меня М.— Ты, я вижу, вник в это дело серьезно. Далекое зашел. Это почти готовая платформа...

Потом спросил меня, как я расцениваю последние успехи асфалии. Я сразу сказал ему, что никогда не верил в «гений» асфалии. Но если она попадает в цель, если она кричит о своих успехах, значит — что-то гниет у нас наверху...

— Когда вы беседовали об этом, Ясон? — перебила я его.

— Перед выпуском последнего номера.

— Но материалы номера готовил ты, я видела!.. Ведь там не было этого... этой клеветы.

Последовало молчание, которое заглушило даже шум волн. Затем я услышала его хриплый голос.

— Это самое невероятное, самое невыносимое! Он потребовал у меня материалы номера и сказал, что попытается отпечатать нашу газету в партийной типографии. Я обрадовался, что на этот раз газета выйдет не на ротаторе. Он назначил мне следующее свидание. Но не пришел на него ни сам, ни связной. Я испугался, не схватила ли асфалия и его, мою последнюю надежду. И вот здесь, в этой норе,— больше было негде — я бодрствовал всю вчерашнюю ночь до самого рассвета, пока не увидел из газет, что ничего не случилось. Весь день я провел в такой же тревоге, пока вышли вечерние газеты. Ничего. Я пошел на явку. Там должна была находиться пачка отпечатанных газет. Но там нашел не пачку, а только одну газету, которую мне прислал сам М. Вот эту.

Значит, убивает, вернее, убил своего товарища, друга, зная, что он невиновен!..

Я гладила его холодный лоб, его замерзшие лицо и руки. Пойми меня, постарайся понять. Передо мной был человек, товарищ, друг, который сделал для меня все, что мог. Привел в дом своей сестры, а сам, чтобы не навлечь на меня опасность, ночевал в скалах. И это существо, самое дорогое для меня в ту минуту, было невероятно несчастным.

Я умоляю тебя, Нондас, понять меня! Я не могла уйти и оставить его в этом страшном холоде одиночества. Может быть, никогда еще не нуждался так человек в человеке, чтобы удержаться в жизни, как Ясон нуждался во мне.

На рассвете мы расстались и разошлись в разные стороны. К его сестре я пойти не могла, потому что Ясона, наверно, уже искали, ведь его имя было напечатано в газете. Он обещал мне попытаться уехать на остров, где родился. В Афинах ему нельзя было оставаться, потому что схватили бы немедленно. Но он опоздал. В порту его взяли. В тот же вечер. Вместо ордера на арест Ангелусис из асфалии держал в руках номер нашей подпольной газеты с «разоблачением» Ясона.

Три недели велось «расследование» — ты знаешь, что это значит. Когда же поняли, что ничего от него не добьются, то без всякого риска — кто мог их осудить за плохое обращение со «шпиком», с «продажным провокатором»? — прикончили его там, в подвалах асфалии.

Когда я начала тебе писать, то боялась, что самым трудным для меня будет говорить о Кимоне, обо всем, что случилось. Но сейчас, когда, сама не заметив, я столько рассказала тебе об Ясоне, не скрою, чувствую, будто гора с плеч свалилась. Даже врач, который осматривал меня утром, впервые смог улыбнуться. Видно, подумал, что появилась какая-то надежда. Это его дело. Я же сейчас, когда чувствую себя немного лучше, думаю лишь об одном — надо дописать.

Не буду описывать тебе того, еще более горького времени, которое наступило после гибели Ясона. Я вернулась к его сестре, и чувство, что я, полуразвалина, являюсь для нее все-таки какой-то опорой, придавало мне силы. Я чувствовала, что вся любовь этой одинокой, убитой горем женщины сосредоточилась на мне. Но я снова отвлекаюсь...

Медленно текли дни в разговорах об Ясоне, о жизни которого я узнавала от его сестры во всех подробностях, в налетах асфалии, которые все учащались, и, самое главное, в «разоблачениях» новых «шпикиков» и «provokаторов», которые пекла нелегальная радиостанция, пока ее не заставили замолчать два потрясающих события — XX съезд КПСС и VI пленум Коммунистической партии Греции.

Помню, когда я услышала вечером по радио решения VI Пленума нашей партии, то впервые увидела во сне Ясона и Кимона вместе. Они оба тянули за ручки огромные клещи, которые сжимали мне виски. Проснувшись, я потрогала их, словно хотела убедиться, что там нет стальных клещей... В период между XX съездом и VI Пленумом, впервые после того письма, я получила от Кимона короткую записку, написанную тем же мелким почерком. Он сообщал мне, что его сестре поставили правильный «диагноз» и она постепенно встанет на ноги. Но ей именно сейчас от всех друзей, и от меня лично, требуется помощь... От меня? Но что я одна могла сделать? В конце он сообщал о своей болезни. Он подчеркнул, что имеет в виду туберкулез, а не что-то другое. Писал, что его здоровье в последнее время резко ухудшилось. Зная Кимона, я поняла, что раз уж он сам пишет об этом, значит его дела очень плохи. Но я поняла также, что цель его письма не просто сообщить о своем здоровье. Он знал, что сейчас, как никогда, требуется его присутствие в Афинах, его помощь организации в этом трудном повороте. Значит, он намекал, чтобы я приложила все усилия и помогла освободить его как «безнадежно больного». В тот же день я обегала всех его старых друзей и знакомых, надеясь найти поддержку. Но VI Пленум тогда еще не состоялся, и я встретила тот же страх, тем более что речь шла об «изолированном» Кимоне!

Однажды вечером я, усталая, возвращалась в Фалиро, чувствуя, как во мне испаряется надежда, которую родил XX съезд. Дома меня ждал незнакомец. Открыв дверь, я почти с облегчением посмотрела на него. Наконец и до меня дошла очередь! Лучше уж в тюрьме с товарищами, чем никому не нужная на свободе!

— Я пришел от Кимона,— услышала я вдруг тихий голос.— Не тревожьтесь, сядьте... Кимон бежал! Он свободен и надежно укрыт. Мы начинаем работу по возрождению нашей организации. Вы слышали о VI Пленуме? С этого начнем и мы...

Я не буду описывать тебе свою встречу с Кимоном, а также нечеловеческие усилия, которые понадобились, чтобы создать элементарнейший аппарат, чтобы довести до каждого члена партии новую линию, чтобы уберечь организацию от раскола, чтобы все работники, все члены партии, даже в самых отдаленных тюрьмах страны, прониклись новыми

принципами, вернее, не новыми, а первоначальными, учредительными принципами нашего движения.

Логика борьбы вновь поставила меня рядом с Кимоном. Он взял на себя организацию новой подпольной типографии. Взял на себя все — устройство помещения, сборку прессы, вплоть до подготовки наборных касс, обеспечения бумагой и набора гранок.

Кимон нашел подходящий домик около цементного завода, где жила чета старичков. Нескончаемый грохот дробилок помогал нам и скрывал все шумы в подвале. Во всей этой опасной работе только мне разрешалось помогать ему. Никто другой ничего не должен был знать о ней. Когда нам стало очень трудно, Кимон хотел было взять помощником вашего младшего брата Виктора, который жил в Афинах и работал в типографии. Но товарищи не разрешили. Трое родственников — это слишком много. Все в этом деле должно быть тысячу раз взвешено и продумано до мельчайшей подробности: и каждый удар киркой, и время ухода и прихода связного, и разговоры. Особенно разговоры...

В напряженные дни работы, даже в короткие перерывы, Кимон избегал говорить о том, что было с ним со дня ареста и до побега. Он вообще избегал всяких разговоров, не имеющих прямого отношения к организации и, в частности, к подпольной типографии. Сейчас я понимаю, что, кроме всего, это был точный математический расчет сил. Одно его легкое после девяти лет тюрьмы, где он и заболел туберкулезом, вышло из строя. Другое было тоже поражено. Затронуты и почки. Я уж не говорю о сердце и нервах. Больше всего меня беспокоила одышка, мешавшая ему говорить. Но самое поразительное было то, что, несмотря на катастрофическое развитие болезни, Кимон не производил на меня того страшного впечатления, как при нашей первой встрече на Эгине.

Его черные густые волосы засеребрились на висках, отступили назад, обнажая лоб, который стал широким, как горное плато. Глаза еще больше ввалились, но лицо и тело немного пополнели. Эта обманная полнота и белизна туберкулезных узников — от заточения и неподвижности.

Кимон очень изменился. Но все же странно, что теперь, спустя двенадцать лет, он был более похож на прежнего Кимона, чем тогда, на Эгине. В его глубоких глазах и во всем облике светилась прежняя уверенность, которую дает человеку только внутреннее равновесие.

С большим трудом мы установили маленький пресс в яму, выкопанную в подвале, чтобы заглушить шум во время печатания. Все было готово. Еще достать шрифт — и можно набирать газету.

До Первого мая оставалась неделя, когда по расчетам Кимона мы должны были отпечатать и распространить первый номер. Сколько вопросов должен был разъяснить этот номер нашим товарищам и на свободе, и в тюрьмах, и в ссылке!.. Ты, конечно, учишь ту обстановку, которую создало старое руководство нашей организации, ту путаницу, которая царил в первое время после VI Пленума, ту внутрипартийную борьбу, которая каждую минуту грозила все смести.

При нашей встрече во вторник я заметила, что состояние Кимона резко ухудшилось. На каждом слове одышка, которую при всем старании ему не удавалось скрыть, внезапная бледность и еще большие провалы у глаз.

Когда же я в тревоге предложила ему временно прервать работу и отдохнуть, Кимон беспокойно и виновато посмотрел на меня и указал на вторую, еще более глубокую яму, которую он выкопал для нового прессы.

— Ничего, — отрывисто сказал он, пытаясь улыбнуться. — Просто немного устал. Но позже рыть нельзя. Только сейчас, пока типография еще не начала работать.

— Мне нужно поговорить с тобой, Кимон,— прервала я его с такой решимостью, что он встревожился.— Это тоже в конце концов работа. И ее тоже надо кончить, прежде чем типография начнет работать.

— Может, потом, когда наладим работу?— в его словах была мольба, но я ничего не хотела понимать.

— Я хочу поговорить с тобой об Ясоне,— сказала я поспешно и сухо, словно боясь, что не смогу окончить фразу.

— Об Ясоне я все знаю. Мы не ошиблись в нем.

— Ты знаешь не все, Кимон,— упрямо настаивала я, уставившись в яму.

— В первом же номере мы сообщим о его реабилитации,— продолжал Кимон с какой-то нескрываемой нежностью, словно не слыша или не желая меня слышать.

— А о моей реабилитации?— Мой голос прозвучал хрипло. Его глаза с той же мольбой смотрели на меня. Я должна была замолчать, но не могла. Слова, столько времени удерживаемые, вылетали, и не было никаких сил остановить этот поток.— Я не требую и никогда не потребую, Кимон, своей реабилитации. Но я думала, что тебя заинтересует наш случай. С первой минуты, как мы встретились, я ищу возможности поговорить с тобой. И о твоём письме и... о том, что последовало.

Сквозь сухой, почти беззвучный кашель, который он пытался спрятать в платок, я услышала его глухой неузнаваемый голос.

— Прости меня... Я не могу сейчас, Антигона.— Он взглянул на часы.— К тому же ты еще десять минут назад должна была уйти. Но раз ты спешишь... Два слова. Я не понимаю, о какой «реабилитации» ты говоришь? Что касается моего письма, то я обязан тебе объяснить. И объясню. Но только не сейчас.— Он впервые бросил на меня взгляд, который напомнил что-то прежнее, и поднес платок ко рту.

Я бросилась на колени у края ямы, где он сидел, схватила его голову— она вся горела— и стала с рыданиями целовать. Его волосы, как и тогда, в первый наш вечер, сильно пахли типографской краской, сыростью и свежей землей. Где-то очень далеко, очень глубоко, за ввалившимися глазами, вставал рассвет, как тогда, на Ликавитосе.

На другой день вместе с типографским шрифтом я принесла ему несколько крупных апельсинов, которые, я знала, он любил, свежее масло, мед и последние новости партийной радиостанции «Голос правды», которая вновь обрела свой голос, «единственный голос, который может иметь партия», как сказал Кимон, выслушав новости.

Его изнуренный вид на этот раз так потряс меня, что я пошла к нему и на следующий день. Он не ждал меня и встревожился, не случилось ли чего. Когда же я объяснила ему, что все в порядке, что просто, беспokoясь о его здоровье, пришла узнать, как он себя чувствует, не нужно ли чего, он не мог скрыть радостного блеска в глазах. Но тут же нахмурился и, говоря тихо и убедительно, заставил меня пообещать, что я больше не нарушу конспирации и приду только в условленный день, чтобы забрать готовый первомайский номер газеты и отнести его на явку.

Я все время хотела, но так и не решилась предложить ему передохнуть. Я знала, что это напрасно. Оставался один выход— предупредить организацию. Но свидание со связным назначено на субботу, когда я должна принести газету. Сама пойти на явку я не имела права. Дом, где находилась подпольная типография, надо было сохранить во что бы то ни стало!

Старички, которые жили в доме, работали на цементном заводе: он рабочим, она уборщицей. Оба их сына погибли. Один во время оккупации— он сражался в рядах Народно-освободительной армии, другой, друг Кимона, позже.

У нас с Кимоном была договоренность: пока старики на работе, я не прихожу и не ухожу, потому что соседи и ребяташки, целыми днями играющие перед домом, сразу бы заметили. Условились, что я буду приходить и забирать готовые номера только два раза в неделю, в часы, когда это не вызовет подозрения. Что касается Кимона, то он с величайшей осторожностью, как призрак, мог днем подняться в закрытый дом и перекусить немного. По ночам он не выходил из подвала. Мы были достаточно научены оккупацией и асфалией. И эту типографию, которую только что наладили, «надо было хранить как зеницу ока, по крайней мере до тех пор, пока необходимый внутривластный материал дойдет до товарищей. Хотя бы два-три месяца!»

Позже я поняла, что Кимон исходил еще и из своего состояния здоровья. Но он переоценил свои силы. А может, думал, что до последней минуты сможет регулировать свою жизнь, как часы, в соответствии с потребностями организации...

Два следующих дня были, можно сказать, самыми тяжелыми в моей жизни. Я провела их в тревоге за Кимона, в неясных предчувствиях. Мне хотелось побежать туда среди бела дня, выломать двери и вытащить его к свету, к жизни.

Тяжелые дни... Хотя что я говорю? Эти два дня были последними днями, когда я чувствовала себя живым человеком. С тревогами, страхом, надеждами, но все же живым человеком.

А потом наступила ночь. Ночь в моей жизни, которая тянется до сих пор.

Разреши мне маленькую паузу, чтобы я могла закрыть глаза и пережить заново все, что было в ту ночь. Это поможет мне собраться с силами и досказать до конца.

В пятницу вечером я до назначенного часа пришла к домику в рабочем квартале. Мне все время казалось, что я опоздала, что его окружает опасность, а я задерживаюсь. Бросив взгляд на окно, выходящее на улицу, я убедилась, что оба горшка с базиликой стоят на месте — условный знак наш и стариков, — значит, все в порядке.

Я облегченно вздохнула и бросилась в дом. Заперев за собой дверь, которую старики в это время оставляли для меня открытой, я осторожно переставила на полу кухонную утварь и корыто, открыла люк и спрыгнула в подвал. Он тускло освещался почерневшей лампой. В нос тотчас ударил тяжелый запах керосина и краски. Кимон сидел, положив голову на стол. Наверно, устал от работы.

— Кимон! — окликнула я его. — Кимон, я пришла!..

Он не отозвался. Значит, спит, подумала я. Кончил печатать — кипа газет лежала рядом с прессом — и уснул. Подойдя к нему, я легонько толкнула его в спину. Как крепко спит! Я погладила его затылок. В конце концов я имела на это право, ведь что бы ни случилось, передо мной был Кимон, а не кто-то другой! Но вот моя рука коснулась его лба, и меня пронизала дрожь, словно я дотронулась до наэлектризованного металла. Его лоб был ледяной. Пальцы, державшие карандаш, окостенели. Перед ним на столе — несколько листов бумаги, исписанных впервые не тем знакомым мелким почерком, а крупным, угловатым... И только тогда я с абсолютной ясностью поняла, что случилось невероятное и непоправимое. Кимон был мертв.

III

Переписываю тебе его письмо. Подлинник послать не могу. Ты понимаешь... Если же... то и письмо, и все наше — мое и Кимона — несколько документов и старых фотографий дней освобождения — тебе перешлют, я договорилась. И так...

«Т Е Б Е...

Собери все свои силы, вернее, собери всю свою любовь и исполни хладнокровно и точно то, о чем я тебе пишу. Положи мое тело в яму, которую я выкопал для второго пресса. Накрой меня несколькими номерами газеты и тщательно засыпь землей. Постарайся понять, меня нельзя вытаскивать отсюда. Другим сюда приходиться нельзя. Даже нашим старикам. Ты сама должна все сделать. Ты это сможешь. Главное теперь для нас, вернее, для тебя — это сберечь типографию. Когда все сделаешь, возвращайся к столу и дочитай мое письмо. Прости, что я диктую каждый твой шаг. Но я представляю себе твое положение и понимаю, что самым трудным для тебя будет думать об этих необходимых вещах. А сейчас мужайся! Вставай и делай так, как я написал!»

(Я переписываю слово за словом и чувствую, будто моя рука касается его холодного лба... Но продолжаю его письмо. Ты, конечно, понимаешь, что было невозможно сделать так, как он писал. Не хватило сил прервать чтение. Продолжаю).

«...Хочу еще раз повторить, что сейчас, когда, с одной стороны, XX съезд и VI Пленум придают смысл всей нашей жизни и борьбе, а с другой стороны — нас преследуют боги и демоны, мы не имеем права сами заглушать голос партии! Наступит мрак.

Когда похоронишь меня, если не сможешь сдержаться, поплачь. Обо мне, о себе, о наших погибших товарищах. Затем повернись к яме спиной, положи в сумку газеты — это самая лучшая из всех, какие я выпускал! — поднимайся наверх, тщательно заложи люк. Старикам скажи, что я почувствовал себя плохо и незадолго перед их приходом ушел через запасной выход во дворе, — они знают. Потом умойся, причешишь (сколько лет я не видел, как ты причесываешься), чтобы никто ничего не заметил. На улице будь осторожна. На этот раз на всякий случай измени маршрут. Стисни зубы и сделай лицо каменным, чтобы никто из прохожих ничего не прочитал на нем. Связному передай для руководства записку, в которой сообщи товарищам, что первомайский номер вышел вовремя и распространен по явкам, а я верю, что ты обязательно распространишь его.

Единственное изменение в материале — это маленькое сообщение о реабилитации Ясона. Его написал я сам и уместил в первом номере, как обещал тебе. Сообщи также в двух словах, что товарищ К. окончил свою работу и остался на месте. Только продолжать уже не сможет. Скажи им, что на свое место я предлагаю брата Виктора. Ему уже восемнадцать лет, и он, выполняя мое желание, как ты знаешь, изучил типографское дело. А тебя пусть сменят. Пусть назначат другого связного. Это моя единственная и последняя просьба. Брату, естественно, не нужно говорить, что я остался здесь. Скажите ему, что я получил задание партии и уехал далеко, а его просил заменить меня.

Обо всем, что касалось работы, я написал. Теперь несколько слов о нас...

Прежде всего о том письме из тюрьмы. Я написал его в один из таких же приступов. И посоветовал тебе насчет Ясона. Если можешь, прости меня. Но ты была так молода, так красива, когда пришла ко мне на Эгину. Я ошибся? Наверно. Я наказан. Прости меня, если можешь!.. Теперь о моей болезни, о том, почему все так вышло.

Неделю назад, когда я закончил сборку маленького пресса и выкопал яму для большого, внезапно почувствовал знакомые симптомы приступа. Только на этот раз на меня обрушилось все сразу — и температура, и кровохарканье, и одышка... Все же я надеялся, что если продержусь до выхода номера, то и на этот раз смогу выкарабкаться. Ты же знаешь, что мы, греческие коммунисты, уже давно расправились с туберкулезом. Очень редко теперь он кого-то из нас сваливает.

Меня очень тревожило, что ты участила свои посещения, хотя это было единственным дыханием жизни, доходящим до меня. Я понимал, что ты выискивала повод, чтобы приходить чаще. Но это было нарушением конспирации и грозило величайшей опасностью. Апельсины, масло, мед... Я понимаю, какой жертвой это было в твоём положении, в положении всей организации. В твоих глазах я читал тревогу. Благодарю тебя! Хочу также попросить тебя передать мою благодарность товарищам, которые после всего, что со мной произошло, оказали мне такое доверие. Дали мне эту последнюю несказанную радость — выпустить наш первый номер! Нашу газету, материалом которой, до последней точки, служили наши мысли, наша совесть. В простых и искренних словах резолюций была правда, из-за которой мы больше всего терзались и в тюрьмах, и на свободе, которую обрекли на гибель те, кто искалечил самое прекрасное народное движение!

Прости меня. Сказал, что напишу несколько слов о нас, а сам опять начал о партии. Но разве это от нас отделимо? Еще одна просьба. Напиши моему старшему брату Н., позже, когда наши дела немного наладятся, и в случае, если будешь уверена, что письмо дойдет до него. Напиши обо всем. Обо мне, о себе, о нас. Ты знаешь, кем был для меня Н. Думаю, что оправдал его надежды. Напиши ему и о нашем младшем. Я старался, как мог, повлиять на него даже из тюрьмы. Ему было всего восемь лет, когда я начал писать ему, стремясь повернуть его на наш путь. Если Виктор согласится работать здесь — а я в этом уверен, — можешь написать старшему, что он может быть за него спокоен...

Как бы я хотел, чтобы моя история, которая кончается здесь, в глубине наших Афин, могла помочь нашим братьям подняться к самому чистому свету, как тот, на Ликавитосе!

Любимая. Хочу успеть что-то еще... самое главное... для меня и для тебя... Тебе, даже имени которой нельзя написать, хотя оно все время на кончике пера. Родная, твое имя... На этом конч...»

На этом кончалось письмо Кимона. И началось мое последнее, самое трудное испытание...

Дочитав до конца, я встала, как во сне, подняла его на руки — откуда взялись силы? — и мягко опустила в готовую могилу. Потом легла рядом с ним. Положила его голову себе на грудь. Волосы Кимона были живые, теплые, пахли типографской краской... Так, без движения и слез, я лежала с ним. Сколько времени? Не знаю. Так же, как не знаю, была ли я совершенно несчастна, совершенно счастлива или безумна. Помню только, что меня тянуло остаться там. Помню черную пронизывающую тишину. У меня даже не мелькнуло мысли, что я еще жива, что надо вставать. Потом, кажется, угас тусклый огонек лампы. Наступил мрак.

Я закрыла глаза. Тишина. Абсолютная, черная тишина. Ни боли, ни мысли. Ничего.

Не знаю, сколько прошло времени. Только вдруг я открыла глаза. Словно до меня донесся какой-то гул. Глухой подземный гул. Может, река меняет свое русло?.. Нет. Это — цементный завод. Значит, на дробилки заступила утренняя смена? Первая мысль. У края ямы какой-то отсвет во мраке. Газета! Отпечатанная Кимоном! Вторая ясная мысль. А затем целый шумный рой в голове. Почему? За что? Почему я здесь, под землей? Что там, над нами, над густой и сырой темнотой?

Бедная улочка. На углу — цементный завод. Рабочий поселок... Люди просыпаются, не успев домечтать во сне, встают из-за стола, не успев насытиться, и на рассвете выходят на улочку, которая быстро заполняется народом. Куда идут люди? Более удачливые — на работу. Другие — на ее поиски.

Мой взгляд опять остановился на кипе газет. Шум дробилок уси-

лился. Наверно, старики ушли на работу, полные тревоги. Решили, что по какой-то причине мы оба вышли ночью через запасной выход.

Меня захлестнула горькая волна угрызений совести. Перед глазами замелькали кричащие заголовки желтой печати: «Новый большой успех асфалии!», «Ликвидация подпольной типографии коммунистов!» И фотографии небритых, разъяренных, измученных лиц для устрашения обывателей... «Труп в нелегальной типографии КПГ!», «Новое преступление коммунистов!»...

Я вскочила, обливаясь холодным потом. С огромным усилием вылезла из ямы и, потянувшись к кипе свежееотпечатанных газет, которые белели в темноте, упала на них, как падает на берегу тонувший моряк. От газет сильно пахло краской, как от волос Кимона...

Меня неудержимо тянуло к Кимону. Но нет, нельзя! Газеты светились в темноте. «Мы не имеем права... Наступит мрак». Жизнь возвращалась ко мне. Опершись на стол, я приподнялась, нащупала спички и зажгла лампу. Его письмо!..

Да, он совершенно иначе смотрел на вещи в обоих письмах. Но зачем требовать от такого слабого существа действий четких и направленных, как математическое уравнение? Хотя что я говорю? Ведь не Кимон, а необходимость, стоящая над ним и надо мной, требует от меня таких действий! Только она! Значит, Кимон даже в самые критические минуты выражал эту суровую и неумолимую логику борьбы? Может, непобедимая моральная сила Кимона и раньше, и в тот час, и особенно теперь — а для меня всегда — заключалась именно в том, что он, воплотив в себе эту беспощадную необходимость, никогда, до последнего вздоха, не терял свою человечность? Может, именно в этом наша трудная и часто недоступная для других человечность?

Мне не понадобилось перечитывать письмо. Я видела, вернее, слышала его последние слова одно за другим до самого конца. Когда же дошла до слов: «...Тебе, даже имени которой нельзя написать...», я не выдержала, упала на стол и залилась слезами...

Я почувствовала, что это был мой второй шаг к жизни. После этого я встала ясная, словно омытая изнутри, сдержанная, полная готовности выполнить все его наказания.

Взяв сверху из кипы несколько номеров, последних номеров, которые он отпечатал, пока был жив, я направилась к яме, держа газеты перед собой, чтобы не видеть его. Развернув листы, я накрыла его с головы до поношенных, дырявых ботинок... «Надо купить тебе туфли, Кимон», — говорила я. «Зачем? Что я в них буду здесь делать?.. Дойду до конца и в дырявых ботинках...»

Значит, ты имел в виду этот конец? Или победный? Какая победа? До нее еще так далеко!.. Но разве этот конец не был победой?

...Когда земля скрыла его, я почувствовала, что мои пальцы и ногти замерзли. Значит, прошло уже много времени. Я опомнилась и стала в панической поспешности засыпать яму. Земля поднималась, яма исчезала. Долго и тихонько потом прибывала я землю ладонями, смутно припоминая какие-то детские игры в песке...

Когда поверхность почти сравнялась с остальным полом, я вытащила из сумки три крупных апельсина, которые ему принесла... «Когда придешь за газетами, принеси мне два-три апельсина, больше ничего...»

Склонившись, я положила их на свежую землю... Потом встала и сложила газеты в сумку. Его письмо я спрятала на груди. Поднявшись в дом, я тщательно заложила люк, умылась, причесалась, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и вышла на улицу. Утреннее весеннее солнце тотчас залило меня, вскружив голову. Я почувствовала, что шагаю. Осторожно ступая, словно шла по палубе корабля, я сделала несколько шагов до угла цементного завода. Потом свернула в соседний

переулок. На мгновение мне показалось, что улочка превратилась в шумную, солнечную реку, которая ослепила меня и закружила в своем водовороте... Ноги подкосились, и я упала на ступеньку дома, судорожно прижимая к себе сумку.

Очнувшись, я увидела над собой изборожденное морщинами лицо. Человек вглядывался в меня, стараясь понять, что случилось. Лицо было не злое. Я приходила в себя. С тревогой осмотрела низенькую каморку. У железной кровати я увидела свою сумку, закрытую и раздутую, и с облегчением вздохнула.

— Устала, дочка?.. Наверно, издалека?..

Наши взгляды — мой и старика — скрестились на сумке. «Ах, дедушка, если бы ты знал, как издалека!» Но я не раскрыла рта. Попыталась встать, но старик протянул свою короткую, почерневшую, как полено, мозолистую руку.

— Сначала съешь немного супчика, приди в себя, а там как знаешь...

Из кухоньки рядом с комнатухой вышла щупленькая старушка. За паром от миски с супом — что-то вроде улыбки. Сама терпеливость. Я проглотила несколько ложек, не отрывая глаз от сумки, потом встала, взяла ее — она была тяжелая, значит, газеты на месте — и пошла к двери, благодаря старичков.

— В добрый час, дочка. Прости нас... Когда ты упала, наш младший сын с соседом шли на цементный завод. Подняли тебя. Не послушали меня. Открыли твою сумку, увидели, что там лежит, но ничего не тронули. Только взяли две газеты. Я ругал их, а они спрятали газеты за пазуху и пошли на завод. Говорят, ты простишь их, потому что эта газета для них... В добрый путь, дочка. Сын говорит, если случится быть в этих местах, то зайди, познакомься с ними.

Я вышла. Солнце уже поднялось над Акрополем. Деревца, свежeweмытые ночной росой, шелестели над моей головой. Со дворов пахло базиликой, и долго, словно тепло солнца, я чувствовала спиной их взгляд.

Но я опять отвлекаюсь. И так, не буду останавливаться на том, что последовало. К тому же, мне кажется, я почти выполнила его последнюю просьбу: написала тебе, как все произошло. Но все-таки оборвать на этом свое письмо не могу. Я должна, хотя бы кратко, довести свою историю до сегодняшнего дня, до тюремной больницы.

Наша подпольная типография просуществовала три месяца. Как и предполагал Кимон. Работать там стал Виктор, ваш младший брат. Кем он выдан — это другая история, которую описывать некогда. Виктора схватили, когда он печатал газеты. Как ты сам понимаешь, они обыскали и вскопали весь подвал. Нашли труп Кимона. Ты представляешь, что испытал Виктор, который ничего не знал и думал, что Кимон находится далеко, может быть, рядом с тобой... Начальник асфалии Каридзис первый допрос провел там, рядом со вскрытой могилой Кимона. Запугивая, шантажируя и пытаясь сломить Виктора, он провоцировал его, что-де он убил своего брата. Но Виктор хорошо держался и там, и в камерах пыток. Если бы Кимон был жив, он гордился бы братом. Через неделю схватили и меня. Больше всего мы боялись провокаций асфалии в связи со смертью Кимона. Нам удалось договориться с Виктором. Во время процесса в трибунале мы решили разоблачить методы асфалии, доказать смысл жертвы Кимона, направить острие против самих организаторов террора, истинных убийц Кимона и других борцов. Всю силу нервов мы мобилизовали для жестокой схватки с асфалией, с целым миром реакции. Но просчитались... Случилось то, чего никто из нас не мог предвидеть: ни обвинительный акт, ни свидетели обвинения — шпики и офицеры асфалии во главе с самим Каридзисом — ни словом не обмолвились о смерти Кимона.

Виктора приговорили к смерти, меня — к пожизненному заключению. Не скрою, после всего случившегося я была бы рада, если бы меня вместе с Виктором поставили к стенке. Я была уверена, что таким образом я до конца исполню свой долг перед Кимоном. Ни судьи, ни шпика, ни товарищи, присутствующие на суде, не ожидали, что я потребую от трибунала — либо и Виктора приговорить к пожизненному заключению, либо и меня расстрелять вместе с ним. Товарищи и сам Виктор осудили меня за это. Конечно, без оскорблений, не как раньше, а с пониманием. Но казни в то время, как ты знаешь, были приостановлены. Так что, думаю, ты вскоре получишь письмо и от Виктора...

Вот и добралась до конца. Даже могу порадовать тебя: чувствую себя лучше, чем раньше, когда мучилась мыслью об этом письме и никак не решалась написать его. Вот уже месяц, как я начала его. Опять приближается Первое мая и его канун — самые для меня трудные дни. Если до тех пор сумею отослать свое письмо, то думаю, что и в этом году смогу перешагнуть через бездну.

Если письмо дойдет до тебя, прошу, найди способ известить меня. Ты понимаешь, что будут значить для меня несколько твоих слов...

IV

— Антигона жива? — спросил я Нондаса, кончив читать письмо.

— Жива. И, кажется, идет на поправку.

— Что ты думаешь сделать с этими письмами?

— Используй их как можно лучше.

— Но... можно ли их публиковать?

Нондас опустил глаза. Его высокий лоб, такой же, судя по описанию Антигоны, как у Кимона, прорезала клинообразная складка. Потом, будто вновь решившись, он спокойно сказал:

— Ты думаешь, почему асфалия похоронила там, в подпольной типографии, вместе с братом и его историю?

— Какая же им выгода говорить о ней? Наоборот! Это история о жизни и о смерти наших товарищей...

— Вот именно это «наоборот» и привело меня к мысли передать тебе эти письма.

— Но они так интимны...

— А ты думаешь, что внутренний мир наших людей — их тревоги, падения и взлеты — мы имеем право скрывать за общими крикливыми фразами о героизме и самопожертвовании?

— Значит, та же неумолимая логика, что и у Кимона?

— Мне кажется, в главном он не ошибся. Так что используй. Только, конечно, измени имена. К тому же это самый верный способ сообщить Антигоне и о получении письма, и о моем мнении по поводу ее исповеди...

Перевел с греческого В. СТОЛИТИДИС



НОВЫЕ СТИХИ

• • •

Да обойдет нас стороной удача
В пути за золотобрезжающим руном.
Бия перстами в грудь себя
И плача,
Мы все же сокрушаемся о нем.

Поджарыми, как гончие, и злыми,
Переболев судьбу свою,
Опять
Над помыслами жадными своими
Мы будем зная риска водружать.

И будут открываться сто америк.
И разрываться тысячи аорт.
Выходят аргонавты землю мерить,
За дымкой оставляя отчий порт.

Земля горда, как девственница
В пору
Весеннего цветенья своего.
Вся суть ее — избраннику —

• • •

Тебя за мужество хвалить,
Будто у нищего долженствовать...
Мужчине —
Мужественным быть,
А женщина —
Пусть будет женственна.

Ах, как мне горько вдалеке
Скучать по твоему владычеству...
Клененок в куце пиджаке
В плечо мне, как теленок, тычется.

Смешной.
Наверно, и ему
О самом близком вспоминается...

Не вору, —
Вся жизнь ее и чудо для него.

А мы о чуде знаем понаслышке,
Курс пролагаем к чуду наугад.
И алчно и разбойнически слишком
В нас сокровенья зрелые горят.

И будут открываться сто америк
И, проходя их мимо,
Все равно
Мы будем, как маньяки, мудро
верить,

Что финиш наш —
Добытое руно.

Что без него
Жизнь ничего не значит:
И чудо в нем,
И правда жизни в нем...
Да обойдет нас стороной удача
В пути за золотобрезжающим руном.

Воображенью моему
Ты появляешься иная вся.

Не той колючкой на кусте,
Что в сердце до крови впивается,
Когда сбиваюсь в темноте,
Душа от бездорожья мается.

Такой тебя я позабыть
Клененку клятву дал торжественно.
Мужчине —
Мужественным быть,
А женщина —
Да будет женственна!

На убыль ночь пошла,
Зима на убыль,
Работают дороги на износ...
Сосулек солнце к полудню нарубит,
Как хвороста сухого,
Полный воз.

Начнут они взрываться под ногами
Осиновыми ветками в огне...
Мажорными какими чудесами
Их сочный треск аукнется во мне?

Характера все рвы и перевалы
Давно уже остались за спиной.
Дивишься,
Как ровесники бывалы,
Как мечены мы метою одной!

В наш детский мир входила
умудренность

С военным полунищенским пайком.
Да было ль детство?
Мы теперь влюбленно
В него порой играем под хмельком.

Какие расплавляющие звуки
Родит во мне сосулек вешний
звон?..

Я силою любви
И женской муки
Давно уже в отцы произведен.

И принимаю жизнь свою,
Как пахарь,
На ниве благоденствия с утра...
Весна.
Пора земле цветеньем пахнуть
И обновленьем радовать пора.

80 МИЛЛИОНОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Репортаж-интервью

На автозаводе имени Лихачева я не был несколько месяцев. И вот теперь, после сентябрьского Пленума ЦК, еду туда, чтобы встретиться с Александром Ивановичем Бужинским, заместителем директора по экономическим вопросам, и задать ему несколько этих самых вопросов. Непросто вырвать ему из тесного бюджета времени два-три часа. Еще труднее рассказать, что означает экономическая реформа применительно к самому крупному промышленному предприятию столицы.

Внешне завод не изменился. Тот же вытянутый чуть ли не на километр вдоль Автозаводской улицы корпус, лишь в одном месте разорванный «модерной» стеклянной Второй проходной с бюстом Лихачева перед входом; тот же бульвар, прорезающий территорию из конца в конец, те же темные, серые, светлые громады цехов, скупое цедящие наружу кванты рабочего гула... Я попал сюда к концу смены. Десятки тысяч людей озабоченно веселым потоком растекались сквозь узкие шлюзы проходных по домам, школам и вузам, по кинотеатрам, магазинам, библиотекам и, увы, по забегаловкам...

Да, внешне автозавод не изменился.

А что ты, собственно, хотел? И тут я поймал себя на подсознательном и наивном ожидании того, что великие перемены, начатые решениями Пленума, должны — хоть как-то, хоть в чем-то! — отразиться на облике завода.

Да, внешних перемен нет. Я понимал, что не могло еще быть и перемен внутренних. Они только предстояли. Они были впереди.

...Александр Иванович был поначалу сдержан и даже чуть-чуть суховат.

Вот я и поставил, без длинных предисловий, первый вопрос:

— Чем, по-вашему, вызвана необходимость этой решительной, всеобщей, глубокой реформы в экономике?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Новая экономическая система — большое событие для всей страны, но для экономистов — особенный праздник. Праздник, который, чтобы стать буднями, потребует максимального приложения сил. Об этом можно говорить долго и подробно, но я постараюсь быть предельно краток.

Знаете, человек так устроен, что он ко многому, особенно к тому, с чем сталкивается повседневно, может привыкнуть, притерпеться, что ли. Но вдруг случается что-то, и эти примелькавшиеся вещи поворачиваются к тебе новой гранью. Ты словно прозреваешь, вникаешь в самую их суть. Так получилось и со мной в те месяцы, когда я в числе многих «промышленников» и ученых участвовал в разработке новой экономической системы.

Однажды мне на глаза попала газетная статья с жирным заголовком: «Интересы завода — интересы государства!» Меня словно хлестнуло: ведь это же парадокс! Завод-то государственный, по идее его интересы не могут не совпадать с интересами и выгодой всего общества, государства. На деле же — далеко не всегда совпадают. Нередко даже противоречат. В этом газетном заголовке был как бы «концентрат» наших экономических проблем.

Старая система планирования и управления промышленностью основана главным образом на административных принципах. А высокая зрелость сегодняшних социалистических производственных отношений, могучие производственные силы, поистине космические скорости научно-технической революции требуют заменить старую систему новой, научной системой.

Судите сами. Знаете, как выглядел план, который нам «спускали сверху»? Сто пятьдесят шесть показателей. Обязательных, но часто не «увязанных» друг с дру-



А. И. Бужинский

гом. Не рассчитанных, а механически выведенных по стандартной формуле: «Достигнутый уровень + n%». План этот пестовало даже не семь, а десять «нянек»: от Управления автомобильной промышленности Мосгортрансхоза до Министерства внешней торговли. Довольно-таки безответственных «нянек»! На заводе горько пошучивали: любая из них может сказать «нет», но ни одна не вправе произнести окончательное «да». Этот план всегда опаздывал к началу года. К тому же, едва утвердив план, вышестоящие «няньки», не переводя дыхания, начинали его менять, поправлять и уточнять (например, в 1964 году только по объему производства план изменили десять раз!). Вы, вероятно удивитесь, узнав, что, скажем, в том же 1964 году окончательный план мы получили... 31 декабря 1964 года. А нас это уже не удивляло.

Итак, сто пятьдесят шесть зыбких показателей... Это было похоже на марш по минному полю: полшага в сторону — и «подорвешься». Легко ли нам было нормально работать?

Словом, «форма» вошла в противоречие с «содержанием». Но такова диалектика всякого развития. Мудрость руководства социалистической экономикой как раз и состоит в том, чтобы вовремя снять, разрешить возникшие противоречия.

Нужно было дать простор — оперативный, тактический и стратегический! — экономическим законам социализма. Следовательно, перенести руки на экономические рычаги управления хозяйством. Создать такую систему, в которой централизованное государственное руководство экономикой органически сплавлено с широкой инициативой на местах, самостоятельностью предприятий, с подлинным хозрасчетом, материальной заинтересованностью каждого работника.

Так и поступил Центральный Комитет партии.

В этой связи мне хотелось бы напомнить, что Владимир Ильич Ленин сразу же после гражданской войны выдвинул на первый план задачу овладеть экономическими методами хозяйствования, использовать торговлю и другие товарно-денежные отношения в интересах социализма, против капиталистических элементов города и деревни. Однако впоследствии экономические методы не могли получить необходимого развития и были ограничены.

— Вы говорите об экономических рычагах. Какой же из них главный?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Как специалист должен вам сказать, что система, которую ввела сентябрьская реформа,— весьма стройна. В ней все принципиальные положения тесно связаны друг с другом, каждая часть, каждый «агрегат» важны и необходимы. Но в любой цепи есть звено, за которое удобнее «вытянуть» всю цепь. Вы знаете, что сентябрьскому Пленуму предшествовала длительная, кропотливая, творческая работа множества людей. Шла дискуссия в прессе — общей и специальной, сталкивались мнения, заседали комиссии; ученые, инженеры, администраторы, партийные работники всех рангов и уровней анализировали экономические процессы. Наконец, ставились практические эксперименты. Шел поиск всех элементов будущей системы,

их компоновки и взаимодействия. И главный рычаг в новой системе — прибыль, рентабельность.

— Почему же именно прибыль?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Потому что в прибыли словно бы синтезируются интересы и государства, и завода, и каждого работника.

— Поясните, пожалуйста.

А. И. БУЖИНСКИЙ. Что, собственно говоря, требуется обществу и государству от промышленного предприятия, скажем, от нашего ЗИЛа? Две вещи: автомобили и доход. Что нужно самому ЗИЛу? Как можно больше денег в заводские фонды — развития производства, материального поощрения, социально-культурный. Откуда возьмутся эти фонды? Из прибыли. При новом, научно обоснованном, расчетном планировании задание ЗИЛу по прибыли будет установлено так, что наш завод не сумеет его выполнить, если не выпустит и не продаст определенное число автомобилей — нужных государству типов и высокого качества. Выкажет завод повышенную рентабельность — сразу получит в свои фонды большую долю прибыли. Что же касается каждого работника, то он теперь тоже будет знать: от прибыли зависит его личный заработок — фонд материального поощрения распределяется между членами коллектива. Притом не поровну, а по заслугам. От прибыли — от социально-культурного фонда — зависит и многое другое, что укладывается в понятие «уровня жизни»: строительство заводского жилья, которым теперь полновластно станет распоряжаться ЗИЛ, новые детские сады и ясли, санаторные путевки, премии. А в будущем, когда прибыль вырастет, быть может — кто знает! — и бесплатное воспитание ребятишек в детсадах, яслях, интернатах, и бесплатные обеды в заводских столовых, и бесплатные путешествия по Союзу и за рубеж... Все теперь будет зависеть от прибыли и рентабельности, то есть от эффективной работы завода, твоего цеха, твоего участка, от тебя и твоих товарищей. Если ты сделал что-то, повышающее прибыль завода, — это на благо всем и каждому. Снизил себестоимость детали на пять копеек — значит, сто таких деталей, выйдя из твоих рук, прибавят к заводской — твоей — прибыли пять рублей. Загубил ты заготовку стоимостью в три рубля — значит, запустил руку в заводской — свой собственный — карман. Все очень просто. Арифметика.

Года два назад во втором литейном цехе нашего завода случился такой казус. Коллектив сумел уменьшить вес одного вида отливки на десять килограммов. Каждой! Это далось нелегко — не одну бессонную ночь ломали голову технологи, высокое мастерство показали формовщики, стерженщицы, заливщики. Люди ликовали: шутка ли, такая экономия чугуна! Да и грузовик легче стал, значит, поднялась его удельная мощность... Но вскоре оказалось, что ликование было преждевременным: цех не выполнил план по валу — в тоннах.

Теперь такое будет невозможно. «Вал» приказал долго жить. Выгоду работника — выгоду коллектива — выгоду общества новая экономическая система приводит в гармонию. И прежде всего — рычагом прибыли.

— Когда же завод имени Лихачева предполагает перейти на новую экономическую систему?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Желание заводского коллектива — быть среди той группы предприятий, которая первой начнет работать по-новому. Надеемся, что нас поддержат. — Вам предстоит огромная подготовительная работа?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Конечно, упущать дело нельзя. Но не стоит и усложнять. Надо начинать.

— С чего же вы намерены начать?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Мы уже начали. Начали считать.

— Считать?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Да. Мы сравниваем сегодня и завтра: если будем хозяйничать так, как хозяйничаем сегодня, — то как мы себя станем чувствовать при новой системе? И, знаете, прежде всего оказывается, что считать надо учиться. В процессе самих подсчетов. И когда мы считаем, выясняется: многое, очень многое надо решительно менять. Вот, например, оказалось, что зиловцы очень запасливый народ. Мы накопили сверх нормы — то есть лишние — инструменты, материалы, сырья на весьма внушительную сумму. Хорошо это? По-старому — хорошо, даже отлично (хотя и не очень законно): что бы ни случилось, какие бы перебои в снабжении ни произошли, завод мог быть спокоен. Зато по-новому... По-новому, при новой экономической системе мы понесли бы убытки: лишние оборотные средства сразу снижают рентабельность производства. И какие убытки — равные нынешней трехмесячной премии всего завода! Если же мы повысим рентабельность всего на один процент — сразу заработаем несколько миллионов.

Или взять, например, наши отношения с покупателями и поставщиками. Мы часто машем рукой и не взыскиваем штрафы. Стали мы недавно проверять приходящий к нам металл. Оказалось, за прошлый год нам «недовесили» ни много ни мало две тысячи тонн! А это более двухсот тысяч рублей. Случись это при новой системе — «недовес» крепко ударит по нашим прибылям. А с другой стороны, частенько бьет нас по карману наша собственная неорганизованность. Предъявил нам один покупатель претензию: в трех автомашинах оказались дефектными резиновые уплотнители

моторов. Заменить бы их сразу — это ведь копейки. Но пока мы поворачивались, прошел законный срок. Пришлось заплатить одиннадцать тысяч рублей.

Да, новая экономическая система прежде всего заставляет считать.

— Александр Иванович, а что, если нам совершить путешествие на завод — на воображаемый завод, — который уже действует в новых условиях?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Ну зачем же прибегать к фантазии? Я посоветую вам другое. Пройдите по реальному заводу — по нашему ЗИЛу. Ведь завтрашний завод возникнет не как в театре, по принципу *deos ex machina*. Он вырастет из завода сегодняшнего. И работать на нем будут те же люди — инженеры, руководители, рабочие. Поговорите с ними. Народ бурлит. Рождаются масса идей, предложений. Многие наверняка можно и нужно будет использовать. Словом, отправляйтесь-ка по цехам. Вернетесь — закончим беседу.

Задача на пропорции

Прежде всего я отправился в хорошо мне знакомый Второй литейный. Железобетонные конструкции, вплотную примкнувшие к старому зданию цеха, за последние месяцы здорово подросли...

Начальник цеха Иван Иванович Козеев подвел меня к листам чертежей, протянутым длинной полосой по стене кабинета.

— «Пристроечку» нашу видели? Собираемся расширяться. В новой части цеха, — он показал на чертеж, — поставим автоматизированные конвейеры. Потом остановим два старых, модернизируем их, построим еще одну электрощепец. Цех останется единым комплексом, а металла будет давать куда больше.

Я сказал, что все это великолепно, но меня сегодня интересует не техника, а экономик. Что Иван Иванович может мне сообщить по этому вопросу?

Начальник цеха с удивлением посмотрел на меня сверху вниз.

— Так ведь это и есть экономика. Понимаете, получилось так, что наш завод развивался непропорционально. Мощности механических цехов обогнали мощности заготовительных, прежде всего — литейных. Вот и вышло, что мы, литейщики, — «узкое место». Мы держим завод, не даем ему увеличивать производство. Но это еще не все. Значит, большие производственные мощности — дорогое оборудование, станки, машины — простаивают. Им не хватает работы. А при новой экономической системе это же резко скажется на заводской прибыли. На рентабельности. Ведь за основные-то фонды теперь надо будет государству платить — стоят они или работают. Вот и выходит, что расширение литейных цехов — проблема экономическая прежде всего. А то ведь как получалось? Несколько лет назад ощутилась на ЗИЛе острая нехватка отливок. Ясно было, что своими силами не справимся. Решили дать заказ на литье другому предприятию. Выбрали «Ростсельмаш» — передовой, отлично оснащенный завод. Да и ступицы колес, которые мы хотели заказать, ему лить не в новинку — для комбайнов почти такие же льет. Приехали. Поговорили с коллегами. Показали чертежи. «Мы с открытой душой», — отвечают. Открытая душа — качество прекрасное. Условились с ростсельмашевцами, что они подчитают все, пришлют нам калькуляцию, и

уехали. Вскоре приходит калькуляция. Посмотрели мы ее и ахнули: ростсельмашевские ступицы-то вдвое дороже наших! Почему? Непонятно.

— Это вы уже о ценах.

— Правильно. О ценах. Неверно они у нас составлены. Экономически необоснованно. Колоссальная это работа — изменить систему оптовых цен в масштабе всего государства, но необходимая. Теперь особенно.

Тут вошла худенькая девушка — Валя Пронина, начальник цехового планово-экономического бюро.

— Иван Иванович, — сказала она не садясь, — надо начинать занятия в школе. Нечего откладывать. Времени у нас немного.

— Экономическую школу у себя в цехе организовали, — пояснил Козеев. — Между прочим, первые на заводе. Валя — руководитель. Весь комсостав цеха — ученики. Начиная с меня самого.

— Руководитель! — напористо сказала Пронина. — Я смогу учить вас, если сама буду учиться. Надо ставить вопрос перед Бужинским: пусть создают заводскую школу для экономистов. Бужинский и Процеров в экономике — титаны. Должны передать нам свой опыт. А то ведь цеховые работники и мы, экономисты, думать не привыкли. Приказано — исполнено. Вот и весь разговор.

— Валя, — укоризненно сказал Иван Иванович, покосившись на меня. — Что же ты при товарище из прессы...

— Ничего, — блеснула Валя улыбкой. — Напишет — нам же на пользу.

— Думающий человек, — сказал Козеев, когда Валя вышла. — Думающий, анализирующий. Острый. Знаете, как она сказала? Слово «коммерсант» стало у нас ругательством. Это очень плохо. Вредно. Советский хозяйственный теперь обязан быть коммерсантом. В наших советских условиях, при новой экономической системе, коммерсант — это деловой человек, который оптимально решает триединый вопрос: сколько выпустить продукции, какого качества и как сделать ее подешевле. Это я почти процитировал...

Перестановка слагаемых

От Второго литейного до Третьего — рукой подать. Они — соседи по Заводскому бульвару. Третий литейный — попросторнее, потому что поновее. В кабинете на-

чальника цеха Бориса Петровича Назарова пластиковый пол, светлые стены, светильники, утопленные в шероховатом потолке, легкая удобная мебель. Уютно, комфортабельно. Борис Петрович совсем недавно принял цех — он был несколько лет на партийной работе и вернулся почти как к родным пенатам: во втором литейном он начинал неоперившимся инженером, прямо со студенческой скамьи.

Назаров, слушая меня, серьезно смотрит сквозь стекла больших роговых очков. Потом говорит:

— Сходите к формовщикам. Побеседуйте с Василием Тальниковым. Он бригадир бригады комтруда. У него есть идеи насчет премиальной оплаты.

Иду сквозь грохот формовочных станков: ударов пятьдесят — шестьдесят обрушивается на каждую форму. Вхожу в комнату отдыха. Дверь, закрывшись, отсекает грохот. Здесь можно разговаривать.

А вот и Тальников. Лет ему тридцать пять, но на вид он моложе. С ходу узнаю, что до армии Тальников работал на авиазаводе. Демобилизовался — пригласили на ЗИЛ, не хватало рабочих. Пошел, остался, вот уже пятнадцать лет работает в этом цехе.

Выслушав меня, он подзывает невысокого парня.

— Познакомьтесь, — это Михаил Тюлькин. Также бригадир. Идея не только моя. Общая — его, мой и еще Сергея Гринева.

Что они предлагают? Восстановить на формовочных конвейерах оплату за классность. Лет десять назад такая оплата действовала. А потом ее почему-то отменили. И зря. Класс — это вроде почетного звания, он присваивался персонально, в конце месяца. Были три класса — первый, второй, третий. Чтобы получить классность, надо было всей бригаде выполнить план: ведь бригада работает на конвейере, каждый делает одну последовательную операцию; второе — соблюдать чистоту рабочего места; третье — держать дисциплину. А вот какой тебе дадут класс — это зависело уже от того, сколько у тебя брака: на тридцать процентов ниже лимита — третий класс, на пятьдесят — второй, на семьдесят — первый. За первый класс платили тридцать процентов надбавки к тарифной ставке, за второй — двадцать пять, за третий — двадцать. И каждый старался, придирался к себе и к товарищу. Потому что у формовщиков брак — коллективный. И ответственность такая — один за всех, все за одного. Один прогулял — всю бригаду лишали классности на три месяца. Редко, правда, такое случалось — месяц не позволяла: как это, я прогуляю, а пятнадцати ребятам зарплату срежут! Ну, и еще было одно правило: новичку не сразу классность устанавливали. Только через шесть месяцев. Также справедливо — пусть человек «повкалывает», себя покажет. В общем, неплохо было придумано. Имело бы смысл восстановить. С одной поправочкой: раньше за классность платили из фонда зарплаты, а сейчас можно бы из при-

были. Вот бы каждый старался прибыли заводу дать побольше.

— Правильно, Миша?

Тюлькин согласно кивнул, и Тальников выжидательно посмотрел на меня, словно от меня зависело тут же, сию минуту решить вопрос и восстановить классность.

— И еще одно мы предлагаем. — Тальников снова переглянулся с Тюлькиным. — Надо бы сделать так: платить за классность, учитывая стаж работы на заводе. А то ведь у нас, на ЗИЛе, текучка какая. Не успел парень оформиться, неделю поработал, смотришь — уже до свидания, привет, — увольняется. Мол, не нравится. Тяжелые условия труда. Полегче, дескать, найду. И найдет, конечно. А вот если бы стаж учитывали... Знаете, как в армии говорят — в шутку, конечно: «Солдат спит, а служба идет». Так вроде и тут: время идет, а надбавочка тебе растет... Тут бы он еще подумал: уходить или оставаться. Через год еще б крепче подумал. Ну, а через пять — и вовсе бы не ушел. Стали б увольнять — изо всех сил сопротивлялся бы... Вот такие наши идеи. А теперь... — Он смял окурочек. — Извините, я больше не нужен? А то пора к станку...

Если теперь я скажу, что, вернувшись в кабинет начальника цеха, как раз и попал на совещание, которое искало наилучшую систему премиальной оплаты формовщиков, — если я это скажу, искушенный читатель усмехнется: журналистский прием — совещание, вероятно, было, но совсем в другое время. А автор для вящего эффекта взял и переставил...

И все-таки дело происходило именно так.

Сидели вокруг длинного полированного стола на шести ножках: Борис Петрович Назаров; начальник техчасти цеха Валерий Тимофеевич Сайкин, высокий, атлетически сложенный, с лицом твердым и серьезным; начальник цехового планово-экономического бюро Прасковья Васильевна Орлова; начальник бюро нормирования Мария Ивановна Петухова; заместитель начальника отдела труда и зарплаты ЗИЛа Ольга Алексеевна Васильева; экономист-куратор литейных цехов Павел Петрович Шутьгин; заместители начальника цеха Александр Сергеевич Сырейчиков и Антон Осипович Винокуров.

Собственно, знаком я был только с Борисом Петровичем, а кто такие остальные — узнал много позже, но тут я и вправду решил забежать вперед и сразу рассказать, кто участвовал в совещании. Это было очень интересно и поучительно: заводские люди, до тонкости знающие и литейное дело, и все хитросплетения нынешней системы цехового планирования (потому что куда они исходили из узких рамок действующей системы), и сложности и слабости технологического процесса на каждом формовочном конвейере, и психологию рабочего человека, долго и тщательно перебирали разные варианты, отбрасывали их, возвращались к ним снова и снова отбрасывали, и опять искали, и прикидывали, и подсчитывали.

вали, бегло перепасовываясь цифрами... И как-то так выходило — кто бы что ни предложил, все обращали взгляды к Валерию Тимофеевичу, словно он был арбитром, — а тот вроде бы в уме взвешивал, примерял к чему-то, я бы даже сказал — пробовал, словно дегустатор, на вкус, а потом говорил: вообще-то ничего, но вот как быть с тем-то... И называл что-то, что могло служить препятствием для осуществления того или иного предложения. И снова начинались поиски и подсчеты.

Вообще-то все сошлись на том, что премии формовщикам в этом цехе надо платить за снижение брака: нормы выполняют практически все, и даже перевыполняют, план тоже дают, а вот брак, особенно на пятом конвейере, еще высок, и из-за этого цех несет убытки. Но вот как получше заинтересовать формовщиков в уменьшении брака — сначала хотя бы до лимита, — такой способ и искали. Три часа кряду.

В какой-то момент Валерий Тимофеевич сказал:

— А что, если так: платить формовщикам за уменьшение количества бракованных деталей? И прямо связать премию со снижением убытков от брака? Каждый бракованный блок мотора «ЗИЛ-130» обходится цеху...

— Примерно рубля четыре, — подсказала Прасковья Васильевна Орлова.

— Вот и сказать формовщикам: добьетесь, что бракованных блоков будет, допустим, не сто, а пятьдесят, сэкономите цеху и заводу двести рублей, — получайте из них на бригаду тридцать процентов — шестьдесят рублей. Просто и ясно.

— Очень интересно, — сказала Орлова.

— И в духе времени. Связываем цеховой рубль с рублем рабочего, — быстро и с удовольствием подхватила Васильева.

— Что еще хорошо — людям легко объяснить, — проговорил Назаров. — Наглядно очень.

— Так я же говорю — в духе нашего времени, — энергично повторила Ольга Алексеевна.

Сайкин молча слушал, а когда все высказали свое согласие, вдруг стал выдвигать возражения. Одно за другим.

С самого начала приметив твердое и серьезное лицо Валерия Тимофеевича, я подумал, что такие лица молодых интеллектуалов, одинаково уверенно чувствующих себя и в сфере мысли, и в сфере спорта, все чаще встречаешь в разных местах — в институте Академии наук, в больницы операционной, в учительской, за прилавком ГУМа, перед кульманом в Моспроекте и, конечно, в заводском цехе. И я ждал от Сайкина уверенности в себе, для меня не было бы даже неожиданностью, если б он выказал и некоторое упрямство. Но я никак не мог ждать этих, каких-то особенно пристрастных, поисков аргументов против своей же идеи. Эдакий поворот меня, по совести, удивил.

Однако никто кроме меня не удивился (видать, к такому свойству Валерия Тимофеевича привыкли), а все стали на его воз-

ражения возражать. Тут еще раз подтвердилась старая истина: против любой пушки найдется броня, а против любой брони отыщется пушка, против которой, в свою очередь, опять найдется броня...

— Нет, вы мне не говорите, тут есть свои серьезные сложности, — спокойно и вдумчиво повторял Сайкин.

И тут я пришел к заключению, что первое впечатление меня не обмануло. Повеяние Сайкина было высшим выражением уверенности в себе — не самоуверенности, а именно уверенности в себе. Истинной, той, что не боится подвергнуть идею испытанию на прочность. И если надо, признать ее несовершенство...

— Но в конце концов, Валерий Тимофеевич, — блеснул стеклами очков Назаров, — в конце концов все новое сложно. Любая система потребует приложить силы и выдумку. А ваша идея очень перспективна.

— Ну что ж, может быть вы и правы, — сдался Сайкин после раздумья. — Не возражаю.

На том и порешили. Порешили также ввести новую систему премиальной оплаты сначала лишь на двух конвейерах — на первом и пятом. В виде опыта. Почему на первом и пятом? Ну, на первом потому, что там идут всего две отливки — блоки двигателя «ЗИЛ-130» и «ЗИЛ-164». Большие и дорогостоящие. Там снижение брака сразу даст серьезный эффект — и для цеха, и для формовщиков. А на пятом — потому что это сложный конвейер: там формируют несколько десятков различных деталей и там особенно высок брак. Значит, имеет смысл сильно заинтересовать рабочих.

На этом часть совещания, которая представляла будущее, кончилась. Началась часть незапланированная, меченная уходящим на наших глазах прошлым.

Воспользовавшись присутствием начальства из заводского отдела труда и зарплаты, Назаров, Сырейщиков и Винокуров стали «выбивать» позарез нужные цеху решения: перевести грузчика по уборке гари с повременной на сдельную оплату, повысить разряд рабочему на участке химической очистки отливков, перевести штатную единицу мастера из очистного отделения в склад. Длительный бой шел в исключительно теплой и дружественной обстановке, с расходом полного боезапаса юмора — хитроватого у Сырейщикова, проницательного у Васильевой.

Особенно долго, с переменным успехом, воевали за перевод мастера.

— Ну, Ольга Алексеевна, вы же отлично понимаете — дело тут в формальности, — убеждал Назаров. — Мы все равно его уже перевели в склад. Иначе невозможно. Там народ трудный, кроме завскладом обязательно мастер требуется. И для работы, и для воспитания. Но мы хотим, чтобы все было как положено. Ведь мы не просим лишней единицы увеличения фонда зарплаты. Мы просто хотим переставить слабые.

— А от перестановки слабые сумма

не меняется. Это вы хотите сказать? — засмеялась Васильева.

— Нет, не это. Как раз сумма меняется — в нашу пользу. Если под суммой разуметь эффективность работы цеха.

— Ладно, — Ольга Алексеевна сказала это даже как-то удовлетворенно. Словно возражала так, по обязанности, что ли.

Да и чему удивляться — даже я понял, что все претензии Третьего литейного были вполне разумны. До чего ж тесны и обременительны рамки, в которых действует покуда начальник огромного цеха!..

— Ох! — тяжело перевел дух Борис Петрович Назаров. — Ну, будем надеяться, что через годик нам уже не придется вести подобные баталии. Сами станем решать...

Эскалатор

— Начальник цеха на таком крупном заводе, как ЗИЛ, должен сам решать все важные вопросы. Возьмите наш штампомеханический, — это же, я вам скажу, целый солидный завод. Уникальное оборудование! Вы видите наш портално-расточный станок для крупных деталей? Нет?.. Ну, я вам его покажу! Громадина! В две — да что в две — в три таких комнаты не влезет! А электрошахтная печь? К нам же бог знает откуда едут, умоляют принять штоки, валы для обработки в этой печи. У нас сотни и сотни рабочих. А какие права у начальника цеха? Их даже смешно называть правами.

Начальник планово-экономического бюро штампо-механического цеха Иосиф Абрамович Томашпольский досадливо машет рукой. Крупный, внушительный, громогласный, с седыми короткими волосами и пышными черными бровями, он работает здесь, в цехе, вот уже девятнадцать лет. Хотел было уйти на пенсию, но не смог расстаться с цехом. Томашпольский здесь знает вся и всех, и все знают его. Когда он с легкостью, неожиданной для его могучего сложения, шагает по цеху, не замедляя хода, а лишь придерживая полы коротковатого бледно-синего халата, чтобы проскользнуть между станком и стопой многопудовых деталей, невольно испытываешь восхищение. Приятно видеть человека на своем месте.

Но как Томашпольский шагает по громадному пролету своего цеха, я увидел несколько позже. А покуда мы сидели в темной комнатке, где за вплотную составленными столами работали сотрудники нескольких цеховых отделов и служб. Долговязый молодой токарь принес Иосифу Абрамовичу на подпись наряд.

— Так на чем мы остановились? — спросил Томашпольский, возвращаясь к прерванному разговору, и сам же ответил: — Да, на правах начальника цеха.

Короче говоря, Иосиф Абрамович убежден, что права начальника цеха на ЗИЛе нужно расширить применительно к новым правам директора завода. Конкретно? Пожалуйста. Вот, предположим, новая эконо-

мическая система на ЗИЛе уже введена. От чего должен был бы танцевать начальник цеха?

— Я вам сейчас расскажу, а вы уже сделаете выводы. Прежде всего, начальник цеха постарается полностью загрузить все оборудование. Скажем, ту же самую электрошахтную печь или портално-расточный станок. Сейчас они много времени простаивают.

— Почему простаивают?

— У них большие мощности. Наш цех не в состоянии их загрузить.

— Так ведь можно брать заказы со стороны.

— Правильно! Вы делаете успехи. Впрочем, я же сам вам сказал, что нас умоляют принимать заказы. Но все дело в том, что принять заказ сейчас мы можем только с разрешения заводоуправления. В каждом отдельном случае. А мы, скажу вам по секрету, вовсе в этом разрешении не заинтересованы. Почему? А зачем нам все эти хлопоты? Если печь или станок работает на чужого дядю, нам лишняя морочка. А если начальник цеха увидит, что за простаивающий станок надо платить государству столько же, сколько за работающий, а от посторонних заказов увеличивается прибыль цеха, а значит, и заработки работников, тогда совсем другой коленкор... Понятно?

Это мне было понятно. Не понятно было другое. О какой такой цеховой прибыли говорил Томашпольский? Разве цех будет иметь свою отдельную прибыль?

— Вот в этом я как раз не уверен. Начальник цеха Николай Иванович Щербатов, секретарь партбюро Дмитрий Георгиевич Солдатов, другие товарищи, я — мы думаем, что нужно считать прибыль, которую дает не только завод, но и цех. И все расчеты по прибыли и ее фондам в крупных цехах — ну, скажем, с персоналом от тысячи человек — вести так же, как на всем заводе. Или, по крайней мере, цех должен сам распоряжаться той частью фонда поощрения, которая приходится на его долю. Вот так.

Иосиф Абрамович развивает свои соображения.

— Ну, после того, как начальник цеха покончит с загрузкой оборудования, он должен пересмотреть все запасы литья, нормалей, полуфабрикатов, крепежа, инструмента, дорогих фрез. Лишнее продать или вернуть заводским складам. Начальник цеха обязательно поступит так, потому что он теперь захочет уменьшить себестоимость продукции. Но для этого, я вам скажу, необходимо, чтобы плановый отдел завода планировал нам себестоимость стабильную, на несколько лет вперед, а не менял ее каждый квартал по «достигнутому уровню». Словом, чтобы цех знал: заработал — получи. Обязательно получи! Дальше, начальник цеха не должен бояться, что ему могут срезать фонд зарплаты. Пусть ему дадут право в пределах этого стабильного фонда самому распределять и перераспределять людей по категориям работающих. Ей богу,

ему, начальнику, виднее! И потом, начальник цеха не должен для галочки гнаться за техническим прогрессом. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что прежде чем вводить новшество, надо хорошенько посчитать: что оно дает — прибыль или убыток? Пример? Пожалуйста. Есть такой метод точного литья. Это прекрасный, прогрессивный метод. Но применять точное литье надо с умом. С расчетом. Только там, где это выгодно. Вот мы детали для так называемых обрезных штампов делаем этим самым методом. Что мы экономим на зарплате обрубщика и фрезеровщика по механической обработке — это верно. Тут я ничего не могу возразить. Но зато само точное литье настолько дороже простого, что от экономии ничего не остается. Выгоднее лить по-старому и платить рабочим — обрубщику и фрезеровщику. Но ведь это значит не поддерживать технический прогресс! И вот льем точное литье... Уверяю вас, перейдем на новую систему — отменим этот «прогресс».

Опять нас прервали — Томашпольскому пришлось разбираться с каким-то документом.

— И так не только в нашем цехе, — продолжал потом он. — Разве конструкторы, когда конструируют новое оборудование — ну хотя бы автоматические линии, — разве они считают, во сколько это обойдется, даст ли экономию, окупится и когда? Уверяю вас, они так поступают далеко не всегда. Вот, например, прессовый цех заказал нам новые автоматические штампы совмещенного действия. Вместо старых пяти несовершенных. А что новые штампы обходятся во много раз дороже — это в прессовом цехе никого не волнует. Мы, конечно, сделали им эти новые штампы. Мы бы и при новой экономической системе их сделали. Но я думаю, что тогда прессовый цех нам их попросту не заказал бы. Я в этом абсолютно уверен. Прежде чем конструкторы взяли бы в руки карандаши, — плановики немножко пощелкали бы на арифмометрах. Вы, конечно, не подумайте, что я против технического прогресса. Наоборот. Я считаю, что настоящему прогрессу теперь будет куда лучше. Например, как трудно было проталкивать новую продукцию! Ведь она

же поднимает себестоимость. А теперь ее можно будет дороже продать. Ведь к ценам на нее будут надбавки. Заводу выгодно, — и плановый отдел будет только радоваться! Вы на эскалаторе ездите?

Неожиданный этот вопрос поставил меня в тупик.

— Езжу, конечно. Но...

— Какое это имеет отношение к нашей теме? Я вам объясню. Бывало когда-нибудь, что вы неудобно встали на ступеньку? Бывало. Тогда вы знаете, что эскалатор сам вежливо поправит вашу ногу. Он «подскажет» вам, что сделать, — опустить ногу на нижнюю ступеньку или попрочнее встать на верхней. В зависимости от того, как вы стоите. И если вы едете вверх, то в конце концов обязательно подниметесь наверх — на какой бы ступеньке ни стояли. А это — главное. Так и экономическая выгода: она подскажет — держаться до поры до времени старой технологии или внедрять новую. Лишь бы завод двигался вверх и при меньших затратах. Я вас убедил? Ну и еще одно: начальник цеха должен сам определять систему оплаты труда. Вот, например, мы с Дмитрием Георгиевичем Солдатовым тут пораскинули мозгами, составили проект премиальной оплаты в нашем цехе. Партийное собрание его одобрило и передало в общезаводскую комиссию. — Томашпольский подал мне исписанный лист. — Я вам скажу, что тут самое главное. Не только для нашего цеха, для всего завода. Вот, читайте: «При стаже свыше двадцати лет годовая доля, причитающаяся работнику из фонда материального поощрения, повышается на тридцать процентов, от пятнадцати до двадцати лет — на двадцать процентов, от десяти до пятнадцати — на десять процентов. Вновь поступившие в течение первого года работы не имеют права на долю из фонда поощрения, во второй год получают половину доли, в третий год — три четверти...»

Тут я вспомнил бригадиров из Третьего литейного Василия Тальникова и Михаила Тюлькина с их предложением «учитывать стаж». Что ж, справедливые и своевременные идеи имеют свойство носиться в воздухе...

* * *

Мое путешествие по ЗИЛу продолжалось и на следующий день. К Александру Ивановичу Бужинскому я попал, когда начало темнеть.

Он поднял голову от бумаг. Лицо его было усталым. Но мой отчет о впечатлениях Александр Иванович слушал с видимым интересом.

— Значит, я вам дал полезный совет? — Он отложил в сторону карандаш и выпрямился в кресле. — Да, народ бурлит. Видите, сколько сразу всего вам рассказали. И вы обратили внимание: все настроены немедленно действовать. Вот что самое ценное. Значит, все понимают, что постановление Пленума ЦК партии — только начало. Претворение реформы в жизнь целиком зависит теперь от всех нас.

— Последний вопрос: какие, с вашей точки зрения, главные проблемы стоят перед работниками народного хозяйства в связи с переходом к новой экономической системе?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Собственно говоря, почти всех этих проблем в большей или меньшей мере уже коснулись наши товарищи-зиловцы, с которыми вы толковали. Мне, в сущности, остается... ну, «аранжировать» их, что ли. Постановление Пленума ЦК

партии дало главные положения, генеральные принципы новой экономической системы. Предстоит большая работа по их конкретизации — применительно к множеству аспектов, к разным отраслям промышленности, группам предприятий, отдельным заводам и фабрикам. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 года установило основные направления этой колоссальной работы. Одно из самых кардинальных — совершенствование оптовых цен на продукцию промышленности. Ведь нынешние цены экономически не обоснованы, запутаны, в их системе царит разнорядность. Вот и получается, что, купив задний мост грузовика «ЗИЛ-130», можно хорошо заработать: разобрать мост на составные части и продать их порознь. Потому что задний мост в сборе, оказывается, стоит дешевле, чем детали, из которых он собран. Но не подумайте, что это — результат ошибок, неумения органов, разрабатывающих цены. Просто разные цены высчитаны от разных оснований. А ведь цен в народном хозяйстве миллионы. Один наш ЗИЛ имеет дело с полуллионом различных цен! Поэтому в Постановлении ЦК и Совета Министров очень своевременно записано: максимально приблизить оптовые цены к уровню общественно необходимых затрат труда, установить правильное соотношение цен. Как сейчас назначается цена, ну, допустим, на автомобиль? Берется фактическая себестоимость, прибавляется к ней несколько процентов рентабельности — и цена готова. Мало кого интересует, нормальна ли эта себестоимость или слишком высока. И в результате — завод, который работает хуже, не ищет резервов, не снижает себестоимости, оказывается в привилегированном положении. Он получает цены на свою продукцию выше. Недавно я сделал такой подсчет. Взял среднемировые цены на грузовики типов, аналогичных нашим машинам «ЗИЛ», «ГАЗ» и Кременчугского завода, и сравнил их. Что оказалось? Если принять цену на «ЗИЛ-130» за 100, грузовик класса «ГАЗ» стоит 60, а «КрАЗ» — 173. У нас же в стране соотношение цен иное — 100 : 68 : 223. Это несправедливо. И должно быть изменено. Только реформа оптовых цен позволит новой экономической системе функционировать в полную силу, точно подсчитывать прибыль, определять стоимость фондов предприятий, следовательно, и платы государству за эти фонды. Словом, каждому предприятию воздастся должное, исходя из принципа высшей экономической справедливости. Тот, кто даст государству больше, получит больше. И это будет неизбежно.

Дальше. Как вам говорили товарищи, перед нами, заводскими работниками, стоит срочная задача: разработать положения новой системы для цехов. Эффект новой экономической системы скажется в полной мере только в том случае, если все ее принципы — планирования, истинного хозрасчета, материального поощрения — будут доведены до цехов, участков, до каждого рабочего места. Над этим мы начали работать. На заводе созданы специальные группы, которые возглавят подготовку во всех наших цехах. Ведь система экономического стимулирования должна учитывать специфику каждого цеха, каждой службы завода. И здесь нам приходится начинать, как выражаются строители, с нулевого цикла. Здесь все вновь — нет ни принципов, ни нормативов. Как, скажем, распределять между работниками фонд материального поощрения? Мне, например, кажется весьма привлекательной так называемая «система пунктов». Что это за система? Низшая тарифная ставка, которая существует на заводе, принимается за сто пунктов. Соответственно своей ставке каждый получает свое число «пунктов». Затем устанавливается, что, скажем, десятилетний стаж работы на предприятии прибавляет тебе, ну, допустим, тридцать пунктов, такое-то перевыполнение норм — двадцать пунктов, такое-то снижение брака — двадцать пять пунктов, зато прогул срезает пятьдесят пунктов. И так далее. Все заранее предусмотреть, конечно, нельзя, поэтому руководитель цеха вместе с профсоюзной организацией в конце месяца «награждает» или «наказывает» каким-то числом пунктов за отличия в работе и за проступки. Исходя из общей для цеха суммы поощрительного фонда, определяется «цена» каждого пункта. И каждый работник получает то, что он заслужил. По-моему, очень гибкая и удобная система. Не знаю, правда, согласятся ли со мной товарищи. Обсудим, поспорим...

Но самая главная, самая основная проблема — люди, кадры. Ведь именно они будут воплощать новую экономическую систему в жизнь. Готовы ли хозяйственные руководители к этой серьезной работе? Всем нам надо перестраивать свое мышление, решительно отказываться от многих привычных схем, трафаретов. Есть немало хозяйственников, которые в условиях «волевого» планирования и управления промышленностью стали бездумными исполнителями, отвыкли от инициативы, разучились считать, вникать в экономику. Это, естественно, старая система воспитала определенный тип хозяйственника, теперь ему придется либо в корне измениться, либо уступить место другим. Новая система даст простор для творчества, но она и властно потребует творчества. Несомненно, такой простор не всем окажется по плечу.

Кто, скажем, до последнего времени считался хорошим заводским экономистом? Тот, кто умел «выбить» план полегче, «выкрутиться», «обеспечить показатель». Даже терминология такая была: тот товарищ хорошо работает «наверху», а тот — «внизу», «наверху» он не тянет. Я убежден, что нередки будут случаи, когда нынешний руководитель — «середняк» в новых условиях блеснет талантом, вырвется вперед, а тот, кто еще недавно ходил в передовых, — отойдет на третий план.

Да, всем нам предстоит мучительный и благотворный процесс переучивания, пси-

хологической ломки, отбрасывания старого. Мне рассказывали о практике одной московской обувной фабрики. Весьма характерный пример. Фабрика перешла на прямые связи с торговлей. Ей предоставили право самостоятельно, по договоренности с потребителями, устанавливать модели обуви и показатели плана. Фабрика утвердила модели и сообщила в Мосгорсовнархоз. И что бы вы думали? Из совнархоза ей в ответ «спустили» совершенно иные показатели. В нарушение приказа вышестоящих организаций! Работники совнархоза просто-таки не могли взять в толк — как это сама фабрика будет что-то для себя решать?!

Пришлось обращаться к председателю СНХ СССР. Он разъяснил работникам Мосгорсовнархоза, что они забыли, какой год на дворе...

Да, времена «волевой» системы руководства в экономике уходят в Лету. Руководитель должен научиться управлять по-новому — не только технически, но, в первую голову, экономически грамотно. По выражению нашего директора Павла Дмитриевича Бородина, времена, когда директору достаточно было иметь приличный голос, чтобы давать «ценные указания», — прошли. Нынешний руководитель обязан быть един в трех лицах: организатор — инженер — коммерсант. Быть может, даже в иной последовательности. И он, руководитель, да и все — сверху донизу — теперь неизбежно изменят отношение к экономике и экономистам.

Вот у нас на заводе уже несколько лет работает широкая сеть кружков по изучению конкретной экономики. В них учились и инженеры, и мастера, и рабочие, и служащие. Во многих кружках занятия шли интересно. Но в то же время немало слушателей воспринимали эти занятия как некую дополнительную «нагрузку», как еще один вид общей политехники: мол, все это прекрасно, но к моей повседневной работе отношения не имеет. Другие товарищи — из тех, что поглубже вникли в самую суть проблем конкретной экономики, — напротив, убеждались, что они, эти проблемы, имеют к производству, к повседневным делам самое прямое отношение. Но — «от противного». Оказалось, что конкретная экономика требует одного, а система планирования, отчетности, оплаты труда, премиальная система построены совершенно по-другому. Эти товарищи увидели, что экономика — в конфликте с планом, и стали убежденными сторонниками необходимости экономических реформ в промышленности.

Ныне люди прямо-таки жаждут экономических знаний. Мы открываем широкую сеть школ для руководителей всех чинов и рангов. И я предвижу, что с каждым днем все больше заводских работников — инженеров, техников, мастеров, рядовых рабочих — станочников, слесарей, сборщиков — захочет вникнуть в экономику производства, собственными руками «пощупать» ее «детали», «узлы», «сочленения» и «агрегаты». Потому что ближайшие месяцы и годы убедят каждого, что все это касается его лично. Что от того, насколько глубоко он будет знать экономику — общую и конкретную, как будет использовать ее в своей будничной работе, от того, как он — Иванов, Петров, Сидоров — организует свой труд, труд на своем участке и в своем цехе, — зависит и лишний рубль в его кармане, и место в детсаду, которое займет его ребенок, и получение новой квартиры.

Но, говоря о перемене отношения к экономике и к экономистам, я имею в виду не только это. Думаю, что ставить этот вопрос надо еще шире. Вот один штрих. Как известно, советские специалисты всех профилей ездят в многочисленные зарубежные командировки, черпая там богатый опыт, и многое из того, что почерпнули, с пользой применяют у себя. Специалисты всех профилей, кроме одного: ни один заводской экономист не побывал в командировке за границей! А ведь сейчас уже никому не надо доказывать благотворность изучения зарубежного опыта и в этой области. Тем более, что в европейских социалистических странах — ГДР, ЧССР и других — новая система экономики уже действует, и нам не грех было бы вникнуть в их опыт внутриводского планирования и экономического стимулирования, учесть плюсы и не повторять ошибки.

Завод имени Лихачева вступает в новую экономическую систему. На каждом из нас, лихачевцев — от директора до рабочего, — лежит отныне огромная ответственность. Об ответственности мы привыкли говорить много и часто. Слово это — высокое и полное глубокого смысла — даже несколько стерлось, поблекло от частого употребления. Но вдумайтесь в него снова: оно, не уходя из области возвышенных категорий, оставаясь возвышенным, облекается отныне в четкие, деловые, конкретные одежды. Это ответственность перед своей совестью, перед обществом, но и перед товарищем, перед цехом, перед заводом. Ибо теперь каждый отвечает за все. Теперь все мы, рабочие и служащие народного хозяйства, — ответственные работники.

— Восемьдесят миллионов ответственных работников?

А. И. БУЖИНСКИЙ. Да, именно так: восемьдесят миллионов ответственных работников.

* * *

Отдав пропуск вахтеру, я вышел из проходной и двинулся в метро.

...Внешне завод не изменился. Тот же протянувшийся чуть ли не на километр Автозаводской корпус; тот же бульвар, прорезающий территорию из конца в конец; те же громады цехов, скупо цедающие наружу кванты рабочего гула.

Но насчет внутренних перемен — я ошибся. Они начались. И прежде всего — в умах тысяч и тысяч автозаводцев.

ПОЕЗД С ЦВЕТОЧНОЙ

Семьдесят пятая комната

По Невскому проспекту, минуя выюжные заметы, от дома к дому, от забора к афишной тумбе торопливо шагал рослый мальчишка в огромных валенках, солдатской шинели и высокой папахе. В его озябших руках были кипы белых листов и ведро с клеем. Мальчишка проводил кистью по выветренным объявлениям, по старым военным приказам, поблекшим афишам, и поверх ложились свежотпечатанные листки: «Социалистическое отечество в опасности!»

...Еще с конца 1917 года солдаты русской и германской армий ждали вестей из Бреста. Там шли мирные переговоры. Пушки молчали. Но в полдень 18 февраля 1918 года с немецких орудий вдруг сняли чехлы. Вместо дипломатов опять заговорили пушки. Германское командование, нарушив ранее подписанное перемирие, открыло наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря. В Прибалтике немецкие войска в два дня заняли Двинск и Режицу, а 24 февраля вошли в Псков.

Той же ночью над Петроградом разнеслись тревожные гудки заводов. Утром газеты вышли с призывами:

«Рабочие! Красногвардейцы! Солдаты! Петроград в опасности! Рабочие кварталы в опасности!»

«Все на защиту отечества! К оружию!»

В серой мгле рассвета перед Смольным выстроились вооруженные колонны путиловцев и рабочих «Вулкана», балтийцев и ижорцев. Многие пришли с женами и детьми. От Смольного колонны двинулись к вокзалам. Во главе шли члены ВЦИК... «На фронт! На фронт! Наш лозунг: "Победа или смерть!"»

* * *

С дней Октября хозяином Невского проспекта был человек в серой шинели и черном бушлате, в поношенном пальто и овчинном полушубке. Он приходил или при-

езжал сюда в битком набитом трамвае, торопился на работу, спешил в комиссариаты, в очереди за хлебом. Старый Невский уже забывался. И вдруг, словно из небытия, на заснеженные плиты тротуаров вновь выпали разодетые дамы и гвардейские офицеры. Опять пожаловали их превосходительства с красными лампасами и красными лицами. Вновь явились, торжественно вышагивая вдоль проспекта, мудрейшие государственные умы, удаленные от дел революцией и с тех пор занимавшие политикой в дамских будуарах под охраной переодетых юнкеров. Невский опять запестрел крестами, кантами, медными пуговицами.

- Слыхали?
- Как же...
- Наконец идет спасение...
- Но все-таки немцы...
- Немцы что? — Да слава богу!
- Прострадали целый год!
- Наведет Вильгельм порядки!..
- Банки сразу все откроем,
- Упиваться станем «Днем»...
- Все получим! Все вернем! —

это подслушал в те дни вездесущий «красный поэт» Дед Софрон, он же Мужик Вредный, он же Демьян Бедный.

Разумеется, и новый Невский никуда не исчез. И шумели поединки:

— Отечество в опасности! Читайте «Правду»!

— «Красная газета!» «Красная газета!» Не любит попа и кадета! Читайте «Красную»...

Это звонко выкрикивали юные газетчики, сыны рабочих окраин.

Их перебивали простуженные голоса:
— «Вечерние известия»... Немцы в городе Пскове... Цена тридцать копеек... «Вечерние...» Немцы в городе Пскове...

— Покупайте «Речь»... Истинно русская газета... Последние известия... Немцы подходят к Ревелю...

Это на Невский вышли продавцы-«добровольцы» из числа саботажников приват-доцентов и чиновников-саботажников, адво-

катов и гостинодворцев, отставных офицеров и интеллигентных дам без определенных занятий.

Новый Невский никуда не исчез!.. Из-за Нарвской заставы, с Литейного, с Васильевского острова на главный проспект столицы, направляясь к фронту, вливались колонны революционных войск — солдат, матросов, красногвардейцев. Дамы и господа, стоявшие на тротуарах, мгновенно умолкали. Их лица блекли. И еще больше хмурились они, когда подходили патрули и не совсем деликатно требовали:

— А ну, господа, очистить панель! Быстрой!..

* * *

С начала немецкого наступления внутренний фронт в столице обозначился не только на Невском проспекте.

...С рассвета и до полуночи, с ночи и до рассвета в Семьдесят пятой комнате Смольного не стихал гудящий говор — то встревоженно торопливый, то опасливо приглушенный...

Парень лет пятнадцати, худой, длиннорукий, в замасленном картузе, ерзя на стуле, волнуясь, не договаривая, рассказывал о том, что он «самочинно видел»... Вчера вечером к подъезду дома, в котором он живет, подъехал автомобиль, и какие-то военные сняли с грузовика и пронесли в подъезд тяжелые ящики. «Наверно, пулеметы»...

Комиссар Михаил Цыганков, молодой человек в кожаной куртке, выслушал парня, записал адрес и сказал, что сейчас же направит кого следует.

В другом углу, за столом, сколоченным из досок, сидел комиссар Матулевич, рабочий, оратор, смуглолицый человек в суконной солдатской шинели. Он слушал старушку, которая тоже пришла поведать о том, что взбудоражило ее.

Она стояла в очереди за хлебом. Там говорили, будто в Питере муки осталось на два дня. «А потом — хоть камни грызи: подвоза нет». А еще говорили, будто Ленин со своими помощниками собирается бежать в Москву. А какая-то барыня объясняла: Ленин потому собирается бежать, что тайно заключил с Вильгельмом договор: очистить столицу в надлежащий срок. За это Ленину обещаны миллионы.

В Семьдесят пятой комнате выслушивали всех и всё, ибо по опыту знали: в самых невероятных слухах, в ворохе самых немислимых небылиц вдруг обнаруживается такое, что впоследствии приобретает важность чрезвычайную.

Зазвонил телефон. Подошел стенографист В. Кронберг. Докладывал красногвардеец Павел Микалюнас с завода «Бр. Экваль». Товарищ Павла по заводу, рабочий Кудрявцев, ездил в деревню под Лигово покупать картошку. Там он узнал, что почти у каждого хозяина в погребах попрятаны пулеметы. Ко всем приезжающим из Питера присматриваются, похоже, что кого-то ждут...

В Семьдесят пятую то и дело вбегали

курьеры — юные коммунары, присланные в помощь Смольному из Союза социалистической молодежи. Передавали срочные телеграммы, письма, пакеты...

Комитет Латышского района петроградской организации РСДРП(б) информировал, что, по полученным сведениям, Эрнест Барон, служащий в народном комиссариате продовольствия, — давний агент германской разведки. Надо немедленно арестовать его. Улики налицо.

Разведчики Семьдесят пятой комнаты, действовавшие по всему Петрограду, докладывали: на Васильевском острове, в квартире полковника Фролова, собираются подозрительные личности; похоже, что это белогвардейские офицеры... В Пажеском корпусе полно офицеров с фронта, там горы оружия... А на Ивановской улице в доме № 133 явочная квартира какого-то «Капитана»... На Александровском рынке торгуют винтовками, словно леденцами.

...Обо всех донесениях дежурные немедленно сообщали Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу — главному комиссару Семьдесят пятой комнаты. Тут же принимались решения... «Предписывается комиссару товарищу Пискунову отправиться на Васильевский остров, 22 линия, произвести расследование на основании заявления на полковника Фролова... В случае надобности арестовать полковника и произвести обыск в квартире». Комиссару М. Д. Цыганкову — «...руководить действиями при обыске и занятии Пажеского корпуса... Оружие отобрать, находящиеся в корпусе [офицеров] переписать и ждать дальнейших распоряжений по телефону». Комиссарам Александрову и Олехно срочно выехать на Ивановскую, 13, «по результатам обыска произвести арест; арестованных доставить в Смольный институт, комната № 75»... Комитету латышских стрелков при Смольном — «завтра, 27 февраля, к 12 часам выслать к Александровскому рынку отряд в 100 человек, перекрыть все дороги... Произвести облаву, оружие изъять... Социалистическому отряду из Петропавловской крепости, Особому революционному отряду с Миллионной, 30 — действовать совместно с латышскими стрелками»...

Пакеты, пакеты... Секретная информация от Исполнительного комитета Николаевской железной дороги... В последние дни поступают анонимные письма с угрозой: если Смольному будут даны поезда для «бегства Совнаркома», то Николаевский вокзал «взлетит в воздух»... И по этому донесению принимаются меры.

Над Петроградом неистовый февральский ветер. По окнам Смольного шуршат мелкие льдистые дробинки. Вокруг ночь. Но в Семьдесят пятой по-прежнему горят огни.

* * *

Эту комнату на третьем этаже Смольного в Петрограде знали многие. И друзья, и враги. Сначала там размещался Петроградский Военно-Революционный комитет. Это туда вечером 24 октября 1917 года в

сопровождении связного ЦК партии большевиков пришел В. И. Ленин. Он был тогда без бороды, в очках, с перевязанной щекой, в мятой фуражке и легоньком осеннем пальто. Это там он впервые снял свой конспиративный камуфляж; отсюда руководил Октябрьским восстанием.

Потом В. И. Ленин получил отдельный кабинет — уже в качестве Председателя Совета Народных Комиссаров. И кабинет этот, и секретариат (приемная), и управление делами Совнаркома разместились тоже поблизости.

После Октября Петроградский Военно-Революционный комитет из оперативного штаба восстания превратился в штаб борьбы с контрреволюцией. В Семьдесят пятую и соседнюю с ней комнату непрерывно поступали донесения о передвижении войск, настроения солдат гарнизона и положении на фабриках и заводах, об агитации, которую вели в казармах кадеты и эсеры, «пасторы» (переодетые агенты немцев и американцев) и проповедники из всяких «православных» общин; о совещаниях, гласных и тайных, буржуазных политиков, дипломатов, о том, что делается в генеральном штабе и в конторах банкиров, на железных дорогах, в особняках князей и заводчиков.

Уже 29 октября при ВРК (Военно-Революционном комитете) была создана «Особая разведка», состоявшая из питерцев-красногвардейцев, бесстрашных и надежнейших рабочих, преимущественно членов партии большевиков. Это они совместно с комиссарами ВРК доставляли в Семьдесят пятую матерых шпионов, заговорщиков, предателей, державших затем ответ перед следственной комиссией, которую возглавлял один из ближайших сотрудников В. И. Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Но сами разведчики, будь они семи пядей во лбу, не могли бы справиться с той работой, которая на них обрушилась. И каждый из них имел десятки добровольных помощников — среди рабочих, солдат, гимназистов, прислуги, дворников.

5 декабря 1917 года Петроградский Военно-Революционный комитет закончил свою деятельность. Два дня спустя была образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК). Комиссию возглавил Ф. Э. Дзержинский. Ее штаб-квартирой стал дом бывшего градоначальника на Гороховой (ныне ул. Дзержинского), № 2. Но Семьдесят пятая комната не опустела. Время было трудное. Антисоветское подполье вело атаку широким фронтом. В начале декабря 1917 года Петроград охватила волна пьяных погромов. В подвалы Зимнего дворца, к винным заводам и погребам ринулись босаяки, обитатели петербургских притонов, солдаты-дезертиры, анархисты, мародеры, — словом, всяческие подонки, по-своему истолковавшие свободу, данную революцией. Упившись до омерзения, громили разбрелись по городу, устраивали побоища, грабили магазины,

квартиры, кассиров, нападали на представителей Советской власти.

Как потом выяснилось, все направлялось одной рукой — контрреволюционной организацией, возглавляемой кадетами и черносотенцами. Она располагала огромными средствами и обращала их на подготовку мятежа против Советской власти. Контрреволюция была заинтересована, чтобы в столице «свободно рыскал зверь, а человек ходил пугливо»: в такой каше было легче осуществить задуманное. Для этого и создавались банды разбойников, рассылались по Петрограду агитаторы пьянства, которые восхваляли развеселое житье и распространяли листовки якобы исходившие от Советской власти и разрешавшие брать все, что глаза видят: «все наше, все теперь общее...»

Надо было немедленно положить этому конец. 4 декабря Петроградский Совет образовал Особый комитет по борьбе с погромами. Руководство им возложили на В. Д. Бонч-Бруевича; чрезвычайным военным комиссаром, подчиненным Комитету, стал Г. И. Благодрава. Сам Комитет сформировался из особо выбранных, тщательно проверенных партийцев-рабочих.

8 декабря 1917 года В. И. Ленин писал в Петроградский комитет партии:

«Прошу доставить не менее 100 человек абсолютно надежных членов партии в комнату № 75, III этаж, — комитет по борьбе с погромами. (Для несения службы комиссаров).

Дело архиважно. Партия ответственна. Обратиться в районы и в заводы».

И снова о комиссарах Семьдесят пятой заговорил едва ли не весь Петроград.

Город был объявлен на осадном положении. Погромщиков, застигнутых на месте преступления, тут же расстреливали. Против подстрекателей и пьяных мародеров высылали броневики...

Через три дня пьяные погромы прекратились. Но Комитет не был распущен. Он стал одним из ближайших помощников ВЧК в ее борьбе с антисоветскими заговорами, со шпионами и террористами. Ведь первые месяцы ВЧК была очень малочисленной — 100—120 сотрудников. Поэтому помощь полтораэта комиссаров Семьдесят пятой оказалась весьма существенной.

В. Д. Бонч-Бруевич говорил о своих сотрудниках как о лучших представителях питерских рабочих, как о надежном, испытанном, на все готовом кадре боевого пролетариата.

«Комиссарами Семьдесят пятой» называли и разведчиков-порученцев, которые с первых дней революции находились в прямом подчинении В. Д. Бонч-Бруевича как председателя следственной комиссии Семьдесят пятой и как управляющего делами Совнаркома. В любой час дня и ночи мчались эти комиссары из Смольного с пакетами, устными приказами и чрезвычайными поручениями в районные комитеты партии, районные совдепы, в полки, следственные комиссии революционных комитетов. Им доверяли то, что другим

доверить было невозможно. Они всегда были под рукой, когда нужно было что-то разведать, узнать — очень важное лично для Ленина, для народных комиссаров.

В людском потоке, который разлился по Смольному, не всегда были только друзья. Нужен был глаз, чтобы охранять В. И. Ленина, членов Центрального Комитета партии и членов правительства. Охранять не только у дверей кабинетов. Комиссары Семьдесят пятой появлялись там, где о существовании их никто и не догадывался.

Документы архивов сохранили имена некоторых из этих товарищей. Среди них были Егор Воронцов и Половинкин — красногвардейцы Петроградского трубочного завода (они прибыли в Смольный 29 октября (10 ноября) 1917 года); Григорий Бычков и Семен Сидоренко — матросы 1-го Балтийского экипажа; рабочий, матрос Михаил Цыганков. В документах-удостоверениях, которые им выдавали, они значились то «находящимися на ответственных работах при управлении делами Совета Народных Комиссаров», то «личными секретарями председателя СНК товарища Ленина», то просто «комиссарами Семьдесят пятой комнаты Смольного».

Сохранилась ленинская записка с отзывом о Семене Моисеевиче Сидоренко. Балтийский матрос, он в ноябре 1917 года уезжал в Енисейскую губернию для распространения агитационной литературы. По возвращении в Петроград Сидоренко, как явствует из удостоверения, выданного ему управлением делами Совнаркома, в начале 1918 года состоял «личным секретарем Председателя Совета Народных Комиссаров тов. Ленина». Но в этой должности пробыл недолго. В начале марта было решено использовать Сидоренко на работе в ВЧК. Возникли осложнения. Матрос обратился к В. И. Ленину. 4 марта 1918 года Владимир Ильич написал записку председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому:

«Тов. Дзержинский! Податель Сидоренко был моим личным секретарем несколько дней. Я был им вполне доволен. Уволен он был за один случай, когда в пьяном виде он кричал, как мне передали, что он «секретарь Ленина».

Сидоренко говорит мне, что он глубоко покаялся. И я лично склонен вполне верить ему; парень молодой, по-моему, очень хороший. К молодости надо быть снисходительным.

На основании всех этих фактов судите сами, смотря по тому, на какое место прочтите его.

Ваш Ленин».

Требовательность — будь дисциплинирован и скромнен! — и знание тех, кто окружал Ильича, и вера, что доброе в человеке сильнее того, что толкнуло его на неверный шаг, и забота о том, кто, остывшись, хочет выйти на правильную дорогу, — все это в коротенькой ленинской записке!

О т. Половинкине (инициалы его, к сожалению, установить не удалось) В. Д. Бонч-

Бруевич говорил как об одном «из преданнейших охранителей Владимира Ильича Ленина»; «это первый служащий, которого я пригласил в Совнарком».

Пришел 1918 год. То здесь, то там раскрывались новые контрреволюционные заговоры. Комиссары Семьдесят пятой оставались на посту. Они «открыли много политических и уголовных преступлений, среди которых были очень крупные и важные...» — свидетельствовал В. Д. Бонч-Бруевич.

Когда началось германское наступление и был образован Комитет революционной обороны Петрограда, боевые товарищи из Семьдесят пятой стали исполнять распоряжения и этого Комитета.

* * *

Не терять ни минуты, удар извне подкрепить ударом изнутри — таков был план антисоветских подпольных центров, активизировавшихся в дни немецкого наступления.

Новую опасность Смольный обнаружил вовремя. Еще 21 февраля Совет Народных Комиссаров постановил: неприятельских агентов, громил, контрреволюционных агитаторов, шпионов расстреливать на месте. Комитет революционной обороны Петрограда предписал: все государственные и общественные здания взять под охрану. На улицы направить красногвардейские патрули. Предотвращать всякие собрания и антисоветские выступления. Всем частным лицам немедленно сдать оружие. Задержанные с оружием подвергаются расстрелу! Все нападающие на революционную Россию подлежат расстрелу!

В конце февраля ВЧК, комиссары Семьдесят пятой комнаты, а также исполкомы районных Советов провели массовые ночные обыски в буржуазных домах и подозрительных учреждениях. Чекисты и комиссары извлекли много оружия и захватили важные документы.

Разведывательные данные, добытые в те дни, ясно указывали на то, что террористические акты, подготовляемые подпольными контрреволюционными центрами, направлены прежде всего против руководящих деятелей большевистской партии и Советского правительства. Наряду с немецким наступлением это обстоятельство со всей остротой ставило вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания правительства в Петрограде. Становилось очевидным, что советскую столицу надо перенести подальше от фронта, в более безопасное место.

В. Д. Бонч-Бруевич, располагая обширной секретной информацией революционной разведки, пришел к выводу, что «смольнинский период истории советского правительства должен быть закончен и что правительству необходимо переезжать в центр, в Москву».

В. Д. Бонч-Бруевич доложил о своих выводах В. И. Ленину. Владимир Ильич согласился, что «необходимо взять курс на подготовку учреждений к переезду в Москву». Но условились пока это «не разгла-

шать, в Москву предварительно не сообщать и переезд организовать насколько возможно внезапно».

Очевидно, в тот же день В. И. Ленин напечатал проект постановления:

«1) Выбрать местом нахождения Москвы.

2) Эвакуировать каждому ведомству только минимальное количество руководителей центральной административного аппарата, не более 2-3 десятков человек (плюс семьи).

3) Во что бы то ни стало и немедленно вывезти Государственный банк, золото и Экспедицию заготовления государственных бумаг».

Ночью 26 февраля ленинский проект с незначительными изменениями был утвержден на закрытом заседании Совнаркома. Только немногие были в это посвящены.

Лицом к лицу

Распоряжение Комитета революционной обороны Петрограда:

«Ввиду чрезвычайного времени необходимо усилить охрану железных дорог и в особенности ж. д. мостов. Охрана Николаевской имеет величайшую важность.

Совету железнодорожных депутатов Николаевского узла предлагается немедленно организовать Красную Армию для охраны путей Николаевской дороги. Красногвардейцы будут вооружены для этой цели немедленно».

Этот приказ последовал в первые же часы деятельности Комитета революционной обороны Петрограда. Ночью 21 февраля на главный столичный вокзал из Смольного возвратился комиссар и член Исполнительного комитета дороги Петр Лебит. Он прошел на второй этаж, где заседал Исполком. Комиссар рассказал о приказах, полученных в Смольном, и предложил план действий.

Дорожный совет рабочих депутатов управлял дорогой, исполнял функции профсоюзные, а с недавних пор — и Центрального Военно-Революционного комитета дороги. Конторщик и слесарь, токарь и присяжный поверенный, стрелочник и вагонный мастер, смазчик и весовщик — люди, революцией открытые и ею взращенные, — вот кто составлял этот Комитет.

Петр Григорьевич Лебит, партиец с баррикадных дней первой русской революции, встретил 1917 год в Петрограде рабочим заводом «Айваз». На Николаевский вокзал он впервые прибыл не то 25, не то 26 октября — с напутствием Я. М. Свердлова, с мандатом Петроградского военно-революционного комитета: «Чрезвычайный комиссар Николаевской дороги и вокзала»... Он и в феврале восемнадцатого оставался на этом посту.

Павел Осипович Осипов был членом Исполкома дороги еще в дооктябрьском его составе. Не все тогдашние комитетчики

(среди них большинство составляли эсеры, сторонники Вижеля) встретили комиссара Смольного дружелюбно. Многие игнорировали его приказы. Петру Лебиту пришлось вызвать из Смольного отряд матросов, арестовать саботажников и вместе с революционными рабочими-железнодорожниками налаживать движение. «Одним из первых, который предложил мне помощь в работе, — вспоминал Петр Лебит, — был т. Осипов». Он «оказал громадную услугу революции».

В начале декабря дорожный делегатский съезд избрал новый состав Исполкома. Председателем стал Павел Осипов.

Николай Иванович Калюкин по профессии был слесарь. Года два назад он пришел в депо Петроград-Московское. Приняли его холодно: среди мастеровых было много вахновцев...

Когда-то давно поступил в депо стляр из деревни Вахново, что на Смоленщине. За ним — другой, третий. Так и собрались — сваты, кумовья, земляки. В Питере они и через много лет выделялись среди прочего мастерового люда. Имели на родине свои дома, свою землю и скотину. Словом, полурабочие, полукрестьяне, да с особой завказской: «Мое!». Вахновцы (это имя стало нарицательным, ибо из-под Костромы или из-под Твери нередко приходили такие же) держались подалше от политики, крепко дорожили своей копеечкой, припрятавали ее на черный день и терпеть не могли «фабричных»: по понятиям вахновцев, те «подкапывались» под их землю, под их дома и копеечки.

А Николай Калюкин уже кое-что смыслил в политике — не раз читал большевистские прокламации. Был знаком и с теми, кто приносил их в депо. Скоро и сам брал такие листки для своих товарищей. Вахновцев Калюкин обходил. К февралю семнадцатого года Николай уже твердо определил свой маршрут — с большевиками. И в тот день, когда поднялся рабочий Питер, Николай первым крикнул слесарям, молотобойцам, кузнецам:

— Ребята, баста! На улицу!

С красным знаменем, с боевыми песнями вышли на Лиговку.

— Вон ты какой! — поеживаясь, сказали вахновцы.

И запомнили: Калюкин — большевик.

В июльские дни в ту сторону, где за верстаком работал Калюкин, летели болты и гайки. Но запугать его не удалось. В сентябре, когда разгорелся корниловский мятеж, большевик-слесарь первым из деповцев взял винтовку. В октябре он шел во главе отряда красногвардейцев на штурм Зимнего. По мандату Исполкома дороги твердой рукой вводил рабочий контроль. Где надо было действовать по-революционному, силой, направлял Николая Калюкина.

Сродни ему были и другие члены Исполкома — токарь-партиец Николай Саарман, рабочие-движенцы Александр Фалькевич, Александр Кастров, А. С. Мамаев, бывший присяжный поверенный, большевистский агитатор Павел Вомпе...

...После Петра Лебита на заседании Исполкома дороги говорили Павел Осипов и Николай Калюкин.

Постановили: первое — воссоздать Чрезвычайное революционное бюро и сформировать чрезвычайные революционные силы для охраны дороги — вокзалов, путей, мостов. Охрану Николаевского вокзала возложить на членов Исполкома Петра Лебита и Николая Калюкина; второе — «для борьбы с наступательным движением германцев по Николаевской железной до-

роге» и с дезорганизованными элементами, покидающими фронт, двинуть в район Бологое — Полоцк подрывные поезда и партизанские летучие отряды. Их задача — выводить из угрожаемых районов подвижной состав, взрывать все, чем может воспользоваться враг, поддерживать на линиях, ведущих к Петрограду, железный революционный порядок.

Тут же выдали мандаты. Один из них — Николаю Калюкину:

«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рабочих, мастеровых и
служащих Николаевской ж. д.
21 февраля 1918 года
№ 678
Петроград

Дано сие члену Исполнительного Комитета тов. КАЛЮКИНУ в том, что он по постановлению Комитета в заседании от 21 февраля избран членом Чрезвычайного революционного бюро по охране Николаевской железной дороги, которому даны самые широкие полномочия в отношении установления порядка и охраны на дороге вплоть до применения оружия.

Исполнительный комитет просит все районные Советы рабочих и солдатских депутатов и местных организаций в потребных случаях оказывать тов. КАЛЮКИНУ всякое содействие.

Председатель Исполнительного Комитета — П. Осипов.

Секретарь — А. Иванов».

Павел Вомпе получил предписание отправиться на «линию Полоцк — Бологое для образования партизанского отряда Исполнительного комитета...»

К утру Осипов и другие члены Исполкома были уже на линии:

«Кому дорог Петроград с его пролетарским населением, должен сейчас же идти на Николаевский вокзал. Там вооружат...»

Вновь, как в Октябрьские дни, в дорожные комитеты потянулись машинисты и смазчики, слесари и телеграфисты... Через два-три дня Чрезвычайное революционное бюро по охране дороги уже располагало несколькими красногвардейскими отрядами.

В подчинение Бюро перешли и отряды, сформированные еще в Октябре. Чрезвычайному бюро была подчинена и железнодорожная милиция, впрочем, тогда еще малочисленная. На главном столичном вокзале было сформировано несколько красногвардейских дружин. Одну из них возглавил старый путеец большевик Иван Иванович Отто.

* * *

Проснувшись утром 27 февраля, Петроград увидел на стенах многих домов отпечатанные на пишущих машинках прокламации: «Россия продана немцам!»

На Невском и Владимирском проспектах, на Миллионной и Лиговке появилось еще больше чем прежде продавцов буржуазных газет. Они обращались к «своим», из «интеллигентных», и кричали:

— Новое предательство Смольного!.. России больше нет! Россия кончилась... Читайте «Речь», здесь все написано...

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вместе с «Речью» продавцы-добровольцы вручали листки:

«Германские генералы предлагают петербургскому населению запастись продуктами на десять дней...»

И шепотом:

— Через десять дней...

На первый взгляд противоречие: «Россия продана немцам» — и из того же лагеря: «Немцы, слава богу, скоро будут в Петрограде».

В чем же дело?

С той поры, как в Бресте начались мирные переговоры, в политической жизни России не было ни одного сколько-нибудь значительного события, которое в той или иной мере не окрашивалось бы огнями, искрами и дымами Бреста — следствием столкновений классов, партий, групп и отдельных личностей из-за проблем, которые решались дипломатами в древней Брестской крепости.

Переговоры с Германией с самого начала были трудными. Советская Россия стремилась подписать равноправный мир, мир без аннексий и контрибуций. Германский империализм преследовал откровенно грабительские цели. Немецкие дипломаты в Бресте потребовали, чтобы Россия согласилась признать территориальные захваты, уже произведенные германской армией, и сверх того — очистить ряд областей Литвы и Латвии, всю Эстонию, часть земель Белоруссии, предоставить Германии свободу действий на Украине и, наконец, выплатить колоссальную контрибуцию.

В русском языке нет, кажется, слов более суровых и беспощадных, чем те, которые употреблял В. И. Ленин, чтобы дать оценку германским требованиям. Он называл их зверскими, угнетательскими, похаб-

ными; он говорил, что этот мир архитежкий, позорный, несчастный. Но при всем этом Ленин предлагал этот мир принять.

Советское правительство стояло тогда перед выбором: либо мир и тогда — передышка, которая позволит укрепиться, отстоять завоевания Октября, углубить социалистические преобразования, сохранить отечество социализма, либо — схватка с могущественным врагом при отсутствии у молодой республики боеспособной армии (старая — голодная, раздетая, безоружная, морально истомленная — раскодилась по домам, а новая еще только зарождалась); схватка в условиях наименее выгоднейших и тогда — наверняка гибель всего того, что добыто ценой борьбы и тяжелых жертв трудового народа России, гибель Республики Советов.

Положение в стране и в партии осложнялось тем, что среди членов Центрального Комитета не было единогласия по вопросам мира. В. И. Ленин много раз ставил вопрос в ЦК о немедленном принятии германских условий, но на первых порах оставался в меньшинстве.

Против ленинского курса выступили Троцкий и группа «левых коммунистов», возглавляемых Бухариным. «Левые» требовали ведения «революционной войны» с Германией, а Троцкий, практически стоя на тех же позициях, что и «левые», выдвинул авантюристический лозунг: «Ни войны, ни мира».

Взгляды «левых коммунистов» нашли поддержку в ряде местных партийных организаций. Но большинство их (80 из 133) высказались за ленинскую позицию.

Троцкий усугубил тяжесть создавшегося положения, когда, возглавляя советскую делегацию в Брест-Литовске, нарушил указание В. И. Ленина и заявил, что Россия мира не подписывает. Это заявление привело к срыву мирных переговоров.

Германское наступление, начатое 18 февраля, имело целью силой продиктовать Советской России ультиматум.

В ночь с 18-го на 19 февраля Совет Народных Комиссаров направил в Берлин радиogramму с резким протестом против нарушения перемирия, одновременно с вынужденным согласием подписать брестские условия мира.

Немцы ответили не сразу. Только утром 23 февраля дипкурьер привез в Смольный новый германский ультиматум. Он оказался еще более тяжким. Но и теперь Ленин настоял: подписывать! Ленин верил, что Брестский договор будет недолговечным (так и оказалось), что передышка означает путь к победе (так и случилось). В ночь с 24-го на 25 февраля в Брест для подписания мирного договора выехали Г. В. Чичерин, Г. И. Петровский, Л. М. Кархан и другие советские делегаты.

Все эти месяцы, с ноября семнадцатого года, покуда шли мирные переговоры, из антисоветского лагеря на Ленина, на правительство народных комиссаров, на большевиков сыпался град проклятий. Сначала за то, что мирные переговоры были

начаты без согласия правительств союзных России стран (они отказались участвовать в этих переговорах), потом за то, что Ленин стал требовать принятия даже тяжкого, даже «зверского» мира.

Сами готовые открыть ворота Петрограда не только войскам германского кайзера, но хоть самому черту, лишь бы он шел свергать Советскую власть, буржуазные лидеры наперебой, один другого громче, один другого заковыстее, с каждым днем все оглушительнее, лицемернее и наглее кричали на митингах и в газетах: «Большевики — шпионы Вильгельма», «У Ленина тайный сговор с германскими генералами», «Большевики по дешевке распродают Россию...»

Кадетским газетам вторили меньшевистские и эсеровские. Те уверяли, что большевики «изменили социалистическим идеалам» и «стали приверженцами германского империализма»; что «переговоры в Бресте — это комедия с заранее распределенными ролями»; что «перемирие с германскими генералами есть малодушный отказ от первоначальных замыслов великой революции».

К обнаженной ране всегда липнут слепни и мухи. Остроблезненные проблемы Бреста враги использовали против тех, кто, идя на тяжелые жертвы, оставались подлинными патриотами России — России социалистической.

После отъезда Чичерина в Брест антисоветская печать окончательно потеряла всякое самообладание, и то, что она теперь писала, в разных вариациях повторяли настенные афишки, появившиеся в Петрограде утром 27 февраля.

Наемные плакальщики навзрыд оплакивали «жалкую сиротину Россию», которую «выгнали за дверь на сквозняк и стужу», и вот, «распластанная, лежит она, кроткая, беззащитная, полуживая, глядя в небо оплеченными глазами»...

Эх, яблочко, куда ты котишься...

Два Невских проспекта — старый и новый — сошлись 27 февраля вплотную, лицом к лицу, и схватились круто, жестко.

Во всю ширину проспекта атели полотнища: «Петроград защитим!», «Отечество защитим!» Под транспарантами, как под арками, проходили колонны красногвардейцев, спешивших к вокзалам, на фронт. Обгоняя колонны, за город мчались грузовики: рабочие и работницы отправлялись рыть окопы, строить проволочные заграждения... И в те же часы по очередям, по лавкам, трамваям, конторам, а за пределами Невского — по заводам и солдатским казармам шныряли переодетые белогвардейские офицеры, «христианские миссионеры» с американскими или английскими паспортами, саботажники всех званий. И к прежним невероятным слухам прибавлялись новые. О том, что Ленин, мол, получил от Вильгельма тридцать миллионов марок за подпись, которую Чичерин поставит в Бресте... О том, что особая цена установлена за

очищение Петрограда... О том, что Ленина яковы уже видели на Волге, в Симбирске.

Те, кого взвинчивали этой агитацией, и сами агитаторы в полдень 27 февраля оказались на Знаменской площади перед Николаевским (Московским) вокзалом, на соседней Лиговке и на Гончарной. Самая большая толпа собралась у памятника Александру III — он стоял посреди площади. Ораторы выкрикивали: «Большевики — шпионы!», «Ленин должен уйти!», «Да здравствует Учредительное собрание». Звучали призывы немедленно начать формирование «отрядов общественного спасения», чтобы «избавиться от чекистов, красногвардейцев и дипломатов, продающих Россию». Среди ораторов были господа в меховых шубах, и чиновники в шинелях, и ротмистры в фланелевых башлыках, и дородные дамы в меховых капюшонах, и истеричные барышни в плюшевых шляпках. Говорили и ораторы особого сорта. Одетые в солдатские шинели, они тем не менее мало походили на фронтовиков. Речи их были то ядрено-мужицкие, то цветасто «революционные», то смиренно робкие. Но угадывалось: говорит не солдат-крестьянин, не рабочий-агитатор, не тихий обыватель. Скорее всего — переодетый белогвардейский офицер или «пастор», состоящий на тайной службе в американском посольстве. Все, что составляло злобу дня, — и мир с Германией, и положение в Петрограде, и возможный переезд правительства, — все злобно перемешивалось в словесной толчее.

Никто из ораторов, разумеется, не знал о решении Совнаркома, принятом накануне ночью. Но о том, что правительство, по видимому, будет переезжать, Петроград говорил уже больше недели. Это носилось в воздухе, это угадывалось. Угадывались и причины возможного переезда — правительство не может оставаться в городе, к стенам которого приближаются вражеские армии, а внутри зреют антисоветские мятежи. Но тот, кто находился по другую сторону баррикад, кто хотел, чтобы в Петрограде все закипело в водовороте ненависти, кто стремился создать ловушку для Советского правительства, тот намеренно плел ложь, науськивал: «Петроград продан немцам...», «Ленину что: сам сбежит, а рабочим — беда...»

Антисоветские сборища на Знаменской площади были продуманным шагом контрреволюционного подполья, пробой сил для открытых антисоветских выступлений.

В разгар речей на площади со стороны Невского проспекта показалась огромная толпа солдат и матросов. Она держала путь к Николаевскому вокзалу. Все несли в руках или за плечами узлы, мешки, сундуки, чемоданы. Все были вооружены — кто карабином, винтовкой, пистолетом, кто вдобавок и бомбой, гранатой, торчащей из-за пазухи или из-под ремня. В толпе, распространявшейся по всей ширине проспекта, было и немало пьяных, исторговавших гуань.

Россия знала беззаветную доблесть и рыцарскую красу матроса и солдата революции. Но среди тех, кто подходил сейчас

к Знаменской площади, были типы, которые даже по одежде имели мало что схожего с бойцами революционной армии и флота. Бескозырка и кавалерийские сапоги, шинель или бушлат, а под ним — визитка с круглыми фалдами, и жилет, и дорожная сорочка с запонками из магазина Фаберже... Все это было «добыто» по пути из полков, казарм, экипажей...

• • •

Идут к вокзалу рассыпным строем,

Герой за героем:

Солдаты, солдаты, солдаты!

Спросил одного я: «Куда ты?»

— Куда ж, — говорит, — известно:

Чай каждому дома быть лестно. —

Узлы и слева и справа.

«А немецкая как же расправа?»

Ухмыльнулся герой: «Это нас не

касается,

Немец... ен не кусается».

Дед Софрон

(Демьян Бедный. Петроград.
28 февраля 1918 г.)

• • •

Беда не ходит в одиночку. Четвертый год бушевала война. Истерзанные ее лишениями, безмерно уставшие, «все, что мыслимо, испытавшие», солдаты, прошедшие через это, давно говорили: «Мы захлебнулись в крови; воевать дальше не можем». Это была горькая правда. Но — не вся. Раньше война велась за чужие Дарданеллы для «батюшки-царя», потом — за Дарданеллы для Милюкова и Терещенко. Теперь родилась новая Россия. Она делала все, чтобы вырваться из пучины войны. Она звала к всеобщим мирным переговорам. Но на рабоче-крестьянскую Россию напал внешний враг. Кому как не солдатам России было защищать это — теперь действительно свое — Отечество? В этом состояла новая правда. Однако ее понимали пока немногие. И солдаты продолжали массами покидать фронт, торопились к своим семьям и хатам, торопились и за тем, чтобы скорее разделить помещичью землю...

Вместе с демобилизацией старой армии шло создание новой — добровольческой, социалистической, рабоче-крестьянской. Но ее полков было еще ничтожно мало. На формирование новой армии требовалось время.

Старую бегущую армию В. И. Ленин называл большой частью государственного организма. Но верил — этот «организм в целом здоров: он преодолет болезнь». Будет у Советской России армия, перед которой не устоит никакая другая. Первые ее отряды уже геройски сражались под Петроградом. А пока...

С фронта в Прибалтике, с кораблей и морских баз Финляндии на Петроград обрушился поистине неудержимый людской обвал. На прифронтовых станциях каждый поезд, любой порожний вагон, пассажирский и товарный, брался с боя. Звенели разлетающиеся вдребезги стекла, скрипели и стонали срываемые с петель двери... «Домой! На Питер! На Москву! На Кавказ! За Урал!» Добравшись до Петрограда и имея уже опыт успеха, солдаты в столице дей-

ствовавали еще напористей. Винтовки наперевес, револьверы на взводе: «В Москву! В Вологду! В Кострому! В Тифлис!»... Николаевский, Варшавский, Царскосельский, Балтийский, Финляндский вокзалы столицы оказались под непрерывной атакой солдат и матросов, уходивших из-под Пскова, Нарвы, из Гельсингфорса. Озябшие, проголодавшиеся, озлобленные, они бродили по путям, отыскивая поезда, захватывали их, требовали отправки в тыл вне всякой очереди. Другие, посдержаннее, валялись на полу, на скамейках, в грязных, заплеванных пассажирских залах и ждали своей очереди.

Среди фронтовиков, покидавших полки и корабли, были не только честно, до дна испившие чашу войны. Был и деклассированный элемент, всяческая накипь. Эти усвоили только одну сторону войны — власть силы. Ими предводительствовали белогвардейские офицеры и анархистские

вожаки. Они тянулись в Петроград, в Москву, чтобы «пограбить буржуев», почистить казну, взять то, что плохо лежит.

Приказы по армии и флоту требовали: каждый, кто оставляет полк или корабль, обязан сдать оружие. Оно необходимо Красной Армии. Всякий задержанный с оружием «объявляется контрреволюционером и мародером», с того спрос по законам военного времени! Особо строго применялся этот приказ к анархистствующим солдатам и матросам — опасному взрывчатому материалу, которым мог воспользоваться враг.

...Толпа, надвигавшаяся с Невского, шла за тем же, что и предыдущие толпы, — силой пробиться в вокзал, захватить вагоны, атаковать поезда, заодно пограбить товарные эшелоны — взять муку и консервы, крупу и спирт.

Когда на Знаменской площади начались летучие митинги, с вокзала позвонили в Смольный. Там решили:

«ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ
раб. и солд. депутатов
КОМИТЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ОБОРОНЫ ПЕТРОГРАДА
Смольный институт
№ 355

П Р И К А З
БОЕВОЙ ДРУЖИНЕ...

27 февраля 1918 г.

Комитет революционной обороны г. Петрограда приказывает Вам немедленно по получении сего послать отряд в 150 человек для разгона митингов, имеющих место на Знаменской площади (угол Невского и Лиговки). Об исполнении сообщить по телефону 62».

Комиссар Семьдесят пятой помчался на Кировскую, где помещалась дружина. На Знаменскую площадь отпоявились латышские стрелки.

Когда с Невского показалась вооруженная толпа, сигнал боевой тревоги прозвучал и в здании Николаевского вокзала. Калюкин приказал красногвардейцам: «В ружье!» Несколько минут — и все входы были перекрыты.

Дружинники и латышские стрелки приехали на грузовиках. «А ну, расходись!»... «По домам, господа буржуи!»... Не помогло... «Ложись! Бросаю гранату...» И с грузовиков полетели... консервные банки. В ответ истеричные крики: «Варвары, насильники!» Кое-кто, пригибаясь и оглядываясь, побежал к ближайшим подворотням. Другие замерли в ожидании взрыва. Наконец какой-то военный разглядел: «Да это ж консервная банка!»... И опять осмелели ораторы. Теперь они надеялись поднять фронтовиков, подошедших к вокзалу. Кричали, указывая на окна Исполкома, выходившие на Гончарную: «Вот кто Смольному служит! Вот кто фронтовикам не дает поездов!»

«...Исполнительный комитет, расположенный в здании вокзала, — вспоминал впоследствии Павел Осипов, — десятки раз подвергался открытому штурму белогвардейцев со стороны Знаменской площади, Лиговки, Гончарной. Не раз в окна комитета залетали пули, посылаемые контрреволюционерами...» В то же время «поды-

мались ораторы, призывавшие к свержению Советской власти...» Что в таких случаях оставалось делать? Консервные банки уже не помогли... Иного выхода не было. «...Вдруг вздрагивал воздух, и эти ораторы, не успев излить в толпу всю гнусную ложь, падали мертвыми...»

Исполнительный комитет имел в своем распоряжении четыре броневика. С замороженными радиаторами подобрали их железнодорожники на Лиговке и Загородном проспекте. Отремонтировали, водворили в гараж: на всякий случай...

Броневики появились на Знаменской в самый напряженный момент. По команде Калюкина они открыли огонь из пулеметов. Правда, вверх, в воздух. Но и это подействовало. Толпа рассеялась...

Лишь полтора-два десятка пьяных матросов, присоединившись к «ораторам», стреляли в окна Комитета. Остальные выжидали или разбрелись... Вновь появились полчаса спустя, когда броневики стали курсировать вокруг памятника царю. Но теперь подходили небольшими группами.

— Ребята, сдавай оружие! — требовал Николай Калюкин. Он являлся перед фронтовиками в лихо заломленной папаче, железнодорожной шинели, с красной повязкой на рукаве, с саблей, висевшей на пояском ремне, с наганом, поднятым над головой. — Ни один вооруженный в вокзал не войдет!

Но легко сказать — не войдет. Перед подъездами вокзала разгорались рукопашные схватки. «...У другого, черта, так и не

оторвешь руки от винтовки,— рассказывал Николай Калюкин.— Сроднился с ней, бедняга; ближе, верней все эти годы никого не было». Солдаты, матросы говорили и такое: «Винтовка еще понадобится в деревне»... «Зачем?» — спрашивал Калюкин. «Будем землю брать»...— «Да у кого отбирать-то, коль она теперь и так ваша?» Третьи не договаривали, почему хотят сохранить оружие, только твердили: «Не дам, и баста!» И продолжали напирать. «Но у входов в вокзал — Лебит, Осипов, Смирнов, Прохоров, Колька Стуков, Костров... Красногвардейцы стоят твердо, охрипло рвут глотку на ползущую серую массу. И как ни трудно — отбирают оружие».

Только обезоруженными солдаты и матросы получали доступ в вокзал.

(Через день комиссары Семьдесят пятой комнаты Смольного Игнатьев и Мартынов, посланные В. Д. Бонч-Бруевичем, привезли с Николаевского вокзала в Петропавловскую крепость около тысячи винтовок и карабинов).

...День 27 февраля оказался тревожным не только на Знаменской площади. Не прошло и часа, как Калюкину вновь пришлось поднимать свой отряд. Из Царского Села на Петроград двинулись солдаты-дезертиры 4-го стрелкового полка. Они уже достигли Сортировочной и Воздухоплавательной платформ. И опять разгорелись схватки.

«Слухи об эвакуации ложны...»

В третьем часу ночи на 28 февраля председателя Исполкома дороги Павла Осипова вызвали к народному комиссару путей сообщения В. И. Невскому.

Исполкомовский «бенц» остановился перед старинным дворцом на Фонтанке.

Владимир Иванович Невский, худой, усталый, озабоченный, сидел в бывшем кабинете министра — огромной уютной комнате с высоким потолком, за неуклюже

«ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ
раб и солд. депутатов
КОМИТЕТ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ОБОРОНЫ
г. Петрограда
Смольный институт

В КОМИТЕТ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

Срочно и секретно
27 февраля 1918 г.

По сведениям, поступавшим в Штаб революционной обороны от товарища, заслуживающего полного доверия, стало известно, что в ближайшие дни группой «Буревестника»...¹ готовится визальное нападение на Смольный.

Комитет предписывает принять соответствующие меры...»

Такое же распоряжение последовало коменданту Смольного — предупредить нападение анархистов...

И раньше были подозрения, что вражеская разведка имеет среди служащих Смольного «своих людей». Были сигналы: «в решительные минуты возможна измена».

громадным столом, на дубовом стуле с высоченной спинкой, под саженной, без огней, люстрой. По тому, как выглядел нарком, угадывалось, что он тоже, как и Осипов, еще не ложился и тоже, наверно, вторые или третьи сутки был на ногах.

В. И. Невский сообщил, что получено срочное распоряжение Совета Народных Комиссаров — подготовить три состава классных пассажирских вагонов. Поезда сосредоточить в укромных местах. Так, чтобы не вызвать подозрения даже у железнодорожных служащих. Нарком пояснил, что правительство переезжает в Москву. Но пока это должно держаться в секрете. Для подготовки поездов привлечь самых надежных людей.

Осипов предложил в государственную эту тайну, кроме Петра Лебита, комиссара дороги и вокзала, посвятить только двух членов Исполкома — Николая Калюкина и Николая Саармана. Этим людям нарком знал, выбор одобрил.

* * *

Утром 28 февраля в разных местах Петрограда опять были сходки у церквей, перед рынками, в глухих переулках. Но, наученные вчерашним, зачинщики поспешно расходились, как только показывались красногвардейцы. Невский проспект заметно приуныл. Ни трудовой Питер, ни даже пьяные матросы не пошли за ораторами со Знаменской.

Но контрреволюция не сложила оружия. Тысячи буржуазных домов, загородных дач, всякие темные углы Петрограда, трактиры и ночлежные дома стали полем незримой битвы... Ночью 28 февраля погиб чекист Иван Чугунихин. Его завлекли в безлюдную квартиру на Васильевском острове и сразили кинжалными ударами... В час ночи с 1-ое на 2 марта на одной из глухих улиц Петрограда вооруженная банда обстреляла и отбила автомобиль ВЧК...

Что-то недоброе затевалось против Смольного.

Предлагалось установить более строгий порядок выдачи пропусков, пересмотреть штат служащих, «всех, не имеющих известных рекомендаций, уволить». Теперь назывались совершенно определенные имена: «Мы, служащие управления делами Совета Народных Комиссаров, считая, что

¹ Имелась в виду боевая группа анархистов, сторонников газеты «Буревестник», выходившей в Петрограде. Газета выступала против всякой государственной власти, призывала к свержению Советского правительства.

лица, находящиеся при управлении, должны быть нашими товарищами по взглядам и убеждениям, находим, что состоящий при товарище Ленине... Н., а также его брат находиться на подобном посту не могут. Доверять жизнь товарища Ленина таким людям мы не считаем возможным...» Сотрудники, обратившиеся с этим письмом к В. Д. Бонч-Бруевичу, требовали немедленно принять меры. Они были столь убеждены в своей правоте, что после подписей сделали приписку: «Ответ таков: надо расстрелять его или нас».

Среди написавших это заявление была Юлия Сергеева, сотрудница секретариата Совнаркома. Ей можно было верить: не подозрительность руководила ею. Она была молодой, но искренне преданной революции. Дочь уральского железнодорожника, она и сама стала рано работать, совсем юной вступила в революционное движение и уже с 16 лет познала и аресты и политические ссылки. Во время войны вела подпольную работу в городе Николаеве. В начале 1917-го приехала в Петроград и сразу оказалась в самой коловерти бурлящего потока — в агитпункте Таврического дворца. В дни Октября была красногвардейцем и большевистским агитатором. С ноября семнадцатого работала в управлении делами Совнаркома (в дальнейшем была на фронтах гражданской войны, окончила Коммунистический университет, была на ответственных хозяйственных должностях). Тревога, подсказанная сердцем, — вот что руководило Юлией Сергеевой. Далеко не все служившие тогда в Смольном пришли туда таким, как она, путем. Были среди них и служащие дореволюционных правительственных учреждений. Вражеская разведка и искала в этой среде «союзников». Вот почему нужна была бдительность и бдительность.

* * *

Еще 23 февраля американская и японская дипломатические миссии заявили, что они покидают Петроград и намереваются расположиться в Вологде. Английское, французское, бельгийское, итальянское и другие посольства объявили о своем решении выехать за границу. Они обратились в Народный комиссариат иностранных дел с просьбой предоставить им специальные поезда со спальными и багажными вагонами, вагонами-ресторанами и платформами для автомашин.

Отъезд посольств за границу был умеренной политической демонстрацией, очередным шагом в дипломатической игре, которую вела Антанта. Отъезд означал: «Нынешнее правительство России не признаем, а потому удаляемся». Это была реакция и на брестские переговоры. Антантовские дипломаты каждый раз выступали с угрозами, когда в Бресте намечалось сближение; они обещали «дружбу» и помощь, когда в Бресте возникали осложнения. Через день после отъезда Г. В. Чичерина в Брест антантовские дипломаты решили хлопнуть дверью. Правда, публично

они объяснили свой отъезд невозможностью оставаться под германской угрозой. «Но зачем же за границу? Россия велика, места в ней достаточно...» Ответ был один: только за границу!

Просьбу удовлетворили. Вечером 28 февраля дипломаты выехали с Финляндского вокзала¹. Им предоставили и спальные вагоны, и вагоны-рестораны, и багажные, и платформы. Дали даже охрану из красногвардейцев. Но в тот же вечер по Петрограду поползли слухи: «Слыхали? Дипломаты дали ходу... И как? В теплушках — лишь бы скорее из Петрограда!» Сеятели лжи находили даже «объяснение»: мол, представители иностранных держав не верят ни в способность, ни в желание большевиков защищать Петроград.

В накаленной обстановке тех дней и такие слухи немедленно возымели действие.

В Петрограде давно было голодно. По утрам у хлебных лавок выстраивались длинные очереди. Стояли часами, а уносили домой тощие коврижки, да и какого хлеба? С мякиной, со жмыхом. В Петрограде уже ели конину. В городе не было топлива. Голод и холод заставляли питерских рабочих отправлять свои семьи в деревню. Уже давно шла эвакуация петроградской промышленности — чтобы облегчить продовольственное положение столицы, уменьшить подвоз сырья и топлива, — это при расстроеном транспорте было особенно важно.

Эвакуация заметно усилилась с началом немецкого наступления. 27 февраля 1918 года Совнарком учредил чрезвычайную комиссию по разгрузке Петрограда, чтобы осуществлять эвакуацию организованно, в соответствии с возможностями железнодорожного транспорта.

Революция, беспокойная жизнь в столице заставили подняться с места буржуазный мир. Он двинулся на Украину, за Вологду, в Сибирь отсидеться, а там авось и все переменится. По российским дорогам суетно метался и спекулянт-мешочник, и всякий другой люд, причастный к черному рынку. Перед билетными кассами уже и без того стояли длинные очереди. Теперь разом все обострилось, очереди троекратно выросли. Растерялись и многие трудовые семьи. И рядом с демобилизованным солдатом и матросом на питерских вокзалах появились старики и женщины, дети и больные, нетерпеливо ожидавшие своей очереди, чтобы купить билеты до Москвы, Саратова, Вятки, Вологды...

Комитет революционной обороны Петрограда немедленно реагировал на новую опасность, возникшую в столице. Были приняты меры, чтобы не допустить дальнейшей дезорганизации железнодорожного транспорта. Состоялось решение: с 28 февраля продажу билетов производить только

¹ Во второй половине марта, когда антибрестские демонстрации утратили всякий смысл, союзные дипломатические миссии возвратились в Россию и осели в Вологде.

по пропускам, выдаваемым комиссией, учрежденной Петроградским Советом. Выезд из столицы разрешить в первую очередь пролетарским семьям — женщинам с детьми, старикам, больным. Было решено регулировать отныне не только выезд, но и въезд в Петроград. Для контроля создавались «вооруженные и решительно действующие команды». 2 марта последовало новое распоряжение: «Вследствие перегрузки Николаевской железной дороги» выдачу разрешений на выезд частных лиц по этой дороге временно прекратить — до особого оповещения.

Новые крутые меры принимались к солдатам и матросам, бесчинствовавшим на вокзалах. Комитет революционной обороны издал приказ:

«...Всем начальникам вооруженных отрядов, а также комиссарам и начальникам

станций, в чьем распоряжении имеется вооруженная сила, останавливать и обезоруживать бегущих... Не желющих вступать в ряды Красной Армии направлять, обязательно минуя Петроград, к ближайшим воинским начальникам для дальнейшего направления по губерниям. Не повинующихся, не сдающих оружие или угрожающих применить вооруженную силу — расстреливать на месте без суда».

В Смольном понимали: то, что в городе растет паника, вызвано главным образом вражеской агитацией и прежде всего слухами о том, что «Петроград продан немцам», что правительство «очищает город в надлежащий срок», а потому оно и само бежит, и дипломаты бегут, и все бегут.

Утром 1 марта петроградская «Красная газета» вышла с оповещением, напечатанным на самом видном месте:

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ

РАБ. СОЛД. И КР. ДЕПУТАТОВ ЗАЯВЛЯЕТ:

1) Все слухи об эвакуации из Петрограда Совета Народных Комиссаров и ЦИК совершенно ложны. Совет Народных Комиссаров и ЦИК остаются в Петрограде и готовят самую энергичную оборону Петрограда.

2) Вопрос об эвакуации мог быть поставлен лишь в последнюю минуту в том случае, если бы Петрограду угрожала самая непосредственная опасность — чего в настоящей момент не существует».

«НЕ ВЕРЬТЕ ПРОВОКАЦИОННЫМ СЛУХАМ! — писала в тот же день «Красная газета».

Заявление ВЦИК было вынужденной мерой, рассчитанной прежде всего на то, чтобы успокоить питерцев. Но означало ли это отмену решения Совнаркома от 26 февраля? Нет. ВЦИК указал лишь на то, что правительство не намеревается покинуть Петроград сейчас, немедленно, когда судьба города еще не ясна. Правительство остается в Петрограде и будет, как прежде, делить со всеми питерцами невзгоды вражеской осады. Будет, опираясь на все революционные силы, защищать город Октября. «Лишь в том случае, если бы врагу удалось разбить стоящие на его пути революционные отряды и появиться у самых врат столицы, лишь в этом случае, — разъясняла «Красная газета», — может встать вопрос о переезде членов правительства в другой город для организации дальнейшей борьбы с врагом».

Да, Центральный Комитет большевистской партии, ВЦИК, Совнарком оставались в Петрограде, продолжали напряженно и действительно работать, руководя обороной столицы, всей Республики. Ленин, члены ЦК, народные комиссары, как прежде, выступали на заводах и в полках, заседали в Смольном, принимали ходяков из деревни, рабочих и солдат, решали неотложные дела по формированию новой армии, руководили ее операциями на фронтах, расстав-

ляли новые силы для отражения атак внутренней контрреволюции, продолжали дипломатическую битву, чтобы вывести Россию из войны — заключить мир с Германией, нейтрализовать антантовскую дипломатию; готвили экстренный съезд партии для выработки решений по вопросам войны и мира.

Вместе с тем правительство не могло, не имело права проявлять беспечность, не заботиться о том, где ему находиться завтра, если обстановка в Петрограде круто изменится. Вот почему наряду с гласными заявлениями и мерами проводились и негласные:

«1 марта 1918 года

Секретно

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗГРУЗКЕ ПЕТРОГРАДА

Комитет революционной обороны Петрограда предлагает Вам в первую очередь разгрузить Петроград от демобилизованных солдат... и других групп, вносящих только смуту.

Из учреждений надлежит эвакуировать Экспедицию заготовления государственных бумаг, Государственный банк, золото и другие ценности, несколько ротационных машин и аналогичные учреждения. Остальное

эвакуировать только в том случае, если это позволит состояние подвижного состава».

Мира нет...

В пятницу 1 марта, около восьми часов вечера, в Смольный пришла телеграмма из Бреста: «Вышлите нам поезд в Торошино [около Пскова] с достаточной охраной...» Внизу стояла подпись секретаря советской мирной делегации Л. М. Карахана. «Вышлите поезд» — и ни слова о том, как идут переговоры с немцами, ни слова о том, готово ли германское правительство подписать мир. В Смольном поняли телеграмму Л. М. Карахана так, что переговоры прерваны и надо ждать нового, еще более решительного наступления на Петроград и по всему фронту.

Утром 2 марта «Правда» вышла с аншлагом через всю первую страницу:

«НАША МИРНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕТРОГРАД. ВОПРОС О ВОЙНЕ И МИРЕ РЕШЕН: ВОЙНА. ВОЙНА БУРЖУАЗНО-ПОМЕЩИЧЬЕЙ ИМПЕРИИ ПРОТИВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ... РАБОЧИЕ, СОЛДАТЫ, КРЕСТЬЯНЕ! ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НАШИ ТРУПЫ ВРАГ ВОЙДЕТ В ПЕТРОГРАД!»

Ошибка обнаружилась вечером 2 марта. Но сотни тысяч экземпляров «Правды» уже разошлись по Петрограду... Оказалось, что советская делегация отправляла из Бреста не одну, а две телеграммы. Первая была о том, что мирный договор будет подписан 3 марта. Однако эту телеграмму, шифрованную, задержал немецкий штаб.

Лишь во второй половине 4 марта, с выходом вечерних газет, Петроград узнал, что мир с Германией подписан. Но грозная весть, распространенная «Правдой», при-

вела в движение не только тех, кто был готов взяться за оружие, чтобы пополнить ряды защитников Петрограда, но и тех, кто еще раньше был охвачен паникой. Тысячи питерцев ринулись на Невский, к Пассажу, где помещалась комиссия по выдаче разрешений на выезд из Петрограда...

Панику подогрело и то, что 3 марта газеты вышли с объявлением: «Выдача разрешений на выезд из Петрограда возобновляется с воскресенья 3 марта; пропуска для женщин и детей получать у Пассажа в кафе «Квисисана» (Невский, 46)».

Трудно сказать, чем было вызвано это объявление. Возможно, решение состоялось в тот момент, когда в Смольном пришли к выводу: мира нет, война! Значит, надо форсировать разгрузку Питера.

Длиннейшие очереди перед Пассажем выросли уже 3 марта. «Все больны! У всех дети!» Только бы из Питера!.. Назавтра сюда пришлось вызвать конный наряд милиции. Очередь растянулась от Пассажа до угла Садовой, вдоль Садовой до нынешней улицы Ракова, огибала здание Филармонии и — выходила на Невский.

В очереди появились шептуны: «На что надеетесь? Кто вам даст столько поездов? Для комиссаров не хватает. Уходите кто как может...»

Из Петрограда потянулись санные обозы. Тысячи людей покидали город пешком. Другие бросились к вокзалам и стали силой врываться в билетные кассы, третьи — прямо к поездам.

На Николаевском вокзале вновь началось вавилонское столпотворение...

Железный порядок, созданный после 27 февраля огромными усилиями Павла Вомпе, Николая Калюкина и их товарищей, опять зашатался. Осмелели вооруженные анархистствующие беглецы... На Знаменскую площадь снова пришлось вызвать броневики. Они стали курсировать вокруг памятника Александру III, охлаждая своим присутствием тех, кто подстрекал к новым антисоветским выступлениям.

* * *

«Николай Петрович!

Посылаю Вам список, если Вас это удовлетворяет, то я... приступлю к приготовлению ящиков. Прошу сообщить по телефону.

Уважающая Вас
Сергеева.

3 марта 1918 года».

Ниже список из 68 фамилий: В. И. Ленин, В. Д. Бонч-Бруевич, народные комис-

сары, секретарь Совнаркома Н. П. Горбунов (он и есть Николай Петрович, которому адресована записка Ю. П. Сергеевой), далее — фамилии других сотрудников секретариата Совнаркома: М. Н. Скрипник, А. П. Кизас, Е. К. Кокшарова и другие.

В той же архивной папке, принадлежавшей когда-то Н. П. Горбунову, сохранился и другой документ, тоже с датой 3 марта 1918 года:

Список лиц и отделов, подлежащих эвакуации

Отделы	Число лиц	Члены семьи	К-во пудов клади
1. В. И. Ленин	1	2	20
2. В. Д. Бонч-Бруевич	1	4	30
3. Н. П. Горбунов	1	—	10
4. Сталин	1	—	10
5. Секретарь Сталина	1	—	10
6.			
7. Ю. П. Сергеева	1	1	20
8. А. П. Кизас	1	—	5
9. Е. К. Кокшарова	1	1	20
Экспедиция и информация		— [две фамилии] — на Ваше усмотрение, на мой взгляд, лишние.	
Бюро переписки		— предлагаю взять двух лиц.	
Бюро печати		— 12 чел. из них 5 чел. семейных.	
Бюро вырезок		— считаю излишним (папки будут взяты).	
Столовая		— вещей нет, белья нет, считаю нужным взять два лица, верных нам.	
Приемная		— секретарь Утевский, солдат Алексей Федоров.	
Мальчики		— Михаил Васильев.	
Матросы и караул		— на Ваше усмотрение, желательны латыши.	
Воронцов	1	2	30
Белье постельное и личное			10 пуд.
Следует взять все столовые и полевые телефоны			
			пудов 600

Приведенные документы — очевидно, первый рабочий план переезда Совнаркома, первый набросок, подготовленный секретариатом СНК.

О многом говорят эти деловые будничные бумаги.

Глава правительства великого государства, человек необыкновеннейший, Владимир Ильич Ленин собирается переезжать в новую столицу, и его сотрудники знают: главный личный багаж Ильича («клад») — его рукописи. Других вещей почти нет. Больше двадцати пудов (вместе с рукописями) не наберется. На всю семью в три человека! (Вместе с Владимиром Ильичем переезжали Н. К. Крупская и сестра Мария Ильинична). Столько же ручной клади, но на семью из двух человек, предусматривается для сотрудниц секретариата Юлии Сергеевой или Елизаветы Кокшаровой.

Набрасывая проект постановления об эвакуации правительства (еще 26 февраля), В. И. Ленин подчеркивал: в Москву брать не всех питерских работников центрального аппарата, а только минимальное число («не более 2-3 десятков человек» по каждому ведомству «плюс семья»). Это — чтобы облегчить самый переезд, чтобы дешевле обошлось государству (служащим правительственных учреждений, как и рабочим эвакуируемых заводов, выплачивались подъемные). Имелось, очевидно, в виду и то, что Москва не беднее, чем Питер, работниками. Найдутся на месте.

Из аппарата Совнаркома в Москву тоже брали не всех. Только зарекомендовавших себя. Это в равной мере относилось к большим и к малым работникам. В списке не забыт ни солдат, стоящий на посту в приемной главы правительства, ни бойкий и старательный Миша Васильев — мальчик-курьер. В одном списке с главой правительства — Егор Воронцов, красногвардеец Трубочного завода, комиссар

Семьдесят пятой комнаты, выполнявший поручения В. И. Ленина.

В Москве для Совнаркома еще не было подготовленных помещений. Кремль за годы войны и революции превратился в большую военную казарму; там стояли и кавалеристы, и артиллеристы, и пехота. Кремль еще надо было готовить, чтобы он стал резиденцией правительства. А пока — как на биваке. Поэтому везли из Петрограда всё — и полевые, и «столовые» (настольные) телефоны, и сейфы, и пишущие машинки, и даже писчую бумагу.

«Отъезд правительства вытекает из обстановки...»

В Бресте ни восторженных речей, ни рукопожатий не было...

3 марта в 2 часа 30 минут участники мирной конференции собрались в последний раз. Они должны были подписать официальные тексты соглашений. Быстрой мелкой вязью расписался Георгий Чичерин, размашисто — Григорий Петровский... Потом немцы, австро-венгры, болгары, турки.

— Желает ли кто высказаться? — спросил председатель заключительного заседания посланник фон Мерей.

Никто не отозвался. В 5 часов 52 минуты Брест-Литовская мирная конференция закрылась.

За несколько часов до этого, на утреннем заседании, советская делегация огласила заявление своего правительства: Брестский договор — не «мир соглашения», а ультиматум, продиктованный с оружием в руках; это — «мир, который, стиснув зубы, вынуждена принять революционная Россия».

Немецкие дипломаты сделали вид, что они удивлены столь «резким тоном» заяв-

ления; «в это время» они «надеялись услышать только мирные и спокойные речи». Но разве могли быть спокойные речи? Брестские соглашения накладывали на Советскую Россию тяжелую дань. Германское командование даже в день подписания мира продолжало выдвигать свои войска (под Петроградом и на Украине) на новые ключевые позиции, захват которых мог иметь только одну цель: подготовку нового наступления на Россию и защиту капиталистических интересов против рабочей и крестьянской революции. И об этом без обиняков говорили в Бресте советские делегаты. Положение не улучшилось и в последующие дни. Договор, хотя и был подписан, еще подлежал ратификации. И немецкое командование торопилось занять, особенно под Петроградом, наиболее выгодные рубежи. «Нет тени сомнения для меня, что немцы подготавливаются за Нарвой... Под Псковом немцы собирают свою регулярную армию, свои железные дороги, чтобы следующим прыжком захватить Петроград», — говорил В. И. Ленин 7 марта 1918 года.

На то, что опасность не снята, указывали и военные специалисты.

...Начальник штаба Высшего военного совета Республики М. Д. Бонч-Бруевич, в прошлом генерал русской армии (брат управляющего делами Совета Народных Комиссаров), три раза в неделю делал личные доклады В. И. Ленину. Утром 4 марта в обычное время М. Д. Бонч-Бруевич приехал в Смольный. Доклад, представленный

В. И. Ленину, охватывал широкий круг вопросов: и положение на фронтах, и ход боевого развертывания Красной Армии, и разведывательные сведения о противнике. М. Д. Бонч-Бруевич обратил внимание на обстановку, складывающуюся в районе Финского залива. Донесения разведки, полученные в последние дни, появление немецкого флота в ближайших водах Балтики — об этом уже сообщали газеты — заставляли прийти к выводу, что немцы готовят высадку морского десанта в Финляндии. Лед в вершине Финского залива пока непроходим, но весна не за горами. С высадкой десанта Петроград будет практически окружен.

Наштаверх высказал мнение, что правительство, находящееся в Петрограде, является как бы магнитом для немцев. Они отлично знают, что столица защищена только с запада и с юга. С севера Петроград беззащитен, и высадит немцы десант в Финляндии...

Ленин слушал спокойно, сосредоточенно. Когда Бонч-Бруевич кончил, Владимир Ильич окинул его испытующим взглядом:

— Где же, по вашему мнению, должно находиться правительство?

— В Москве, Владимир Ильич.

Ленин задумался, встал из-за стола и принялся ходить по кабинету.

— Дайте мне об этом письменный рапорт, — сказал Ленин.

Бонч-Бруевич сел за стол Владимира Ильича и написал:

«ДОКЛАД

Германцы занимают Псков и, вероятно, в ближайшее время утвердятся в Нарве. При такой близости неприятеля считаю необходимым доложить, что правительству надлежит теперь же уехать из Петрограда, например в Москву.

Отъезд правительства в данную минуту вытекает из обстановки: отъезд под угрозой германцев будет носить характер бегства и потому нежелателен.

4 марта 1918 года
г. Петроград»

Член Высшего Военного Совета
М. БОНЧ-БРУЕВИЧ.

...Доклад М. Д. Бонч-Бруевича укреплял В. И. Ленина во мнении, что и после подписания Брестского договора военная обстановка по-прежнему неблагоприятна для Петрограда. И Владимир Ильич тут же написал в рапорте резолюцию, подтвердив решение ехать!

* * *

После совещания у В. И. Невского 27 февраля председатель исполкома Николаевской дороги П. О. Осипов и комиссар дороги П. Г. Лебит сумели в течение двух дней выполнить приказ. Один состав классных вагонов был сформирован в Москве. Подойдя с юга, этот поезд еще до Николаевского вокзала, не достигнув петроградской окружной дороги, свернул влево на Портовую ветвь. Другой состав железнодорожники «накопили» на станции Обухово — тогда она находилась за чертой города и вокруг были леса. Этот состав

тоже скрытно, ночью, подали к морскому порту. Третий взяли «взаимы» у Северо-Западной дороги и тоже погнали на Портовую ветвь. В то время Торговая гавань бездействовала — порт был давно блокирован. Требованиям скрытности и безопасности Портовая ветвь, пожалуй, удовлетворяла. Но подъезды к ней со стороны Смольного были затруднены. Взвесив все это, железнодорожники решили перетасовать все три состава на Бычью платформу.

Эта платформа находилась в районе пересечения Забалканского (ныне Московского) проспекта и Обводного канала. Туда подходили тыловые пути со станции Варшавская. В годы войны и революции это место было совершенно глухое. Кому могло прийти в голову, что на бывшем скотопригонном дворе сосредоточивают правительственные поезда!

...Ночью 4 марта Петр Лебит и Павел

Осипов были вызваны на Фонтанку, к нарком В. И. Невскому.

Владимир Иванович сидел за столом, заваленным бумагами и железнодорожными справочниками. Тут же стояли недопитый стакан чаю и солдатский котелок, прикрытый газетой.

— Первый поезд прошу подготовить к отправке в ночь с шестого на седьмое марта, — сказал В. И. Невский. — В Москву уезжает народный комиссариат путей сообщения. Время отхода прошу сохранять в тайне...

* * *

«Сохранять в тайне...» Но это было уже невозможно.

Вечером 4 марта и утром 5-го советские газеты опубликовали извещение Совета Народных Комиссаров: договор, подписанный в Бресте, подлежит ратификации, то есть окончательному утверждению, и это зависит от Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Согласно решению ВЦИК, съезд собирается в Москве 12 марта... Не в Петрограде, где происходили все предыдущие съезды, а в Москве!..

Тот, кто днем 4 марта проходил по Дворцовой площади, видел, как из здания бывшего министерства иностранных дел выносятся огромные ящики с архивами. Их тут же на автомобилях отправляли на Николаевский вокзал... В тот же день в народных комиссариатах путей сообщения, почт и телеграфов, внутренних дел и других был объявлен приказ: «в силу государственных соображений» наркоматы переезжают в Москву. Объявлялись списки служащих, подлежащих эвакуации. Понятно, что все это тоже было сразу замечено, — сначала стало известно газетным репортерам, а назавтра — всему Петрограду. Буржуазные газеты запестрели сообщениями с вокзалов: на Николаевском опять стычки с демобилизованными; на Варшавском — тоже; циркулируют слухи, что ко дню переезда правительства железнодорожные служащие готовят забастовку... Появились сообщения и «из Смольного»; окончательно решено — правительство едет в Москву. «Впрочем, вопрос о безопасности Пересквы в военном отношении также близок к постановке на очередь»... «Едут»... Эти сообщения оппозиционные газеты подавали как сенсацию номер один.

Для контрреволюционного подполья она стала сигналом: действовать!

5 марта с Центрального столичного телеграфа в ряд крупных городов страны ушла телеграмма: власть Советов Народных Комиссаров свергнута, издан закон о возвращении земель... В самом Петрограде на улицах появилось воззвание, якобы исходящее от Петроградского Совета: «Правительство уезжает, Петроград объявляется вольным городом...»

Исполком Петроградского Совета приказал все фальшивки-воззвания срывать, а лиц, расклеивающих афишки, задерживать и судить по законам революции. «Красная

газета» вышла с передовой: «Рано пташечки запели»... Напрасно буржуазия радуется, напрасно надеется, что с отъездом правительства Петроградом снова будет править Городская дума и снова вернется буржуазный рай... Успокойтесь, господа! Большевики никуда не уходят. Большевики — вся рабочая и крестьянская Россия. Все остается как было — повсюду власть рабочих и крестьян.

* * *

Поздно вечером 6 марта Павел Осипов позвонил в депо: подать паровоз на станцию Петроград-пассажиры. Прошло минут пятнадцать. Осипов позвонил снова. Но теперь никто не отозвался. Председатель исполкома вызвал пятерых красногвардейцев и послал их узнать в чем дело. Но и красногвардейцы словно в воду канули.

И опять звонок в депо: «Паровозы вышли?». Оказалось, нет — машинисты митингуют... «В такую пору? И по какой причине?»..

Осипов сам помчался в депо.

— Паровозов не дадим! — услышал он.

— На каком основании?

— Не дадим, и все!

Другие «объяснили»: не будут они помогать «бегству народных комиссаров». Осипов понял: верховодят вахновцы, а подняли их эсеровские подстрекатели.

Председатель исполкома взобрался на паровозную площадку. Говорил недолго, но горячо. Вахновцы сникли. Дело кончилось тем, что паровоз все же подали. Рядом с машинистом стояли вооруженные красногвардейцы.

В двенадцать часов ночи первый правительственный поезд — народного комиссариата путей сообщения — ушел в Москву.

* * *

Самые нетерпеливые еще стояли на Невском, у Пассажа. До вечера 6 марта пропуска там выдавали. С перерывами, с проволочками, но давали. Вечером объявили:

— Больше, граждане, не стойте. Все пассажирские поезда отменены. В ходу только правительственные и воинские.

Те из питерцев, что уже сидели на вокзалах с пропусками, тоже были оповещены: расходитесь, граждане...

В чем же было дело?

Несмотря на мир, немецкое наступление все еще продолжалось (оно остановилось только 9—10 марта). Кроме того, брестские соглашения еще подлежали ратификации. Пойдет ли на это германский рейхстаг, уверенности не было. В Германии в любую минуту могла взять верх партия войны — экстремистские силы, выступавшие против любых соглашений с Советами. Следовало считаться и с тем, что внутри советского руководства тоже не было единства — продолжалась сильная оппозиция к Бресту со стороны Троцкого и «левых» коммунистов. Надо было считаться и с тем, что во ВЦИКе и на предстоящем съезде Советов против ратификации брест-

ских соглашений выступят и левые эсеры и меньшевики... Если ратификация будет сорвана, то Петроград окажется под еще более сильным натиском врага. Вот почему В. И. Ленин, Центральный Комитет партии пришли к выводу: время, остающееся до ратификации, необходимо всемерно использовать, форсировать разгрузку Питера. Совнарком установил обязательный для всех порядок: эвакуация из Петрограда разрешалась только организованно — с заводом или учреждением. Именно по этой причине в ночь с 6-го на 7 марта все обычные, по расписанию, поезда были отменены. Вошел в действие новый график. Предусматривалось отправлять из Петрограда не менее двадцати товарных и пассажирских поездов в сутки. В этом числе — восемнадцать-девятнадцать составов для воинских перевозок и эвакуации заводов и фабрик и один-два поезда в сутки — для переезда правительственных учреждений.

В. А. Алгасов, один из руководителей Центральной коллегии по разгрузке Петрограда, стал главным распорядителем по эвакуации заводов и государственных ценностей. В. Д. Бонч-Бруевич и секретарь Совнаркома Н. П. Горбунов — по переезду правительственных учреждений. Железнодорожные организации стали исполнять только их приказы.

Двадцать эшелонов в сутки... Большинство — с Николаевского вокзала. Железнодорожники теперь не знали ни минуты отдыха, работали до изнеможения.

Для связи Смольного с вокзалами и наркоматами, для быстрой доставки приказов был сформирован особый отряд мотоциклистов. Во главе — Борис Девяткин, солдат, коммунар, человек расторопнейший и боевой. Все десять его товарищей тоже не знали ни минуты отдыха...

Приказание следовало одно за другим... Комиссару Николаевского вокзала — «в интересах защиты революции незамедлительно выполнять все требования в перевозках Бюро оборонительных сообщений...» Вне всякой очереди предоставить вагоны для автомобильно-броневой части ВЦИК и Совнаркома... Обеспечить самый срочный выезд в Москву секретаря «Известий», который направляется для организации выпуска газеты в новой столице... Комиссар Семьдесят пятой комнаты Смольного тов. Александров направляется в Москву с особым поручением Совнаркома... Предоставить право свободного, бесплатного и внеочередного проезда в Москву...

Петр Лебит забыл уже, когда он был дома...

Динамит под рельсы

Поздним февральским вечером к Петрограду подходил пассажирский поезд из Москвы. Битком набитый вагон. Мешочки, солдаты, служащие комиссариатов и комитетов, армейские и флотские начальники.

Пахло потом, прелью портянок, сыростью сапог и шинелей. У окна сидела молодая женщина с дешевой меховой муфточкой. Рядом — молодой человек в студенческой шинели и фуражке с синим околышем. Оба то дремали, опустив голову на грудь, то незаметно переглядывались. Каждый, кто бросал на них взгляд, вызывал тревогу: «Не комиссар ли Семьдесят пятой?»

...Не раз бывало в истории: громкая фраза — черное дело; левая фраза — «правое» дело...

Когда стало известно, что Чичерин едет в Брест, руководство правоэсеровской партии нелегально распространило воззвание: настало время решительных действий, «нельзя больше терпеть большевиков»; они идут на «сговор» с немецкими империалистами, они «предают» международный пролетариат, мировую революцию... Никакого Бреста! Все вперед, на мировой империализм! Большевики не хотят и не могут, а мы хотим и все можем!

Внешне это выглядело куда как «революционно». Но под видом борьбы с мировым империализмом, под предлогом того, чтобы «разом прыгнуть вперед», правые эсеры толкали Советскую власть на опасный ход, чтобы она разбила себе голову.

В дни Бреста крутой поворот совершили левые эсеры.

Стремясь сохранить свое влияние среди крестьян, левые эсеры в октябре 1917 года пошли на соглашение с большевиками. Их представители были введены во ВЦИК, в Совет Народных Комиссаров, в местные Советы. Но и тогда, как кто-то метко заметил, они «без пяти минут попевали за большевиками». То и дело говорили: «Нет, это для нас не подходит», «Это круто», «А с этим надо повременить». С углублением социалистической революции левые эсеры все дальше отходили от большевиков, выступая против диктатуры пролетариата, против важнейших пунктов политики ленинской партии. Что касается большевистской программы достижения мира, то левые эсеры сначала поддерживали эту программу. Но потом стали хмуриться, лавировать. А кончили тем, что, придя в отчаяние, потребовали: никаких подписей в Бресте!

Когда немецкие войска двинулись на Петроград, когда лучшие сыны пролетариата отправились под Псков и Нарву, кровью и мужеством преграждая путь врагу, газета левых эсеров «Знамя труда» выступила с призывами: долой «государственную войну», да здравствует партизанское восстание в тылу немецких войск! «Даже если бы государственная власть признала необходимым подписание сепаратного мира,— писала газета,— для Революции это государственное решение не обязательно. Ибо там, где государственный расчет становится на путях революционной борьбы, там, где он пересекает ее,— мы обязаны обойти препятствие и идти вперед как партия, как отряд интернационала, не скован-

ный условностями государственных границ, государственных расчетов... Брошен жребий — восстание против зарубежной контр-революции!»

Показуха фразы, а на деле — неверие в революционную мощь рабочих и крестьян; громкий клич к «восстанию», а на деле политическая растерянность, отчаяние, надрыв, удар в спину тем, кто действительно борется с врагом, отстаивает отечество социализма, сообразуясь с обстановкой, трезво, мужественно, героически, с политическим предвидением и реализмом. Вот что означали левозсеровские призывы.

К концу февраля 1918 года правые и левые эсеры еще находились на разной ступени предательства. Левые эсеры, недовольные развитием социалистической революции в деревне, недовольные и Брестом, начнут антисоветский мятеж в июле 1918 года. Правые же встали на путь вооруженной борьбы с Советской властью еще в конце 1917 года, используя весь свой диверсионный арсенал, в том числе тайные заговоры и индивидуальный террор.

В двадцатых числах февраля 1918 года Петроградский комитет эсеровской партии принял решение подготовить нападение на В. И. Ленина — «в знак протеста против Брестского договора», в знак «осуждения всей политики большевиков». Комитет решил запросить мнение центрального руководства своей партии, которое уже находилось в Москве. В Москву были посланы те, на кого возлагалось непосредственное исполнение гнусного дела — покушения на Ленина.

В Москве, в центральном руководстве партии эсеров, решение Петроградского комитета получило полное одобрение. «Поднять массы сейчас невозможно... Нужно действовать соответственно моменту. Нужны крайние средства, крайние меры»... И вот те двое, ездившие в Москву и уже практиковавшие там в стрельбе (где-то за городом, в лесу), — Петр Ефимов и Лидия Коноплева 28 февраля возвращались в Петроград.

Поезд пришел на Николаевский вокзал около полуночи. Выходя из вагона, Ефимов и Коноплева сделали вид, что незнакомы друг с другом; с платформы ушли, держа меж собою значительный интервал...

Лишь час или два спустя они встретились. Несколько суток Ефимов и Коноплева бродили по Петрограду, узнавая, где бывает В. И. Ленин вне Смольного. Им удалось проникнуть и в Смольный. Но там — то ли это им показалось, то ли было в действительности — за ними все время следили двое молодых парней в коротких пиджаках, сапогах и кожаных фуражках... Покушение не состоялось...

В начале марта, когда стало известно о предстоящем отъезде Совнаркома в Москву, эсеровское подполье решило, что это как раз тот случай, когда можно будет осуществить неудавшееся.

...Петроград. Явочная квартира. Вечер. Окна завешены. У стола, под светом оран-

жевого абажура, — трое. Один — худой, хмурый, с длинными зачесанными назад волосами, другой — краснлицый, белесобровый, говорливый; между ними — сутулая женщина с седеющими волосами. Это были члены Петроградского комитета эсеров — Брюллова-Шаскольская, Шаскольский, Эстрин. Чуть поодаль сидели Коноплева и еще двое, фамилии которых остались неизвестны. Председательствовала Брюллова-Шаскольская. Она говорила примерно то же, что Коноплева слышала неделю назад в Москве: «Либо полная капитуляция перед большевиками, либо применение самых крайних мер...» Говорилось и о том, что необходимо воспользоваться моментом и устроить крушение поезда Совнаркома. Тут же были обсуждены планы диверсии. Одни предлагали взорвать паровоз или железнодорожное полотно; другие — облить маслом рельсы, остановить поезд и собрать толпу. Сделать это на какой-либо станции под Петроградом. Предлагалось и такое: взорвать так называемый Американский железнодорожный мост через Обводный канал.

Было решено готовить крушение, используя все три варианта. Дело поручили опытным боевикам — Кононову, Семенову, Тисленко. На Коноплеву возложили задачи разведки. Поручнику Тисленко, которому до этого удалось пробраться на службу в один из штабов Красной Армии, приказали доставить шесть пудов динамита...

* * *

Товарищи-братья, матросы, солдаты...
Великих своих охраняйте вождей...
Их силы дороже родного нам брата;
Их жизнь — это свет угнетенных людей!

(Ив. Нерадовский, Петроград,
28 февраля 1918 года).

«Мы все-таки поедим?»

6 марта в Таврическом дворце открылся Седьмой Экстренный съезд партии. Главный вопрос — о войне и мире.

В стране разруха, нищета, безработица. Боеспособной армии нет. Нет и экономически крепкого тыла. Трудовой народ России безмерно устал от войны. А Германия вооружена до зубов. На ура германского хищника не возьмешь. Война сильнее, чем проповеди, чем десять тысяч рассуждений. Брестский мир дает передышку — значит, надо ее брать. Брестский мир, хотя он и тягчайший, и похабный, унижительный, надо ратифицировать, добиваться этого на предстоящем съезде Советов... Так говорит Владимир Ильич Ленин. Он оперирует доводами политика, расчетами экономиста, фактами историка, наблюдениями психолога. Он обрушивается на своих оппонентов с гневом и сарказмом. Он говорит с ответственностью государственного деятеля, который взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу — «за», только «за»!

Ленин обнажает всю ошибочность утверждений «левых» коммунистов и Троцкого, уверяющих, что сейчас «немец наступать не сможет» — мол, германские генералы побоятся вызвать в своем тылу восстание рабочих в защиту русской революции. Шаткое «основание»! Германская, европейская революция, к сожалению, запаздывает. Это факт, от которого не уйти. Германия хорошо доказала, что она может наступать: в несколько дней завладела огромной территорией и миллионными богатствами России. Надо видеть мир таким, какой он есть. Нельзя подменять ответственные решения эфемерными, а на деле авантюристическими, гибельными для Республики планами.

Владимир Ильич выступает на съезде восемнадцать раз. Он вновь и вновь призывает не хорохориться, не становиться в позу шляхтича, который, умирая в красивой позе со шпагой в руке, говорит: «Мир — это позор, война — это честь»... Надо брать Брестский мир, чтобы спасти отечество социализма, чтобы укрепиться, вылечить в тылу больную армию, подготовиться к новым боям, если на Советскую Россию нападет внешний враг.

Тем, кто говорит, что передышка может оказаться слишком кратковременной, а потому неэффективной, Ленин отвечает: даже в этом случае надо брать мир. Ленин напоминает о положении Петрограда, об угрозе, которая по-прежнему подстерегает великий город и его население. «Надо уметь не фанфаронить,— говорит Владимир Ильич,— а брать даже один день передышки, ибо даже одним днем можно воспользоваться для эвакуации Питера, взятие которого будет стоить неслыханных мучений для сотен тысяч наших пролетариев. Я еще раз скажу, что готов под-

писать и буду считать обязанностью подписать в двадцать раз, в сто раз более унизительный договор, чтобы получить хоть несколько дней для эвакуации Питера, ибо я облегчаю этим мучения рабочих, которые иначе могут подпасть под иго немцев. Я облегчаю вывоз из Питера тех материалов, пороха и прочее, которые нам нужны, потому что я — оборонец, потому что я стою за подготовку армии — пусть в самом отдаленном тылу, где лечат сейчас теперешнюю демобилизованную больную армию».

Большинством голосов съезд принимает решение, предложенное В. И. Лениным,— признать необходимым утвердить подписанный советской делегацией мирный договор с Германией.

* * *

О том, что эсеры хотят взорвать поезд, в котором поедет Ленин, чекисты узнали от людей надежных. Тотчас к Владимиру Ильичу отправился В. Д. Бонч-Бруевич.

— И что же, мы все-таки поедим? — спросил Ленин, выслушав доклад.

— Конечно...— ответил Бонч-Бруевич.

— Гарантируете вы нам благополучный проезд?

— Предполагаю, что проедем спокойно, так как я целой системой мер и действий думаю совершенно парализовать террористические замыслы эсеров.

«Я рассказал Владимиру Ильичу о том, что уже предпринято и что еще будет сделано. Владимир Ильич все это одобрил,— вспоминал впоследствии Бонч-Бруевич.— ...Получив эту окончательную санкцию, я тотчас же нажал все пружины Семьдесят пятой комнаты и всю энергию направил в одном главнейшем направлении...»

(Окончание следует)



«ИЗБЫТОК СОДЕРЖАНИЯ УМА»

ИЛИ ГАРМОНИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ?

(ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА
«ВАШ СЫН И НАСЛЕДСТВО КОМЕНСКОГО»)

В последнее время вопросы школы все чаще и чаще привлекают внимание общественности. В их обсуждении участвуют не только педагоги, но и люди самых разнообразных профессий. Такой интерес к школе вполне понятен. От того, как она работает, во многом зависит, какими будут поколения, вступающие в жизнь.

Очень хорошо, что редакция журнала «Москва» статьей писателя В. Тендрякова (в № 11 за 1965 г.) открыла на своих страницах обсуждение злободневных проблем школы. Автор справедливо критикует ее серьезные недостатки, высказывает много интересных мыслей о возможных путях улучшения учебно-воспитательной работы. Но вместе с тем в статье есть недоговоренности, спорные, а порой и неприемлемые предложения. Это и побудило нас принять участие в обсуждении поднятых автором вопросов.

Чем быстрее развиваются в обществе наука, техника, культура, тем труднее школе поспевать за ними. А она должна не только поспевать, но и опережать их. Ведь дети, которые в этом году сели за парты, получают аттестат в 1975 году. Школа по своему своему назначению всегда устремлена в будущее, работает на него. Но вместе с тем над нею всегда тяготеет и груз прошлого.

Школа — это сложный организм, создававшийся веками. Жизнь ее течет размеренно, порядки ее заведены издавна: классы, учебный год, разделенный на четверти; расписание уроков; звонки; домашние задания; отметки; стабильные учебники...

Время от времени наступает момент, когда остро обнаруживается расхождение между новыми требованиями жизни и результатами работы школы. Эти «ножницы» становятся тормозом общественного развития. Общественность, естественно, проявляет беспокойство и начинает критиковать работу школы. Нередко при этом острие критики обращается не на сущность учебно-воспитательного процесса, а на его формы, в которых особенно ярко выступают сложившиеся годами традиции. Так было, например, в первые годы после Октябрьской

революции. Чтобы построить новую советскую школу, критики предлагали отказаться от всех атрибутов старой школы — отметок, экзаменов, домашних заданий и наказаний, группировки учеников по классам и т. п. Жизнь показала ошибочность такого внешнего подхода к реформе школы. Далеко не все традиции старой школы были плохими. Мы вспомнили об этом потому, что и в настоящее время нет недостатка в предложениях, несущих на себе печать огульного отрицания сложившейся практики обучения и воспитания.

Чтобы избежать повторения ошибок прошлого, надо прежде всего выяснить, что именно в современной школе не удовлетворяет, в чем ее основные недостатки, и уж тогда намечать пути их устранения.

Противоречия, которые надо разрешить

Противоречия между требованиями общества к подготовке подрастающего поколения и фактическим уровнем этой подготовки порождены прежде всего, как уже говорилось, научно-техническим прогрессом. На наших глазах происходит революция в физике, астрономии, биологии. Появились новые идеи в математике, много открытий сделано в химии и других науках. А в школьных учебниках до сих пор науки излагаются на уровне конца XIX — начала XX века. Это вызывает законное недовольство преподавателей высшей школы, ученых, работников производства.

Но школа должна готовить не только к поступлению в вузы, но также к производственному труду. Эта задача оказалась для школы и педагогической науки очень сложной. После долгих споров, основываясь на тезисе конкретности труда, педагоги сделали вывод: чтобы подготовить учащегося к труду, школа должна дать ему профессию, присвоить разряд по специальности.

В школах со многими параллелями старшие классы (9, 10, 11) начали отде-

латься от младших и превращаться в самостоятельные трехлетние учебные заведения. Прием в них осуществляется уже не по территориальному принципу, на котором строится общеобразовательная школа, а по профессиональному профилю. Хочешь получить профессию по душе, по способностям — поезжай в другой конец города, в другой район. Но все ли ученики и их родители могут пойти на это? Чаще всего, окончив восьмой класс, ребята идут в девятый класс своей же школы и вынуждены поневоле овладевать той профессией, к которой здесь готовят. А ведь школа, как правило, с большим трудом организовала это обучение на базе ближайшего производства. Школа и предприятие тратят силы и средства, а потом оказывается, что большинство учеников идет работать и учиться дальше совсем по другим специальностям.

Попытки соединить в рамках средней школы всестороннее общее и полноценное профессиональное образование, неоднократно предпринимавшиеся в прошлом и не давшие положительных результатов, не оправдали себя и сегодня. К тому же, не имея ни опыта профессионального обучения, ни своих инженерно-агрономических кадров преподавателей, ни своей учебно-материальной базы, многие школы не смогли обеспечить хорошей постановки профессионального образования. Многие ученики теряли понапрасну время, разбалтывались. Стал снижаться уровень общеобразовательных знаний. Отодвинулись на задний план идеи политехнического обучения.

Серьезные недостатки трудовой подготовки волнуют общественность. Раздаются даже голоса о том, что школа вообще не должна брать на себя задачи подготовки к труду, а давать учащимся только общее образование. Снова стали вытаскивать на свет идею учения, оторванного от труда, против чего всегда боролись Ленин и Крупская. Отождествив трудовую подготовку с профессиональным обучением, сторонники этой точки зрения рассуждают по формуле: либо профессионализация, либо школа без труда. На деле же возникла задача изменить характер трудовой подготовки.

Одно из серьезных противоречий современной школы лежит в сфере самого характера учебной деятельности учеников.

По наследству от старой школы к нам перешел такой тип учебного процесса: преподаватель излагает знания, ученики их воспринимают, осмысливают, запоминают, а затем «отвечают» у доски. В основе этого процесса лежит репродуктивная или воспроизводящая познавательная деятельность учащихся, где высшим результатом считается, как выразился более двух тысячелетий назад Марк Фабий Квинтилиан, «избыток содержания ума». Чтобы добиться этого избытка, он рекомендовал «перебирать в памяти... прочитанное и пережевывать это подобно тому, как пережевывается одна и та же пища».

Конечно, усвоение знаний, накопленных наукой, всегда было, есть и будет важней-

шей задачей школьного обучения. Но задачи его не сводятся только к этому, да и усвоение может осуществляться по-разному. Бесспорно одно: универсализация репродуктивной познавательной деятельности неизбежно порождает перегрузку памяти огромным количеством всевозможных сведений, формализм знаний, задержку развития способностей и часто — враждебное отношение детей к учению. Нередко поэтому за школьные годы формируется пассивно-созерцательный тип личности. Такой человек, набитый готовыми знаниями, «как мешок картофелем» (М. И. Калинин), часто оказывается совершенно беспомощным в жизни, не умеет применить эти знания на деле.

Попытаемся представить себе, что ожидает нашего школьника, в какой деятельности ему предстоит участвовать?

Программа партии провозгласила, что труд в коммунистическом обществе перестанет быть только средством к жизни и превратится в подлинное творчество. Основа такого творческого подхода к любому труду, развития инициативы, активности и самостоятельности у всех членов общества должна быть заложена в школе. Между тем школа ныне приучает своих питомцев усваивать готовые знания и выполнять практические работы по готовой инструкции. А это, мягко говоря, не совсем те условия, которые способствуют формированию творческой личности...

Как известно, коммунизм может победить капитализм, в конечном счете, более высокой производительностью труда. А один из важнейших факторов, повышающих производительность труда человека, — внутренние стимулы к труду, превращение труда в первую жизненную потребность. Нам нужно воспитать как можно больше «одержимых» людей, энтузиастов своего дела. С равнодушными, которые привыкли трудиться «от сих и до сих», — коммунизма не построить. Без увлечения нельзя стать ни ученым, ни писателем, ни художником, ни артистом, ни инженером, ни агрономом, ни передовым рабочим и колхозником. Но если мы в детском и юношеском возрасте не разбудим, не сформируем этих внутренних стимулов к труду и к овладению знаниями, а построим весь учебный процесс на внешних стимулах, на принуждении, на боязни получить двойку, на страхе наказания, то у школьников образуются отрицательные условные рефлексы: мы сформируем отвращение к труду, к знаниям и вместо инициативных энтузиастов получим равнодушных чиновников.

А что мы видим в школе? Академик Лаврентьев, выступая на московской научно-практической конференции в апреле 1964 года, рассказал, что в первое время к ним в Новосибирский университет сплошь и рядом поступали молодые люди, хотя и обладающие знаниями «на круглые пятерки», но не увлеченные наукой. М. Лаврентьев назвал их вялыми, очевидно имея в виду вялость их мысли. Оказалось, что из таких студентов не подготовишь квали-

фицированных научных работников, способных двигать вперед науку. Конечно, сделать всех учеников «одержимыми» по всем предметам невозможно. Но сформировать внутренние стимулы к учению и можно, и должно. Пока что школа плохо справляется с этой задачей. По данным выборочного обследования, проведенного Д. Ребизовым, число учащихся старших классов отрицательно относящихся к учению, составляет сорок процентов. Этот печальный факт свидетельствует о больших просчетах в работе школы.

Существующая система обучения затрудняет решение и еще одной важной задачи.

В наше время знания, полученные учениками в школе, быстро стареют. Чтобы не отстать от жизни, человек должен непрерывно их пополнять и обновлять, а наиболее доступный путь к этому — самообразование. Поэтому уже в школе надо пробудить потребность в самообразовании и дать ученикам необходимое умение. Но сегодняшняя наша школа не выполняет этой функции. Перегрузка школьников обязательными учебными занятиями не оставляет ни времени, ни сил для самообразования. Возникает задача — включить элементы самообразования в учебный процесс. И снова — противоречие. Оно лежит в сфере воспитания и развития личности ученика.

Многие выдающиеся педагоги прошлого пропагандировали идею гармонического развития человека. В различные исторические эпохи в это понятие вкладывалось различное содержание. Однако в эксплуататорском обществе эта идея оставалась неосуществимой, ибо условия материальной жизни общества и строй обрекали людей на одностороннее развитие. Иное дело — у нас.

Освобождение трудящихся от эксплуатации, коренное улучшение их материального положения создали предпосылки для приобретения народных масс к науке, искусству, к общечеловеческой культуре. Коммунистическое общество, один из принципов которого выражен в формуле «от каждого по способностям», кровно заинтересовано в развитии способностей каждого.

Но чтобы все взрослые граждане смогли использовать объективные возможности для всестороннего развития, созданные социализмом, надо уже в школе положить начало этому развитию, создать для этого благоприятные условия.

Однако школа, тратя много времени на организацию умственной деятельности детей, совершенно недостаточно развивает их ум, их склонности и способности.

В. Ф. Тендряков правильно заметил: в нашей школе господствует система фронтального обучения, рассчитанная на работу со средним учеником, и это равенство на средних, на работу с отстающими приводит к тому, что наиболее сильные, способные ученики начинают топтаться на месте. Школа не дает пищи их уму и по сути дела задерживает развитие их способностей.

Но как же разрешить эти противоречия? Очень важно в решении этих сложных вопросов уберечься от несбыточных маниловских мечтаний и субъективных домыслов. Нужно опереться на уже существующий передовой опыт школ и в нем искать ростки школы будущего.

Школа — организатор разнообразной деятельности детей

Материалистическая психология установила, что способность человека не заложены в нем изначально при рождении, а развиваются в процессе деятельности.

Опираясь на эту объективную закономерность, можно сделать важный вывод: если мы хотим, чтобы школа способствовала всестороннему развитию своих воспитанников, она должна организовать их разнообразную деятельность.

Выдающиеся советские педагоги С. Т. Шацкий и А. С. Макаренко в свое время определили, из каких видов деятельности должна складываться жизнь детского коллектива: умственный труд, физический труд, игра, гимнастика и спорт, занятия искусством, общественная работа. В нашей же современной школе почти безраздельно господствует одна-единственная — учебная деятельность. Именно в силу этого школа и не дает всестороннего развития всем своим питомцам.

Школа должна будет постепенно превращаться в педагогический центр, организующий жизнь детей, в которой гармонически сочетаются разнообразные виды их целеустремленной деятельности. Конечно, речь идет не о замкнутой «детской республике», как это представляли себе многие буржуазные педагоги, стремившиеся изолировать коллектив детей от революционизирующих влияний «взрослой» жизни. Ученический коллектив нашей советской школы должен быть тысячами нитей связан с окружающей общественной средой, постоянно чувствовать биение пульса страны, активно участвовать в ней.

Уже сейчас в передовых школах (особенно в школах-интернатах и в школах с продленным днем) мы можем увидеть многие черты школы будущего. В них успешно осуществляется идея Маркса о гармоническом чередовании умственного и физического труда, общественной деятельности и спорта. Все это, сменяя друг друга, органически вписывается в режим каждого рабочего дня. После уроков к услугам детей все классы, лаборатории, мастерские, читальный, физкультурный и кинозалы, спортивные площадки, живой уголок, учебно-опытный участок и т. д. Каждый может заняться любимым делом самостоятельно или с товарищами — со сверстниками, со старшими и младшими.

На заработанные в посильном производительном труде средства коллектив учащихся может приобрести музыкальные инструменты, игры, спортивные принадлеж-

ности, туристское снаряжение, покупать билеты в кино, на концерт, в театр, ездить в дальние экскурсии.

Рождается очень интересная и перспективная форма использования каникулярного времени: подружившиеся ученические коллективы городской и сельской школы устраивают объединенные зимние и летние лагеря, где вместе работают, отдыхают, занимаются спортом и туризмом. Летом такой лагерь устраивают в деревне, зимой — в городе.

Всей подготовкой к приему гостей, организацией их труда и отдыха ведают сами школьники-хозяева. Для них это хорошая практика организаторской деятельности.

О такой связи городских и сельских школ в свое время мечтала Н. К. Крупская. Но тогда школы были бедны и не имели возможностей для осуществления этой мечты. Теперь она становится явью. То, о чем мы рассказали, — уже в течение нескольких лет делают Октябрьская школа Тульской области совместно с 544, 630 и 728 школами Москвы.

Политехническое образование плюс производительный труд

В статье В. Тендрякова отсутствует всякое упоминание о политехническом обучении. По-видимому, автор заменяет его профессиональным обучением старшеклассников в разнообразных производственных школах. Но еще В. И. Ленин в свое время писал, что недопустимо отождествлять политехническое обучение с профессиональным. На этом вопросе следует остановиться подробнее.

Если обратиться к марксистско-ленинским идеям о политехническом образовании, то необходимость его основоположники научного коммунизма, как известно, связывали с законом перемены труда. Технический базис крупного машинного производства исключительно подвижен. Вместе с непрерывным развитием техники изменяются виды и характер труда. Одни профессии сменяют другие. Людям приходится переучиваться, на ходу менять виды и характер труда. А сама перемена труда стала возможной и облегчилась потому, что наряду с дифференциацией начался интенсивный процесс сближения ранее разобщенных между собой отраслей индустрии на единой научно-технической основе.

Много общего есть и в трудовых движениях рабочих разных профессий. Маркс писал об этом так: «Технология открыла... те немногие великие основные формы движения, в которых неизменно движется вся производительная деятельность человеческого тела, как бы разнообразны ни были применяемые инструменты...»

Тем не менее есть педагоги, а особенно производственники, которые увлекшись профессиональной подготовкой школьников, стали утверждать, что теперь производство настолько дифференцировалось,

а труд рабочих разных профессий стал так специфичен, что ничего общего нельзя найти ни в знаниях о производстве, ни в трудовых умениях работников разных профессий. Поэтому, говорят они, надо сохранить в старших классах профессиональное обучение, т. е. ничего не менять в существующей практике производственного обучения.

Авторы подобных идей за деревьями не видят леса, в единичном не обнаруживают общего.

Есть и другая точка зрения. Ее сторонники критикуют «антиполитехников» за узкий профессионализм. В противоположность им они усматривают общее во многих профессиях, но только в пределах какой-либо одной отрасли производства. Трудовая подготовка школьников должна носить, по их мнению, инженерный характер, а инженерное образование в наш век специализированного многоотраслевого производства может быть только дифференцированным, отраслевым. Так появилась на свет «теория отраслевого политехнизма» — своеобразный гибрид политехнизма с профессионализмом. Сторонники ее ошибаются, утверждая, что нет ничего общего между машиностроительным и, скажем, химическим производством, между сельским хозяйством и промышленностью. Общее есть — прежде всего в технике: в устройстве и принципах работы машин, аппаратов, измерительных приборов, в применении электричества, в автоматике; общее есть в энергетике; общее есть в организации и экономике производства, в таких трудовых интеллектуальных функциях, как планирование, расчет, пользование графическими изображениями, контроль, корректировка, наладка, управление, монтаж, рационализация, конструирование и т. п.; общее есть и в трудовых физических движениях работников, и в организации трудового процесса, меньше общего в технологии различных отраслей производства.

Ленин ввел в программу партии требование, чтобы политехническое обучение знакомило учащихся с главными отраслями производства, которые как раз и отличаются друг от друга главным образом по технологии. Это дает возможность раскрыть не только то общее, что есть в главных отраслях производства, но и то особенное, что их отличает друг от друга. И общее и особенное должно быть изучено в единстве. Такова ленинская диалектика.

Политехническая трудовая подготовка не заменяет профессиональной, а только подводит к ней, является ее основой. Эту профессиональную «добавку», или «надстройку», ученик сможет получить уже по окончании общеобразовательной школы — на профессиональных курсах, в профтехучилище, в техникуме или непосредственно на производстве.

Ну а как же ученики могут соединять обучение с производительным трудом, не овладев профессией? Практика показывает, что после немногих упражнений они в процессе выполнения производственных зада-

ний успешно овладевают трудовыми умениями, характерными для многих профессий.

Пути осуществления ленинских идей о политехническом образовании и соединении обучения с производительным трудом не остаются неизменными. Определяя их, необходимо принимать во внимание тенденции развития производства, изменение характера и структуры производственной деятельности, в которую предстоит включиться учащимся по окончании школы. Основные тенденции этих изменений указаны в Программе КПСС. Будет уменьшаться удельный вес физического труда (хотя он не исчезнет полностью) и возрастать роль умственного труда. Подтверждается предвидение К. Маркса о том, что человек по мере автоматизации производственного процесса будет все более превращаться из исполнителя в регулятора техники и производственных процессов.

Другая важнейшая тенденция — органическое соединение науки с производством, в связи с чем в содержании труда возрастает роль научно-технических знаний, экспериментирования, исследования.

Умножаются и элементы творчества в труде. Программа партии предусматривает развитие массового изобретательского и рационализаторского движения.

Поэтому политехническое обучение в школе должно дать учащимся знания о научных основах главных отраслей производства, формировать умение и развивать способности к выполнению таких важнейших функций, как расчет, планирование, управление, контроль, корректировка, монтаж, рационализация, конструирование, изобретательство, экспериментирование.

В старших классах (9 и 10) трудовому обучению тоже следует придать политехнический характер. Пусть ученики испытают свои силы на разных рабочих местах и участках школьного или настоящего производства, как это было у А. С. Макаренко. Тем ученикам, которые захотели бы получить более основательную трудовую подготовку, овладеть полюбившейся специальностью, надо, как это предлагает и В. Тендряков, предоставить такую возможность, предусмотрев в учебном плане специальные часы для факультативных занятий.

В. Тендряков напоминает мысли А. С. Макаренко о доходе в роли педагога. Надо включить школьников в хозяйственные заботы, в борьбу за доходность школьного предприятия, а следовательно, и за его рационализацию, в процесс распределения дохода. Не надо бояться и заработной платы. Разумеется, при этом должен быть взят курс не на индивидуальную, а на коллективную форму оплаты труда, чтобы предотвратить болезнь личного стяжательства и воспитывать ценные качества хозяина-общественника, заботящегося в первую очередь об интересах коллектива.

Иногда высказывают опасение, что наличие у школы своего производства оторвет ученический коллектив от благотворного влияния коллектива взрослых рабочих.

Но может ли серьезное школьное производство обойтись без взрослых рабочих, техников и инженеров? А кроме того, никто не мешает сочетать труд учащихся в школьном хозяйстве с работой в цехах настоящего производства. Так поступают, например, в 544 школе Москвы: ученики несколько лет работают в цехах школьного завода, а затем, овладев навыками, включаются в труд в цехах предприятия-шефа.

Заслуживает всяческого одобрения и поддержки инициатива общественных организаций Москворецкого района Москвы, создавших школьный завод «Чайка», на котором организовано проходят трудовую политехническую подготовку учащиеся нескольких окружающих школ. Такая организация производительного труда школьников позволяет обеспечить более высокий уровень его технического оснащения и по-государственному разрешить сложные задачи снабжения сырьем, станочным оборудованием, сбыта продукции и т. д.

В тесной связи с трудом в старших классах должны проводиться и теоретические занятия по изучению машин, электротехники, автоматики и промышленной электроники, а в сельских школах также по растениеводству и животноводству. И городским и сельским школьникам надо сообщить некоторые сведения об основах организации и экономики производства. Заканчивая трудовую политехническую подготовку, очень важно было бы показать учащимся перспективы внедрения науки в производство, основные направления технического прогресса и связанное с этим нарастание в труде элементов творчества, экспериментирования, научного поиска.

В статье В. Тендрякова правильно говорится о том, что школа должна помочь каждому ученику найти свое призвание и дать возможность в старших классах глубже изучить полюбившуюся область науки или искусства. А для тех учеников, которые к моменту окончания седьмого или восьмого класса не нашли себе ясной цели, он предлагает организовать «школы с некоторым универсализмом, где ведущей дисциплиной является труд как таковой. Труд с тем или иным уклоном», то есть разнообразные производственные школы.

Из текста статьи не ясно: будут ли приобщаться к производительному труду и получать политехническую трудовую подготовку учащиеся старших классов, которые по окончании восьмого класса поступили в специализированные классы или школы, или же трудовая подготовка и труд будут обязательны только для учащихся производственных школ? С последним нельзя согласиться потому, что соединение обучения с производительным трудом необходимо каждому школьнику для всестороннего гармонического развития и для гражданского, нравственного воспитания.

Неясно и другое: чем предлагаемые автором производственные школы отличаются от ныне существующих профессионально-технических училищ, построенных на

базе восьмилетней школы? Создается впечатление, что автор ограничивает общее образование основной массы учащихся восемью годами, после чего лишь «нашедшие себя, свою цель» получают полноценное среднее образование, открывающее доступ в высшую школу, а большая часть идет в специализированные производственные школы, «где ведущей дисциплиной является труд».

Такие предложения вносились в недавнем прошлом и встретили решительные возражения общественности. Полноценное среднее образование необходимо в с е м у подрастающему поколению: этого требуют и интересы производства, и все большее развитие коммунистических начал в нашей экономической и общественной жизни, расцвет науки, культуры, искусства.

УЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ

Образованность человека не сводится лишь к большому объему усвоенных научных сведений. Не менее важным признаком образования является развитый ум. Конечно, ум не разовьешь, не усвоив научных богатств, накопленных человечеством. Но не всякое усвоение знаний в одинаковой мере способствует развитию ума. Если систематически преподносить ребенку готовые знания, он будет просто-напросто запоминать, но не научится мыслить самостоятельно. Другое дело, когда ребенок сам (конечно, по заданию и под руководством учителя) добывает знания на основе наблюдений, опытов, рассуждений, чтения книг и т. д. В этом случае и знания усваиваются сознательнее и прочнее, и мышление лучше развивается. Поэтому все большее место в учебном процессе будет отводиться различным видам самостоятельной работы, особенно заданиям исследовательского, творческого характера.

Конечно, для того, чтобы научить детей самостоятельному поиску, требуется больше времени, чем для изложения готовых сведений. Возникает сложный вопрос: где найти это время. Частично его может дать сокращение и более рациональное построение программ, исключение устаревшего и второстепенного материала, устранение ненужного концентризма.

О другом резерве времени — о нем и ранее писала педагогическая печать — подробно говорится в статье В. Тендрякова: не следует требовать, чтобы весь материал, содержащийся в программах и учебниках, с одинаковой глубиной изучался и запоминался учениками. Только наиболее важные знания, которые в дальнейшем будут «работать», должны быть прочно закреплены в памяти. Соответственно и в учебниках следует четко разграничить материал, требующий основательного усвоения и запоминания, и сообщаемый только для ознакомления.

Из статьи Вл. Тендрякова можно понять, что основы изучения учебного материала он относит на старшие специальные классы,

а восьмилетней школе, откуда ученики не нашли свою цель, оставляет лишь общее знакомство с предметом. С этим никак нельзя согласиться: именно в восьмилетке должны быть основательно изучены важнейшие факты, правила, теоретические положения, которые составят фундамент всего последующего материала.

Нехватка времени и перегрузка учащихся происходят и оттого, что школа в настоящее время пытается дать всем ученикам одинаково большой объем знаний по всем учебным предметам, равняясь одновременно на требования и физико-математических, и технических, и гуманитарных, и всех прочих вузов. Чтобы «не стричь всех учеников под одну гребенку», очевидно, надо допустить известную вариантность в содержании общего среднего образования: определить объем общеобразовательных знаний, необходимых каждому современному образованному человеку, независимо от его специальности, и одновременно дать варианты программ, содержащие более обширные и глубокие знания для изучения по выбору учащихся, предусмотрев для этого специальное время в учебном плане.

Формы такого дифференцированного обучения могут быть различны. В одних случаях это будут целые специализированные школы, в других — специализированные классы, в третьих — отдельные группы учащихся из параллельных классов, записавшиеся на изучение того или иного факультативного курса.

В. Тендряков считает, что в специализированной группе не должно быть уроков как таковых, ученики будут работать самостоятельно каждый своим темпом, а учитель проводит лишь индивидуальные консультации и проверки. «Никаких дисциплинарных взысканий... никаких непреложных требований — выполняй от сих до сих... Не хочешь заниматься самостоятельно — воля твоя, — выйдешь из стен школы с багажом общих знаний, основанных на обзорном знакомстве», — пишет В. Тендряков. В специализированных группах, по мнению автора, первоклассники и второклассники могут одновременно заниматься с нынешними пятиклассниками и шестиклассниками.

Столь радикальные предложения, ведущие к отказу от классно-урочной системы, с моей точки зрения нельзя признать правильными: они не обоснованы научно и не подкреплены передовым опытом. Даже в высшей школе учебный процесс не сводится к одним самостоятельным индивидуальным занятиям студентов, а предусматривает сочетание лекций, семинаров и индивидуальных занятий. Тем более нет оснований для отказа от живого слова учителя и коллективных уроков в средней школе.

Специальные исследования и опыт передовых учителей доказывают, что дифференцированный подход к учащимся и усиление самостоятельных занятий в рамках классно-урочной системы возможны.

Есть и еще один важный путь совершенствования учебного процесса и экономии времени: широкое применение совре-

менных технических средств — кино, радио, телевидения, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, обучающих машин и экзаменаторов и др. Об этом много говорится, но, к сожалению, техническое оснащение школ очень бедно.

Гармоническая личность

Наша школа очень суха, рационалистична. Она слабо воздействует на эмоции детей, плохо использует их в обучении и воспитании. Надо научить школьников чувствовать, понимать и ценить красивое в природе, в труде, в человеческих отношениях, в литературе, искусстве. Эстетика должна пронизывать преподавание не только рисования, пения, литературы, но и всех предметов, органически войти в учебу и внеклассную работу, в труд и быт детей. Причем очень важно, чтобы школьники не только научились воспринимать и ценить красивое, но творить его.

Пусть дети за годы пребывания в школе испытают свои силы в различных областях художественного творчества. В каждой школе должны быть хор и оркестр, устраиваться регулярные лекции-концерты, спектакли, коллективные посещения театра, концертов, просмотры кинокартин. Для старшеклассников целесообразно ввести в учебный план небольшой курс истории искусства или — шире — истории культуры.

Да и сама школа, снаружи и внутри, должна быть красива, радовать глаз.

Школа, насыщенная эстетикой, будет доставлять детям много радости и подлинного наслаждения, облагораживать их.

Односторонне умственные занятия, господствующие в школе, мало способствуют физическому развитию и укреплению здоровья детей. Не случайно так распространены школьные болезни: близорукость, сутулость, искривление позвоночника, нервозность и др. Один и даже два урока физкультуры в неделю мало что дают.

Большими недостатками страдает спортивная работа с ее поисками «будущих чемпионов» и погоней за рекордами.

Нужны радикальные преобразования всего режима жизни в школе и дома: гармоническое чередование умственного и физического труда, подвижных игр, гимнастики и спорта.

Развитие в стране разнообразных форм самоуправления ставит перед школой важную задачу — воспитание организаторских способностей.

Но если школа ограничивает свою работу только учебными занятиями, то детям почти нечего организовать: в роли организатора выступает главным образом сам учитель. Однако положение меняется, если школа становится центром коллективной жизни детей.

Ученики должны побывать в роли звеньевых и бригадиров, руководителей комиссий и штабов, пионервожатых и комсомольских организаторов, физруков и ре-

жиссеров, на практике пройти школу организаторской деятельности, начиная с простейших организаторских функций в младших классах и кончая поистине ответственной работой в старших.

Гибкие формы учебной работы

Изменения в содержании учебной работы школы неизбежно потребуют более гибких ее форм. Опыт многих школ показывает, что учебно-воспитательная работа с учащимися не прекращается и в летний период. Это не уроки по звонку, а коллективный труд и отдых, коллективные походы и экскурсии, спорт, лекции, художественная самодетельность. По-видимому, учебный план будущей школы охватит весь календарный год и включит в себя кроме расписания уроков все эти новые виды занятий. Он должен быть более гибок и допускать возможность замены одних видов занятий другими в зависимости от особенностей погоды. Нецелесообразно долго держать детей в классах за партами в теплые весенние и осенние дни. В это время школа будет организовывать сельскохозяйственный труд детей, измерительные работы на местности, занятия на школьной географической площадке, экскурсии в природу, краеведческие походы и т. п.

Недельное расписание охватит не только уроки, но и неурочные занятия, и питание, и отдых, и прогулки, и физический труд, как это уже сейчас делается в школах-интернатах и в школах с продленным днем. В расписании найдут место лекции и киноуроки для нескольких параллельных классов, внеклассные массовые мероприятия, охватывающие учащихся разного возраста, групповые, звеньевые и индивидуальные занятия. Учащиеся будут самостоятельно выполнять учебные задания, рассчитанные на различные сроки — на часть урока, на целый урок, на неделю, на учебную четверть и даже на целый учебный год.

Изменится и организация уроков: кроме фронтальных и индивидуальных будут проводиться занятия с постоянными и временными звеньями и группами, взаимное обучение и взаимный контроль.

Классы, лаборатории, оборудование

По мере того как школа будет превращаться в такой центр жизни детей, будет меняться и материальное оснащение учебно-воспитательного процесса. Постепенно классные комнаты из аудиторий будут превращаться в учебные кабинеты и лаборатории, в которых ученики смогут не только слушать учителя, но и работать самостоятельно. Потребуется и большие аудитории, приспособленные для лекций с демонстрациями, и небольшие помещения

для учебных и неучебных занятий отдельных групп учащихся, в частности,— кабинеты, специально оборудованные для изучения иностранных языков,—с индивидуальными кабинетами для записи и воспроизведения речи. Каждой школе будет обязательно нужна хорошая библиотека с читальным залом, хорошо оснащенные учебные мастерские, кабинеты домоводства, технические лаборатории, а для занятий производительным трудом — школьное или межшкольное производство или учебно-производственный цех на предприятии; для сельскохозяйственного труда — учебно-опытный участок с теплицей и даже учебно-опытное хозяйство или специально выделенные участки земли.

Занятия радиолюбителей будут проходить в радиолaborатории и в школьном радиоузле. Специальная лаборатория нужна для занятий автоматикой и кибернетикой. Для юных автомобилистов понадобится кабинет автодела и школьная или межшкольная автотрасса.

Юным художникам нужна художественная студия и выставочные стенды, кинолюбителям — киностудия. Любителям драматургии — зрительный зал со сценой, юным музыкантам — комплекты инструментов.

Для занятий физкультурой и спортом помимо зала и спортивных площадок понадобится снаряжение для туристических походов и экскурсий — палатки, лыжи, велосипеды, байдарки и т. п.

Уже сейчас в лучших средних школах имеется многое из того, что здесь перечислено. Речь идет о том, чтобы в каждой школе постепенно были созданы условия для возможно более разнообразной деятельности учеников. Для этого необходимо ликвидировать двухсменные занятия в школе и иметь более обширные школьные помещения. Нужны большие средства на приобретение разнообразного оборудования. Чтобы решить эти задачи, нельзя подходить к государству с потребительских позиций. Дополнительно к бюджетным ассигнованиям необходимо привлечь помощь фабрик, заводов, колхозов и совхозов (оборудование, трудовая помощь) и использовать для этой же цели производительный труд школьников. Опыт передовых школ показывает, что старшеклассники под руководством специалистов могут строить помещения для учебных мастерских, физкультурные залы, гаражи и т. п. Они в состоянии также заработать своим трудом средства для приобретения туристического снаряжения, музыкальных инструментов, радиол, телевизоров и т. п.

Надо, чтобы каждая школа имела свой перспективный план развития материальной базы, составленный при активном участии комсомольцев, пионеров, родителей и производственной общественности. Такой план, как показывает опыт передовых школ, имеет очень большое мобилизующее и организующее значение и обеспечивает неуклонное движение к намеченной цели.

Программа человеческой личности

Нет дела более сложного и трудного, чем формирование нового человека. Но чем сложнее дело, тем больше нужно опираться на науку. Школа не раз страдала от необоснованных, субъективных решений. Этих ошибок не следует повторять.

Педагогика, психология и смежные науки в настоящее время располагают данными, позволяющими научно обоснованно решать многие важнейшие вопросы обучения и воспитания и определять пути дальнейшего развития школы. Воспользоваться этими данными часто мешает нигилистическое отношение к педагогической науке.

Вместе с тем имеется и серьезное отставание педагогической науки от требований жизни. Анализ этого отставания и его причин необходимы для того, чтобы восполнить пробелы в науке, преодолеть ошибочные воззрения. Этот вопрос настолько важен, что требует специального рассмотрения. Здесь же мы ограничимся только постановкой некоторых проблем, разработка которых особенно необходима для научного обоснования путей дальнейшего развития школы.

Необходимо исследовать требования жизни к образованию и воспитанию подрастающего поколения. Речь идет о разработке конкретной «программы человеческой личности», о которой в свое время говорил и писал А. С. Макаренко. Создать такую программу можно только объединенными силами педагогов, социологов, философов, изучив характер и структуру тех форм деятельности, в которых выпускникам школы предстоит участвовать.

Специальные исследования необходимы по проблеме формирования у школьников требуемых качеств личности. Знание объективных закономерностей этого процесса позволит более эффективно управлять им. Мы будем точно знать, какую деятельность учеников и как надо организовать, чтобы в процессе этой деятельности развивались их различные способности, моральные и другие качества. Здесь нужно тесное сотрудничество педагогов с психологами.

Уточнив и конкретизировав цели образования и воспитания, можно более обоснованно, чем это делалось до сих пор, отобрать материал наук и искусств, подлежащий изучению в общеобразовательной школе, устранить перегрузку. Нужны более серьезные, чем сейчас, исследования, посвященные научному обоснованию учебного плана, программ и учебников, поискам эффективных методов и организационных форм обучения.

Разумеется, сказанным отнюдь не исчерпывается круг педагогических проблем, ожидающих исследования. Чтобы успешно решить их, необходимо значительно усилить теоретическую работу, организовать постановку смелых экспериментов, глубже изучать и обобщать передовой опыт.

ПРЕКРАСНОЕ ДА ЖИВЕТ ВЕЧНО!

В. И. Ленин еще почти пятьдесят лет тому назад зорко угадал и четко определил значение культурного наследия народа. В самые трудные годы становления Советского государства он уделял много внимания сохранению памятников культуры и искусства нашей страны.

Подписанный Лениным декрет о национализации художественных ценностей исходил из положения о том, что искусство должно принадлежать трудовому народу и служить ему. Превращение дворцов, церквей и монастырей в художественные заповедники и музеи сыграло огромную роль в приобщении народа к сокровищам культуры.

Политика партии в области культуры нашла горячую поддержку среди ученых и художников, положивших много сил и труда, чтобы сохранять, изучать и популяризировать эти сокровища.

Ленинское понимание культурного наследия принесло богатые плоды и в последующие годы. Наши старинные города, заповедники и музеи славятся на весь мир. Успехи советского музейного дела получили всеобщее признание. Широко стало развиваться реставрационное дело, оно все больше опиралось на успехи современной науки и техники. Опыт и мастерство советских реставраторов вернули жизнь многим шедеврам живописи.

После революции реставрационное

дело приобрело общегосударственный характер и стало вестись в широком масштабе. Совершился настоящий переворот в понимании нашего наследия. Можно без преувеличения сказать, что такие великие мастера древней Руси, как Феофан Грек и Андрей Рублев, стали известны нам благодаря советским реставраторам. Реставрационная работа шла параллельно с исследовательской деятельностью советских искусствоведов.

До недавнего времени считалось, что в древней Руси не существовало скульптуры. Стараниями реставраторов были восстановлены многие прекрасные памятники деревянной резьбы, обогащающие наши представления о народном творчестве в древней Руси.

В годы Великой Отечественной войны многие памятники культуры, отчасти и музейные ценности страны, сильно пострадали.

Враг нанес тяжелый удар нашему культурному наследию. Советский Союз и здесь понес больший урон, чем многие другие страны, которые подверглись нападению гитлеровцев. После того как наш народ изгнал со своей земли фашистских захватчиков, были приняты героические меры, чтобы быстрее залечить нанесенные раны, восстановить то, что можно было восстановить, укрепить то, что пришло в ветхость. В древнем Новгороде, Пскове, Кие-

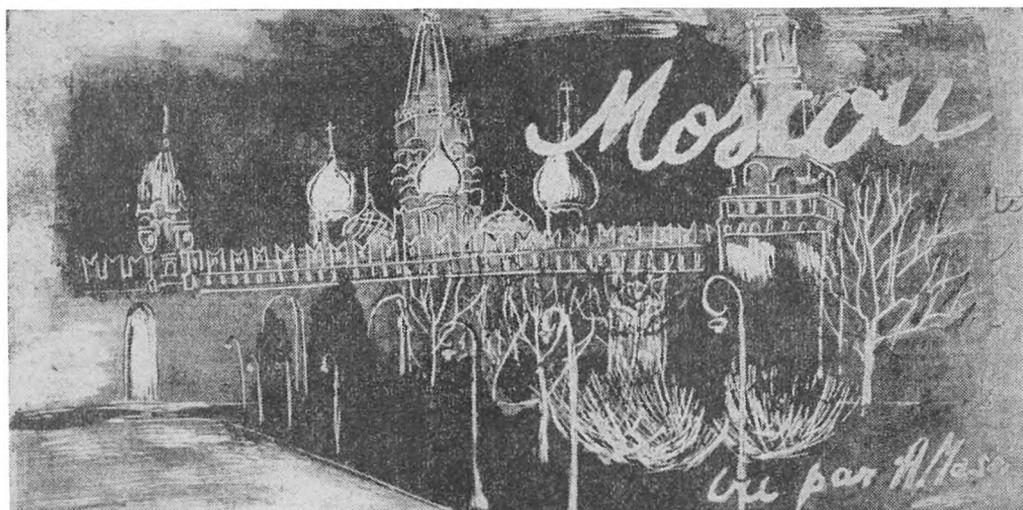


Рисунок французского художника А. Масри

ве, Пушкине, Петродворце, Павловске в больших масштабах были проведены восстановительные работы. Возрожденные сокровища снова вызывают восхищение посетителей.

В послевоенные годы были созданы новые музеи, как, например, музей Рублева, музей Васнецова, музей Пушкина в Москве. Все больше посещаются они массовым зрителем. Музеи становятся рассадниками художественной культуры, их работники устраивают передвижные выставки, ведут лекционные деятельности в клубах и на заводах. Стали появляться фильмы, посвященные памятникам архитектуры и изобразительного искусства. Среди них особенно следует отметить прекрасный фильм «Краски Дионисия».

Ширится и общественный интерес к памятникам культуры. Наша молодежь испытывает живую потребность ближе знакомиться с культурным наследием. Организуются туристские походы по памятным местам. Принято решение о создании Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, перед которым открывается обширное поле деятельности.

Впрочем, все эти успехи не дают права на самоуспокоенность. Мы далеко еще не удовлетворяем существующие и неизменно растущие потребности наших людей в приобщении к культуре предков. Здесь есть много серьезных недостатков. Для того чтобы их преодолеть, необходимо говорить о них с полной откровенностью.

* * *

Надо сказать, что уже в первые годы после революции в оценке художественного наследия имелись некоторые разногласия. Часть молодежи склонна была считать, что революция — это вихрь, сметающий со своего пути решительно все, в том числе и культурные ценности. Недооценка художественного наследия порой превращалась во враждебное к нему отношение. Мне помнится, как некоторые люди с запальчивостью заявляли, что в состоянии создать такие сокровища, перед которыми симфонии Бетховена будут звучать как «собачий вальс». В те времена некоторые поэты во имя «грядущего завтра» призывали «сжечь Рафаэля» и «растоптать искусства цветы» или же приглашали «сбросить Пушкина с корабля современности». Все эти «декларации» в настоящее время звучат как проявление мальчишества. Нигилизм угрожал росту советской культуры, и потому пришлось оказать ему решительный отпор. Впрочем, призывы к уничтожению ценностей были в то время всего лишь словами, которые не переходили в действие.

Дело охраны и защиты памятников культуры вступило в более тревожную фазу в последующие годы. Одновременно с ростом реставрационного и музейного дела и охраны памятников культуры стало проявляться равнодушие к ним. Иногда это равнодушие переходило в

прямо враждебное отношение к культурному наследию. К сожалению, проявлялось оно не только на словах. В эти годы Москва лишилась таких замечательных сооружений, как Сухарева башня, Красные ворота, многих памятников древнерусского зодчества, а Эрмитаж — некоторых своих сокровищ, шедевров классической живописи. Об этих потерях до сих пор еще тяжело вспоминать. Но замалчивать их нельзя. Напоминание о них необходимо для того, чтобы подобные факты больше не повторялись.

К счастью, впоследствии памятники культуры в таком количестве, как тогда, больше не исчезали. В Москве это стало невозможно делать, хотя бы потому, что здесь осталось не так уж много памятников... И все же опасность нигилистического отношения к художественному наследию полностью не исчезла. Отдельные удары по нашему наследию наносятся не только в глухих уголках, на периферии, но и в столице.

Обычно в оправдание этих актов приводятся самые разные доводы. Иногда говорится о необходимости экономить государственные средства и воздерживаться от расходов на реставрацию (причем забывается, что сами памятники имеют огромную ценность и при соответствующем развитии туризма могут стать источниками дохода для государства). Иногда указывается на потребности населения в жилой площади и на связанную с этим необходимость на месте древних памятников строить дома, хотя места для строительства в нашей стране и в наших городах достаточно, и нет оснований уничтожать старые ансамбли или искажать их современными постройками. Иногда памятники культуры, вроде деревянных построек Севера, погибают просто из-за халатности учреждений и лиц, обязанных их охранять. Но за это небрежение с них не взыскивается, как взыскивается с бухгалтера, истратившего лишнюю копейку. В общем, основания и доводы приводятся самые различные, но результат один: памятники старины все более убывают.

Иногда в пользу необходимости сведения с лица земли того или иного памятника культуры приводятся и более обоснованные аргументы. «Ведь вот же, — говорят некоторые наши градостроители, — даже в золотой век Фидия афиняне разобрали остатки древнейшего храма на Акрополе, чтобы возвести знаменитый Парфенон. Мы вправе действовать по примеру греков эпохи Фидия»...

При этом забывается, что греки возвели Парфенон и этим прославили в веках свое время. Между тем наши градостроители еще не украсили Москву зданиями, хоть отдаленно приближающимися к художественному совершенству Парфенона.

Нашей архитектуре еще очень далеко и до тех высот, какие были доступны народным мастерам древней Руси или плеяде русских зодчих XVIII—XIX века. Следовало бы набраться побольше скромности, не за-

являть, что современные строители способны подменить более совершенными постройками старые и этим полностью удовлетворить эстетические потребности наших современников. Споры нет, широкий размах жилищного строительства все более удовлетворяет потребность советских людей в удобном жилье. Но что касается художественного облика современного города, то в этом у нас еще мало достижений, и рано нам еще утверждать, что мы способны заменить старые ансамбли таких городов, как Москва и Ленинград, более красивыми современными.

К сожалению, в выборе для новостроек именно тех мест, где уже имеются памятники культуры, слишком назойливо сквозит ничем не оправданная самонадеянность.

Нет сомнения, потребность придать нашим городам современный облик — это естественная потребность, ее нужно всячески поддерживать. Но не следует забывать и того, что в области монументального искусства замена старого новым не терпит торопливости. В библиотеке можно заменить старую книгу новой, а старую убрать в архив. В картинной галерее старую картину тоже можно убрать в запасник и вместо нее повесить картину современного художника. Время подвергнет наш выбор испытанию и, если потребуется, внесет свою поправку. Но в городе с его монументальными сооружениями и памятниками такой способ действий невозможен. Если вспомнить печальную судьбу прекрасных памятников Гоголя и Пушкина в Москве, то придется признать, что мы утратили представление о том, что памятники — это не комоды и не шкафы, которые можно передвигать в комнате с места на место.

Существует одна особенно опасная форма неуважения к памятникам старины. Иной современный строитель не прикасается к ним своими руками, но сооружает рядом с ними нечто такое, от чего они теряют свою художественную привлекательность. В прошлом мастера архитектуры умели органически включить новое в исторически сложившийся ансамбль. Вспомним хотя бы Адмиралтейство Андриана Захарова, в котором сохранен шпиль Коробова. У всех перед глазами Мавзолей Ленина на Красной площади — сооружение талантливого советского зодчего А. В. Щусева. Этой постройкой Щусев решил не только чисто архитектурную, но и идейную задачу. Подобно тому как мавзолей Ленина — неотделимая часть площади, так и дело его рук — неотделимая часть исторического развития нашей страны. Но, к сожалению, пример Щусева едва ли не единственный пример органического сочетания нового и старого. Гораздо чаще бывает так, что современные строители, придавая максимальную высотность своим зданиям, наносят непоправимый вред старым ансамблям. Некоторые полагают, что этим демонстрируется победа нашей эпохи над стариной. Но это победа только в глазах тех людей, которые отождествляют красоту здания с количеством его этажей. Потомство может

по-другому оценить результаты поединка; такое сопоставление может быть очень невыгодно для нашей репутации.

К сожалению, подобного рода состязания стали за последнее время бедствием нашей градостроительной практики. Это серьезная угроза тем ансамблям, которые до сего времени уцелели. В самом деле, представьте себе, что какому-нибудь отважному Герострату вздумается рядом с Адмиралтейством соорудить в три раза более высокую телевизионную вышку (что для современной техники не составляет большого труда). Замечательное создание Андриана Захарова не перестанет существовать, но красоте воспетой Пушкиным «адмиралтейской иглы» будет нанесен непоправимый урон. Это в сущности равносильно тому, что разобрать здание на кирпичи.

Совершенно очевидно, что вопросы градостроительства, реконструкции городов, вопросы современного стиля в архитектуре — очень сложные вопросы, и решаться они должны по-разному в разных случаях, с учетом многих условий и обстоятельств. Архитекторы уже несколько раз выступали по этому поводу в нашей печати с критическим анализом практики. Но в этом деле есть еще одна сторона. Памятники архитектуры создаются архитекторами, но они обращены лицом ко всем людям, они призваны воздействовать на них, воспитывать их, отвечать не только их утилитарным, но и эстетическим потребностям. И поэтому каждый житель современного города имеет право задуматься над тем, что предстает его глазам.

К сожалению, в архитектурной и строительной практике еще очень много ничем не оправданного произвола. С этим произволом, случайностью, субъективизмом трудно примириться человеку, который хочет жить в мире, где царит разумное и целесообразное.

Рядом с Ленинградским проспектом на Башиловке недавно возник целый квартал новых домов. Среди них строители пощадили стоявший здесь старый, так называемый «Охотничий домик» с острым шпилем. Сам по себе он не представляет большой художественной ценности, но домик этот хорошо контрастировал с новыми корпусами и связывал их друг с другом. Домик был обнесен забором, видимо, его собирались отремонтировать. Жители этого района, накопившие печальный опыт, с беспокойством следили за дальнейшей судьбой домика. Некоторое время он продолжал еще существовать. Но однажды ночью прибыли бульдозеры и сравняли его с землей.

Герой рассказа Гоголя Ковалев, проснувшись утром, обнаружил на месте носа гладкое место, пустоту. То же произошло на Ленинградском проспекте. Кто совершил это? Для чего это нужно было делать? Почему не прислушались к голосу общности? Вид Башиловки стал унылым и однообразным, а эта постройка никому не мешала и в то же время красиво вырисо-

вывалась силуэтом на фоне новых зданий.

Мы, коренные москвичи, и люди, долго жившие в столице, привыкли к нашему городу. Мы пригляделись к его красотам, все в нем привычно нам, и, проходя ежедневно мимо его древних и современных зданий, мы перестаем замечать их особенную, неповторимую красоту.

Но как-то недавно мне попались в руки литографии и гравюры наших гостей-художников из Франции — Жана Гюго и Альбера Масри. Зарисовки того, что они в Москве увидели и что их поразило. С радостью я убедился в том, как много еще в Москве характерного, красочного, диковинного, неповторимого прекрасного — не только в кремлевских, но и в самых рядовых постройках. Какое волнующее зрелище — Москва, увиденная глазами путешественника из далеких краев! Как радостно угадывать в зарисовках признание красоты нашей столицы с ее широкими проспектами, обширными площадями, величественными новостройками и вкрапленными в них драгоценными памятниками старины! Будем же бережно относиться к характерному облику нашей столицы и охранять его от всякой нивелировки! Будем защищать наши города, памятники культуры и искусства от всяких поползновений их уничтожить!

* *
*

Зададим теперь себе вопрос: что может породить систематическое уничтожение памятников старины в сознании наших современников?

У той части людей, которые отличаются пассивностью, податливостью, оно может породить полное равнодушие к тому, что происходит перед их глазами. Были Красные ворота — теперь их нет. Ну хорошо и без Красных ворот, можно и без них. К чему Красные ворота, к чему Сухарева башня? Ненужные украшения? Зачем вспоминать о том, что в Сухаревой башне была навигационная школа, в которой учились «Петровы птенцы»? Зачем вспоминать о том, что у Тверской заставы стояли Триумфальные ворота в честь победы русских над наполеоновыми полчищами? То, что было, было поросло... И пусть! Зачем вообще утруждать себя памятью о прошлом, когда нужно жить сегодняшним днем. «Довлеет бо днєви злѡба єго» — говорили в старину. Это психология мещанина, обывателя, человека, погруженного в тесный и душный мирок своего благополучия, это психология человека, который равнодушен ко всему, что его прямо не касается, который не шевельнется, если беда придет к его соседу, в его дом, в его страну. Это эгоизм, нелюбознательность, близорукость, невежество. Нужно со всей прямотой сказать, что те, кто беззаботно относится к памятникам культуры, к историческим реликвиям наших городов, вольно или невольно содействуют укоренению подобной обывательской психологии.

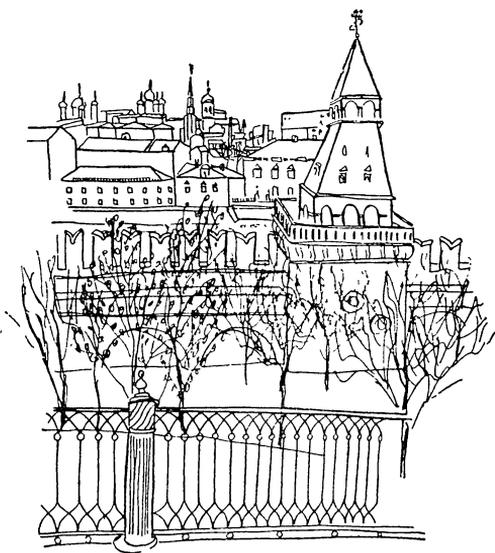


Рисунок А. Масри

Но есть еще другая категория людей, особенно среди молодежи. Эти люди не пассивны и не податливы. Они не могут примириться с тем, что на их глазах исчезают драгоценные исторические памятники прошлого. Они понимают, что эти памятники, помимо исторического их значения, нередко еще имеют художественную ценность. Они понимают, что выражение «каменная летопись» — это не только поэтический образ — в нем заключена глубокая правда. Старые стены кремлей и крепостные башни, за которыми наши предки защищали свою землю от врагов, стройные покрытия старых церквей, которым народные мастера придавали сходство с крестьянскими избами, наконец, каменные дворцы и терема, в облике которых отразились достижения русских древодельцев, — все эти памятники составляют такую же неотделимую часть страны, как наши неоглядные реки, зеркальные озера и дремучие леса. Старинная архитектура — это вовсе не достояние одних историков и архивариусов, это вести из далекого прошлого от отцов к детям, это нечто вроде света далеких звезд, который сквозь космические пространства приходит к земле и пробуждает в людях ответные чувства.

Для людей подобного склада тот факт, что памятники культуры систематически «сводятся», что даже память о них в названиях улиц предается забвению, — это настоящая беда, невыносимая и мучительная. В таких людях как ответная реакция рождается протест. Если им приходится затаивать свой протест, то он мучительно гложет сознание. Это очень тревожное явление. Нам нужно сделать все, чтобы преодолеть возможность подобных настроений, особенно среди молодежи.

Многих удивляет, почему увлечение стариной, экскурсии в старые города, ин-

интерес к книгам по старому искусству за последние годы получили такое широкое распространение. И в самом деле — в годы моей молодости, то есть сорок лет тому назад, этими вещами интересовались только немногие. А ныне любители старины насчитываются тысячами. Их много не только среди историков, искусствоведов, писателей, художников, но и среди математиков, физиков, химиков, конструкторов, среди людей науки и техники. Судьба наших памятников занимает и горячо волнует многих советских людей. Необходимо уважать их привязанность и любовь к родной стране.

Многие из нас видели своими глазами, с какой любовью к своему историческому прошлому относятся наши друзья поляки. В Варшаве от площади Старое Място во время последней войны не осталось камня на камне. Социалистическая Польша восстановила дома, их убранство, росписи, решительно все — вплоть до бронзовых ручек дверей. Мы вспоминаем об этом патриотическом подвиге социалистической Польши не без зависти. Наши друзья вернули жизнь разрушенной старине, мы же нередко бездействуем, когда гибнут уцелевшие скудные ее остатки.

Настало время навести порядок на этом участке нашей культуры. Необходимо вернуться к нормам, завещанным нам Лениным. Разумеется, это не значит, что можно игнорировать изменившиеся за истекшие годы условия. В настоящее время в стране развернулось строительство новых городов и кварталов в таких масштабах, о которых в первые послереволюционные годы нельзя было даже мечтать. С этим необходимо считаться. Но вместе с тем нами накоплен большой опыт, он может избавить нас от новых ошибок.

Памятники культуры, судьба которых

в настоящее время начинает все более занимать советских людей, это могучее оружие идейного воспитания народа. Нужно только, чтобы это оружие было использовано полностью.

Характерная черта людей будущего — это уверенность в том, что мир соразмерен человеку, постижимо человеческим разумом. Памятники культуры могут дать многое для того, чтобы человек будущего, черты которого все более проявляются в облике нашего современника, стал гармоничной личностью. Памятники культуры всегда имеют свое определенное место в пространстве и прочно стоят на земле (и это их местоположение следует чтить и сохранять). И поэтому прививать людям любовь к этим памятникам — это значит развивать в них любовь к родной земле, к Родине. Людям от природы свойственно любить кусочек земли, на котором они появились на свет и на котором прошла их молодость и жизнь. Любовь к родной земле — это вполне естественное чувство, и она сохраняется в людях до конца их дней, если только нечто приводящее не внушит им, что они на земле чужие, люди без рода и племени, путники, бредущие в неизвестность. Вот почему охрана памятников — это не пустая блажь, без которой можно обойтись. Это удовлетворение потребности человека иметь перед глазами исторически сложившиеся черты родного края, города, дома. Нужно чутко относиться к этой потребности человека, избегать бездушной нивелировки.

Новый человек должен найти себе место не только в пространстве, но и во времени, в веках. Памятники культуры, здания, монументы сооружаются из прочного материала, из камня и из бронзы — чтобы они сохранились на столетия. Многие из них возникли в то время, когда народ вел тяжелое подневольное существование. Дворцы, церкви, монументы связаны с именами людей и сословий, которые в прошлом были господами и имели возможность присвоить себе славу их сооружения. Но ведь создавались-то эти сооружения руками народа! В самые суровые годы бесправия народ не переставал быть творцом истории и культуры. Вот почему наши современники через эти памятники вступают в беседу с народными гениями предшествующих поколений.

Памятник культуры — это не только старинный предмет, который мы охраняем, покрыв его стеклянным колаком. Это почти живое существо, которое входит в нашу жизнь, обращает к нам свою речь. Мы вступаем с ним в немой, но красноречивый диалог. Он говорит нам не только о том, что было, но и зовет к тому, что будет, старается перетянуть нас на свою сторону. Мы можем ему возражать, спорить с ним, и исход этого спора не всегда предопределен. Вспомним, о чем раздумывали великие поэты Мицкевич и Пушкин у подножия памятника Петру I, — это составляет содержание их поэм «Деды» и «Медный всадник». Памятники Московского

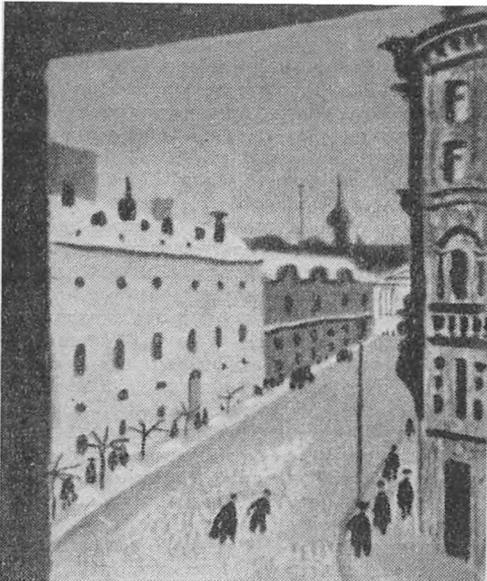


Рисунок Ж. Гюго

Кремля или ленинградское Адмиралтейство в состоянии пробудить в чутком, внимательном зрителе такое же богатство исторических воспоминаний.

Памятники культуры поднимают в человеке чувство его исторической ответственности. Они властно напоминают нам о том, что все свершаемое нами имеет отношение не только к «злобе дня», но и к нашим предкам и потомкам.

У нас двойная ответственность: мы должны сравняться с предками и превзойти их.

Памятники создаются не для того, чтобы они «прозвучали» на торжественном открытии, они должны нравиться не только одному жюри. Одно время принято было подсмеиваться над художниками, которые мечтали творить для потомства. Не всем это удается. Но «суд истории» — это не пустой звук, это реальный факт, люди моего поколения были свидетелями того, как история творила свой суд и исправляла заблуждения поколений.

Когда мы говорим «памятники культуры», то разумеем под этим памятники двух категорий. Одни — это мемориальные сооружения вроде скромного маленького домика, в котором появился на свет великий человек. Сам по себе такой памятник не представляет особой ценности, но он способен вызвать в зрителе исторические воспоминания, помогает ему понять, как из скромной каждодневности может возникнуть возвышенное и прекрасное, связанное со славным именем государственного деятеля, военачальника, поэта, художника, мыслителя. Такие памятники, конечно, достойны внимания и заботы потомства.

Но есть еще памятники, которые хотя и не входят в число музейных сокровищ, но вносят в жизнь каждого человека искусство. Здесь мы касаемся одного из самых жгучих вопросов наших дней, вопроса об эстетическом воспитании современного человека. Об этом за последнее время много говорилось, многое в том плане делается, но в пропаганде искусства не всегда ясно осознается самое существенное.

Наши музеи и лектории делают много для распространения в широких кругах общеобразовательных знаний об искусстве, об его истории, стилях, мастерах. Но есть еще другая, не менее важная задача —

научить людей понимать искусство. С овладением этим предметом человеку открывается мир искусства, обладающий непреходящей молодостью, способный в каждую новую эпоху раскрыть свои новые стороны, быть вечным спутником человечества.

У нас еще нередко дает о себе знать недоверие к этой способности искусства. В пристальном внимании к художественным ценностям многих пугает призрачный эстетизм. Вот почему необходимо со всей откровенностью разобраться в том, что же способно дать современному человеку, строителю коммунизма, понимание искусства. Или же в самом деле искусство грозит отвлечь его от суровых будней, от насущных практических задач, от борьбы, без которой не обходится социальный прогресс? Нет, нет, решительно нет — следует сказать на это недоверие к художественным ценностям. Для того чтобы в этом убедиться, необходимо вспомнить хотя бы самые простые вещи. Вспомним о том, что коммунизм как высокая цель человечества означает преодоление социальных противоречий современности, достижение гармонии социальных отношений. В суровых испытаниях советский человек приобрел право думать об этой желанной гармонии как о чем-то исторически неизбежном, реально достижимом, если не для него самого, то для потомства. Истинное большое искусство, и прежде всего искусство архитектурного ансамбля, синтез искусств, монументальное искусство всегда заключает в себе что-то от этой столь желанной для человека гармонии. Искусство дает человеку не только отраду, но и создает уверенность в возможности осуществления его чаяний и стремлений.

Стройные архитектурные ансамбли, в которых отдельные здания составляют вместе с другими нечто целое, — это как бы прообразы того, что человек ищет в мире. В памятниках искусства человек имеет возможность видеть, что такое истинное величие. Вот почему наша задача сейчас — не только сохранение памятников искусства и старины, но и забота о том, чтобы они вошли в жизнь людей, стали близки, понятны им, стали действенной силой дальнейшего культурного подъема в нашей стране.

НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ

(К ГАЛЕРЕЕ «МОСКВЫ»)

Верхняя Масловка и Юго-Запад, Фрунзенская набережная и Мневники, Кузьминки и Владыкино, Сиреневый бульвар и Щелковское шоссе... Таков неполный перечень «московских Монмартров» — районов Москвы, где находятся мастерские художников.

Некоторые из них — Масловка, например, — имеют уже свою историю, насчитывающую десятилетия. Биография других только начинается.

Если несколько лет назад лишь «счастливчики» из мира людей изобразительного искусства имели свое «рабочее место», то сейчас большинство московских художников обрело благоустроенные, специально оборудованные помещения. А что такое мастерская для художника — говорить не приходится. Старейший советский скульптор народный художник СССР С. Т. Коненков, получив в свое время прекрасную мастерскую на улице Горького, с восторгом горючил: «У меня лучшее ателье в мире!» Теперь можно смело сказать, что у художников советской столицы действительно лучшие в мире мастерские, и пользуются ими не только крупнейшие мастера, но и молодежь, едва вступившая на самостоятельный творческий путь.

В нынешнем году мы намерены познакомить читателей «Москвы» с жизнью этих своеобразных городков художников.

Начнем с Сиреневого бульвара.

Почему? Совсем не потому, что здесь «сливки» нашего изобразительного искусства. Скорее всего именно потому, что это обычные мастерские художников. И может быть, еще потому, что очень уж поэтично звучит название этого места — «Сиреневый бульвар». Будто сами художники придумали его...

Огромный девятиэтажный дом, с крышей из стеклянных фонарей, похожих на оранжеи... В один прекрасный день к подъездам этого дома начали подъезжать машины с подрамниками, мольбертами, холстами. Весь девятый этаж заселили художники: живописцы и скульпторы, графики и керамисты, книжные иллюстраторы и театральные декораторы.

То было пять лет назад. Теперь не узнать Сиреневого бульвара. Название перестало быть символическим. Район застроился, украсился зеленью. Первый раз в прошлом году зацвела на нем и сирень...

Познакомиться со всеми обитателями мастерских Сиреневого бульвара трудно —

художники — народ непоседливый, многие разъехались по стране, начали подготовку к двум большим юбилейным выставкам: пятидесятилетия Советской власти и столетия со дня рождения В. И. Ленина.

Зайдем для начала в мастерскую Евгения Осиповича Бургункера.

Это график, иллюстратор книг.

Есть художники, которые иллюстрируют книги, как бы сопровождавая рисунками то, о чем рассказывает автор, а есть такие, которые создают книгу — создают целиком, от переплета и титула до заставок и концовок. Все элементы книги приобретают таким образом стиливое единство, раскрывая, усиливая неповторимое своеобразие того или иного произведения. Да и сама книга как своего рода «продукт» полиграфии становится высокохудожественным произведением.

Таким мастером книги и является Е. О. Бургункер. Излюбленная техника его — ксилография, гравюра на дереве. Работы этого художника легко узнать среди множества других: он не только глубоко современен, но и индивидуален. Тонкие, почти ювелирные по исполнению, небольшие по своим размерам гравюры Е. О. Бургункера покорают проникновением в существо изображаемого. Сразу чувствуешь — перед тобою умный, культурный и серьезный художник. Эти работы примечательны тем, что в них удивительно точно и в то же время поэтично переданы характер, философия творчества писателя, чью книжку оформляет художник. Пожалуй, ближе всего ему произведения, окрашенные некоторой романтической приподнятостью. Поэтому в числе лучших его работ — оформление книг Стендаля и Горького, Анатоля Франса и Лермонтова, Мольера и Леонида Леонова, иллюстрации к пьесам Брехта, к немецким народным балладам.

Е. О. Бургункера знают не только у нас в стране, но и за ее рубежами. Книги, оформленные им, многократно отмечались наградами на наших и международных выставках.

...Перейдем отсюда в мастерскую молодого, но уже известного графика Иллариона Голицына, одного из любимых учеников В. А. Фаворского.

И. Голицын создал прекрасные портреты Владимира Андреевича — в них не только восхищение и глубочайшее уважение к своему учителю, но истинно творче-



С. ПАВЛОВСКИЙ в своей мастерской

НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ

(Репортаж читайте на 192 стр.)



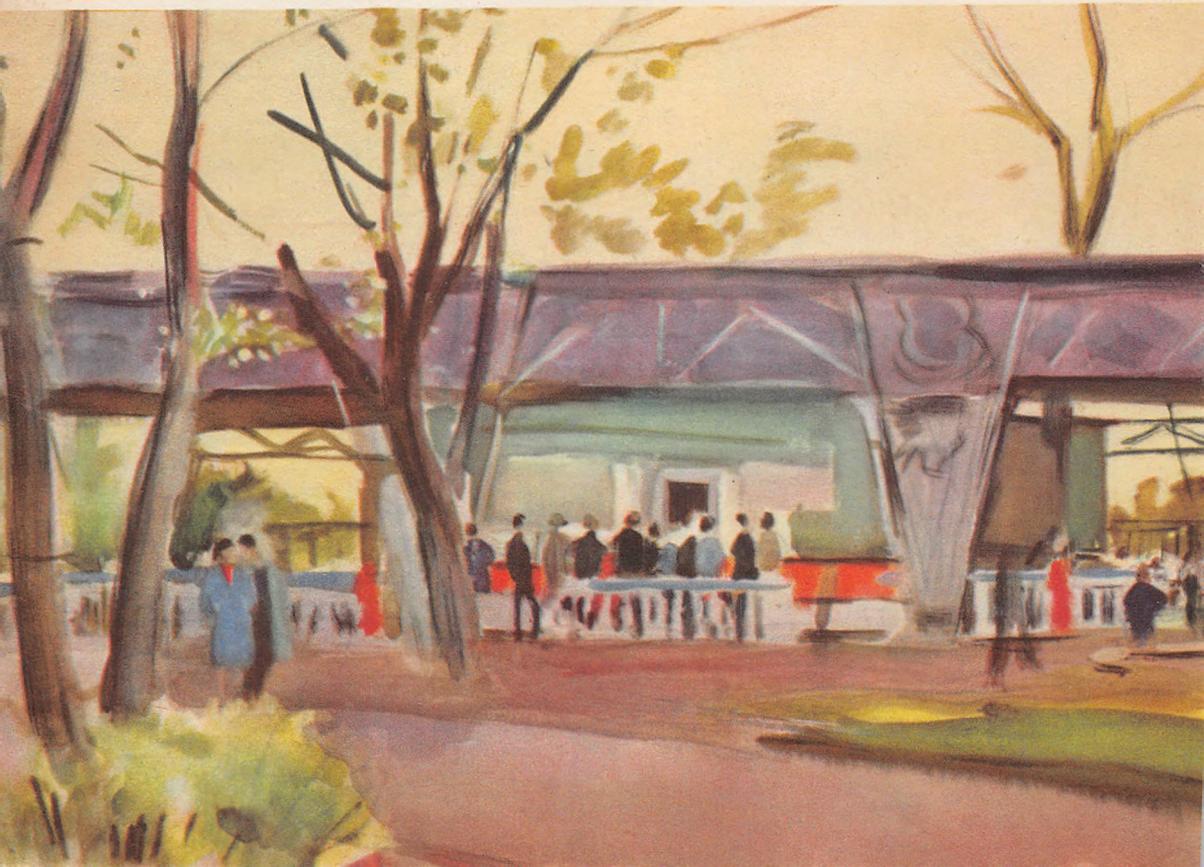
Е. БУРГУНКЕР

Иллюстрации к пьесе
Б. Брехта «Матушка Кураж
и ее дети» и комедиям
Р. Шеридана



Б. БЕРЕНДГОФ

Сокольники





А. ГЛУСКИН

Пионерка

Е. ЛАДЫЖЕНСКИЙ

Эскизы костюмов к «Вишневому саду» и «Евгении Гранде»





Портрет П. Никонова
работы художника
М. ФЕЙГИНА



П. НИКОНОВ

Натюрморты



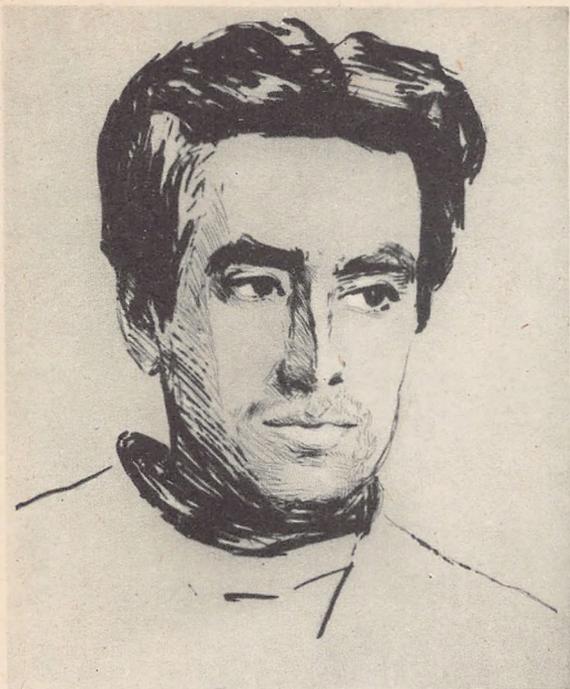
Ю. КОРОВИН

В землянке



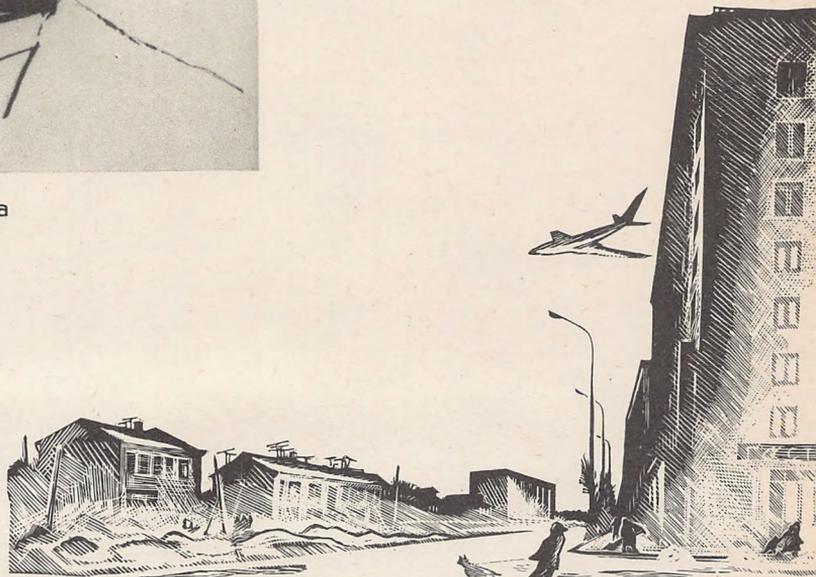
А. ТАРАН

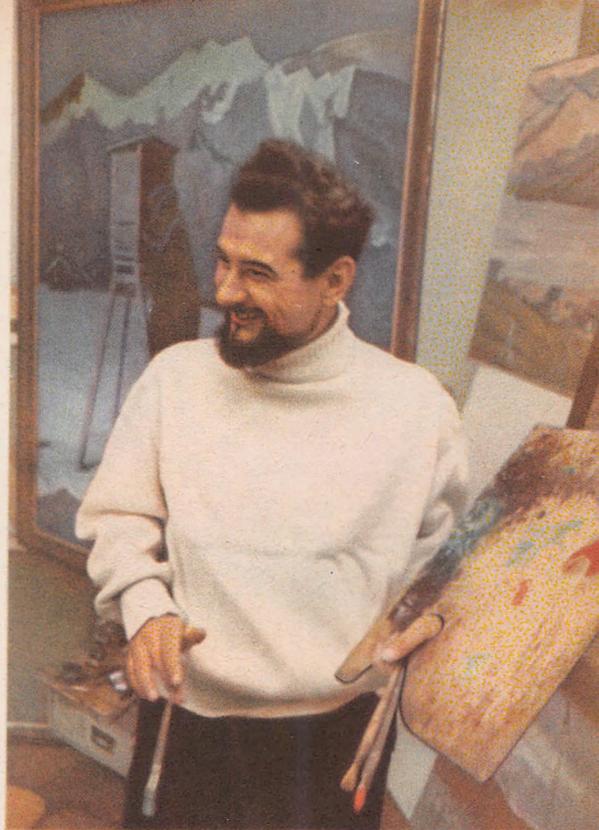
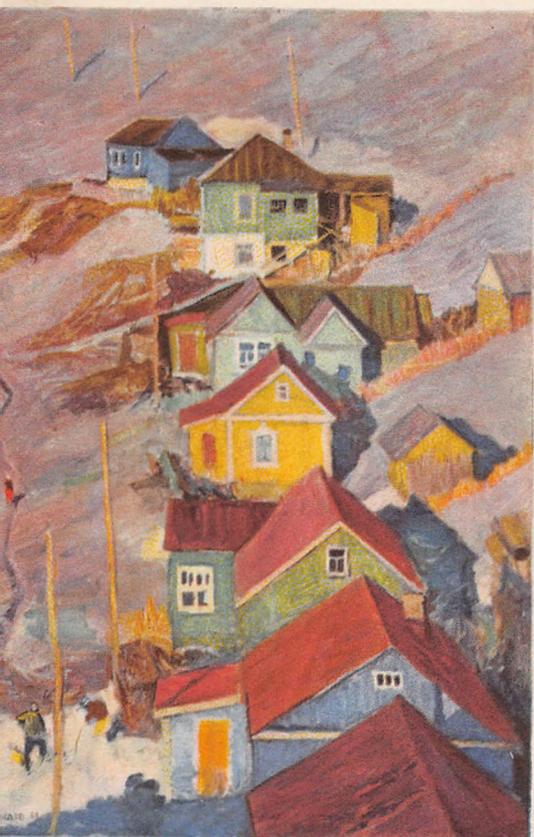
Эскиз монументальной
росписи



И. ГОЛИЦЫН
Сиреневый бульвар
Гости из города

Портрет И. Голицына
работы художника
М. ФЕЙГИНА

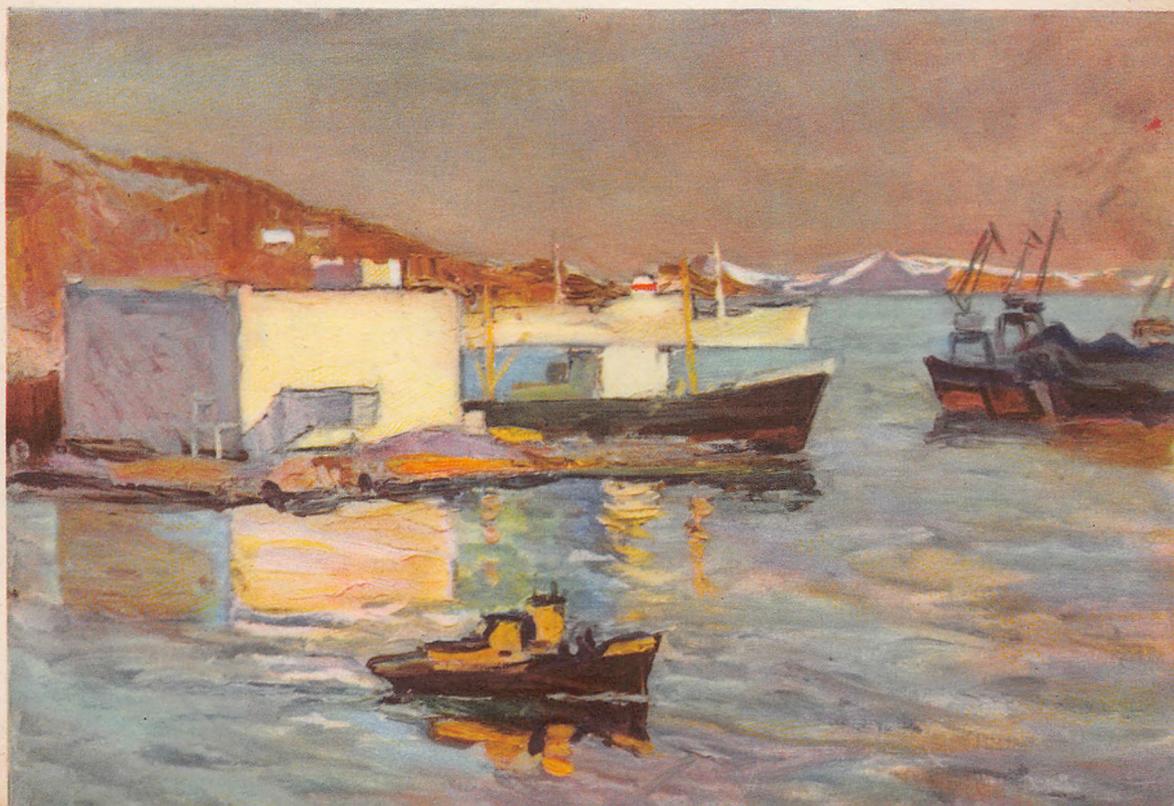




В. ДАВЫДОВ за работой

Поселок на Камчатке

Порт. Петропавловск-на-Камчатке





Мастер киноплаката С. ДАЦКЕВИЧ

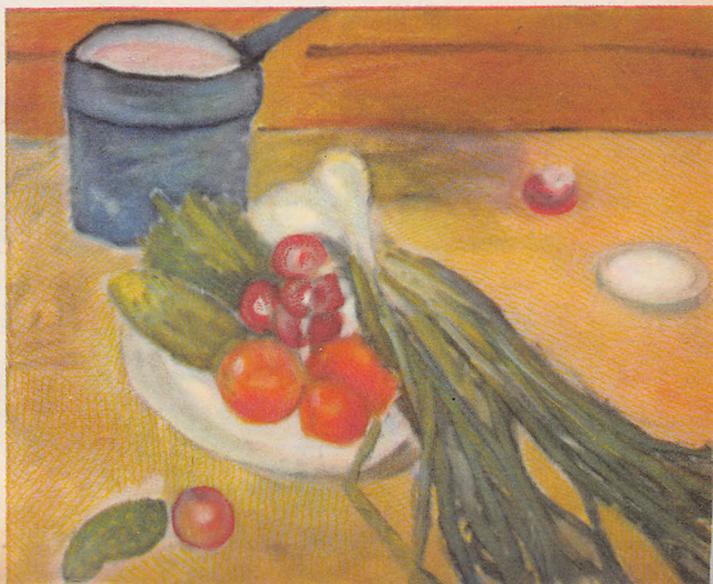


ОЛЯ ФЕЙГИНА, 16 лет

Автопортрет

ПЕТЯ БОРЦОВ, 12 лет

Натюрморт с луком



ское воплощение образа этого мудрого, талантливое, кристально чистого душой человека.

Молодой мастер прекрасно владеет техникой линогравюры. Он — весь в поиске, в устремлении вперед. Интересны и его опыты в живописи.

Илларион Голицын — не единственный график, который успешно работает в этой области. Вот Ю. Д. Коровин — художник, которого нелегко отнести к какому-то определенному жанру изобразительного искусства. Его иллюстрации к «Иудушке Головлеву» и «Ревизору», к произведениям Маяковского и детским книжкам — большая творческая удача. Иллюстрации эти очень эмоциональны, художественной основой их является глубокий психологизм, выразительность, точность рисунка. Но Ю. Коровин — и отличный живописец, тонко чувствующий цвет, обладающий своей манерой, остротой видения.

Нельзя не отметить, что повседневное дружеское общение в стенах мастерских Сиреневого бульвара художников самых разных профилей очень благотворно. Здесь редко найдешь человека, который ограничил бы себя рамками какой-то одной техники.

За примерами ходить недалеко. Заглянем в мастерскую графика-офортиста И. М. Фейгина. Он давно работает как портретист — им создана серия портретов героев труда и деятелей культуры. В последние годы И. Фейгин занимается линогравюрой, акварелью, а сейчас увлеченно трудится над композиционными рельефами на дереве. В них, в этих рельефах, — соединения живописи, графики и скульптуры.

А Серафим Александрович Павловский? Говорить о нем как о художнике — значит касаться едва ли не всех видов изобразительного искусства: живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративного, прикладного, оформительского искусства. Это художник-универсал, неутомимый экспериментатор и изобретатель, технолог, педагог, теоретик. Самое же главное — он интересный, увлекающийся человек, разносторонне образованный, разносторонне одаренный.

Стекло, новые синтетические материалы (пенопласт, пеностекло), шифер, древесно-стружечные плиты — все эти и многие другие материалы буквально преобразуются в руках художника, раскрывают свои замечательные художественные возможности.

Когда попадаешь в мастерскую С. А. Павловского, кажется, что в ней работает юноша — так здесь светло, радостно, красочно. Ни в самом облике художника, ни в его работах, ни в неустанных поисках этого далеко уже не молодого человека нет ничего, что говорило бы о том, что он собирается «уйти на покой». Ни о каком покое и речи быть не может! Его жизнь — поистине пример для подражания, школа для нашей молодежи.

Счастьем свободы творческого труда, неутолимой жадной и радостью созда-

ния — всем этим в полной мере обладает С. А. Павловский. И много доброго и светлого почерпнули бы у него люди, если бы шире знакомились с его творчеством. К сожалению, знают о нем мало...

Другой пример. Кажется, самый старший по возрасту в мастерских на Сиреновом бульваре — Александр Михайлович Глускин. Ему под семьдесят. Острый, своеобразный живописец, прекрасный портретист, отличный пейзажист, мастер натюрморта. Приходишь к нему в мастерскую, диву даешься — целый музей! Но все это скрыто от глаз зрителей. И как было бы хорошо, если бы при строительстве коллективных мастерских предусматривались и выставочные помещения, открытые для широкой публики!..

Среди молодых художников, о творчестве которых много говорили и спорили в последние годы, — талантливый живописец Павел Никонов. Первая его картина «Октябрь. 1917 год» была отмечена медалью на международной выставке во время Всемирного фестиваля молодежи. Две его последующие картины — «Наши будни» и «Геологи» — вызвали множество шумных, порой противоречивых суждений. Другого человека они могли бы спутать, выбить из колеи. Но Павел Никонов — человек не только талантливый, но и упорный в своем самозабвенном труде, безгранично влюбленный в большое искусство. Он не только много работает, он ищет. Каждый день для него — еще один шаг учебы, стремление к совершенствованию.

Большая картина «Штаб Октября», натюрморты, обнаженная натура, портреты, опять натюрморты...

Привязанность художника в этот период к натюрмортам легко понять и объяснить. Именно в натюрмортах он выверяет язык искусства, находит пути для дальнейшей работы. Для художника мало, как известно, просто рассказать о том, что он видит, чувствует и переживает. Так же важно, как об этом рассказать. Если рассказ будет художественно образным, ярким, если при этом будет использовано все богатство и своеобразие художественного языка, такой рассказ убедит, заденет за живое.

Казалось бы, что поэтического в простой алюминиевой миске с картошкой! Но Павел Никонов заставляет нас по-новому, с какой-то другой стороны увидеть будничное и привычное, почувствовать «красоту некрасивого». Для настоящего художника не существует пошлых или банальных мотивов — важно, как он их увидит и передаст. Поэтому и бумажная кружевная салфетка на простеньком столе, и искусственные цветы в натюрморте Никонова приобретают новую красоту. Действительно, можно ополщить возвышенное и прекрасное, а можно будничное и неприметное возвысить и опозитизировать, — все зависит от того, в какие руки попадет то или другое...

У Парижа было немало вдохновенных певцов — в их числе такие мастера, как Клод Моне, Писсаро, Утрилло, Марке...

Не будем проводить параллелей,

сравнивать наших художников с французскими мастерами. Но и у Москвы есть свои певцы.

Один из них — Михаил Иванов, художник из плеяды молодых Сиреневого бульвара. Москва зимой и летом, Москва в осеннюю непогоду и в светлые весенние дни... — он создает опозтизированный образ города, который мы так любим и который, оказывается, знаем или плохо, или односторонне. М. Иванов показывает нам «свою» Москву — всегда неожиданную, поэтическую, прекрасную...

М. Е. Горшман — художник старшего поколения. Его творческая деятельность началась еще в 20-е годы, когда он в качестве ассистента Н. Н. Купреянова преподавал во ВХУТЕМАСе. В числе профессоров ВХУТЕМАСа в те годы была блестящая плеяда советских графиков — В. А. Фаворский, И. И. Нивинский, Н. Н. Купреянов. Общение с ними не прошло бесследно для М. Е. Горшмана. Сохранив всю неповторимость и индивидуальность своего дарования, художник своим творчеством продолжил лучшие традиции советской реалистической графики.

В мастерских Сиреневого бульвара можно познакомиться со всеми видами графической техники — с офортом, литографией, ксилографией. Излюбленная техника М. Е. Горшмана — литография. Именно в этой технике выполнены его лучшие иллюстрации к «Дубровскому» и произведениям классика еврейской литературы Шолом Алейхема. Художник занимается и станковой графикой. Прекрасны его листы, посвященные Дагестану. М. Е. Горшман известен и как отличный акварелист.

И у В. Н. Вакидина, одного из любимых учеников В. А. Фаворского, Москва — заветная тема творчества. На его рисунках и литографиях это не шумная, многолюдная, торжественная и величественная столица, а тихие переулки, деревянные домики с крышами, утыканными частоколом антенн. На домики навдвигаются величественные громады новых зданий, их, домиков, остается все меньше...

Искусство Бориса Сергеевича Берендгофа — искусство поэтическое, тонкое. Излюбленная техника его — акварель и гуашь. Он — тонкий колорист. Его пейзажи Москвы, Подмосковья, Прибалтики, пушкинских и чеховских мест похожи на лирические стихи. «Настроения» природы, восхищение многообразием и богатством ее тончайших оттенков — главное содержание творчества этого живописца.

Едва ли не в каждой из этих мастерских живет «дух», характер его обитателя.

Первое, что бросилось в глаза в мастерской А. Тарана, — связки сушеной рыбы, развешенные по стенам. Значит, Таран — рыбак? Но здесь же рядом кассеты с киноплёнками и бачки с бензином. Значит, Таран — кинолюбитель и автомобилист? Все так. Таран — и рыбак, и автомобилист, и кинолюбитель, и прежде всего путешественник. Через несколько дней после на-

шего посещения его мастерской он, например, уехал в Индонезию и Вьетнам. Очень близка сердцу художника Болгария. В ней он бывал много раз. Болгария — тема многих его живописных работ.

Путешественников здесь много. Вот В. Т. Давыдов, влюбленный в суровую красоту Камчатки и Командорских островов, Байкала и Чукотки, Ледовитого океана и Гренландского моря. Он молод, но за его плечами большой жизненный опыт — дороги войны от Волги до Австрии, дальние путешествия.

О своих путешествиях, о пережитом на войне В. Давыдов рассказывает не только в картинах и рисунках, но и в написанных им книгах.

Есть на Сиреневом бульваре еще один художник-путешественник — И. П. Рубан, пожалуй, единственный в мире художник, побывавший на двух полюсах — в Арктике и в Антарктике. Он жил и работал на дрейфующей станции Северный Полюс, участвовал в антарктической экспедиции, прошел весь Северный морской путь, побывал на Земле Франца Иосифа, на Новой Земле, на Чукотке, в Якутии. Когда мы разговаривали с И. П. Рубаном, он собирался в новую арктическую экспедицию.

Есть здесь и свой искусствовед — Владимир Иванович Костин. Его можно увидеть не только на обсуждении новых работ или на спорах по вопросам искусства, но и с карандашом или кистью, за мольбертом в групповых студиях, систематически организуемых в одной из мастерских Сиреневого бульвара.

С художником С. И. Дацкевичем мы все давно знакомы: каждый день встречаемся с его работами на щитах кинорекламы. Это один из лучших мастеров киноплаката.

Есть тут и представители театрально-декорационного искусства — такие, как Борис Иванович Волков, народный художник СССР, главный художник Малого театра.

Художникам мастерских на Сиреневом бульваре готовится достойная смена — она воспитывается здесь же, среди холстов и подрамников, среди запахов скипидара и масляных красок. В мастерскую художника-керамиста Андриана Алексеевича Борцова художники приходят не только для того, чтобы посмотреть новое блюдо, обожженное им, но и новое «произведение» его сына-живописца — двенадцатилетнего Пети. Оля, дочь художника И. Фейгина, старше Пети на пять лет. Она выбрала для себя область профессионально сложную — офорт, литографию, сухую иглу. Но в семнадцать лет никаких сложностей не существует, и художники с большим интересом ждут рождения каждой новой ее работы...

Мы не назвали многих других обитателей мастерских на Сиреневом бульваре — вероятно заслуживающих внимания ничуть не меньше, чем те, о которых мы бегло рассказали. Но мы еще вернемся к ним. Ведь этот наш репортаж — лишь начало повествования о художниках столицы.

ПУТЬ К РОДНИКАМ

ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ 1965 ГОДА

I

Личность начинается с осознания себя, своего «я» как самостоятельной и необходимой частицы общества. Личность тем богаче, чем глубже в ней сознание связей с окружающим миром и чем вернее понимание своего места в нем.

Социализм впервые за всю историю человечества обеспечил наиболее благоприятные условия для свободного раскрытия и проявления человеческой личности. Но это не значит, будто каждый человек стихийно и обязательно использует все открывающиеся перед ним возможности. Это не означает также исчезновения всех сложных проблем. Личность — это прежде всего ответственность.

Даже такие безусловно благотворные факторы, как научный и технический прогресс и рост материального благосостояния, снимая одни проблемы, ставят на очередь дня другие, может быть не менее, а даже более сложные, чем забота о куске хлеба насущного.

Сокращается рабочий день, а как распорядиться освободившимся временем? Лавинообразно растет объем крайне необходимых современному человеку специальных технических знаний, а как быть с гуманитарным образованием? Наука внедряется буквально во все сферы жизни — не поведет ли это к рационализму, обедняющему и вытесняющему эмоции? Темпы самой жизни убыстряются в геометрической прогрессии — не забудем ли мы, не растеряем ли в спешке чего-то очень важного, без чего жизнь человеческая, при всем внешнем великолепии, может оказаться скудна и убога?

Тревожные эти вопросы не случайно возникают в нашей литературе, ибо литература во многом ответственна за человека, за то, каков он сегодня и каким станет завтра. Прозвучала эта гревога и в рассказе А. Яшина «Угощаю рябиной» (журнал «Новый мир» № 6). Багряные гроздья северной ягоды, которой автор-рассказчик потчует товарищей по перу и своих детей, становятся в контексте произведения образом живой связи героя с природой и другими людьми. Незабываемый терпкий вкус рябины — это неизбывная память о детстве, об отчем доме, о земляках с их каждодневными заботами и трудами и даже о картине В. Серова «Волы»,

что в совокупности как бы являет саму Россию, которую герой ощущает всем сердцем как неделимую и лучшую часть своего «я». Вот почему он испытывает большую горечь оттого, что для большинства из тех, кого он угощает рябиной, она лишь объект эстетического восхищения — экзотический и посторонний.

Но многократно, как сказочный рефрен, повторяется в рассказе мысль о том, что, по народному поверью, ягоды рябины помогают от угара. Чудо совершается на наших глазах. Стоит кому-либо отведать этих ягод, и в нем непременно пробуждается что-то хорошее, доброе, очень человеческое. Человек не может жить, не может полностью раскрыться как личность, единственная в своем роде и неповторная, если не ощущает глубокой родственной связи со всем этим древним и всегда новым миром.

Леоновский Иван Вихров, заканчивая очередной круг борьбы и скитаний, всякий раз возвращался на свою «малую родину», в Облог, к невеликому лесному родничку. Вечно живые струйки выбивались там из-под мшистых камней, и это было как бы началом всего: и лесного ручья, и Облога, и всей России, и, конечно, самого Вихрова — большой человеческой личности, настоящего сына своего народа.

Выступая на III съезде комсомола, В. И. Ленин сказал пророческие слова о том, что коммунистом можно стать, лишь обогатив свою память знанием всех богатств, которые выработало человечество. Речь шла не только о богатствах науки, но прежде всего о богатствах духовных, нравственных.

Сегодняшняя литература ведет читателя к роднику, она приобщает его к тем истокам, откуда начинается человек, его душа, его лицо. И затем уже ведет дальше. Литература вступает на борьбу с бездуховностью, в чем бы она ни проявлялась — в забвении уроков прошлого или в ослаблении активного интереса к настоящему, в потере чувства исторической преемственности или в тяготении к обывательскому благодушию, в утрате веры, убеждений, принципов или в нравственном оскудении.

В литературе прошедшего года — это передний край борьбы за коммунистическую личность, за Человека.

Давая на страницах «Литературной газеты» высокую оценку повести Ильи Константиновского «Срок давности» (журнал «Октябрь» № 4), Мариэтта Шагинян особо выделила мысль «о значении правильного преподавания истории, точного знания прошлого — для каждого нового поколения любого народа. Когда встает задача воспитания молодежи так особо остро, как в наши дни,— писала М. Шагинян,— знание прошлого, чтение о прошлом становятся важнейшим орудием самосознания и целевой направленности...»

Илья Константиновский написал повесть, которую поначалу можно понять только как повесть о неискупимости вины немецких военных преступников, принесших неисчислимые беды, боль и страдания миллионам людей. Но по мере чтения раскрывается и второй — главный — смысл избранного автором названия. Не существует срока давности для памяти человечества, ибо, даже говоря с врагами, надо понимать друг друга, а забвение прошлого, как и неправда о нем, начисто исключают такую возможность.

Вот почему столь оправдан повышенный интерес сегодняшней литературы к историко-революционной теме, выражением которого являются вторая книга фединского «Костра», хроника М. Шагинян «Первая Всероссийская», романы «Горбатый медведь» Е. Пермяка, «Любавины» В. Шукшина, повести «Звезды нужны живым» М. Никулина, «Эшелон идет на юг» А. Шубина, «Расстрелянный ветер» С. Мелешина...

Все эти романы и повести различны в жанрово-тематическом отношении, не похожи по стилю и языку, но равноценны в своем художественном качестве; казалось бы, трудно установить между ними какую-то общую связь, как трудно определить сразу и то действительно новое, что вносят они в наше понимание прошлого, о котором есть у нас и «Чапаев», и «Жизнь Клима Самгина», и «Тихий Дон». И тем не менее такие закономерности существуют. Общая черта литературы последних лет — расширение географии художественного осмысления действительности на всю страну. Москва, Петербург видимы как бы со стороны, на периферии действия, эпицентр которого лежит то в таежной сибирской деревне, то в казачьей станице, то на небольшом уральском заводе, а то и перемещается вместе с героем, прочерчивая на карте России прихотливую, но отнюдь не произвольную линию.

Идет интенсивная ликвидация «белых пятен», народная память заполняет еще сохранившиеся пробелы и пустоты, картина прошлого становится полней и объемнее. Такова внешняя сторона процесса. Его внутренняя, сокрытая сущность станет нам яснее, когда мы обратим внимание на другую особенность исторической прозы, преимущественно характерную для минув-

шего года. Если «география» литературы обнаруживает устойчивую тенденцию к расширению, то «хронология» ее локализуется всякий раз на определенных участках истории. В прозе 1964 года мы были свидетелями преимущественного тяготения писателей к осмыслению советской действительности 30-х и 40-х годов, говоря точнее — периода коллективизации, Великой Отечественной войны и первых, самых трудных, послевоенных лет.

В прошлом году мы отметили знаменательную веку — двадцатилетие победы над фашистской Германией. Как ни много было сказано нашими писателями за двадцать лет о войне, но, помимо уже упомянутой повести И. Константиновского, немало нового в наше знание о войне, о людях, отстающих мир от фашистской чумы, внесли появившиеся в прошлом году романы «Июль 41-го года» Г. Бакланова, «Щит и меч» В. Кожевникова, «Улицы гнева» А. Былинова, повесть А. Рекемчука «Товарищ Ганс», многочисленные рассказы. Однако в целом литература прошлого года в своей исторической части словно бы сдвинулась несколько назад, к истокам советской действительности, художественно исследуя и осмысливая десятые и двадцатые годы, период подготовки и проведения революции, особенно пореволюционной классовой борьбы в деревне. Разумеется, не сегодняшняя литература открыла ту истину, что своеобразие пролетарской революции в России в значительной мере определялось аграрным и мелкобуржуазным характером страны, сохранившейся, благодаря самодержавной системе правления, многие черты феодального уклада. Но ретроспективный взгляд, обогащенный опытом целой исторической эпохи, позволяет сейчас лучше, полнее, конкретнее видеть прошлое в его перспективе. В этом преимущество сегодняшней литературы перед литературой вчерашней.

Евгений Пермяк заканчивает свой роман «Горбатый медведь» («Советский писатель», 1965 г.) эпизодом — большевик Прохоров в апреле 1917 года рассказывает мильвенским рабочим о возвращении в Россию Ленина, о его знаменитых «Апрельских тезисах». Надо знать, что представляли собой Мильва, мильвенский судостроительный завод и время, о котором идет речь. Об этом, собственно, и написан роман. О маленьком, затерянном в прикамских лесах уголке прежней индустриальной России, где коренные рабочие сохранили почти в неприкосновенности глубокие корни, связывающие их с землей, с личным крохотным хозяйством, со всем укладом, доставшимся им в наследство от крепостных предков — полукрестьян, полупролетариев.

Не только возвышающийся над мильвенской плотиной отлитый из уральского чугуна горбатый медведь предстает как символ российского капитализма. Символична, ибо словно в капле воды отражает все противоречия тогдашней России, вся Мильва, с ее заводом и школами, с ее по-

селком, напоминающим одновременно и обычную уральскую деревню и город, с ее пестрым населением. Когда в одной из заключительных глав романа мы знакомимся с ленинской характеристикой февральского периода, то понимаем: речь идет и о Мильве, и, возможно, именно крохотная Мильва в данном случае больше характеризует всю Россию, нежели революционный пролетарский Петроград, в котором живут все-таки десятки тысяч, тогда как в остальной России — десятки миллионов.

Роман Е. Пермяка, написанный взволнованно и увлекательно, в характерной для писателя сказово-публицистической манере, с включением детективных сюжетных ходов, и весь как бы «омоложенный», освещенный остротой и непредвзятостью детского восприятия (ведь главный герой его — Маврик Толлин, чье детство кончается с наступлением революции), — этот роман, углубляя наше понимание истории, позволяет по-новому ощутить всю неимоверную трудность и грандиозность совершенного Октябрем, большевиками, Лениным.

Весной семнадцатого года вступающий в свое пятнадцатилетие Маврик думает: «На горбато медведе нет короны, но медведище царствует. Он ведет за собой еще многих людей, и ему еще очень многие поклоняются... Как же сломать это все и можно ли сломать? Как выправить горбы людям? Горбатов много. И нельзя же их всех исправлять могилами. Это жестоко до невозможности».

Да, куда легче сбросить с пьедестала медведище, нежели выправить горбы всем людям. Прежде казалось, что этот процесс будет проще и скорее, чем вышло на поверку. Не потому ли и появилась, в частности, потребность нового обращения к прошлому? И в особенности к прошлому тех «милльв», что в неисчислимом количестве были раскиданы по всей России.

Об этом говорит хотя бы сходство основных трагических конфликтов повестей М. Никулина «Звезды нужны живым» (журнал «Дон» № 1, 2), С. Мелешина «Расстрелянный ветер» (журнал «Урал» № 7), и романа В. Шукшина «Любавины» (журнал «Сибирские огни», № 6—9), хотя время их действия и разделено обратной чертой революции, а места, где разворачиваются события, удалены на тысячи километров.

М. Никулин рисует предреволюционную действительность, в которой богатеи Илюшаткины чувствуют себя неограниченными хозяевами. С семействами Любавиных и Кривобоковых («Расстрелянный ветер») мы впервые знакомимся весной 1922 года — первой хлебоборной весной после опустошительной гражданской войны, когда повсеместно укреплялась Советская власть и отряды особого назначения добывали остатки контрреволюционных банд. Если прежняя власть была за Илюшаткиных, то новая, народная власть была чужой и враждебной их духовным брать-

ям — Кривобоковым и Любавиным. Эта существенная разница в положении как бы сама собой предreshала исход борьбы, но борьба не становилась от этого ни менее острой, ни менее кровопролитной.

Со всем не праздный вопрос — и он требует всякий раз конкретного и пристального анализа — на чьей стороне лежит вина за взаимную озлобленность, пролитую кровь, за человеческие жертвы. Мы помним, как психологически глубоко и всесторонне проведен такой анализ в «Тихом Доне». К сожалению, в последнее время естественное желание восстановить историческую правду и заклеить неоправданную, несовместимую с ленинскими принципами народовластия жестокость грозило приучить нас к мысли, что едва ли не все жертвы классовой борьбы в пореволюционном государстве были напрасными. От этой однобокости и предостерегают нас произведения М. Никулина, С. Мелешина, В. Шукшина.

О страшной власти собственности писалось много. Но, видимо, недостаточно, если и сейчас, всякий раз наново, потрясает нас та бездна звериности, дремучей темноты, которая вдруг открывается в собственнике, едва он почувствует малейшую угрозу тому, ради чего живет, что составляет самое существо его бытия. Власть над вещами, обратившись во власть вещей, вытравляет из его души все человеческое; в ней уже не остается ни одной живой нити, которая связывала бы человека с миром, с другими людьми. Так происходит в повести Никулина с богатеями Захаркой и Петром Илюшаткиным. Именно человеческое — способность любить, открыто радоваться жизни, чувствовать прелесть труда и отцовства, быть внутренне свободным и естественным даже в стесненных обстоятельствах — привлекает в бедняках Павле и Семке Тигровых илюшаткинских жен Ульяну и Дуняшку, заставляя их уйти от постылых мужей к людям прекрасным и любимым. Но Захарка и Петр видят и в этом лишь бунт собственности, против которого есть только одно средство: поймать неверных жен и засечь их насмерть.

Захватывающий, авантюрно острый сюжет, разворачивающийся стремительно — от одной трагической развязки к другой, — как сжатая и враз освобожденная пружина, характерен не только для повести М. Никулина. Обнаруживая его в романе В. Шукшина и в повести С. Мелешина, мы видим, что это не дань внешней занимательности. Такова закономерность борьбы, когда темное, звериное противостоит человеческому и светлому. И горе тому, кто в борьбе этой отступил в сторону, надеясь, что право на жизнь и счастье дается без боя — как свет солнца и песня жаворонка.

Как радовался миру молодой казак Василий Оглоблин, выезжая в весеннюю степь для пахоты! Как любовалась рано овдовевшая мать красавцем сыном, когда, взяв под уздцы работягу коня, «он шел по

земле, которой нет ни конца и ни краю и которую никогда, наверное, нельзя распачать, потому что не хватит людей, таких, как ее сын! («Расстрелянный ветер»). Немногого он хотел — любить Евдокию, трудиться на своей земле. «Меня не тронут. Я никому ничего не сделал», — говорил он матросу Жемчужному, устанавливавшему в станице Советскую власть. Но именно он и стал первой жертвой кривокобовской мести.

И Илюшаткины, и Кривокобовы, и Любавины — это как раз те «горбатые», которых испривит разве что могила. Но таких, как ни страшны они, — немного. Огромное большинство — хорошие, сердечные, по-человечески красивые люди, а все же в чем-то тоже «горбатые» — по своей темноте, неграмотности, непривычке к новому укладу жизни. Что и как поможет им?

Есть в романе В. Шукшина один герой, к которому приглядываешься особенно пристально и особенно горячо ему симпатизируешь, — Кузьма Роднонов. Появился он в Баклани с дядей Василием Платоновичем. Платонич погиб от кулацкого выстрела. А Кузьма остался. Совсем юный, неопытно и неумело продолжает он дело «дяди Васи» — во имя верности к нему, во имя любви к людям. Автор так передает чувства Кузьмы: «Порой трудно глаза поднять на человека, потому что человек до боли хороший. Много, очень много надо сделать для этих людей, а он пока еще ничего не сделал. И не знает, как сделать. Иногда ему даже казалось, что с подлыми жить легче. Их ненавидеть можно — это проще. А с хорошими — трудно, стыдно как-то».

Кузьма понимал, если не умом, то сердцем, — что поставлен Советской властью не над людьми, а для людей. Маленькая и, кажется, не столь уж существенная деталь — обучить бакланцев читать и писать. Куда проще, чем заставить их отдать лишний хлеб государству. Но и на этой «мелочи» выверяется подход к человеку. Для учительницы Галины Петровны, с ее прямолинейной поверхностностью, трудность в том, что крестьяне по невежеству своему не видят пользы в грамоте и не хотят учиться. Эту трудность легко переложить на них, обязав их заниматься в приказном порядке. Логически продолжая этот ход, можно не пугаться и дальнейших трудностей — они «в деревне всегда были, есть и будут», ибо деревня косная, а людям государственным всегда виднее, что ей на пользу, а что нет. Так примерно и рассуждают Галина Петровна и тот уполномоченный, который распекал Кузьму за то, что он не достаточно решительно «выколачивал» из мужиков хлеб.

Кузьма же чувствует: в новую жизнь нельзя втискивать людей — пусть и для их пользы, — как в прокрустово ложе. И трудность не в том, чтобы сломить их сопротивление силой, а в той кропотливости, душевности, терпеливой самоотверженности, которая в конце концов побудила бы

массу тружеников — они достойны этого! — принимать новое с радостью.

Закрывая роман В. Шукшина, мы расстаемся с Кузьмой, по существу, при первых его самостоятельных шагах. Мы не знаем его дальнейшей судьбы, можем только догадываться, что такой человек полностью разделит с народом все его лихие беды. И разве сама история не подтвердила его правоты!

Книги В. Шукшина, М. Никулина, С. Мелешина близки по теме, по выраженным в них идеям, даже герои их во многом напоминают друг друга, а сходные характеры, поставленные в сходные обстоятельства, порождают и сходные коллизии. Но это не означает, что период нами равноценные в художественном отношении произведения. Повесть М. Никулина привлекает своеобразным изображением Донетчины, хотя здесь особенно силен искусс писать «под Шолохова». Язык М. Никулина не столь сочен и красочен, как шолоховский, по картины, нарисованные им, не теряют от этого своей географической и этнографической определенности. А главное, есть в повести та убеждающая правда характеров, когда трагическое и смешное, интимное и героическое сливаются в едином потоке отобранной художником жизни. И жаль, что писатель не всегда верен этой полноте, временами как бы «оголяя» сюжет, сводя его, как в эпизоде убийства Ульяны, к чисто детективной коллизии, что вызывает разнотильность повествования, композиционную несоразмерность отдельных его частей.

Роман В. Шукшина написан более ровно и более емко. Видимо, сказался тут опыт новеллиста.

К сожалению, чувства меры, обязательного для всякого художника, явно не хватило талантливому писателю С. Мелешину. Напряженный трагедийный лиризм его повествования неожиданно обрывается на слашаво-мелодраматической ноте (гибель Василия Оглоблина). Выразительная щедрость письма порой переходит неуловимую грань от стиля к стилизации, и тогда мы читаем строки едва ли не пародийные: «Василий выметнулся из травяной духомани и побежал за березы прочь, в степь, туда, где из долины, от реки дул шаталомный ветер и расстилал перед ним пушистые сухие ковыли».

Видимо, «современный стиль» все же есть, хотя и не след искать его в «рубленной» фразе, в ассоциациях, соединяющих предметы, удаленные друг от друга на космические расстояния, и других вымученных имитациях скоростей и мышления XX века. Стиль этот, как и стиль современного жилья, мебели, одежды, находит себя в простоте и изяществе, в современном чувстве слова, которому чужды «архитектурные излишества» и барокковские завитушки.

Такую современность стиля находим мы, например, в повести Алексея Шубина «Эшелон идет на юг» (журнал «Подъем» № 1, 2). Писатель ведет свое повест-

вание речью неторопкой и выверенной, исполненной юмора и той особой задушевности и живости, что свойственны преимущественно языку разговорному.

Название повести символично. Юг — это свет и тепло солнца. Это свет знаний и тепло человечности. В повести идет воинский эшелон, но идет не на фронт гражданской войны. Он идет в университетский город, где будет учиться юный политпросветчик Ванька Перекрестов. Понятно, что речь здесь идет об университетской науке не как о простой сумме знаний. Речь идет об усвоении той самой подлинно человеческой и человечной культуры, тех духовных богатств, на которых основывается новая коммунистическая мораль и нравственность.

Не случайно художественное обоснование этой мысли составило идейно-философский центр романа-хроники М. Шагинян «Первая Всероссийская» (журнал «Октябрь» № 6—8). Когда писательница подробнейшим образом, жертвуя стремительностью и внешней занимательностью действия, останавливается на всех аспектах инспекторской и педагогической деятельности Ильи Николаевича Ульянова, его учеников и соратников, происходит это не только затем, чтобы, как пишет критик Вс. Сурганов, мы могли «приобщиться к духовной жизни инспектора Ульянова» и «протянуть... ниточки исторической преемственности прямехонько в наши дни», связав дискуссии тех, далеких уже лет «с нашими нынешними дискуссиями о школе». Роман М. Шагинян удивительно целен в своем замысле. В эту цельность органически вливаются картины подготовки и проведения Первой Всероссийской промышленной выставки 1872 года со всеми словесными — и не только словесными — баталиями, ей сопутствующими, и споры на самом высоком уровне о характере просвещения народных масс. Необходимым образом вырастает в эту цельность и весь уклад жизни семьи Ульяновых, семья, в которой — читатель ни на минуту не забывает об этом — растет маленький Володя, будущий Ленин.

Мы видим, как исподволь, медленно, но неуклонно сходятся под высоким напряжением два могучих электрода — стихийное недовольство задавленными нечеловеческим утеснением масс и нарастающая, уходящая вширь и вглубь духовность революционно-демократической интеллигенции, — сходятся, чтобы однажды возникший контакт породил мощную и ослепительную вспышку — Революцию.

Роман М. Шагинян словно бы подводит философскую базу под всю сегодняшнюю историческую прозу, составляя вкуче с ней крайне поучительную картину истоков нашей современности, ту самую картину, знание которой помогает сегодня избавляться от обманчивых соблазнов субъективности, волюнтаризма, от порождаемых незнанием односторонних и поспешных решений, приводящих, как показал опыт, к разочарованию и сомнению.

III

Самое живое внимание критики и самые жаркие споры вызывает литература на современную тему. Если вдуматься в смысл литературной полемики прошлого года (споры о новых произведениях А. Первенцева, В. Семина, В. Чивилихина, М. Анчарова, В. Тендрякова и др.), то, оставляя в стороне налет случайного и субъективного (предвзятость и произвольность в оценках, рецидивы нормативного подхода к явлениям искусства), мы увидим: в общем-то речь шла о главном — о повышении читательских требований к литературе, о понимании ее задач на современном этапе, о критериях правды и художественности.

Мы хотим, чтобы исследовательский пафос писателя был гражданским пафосом, чтобы произведение не просто констатировало: «такова жизнь», а побуждало к активному ее осмыслению, к творческому, преобразовательному действию.

Видимо, отсюда и пронстекает наша неудовлетворенность повестью В. Семина «Семеро в одном доме» (журнал «Новый мир» № 6). Густоту и рельефность красок повести ощущаешь буквально с первых страниц: как-то сразу, вдруг живыми и полнокровными являются перед нами ее герои со своими трудными судьбами и непохожими характерами, являются в обстановке до осязаемости реальной. Это — большое достоинство произведения. И, кстати, не единственное.

Автор любит людей и желает им добра. Однако далеко не на всех у него этой любви хватает. Так, кажется мне, непростительно равнодушен он к журналисту Виктору. Виктор, при том, что он добрый и незлобивый человек, не опытен в житейских делах, пассивен и инфантилен. Это с досадой ощущаешь на каждом шагу, но при этом не чувствуешь досады автора: будто все правильно в характере и поведении Виктора, будто так и надо.

Между тем все в повести вопиет против пассивности главного героя. Он — единственный, если не считать его жены учительницы Ирины, интеллигент, который живет в окружении людей в общем неплохих, однако погрязших в мелочах быта, ведущих трудовое, но, в сущности, бездуховное существование. И он ограничивается позицией равнодушного наблюдателя, которая от обывательской позиции отличается лишь тем, что она равнодушная.

Но есть в повести В. Семина герой, который всецело завладевает нашими симпатиями. Это — мать Ирины и Женьки — Анна Стефановна, которую все домашние и соседи зовут Мулей. Вот характер граждански активный, сохранивший большую внутреннюю красоту, чистоту и цельность. Много доброго можно сказать о Муле, о ее материнской самоотверженности, о ее иссякающей энергии и трудолюбии, о ее смелости и принципиальности в отстаивании правды. По самой сути своего характера, по натуре, горячей и беспокойной,

Муля — общественница. Это особенно чувствуется в первых главах повести, где рассказывается о жизни Мули в годы войны, о ее работе на заводе. И самой большой неправдой повести — неправдой, потому что это в корне противоречит сущности изображенного писателем характера, — является произвольный отрыв Мули к концу повествования от общественной, заводской жизни. Да, Муля по-прежнему ходит на работу, возвращаясь нагруженная авоськами, озабоченная домашними хлопотами. Но отныне мы видим ее только в одной ипостаси — домашней хозяйки. Образ сразу же снижается настолько, что теперь это будто бы другой человек, мало отличимый от остальных обитателей окраины.

Вот теперь мы и подошли к самому главному — чем же не удовлетворяет нас повесть. В ней есть правда «физиологического очерка» — правда окраинного быта, причем — это важно подчеркнуть — окраинного не в географическом смысле, а скорее в психологическом, нравственном. Однако разрез через быт, и только через быт, поневоле однокбок. Повести остро не хватает боевитости, гражданского звучания, того, что так удачно намечалось в связи с образом Мули в первых ее главах. Повести не хватает огня, борения противостоящих сил. Пассивность Виктора и Ирины лишь усугубляет этот ее большой изъян. Ибо правда и суть нашей жизни есть борьба, сшибка характеров, преодоление косности, враждебной человеку.

Вне борьбы все проблемы, в том числе и остро социальные (а они в повести намечены), повисают в воздухе. Создается впечатление, что у автора не хватило смелости поставить их ясно и прямо, заговорить о том, что его волнует, в полный голос.

Я бы не говорил столь подробно о семинской повести, если бы тенденция к «чистому изобразительству», к приглушенности гражданского, проблемного, в конечном счете партийного начала не стала в последнее время вновь заметно оживать в нашей литературе. Она проявилась и в рассказе молодого автора Владимира Гусева «Рыбный день» (журнал «Новый мир» № 8).

Скажу сразу, что в рассказе В. Гусева привлекает не такой уж частый, даже у профессиональных прозаиков, дар изобразительности, живописания словом. Фраза его несколько тяжеловата, но состоит она из точно найденных слов и деталей, подробностей, враз делающих выпуклым и как бы реально существующим всякий предмет и всякое лицо, которое берется описывать автор. Чувствуется, что он умен и наблюдателен. И читать его интересно, ибо в самом процессе художественного «овеществления» мира есть что-то таинственное и магическое — эта извечная «тайна» искусства, одна из существеннейших сторон его занимательности.

Итак, талант есть. Вопрос в том, куда он направлен, на что расходуетя.

Вот рассказ «Рыбный день». Герой

его — Михаил Алексеевич, химик, доцент, преподаватель вуза, уже пожилой. Дома жизнь его тускла, буднична, безрадостна. В институте он весь поглощен служебными делами. Работу свою Михаил Алексеевич любит. Конечно, он не настоящий ученый (он понимает это), но специалист хороший — знающий, аккуратный, исполнительный. Но вот окончен рабочий день, и Михаил Алексеевич думает уже только об одном, а именно — о рыбалке. Он собирается, едет за город, к реке, говорит с попутчиками. Разговор один — о рыбалке. И на реке мысли и чувства одни — рыбачьи. Герой не ощущает ни красоты природы, ни радости общения с нею. Правда, утомившись монотонностью занятия (тем более, что рыба не клюет), он иногда смотрит вокруг или думает «о постороннем». Например, с обрыва стало видно далекую деревеньку на той стороне, и сразу заработала мысль: «Что там? Что за деревня? Что за люди? Вот я здесь, а они там, и мы никогда не увидим друг друга». Автоматически, привычно срабатывающее мышление — в нем нет ни интереса, ни любопытства настоящего, ни любви.

Наконец герою удается вытащить щуку. С добычей он едет домой. Показывает щуку пассажирам в автобусе. Те одобряют: «Ничего». И Михаил Алексеевич доволен. Ему ничего и не надо.

Я далек от мысли, прочитав рассказ, вытаскивать выцветший жупел, на коем начертано sacramентальное заклинание: «Так в жизни не бывает». Бывают скучные, неинтересные люди. Бывает, ведут они sereneкое, безрадостное существование, удовлетворяясь, как нищие милостыней, крошечной радостью от неприятельной похвалы случайных попутчиков: «Поймал, не обманул, сынок». Бывает — а что дальше? Мимо этих людей пронесится, не касаясь их внутреннего мира, большая, яркая, многотрудная и прекрасная этой многотрудностью и борьбой жизнь. Писатель, с моей точки зрения, может и не давать «противовеса» изображенной им стороне действительности. Совсем не обязательно, чтобы в каждом произведении, тем более в рассказе, нормативно уравнивались темные и светлые стороны бытия. Но у А. П. Чехова, когда писал он своих «скучных людей», живших в «скучной» мещанско-чиновничьей обстановке России 80—90-х годов, в каждом рассказе явственно ощущим писательский идеал иной жизни. И герои его страдают оттого, что живут без идеала, без «общей идеи», и мечтают увидеть «небо в алмазах», а у тех, которые от этого не страдают и не мечтают о переменах, своя логика и свои идеалы — логика и идеалы воинствующих обывателей, ретроградов и мракобесов.

Чехов, которого иные из современников упрекали в асоциальности, проблемен от начала и до конца: он заставляет работать читательскую мысль в строго определенном направлении. В. Гусев отступает от этой традиции. Прочтет его рассказ такой вот Михаил Алексеевич — и ничто не

шевельнется в его замершей и остывшей душе, разве что утешится он: правильно я живу, вот и другие так же живут, и ничего. Читатель же иного рода испытает понятное разочарование и неудовлетворенность. «Искусство — это моя радость», — так формулировал А. Толстой требование читателя к литературе. «Думаю, что литература, искусство вообще — это есть творчество радости», — переключался с ним М. Пришвин. Это не призыв к розовости и лакировке. Щедрин доставляет нам великую радость — радость торжества над глупостью, радость нравственной победы над мерзавцами, которых он хлещет каждой строкой. Читая повесть С. Залыгина «На Иртыше» — горькую повесть, — мы радуемся не только мастерству писателя, мы счастливы знакомством с такими людьми, как Чаузов, Печура, жена Степана Чаузова, Фофан Ягодка. Радостно знать, что такие люди жили и живут вокруг нас.

Когда читаешь рассказ В. Гусева, невольно думаешь о том, что ни мастерство, ни талант, ни умение само по себе не обеспечивают успех книги у сегодняшнего читателя. На передний план выходят произведения литературы, авторы которых заставляют нас размышлять о вещах коренных и важных.

Впрочем, случается и другое. Роман А. Первенцева «Оливковая ветвь» (журнал «Октябрь» № 1—3) читается с интересом, и интерес этот обусловлен целым рядом обстоятельств. Во-первых, даже если герои не существуют как характеры, а только названы и слегка обрисованы анкетно и фотографически, читателю уже любопытно, как складываются их личные взаимоотношения. Ему, например, не терпится узнать, что будет дальше с Людмилой Кареджи и Матвеем Шапкинним, Люсиным отцом и Варенькой Окатовой, тем более что само составление пар тут довольно пикантное: научный сотрудник и «простой рабочий», знаменитый пожилой ученый и ничем не примечательная молодая девушка. Во-вторых, небезынтересно узнать, как делают ракеты и как они испытываются, — пусть не все узнать, по понятным соображениям, но хоть самую малость: ведь век-то ракетный и космический. В-третьих, есть соблазнительная возможность заглянуть туда, где многие не бываю: на дипломатический прием в столичном ресторане и в лабораторию металлургического завода, в кабинет министра и в квартиру академика. Все это вместе взятое несомненно подстегивает читательское внимание, и, отвлеченное в определенную сторону, оно уже не замечает ни лип, цветущих в Москве, если верить писателю, ранней весной, ни явного «перебора» в технологических описаниях: «Матвею хотелось самому до конца довести процесс: взять пробу, скатать шлак, навести новый, скорректировать металл добавкой легирующих присадок. Ему было известно, на сколько угорают те или иные металлы, как усваиваются добавки,

когда необходимо провести раскисление перед присадкой ферросплавов...»

«Раскисление перед присадкой» читателя мало волнует, потому что он, за редким исключением, не металлург и, в отличие от героя, понятия не имеет, «на сколько угорают те или иные металлы». Не волнуют его и бесчисленные разговоры героев — отчасти опять же по неведению, о чем идет речь, отчасти, наоборот, потому, что разговоры эти не выходят за рамки незначительного либо общеизвестного. Последнее понимают и сами герои. Например, Люсе хотелось сказать Матвею, «какие большие, правильные люди их отцы, как много сил и умения отдали они Родине». Она этого не сказала, вовремя сообразив, что ни Матвей, ни читатель ей возражать не будут. К сожалению, Люся не всегда столь догадлива, как, впрочем, и остальные герои: рассуждения их большей частью удручают своей очевидной банальностью.

И вот оказывается, что роман, с интересом дочитанный до конца, ничего не открывает за исключением вещей, для литературы второстепенных. Сведения о ракетостроении и металлургии нам могла бы дать и толково написанная популярная брошюра. Остальная информация малоценна, ибо не несет никаких новых знаний о людях, о наших современниках, а следовательно, и о жизни.

Роман, многозначительно названный «Оливковой ветвью» — символом мира и задуманный как повествование о значительных и прекрасных людях, умом, трудом и упорством своим помогающих человечеству избежать термоядерной гибели, стал творческой неудачей талантливого и опытного писателя.

М. Светлов сказал как-то, что не надо давать в стихах таблицы умножения человеческих отношений. В равной степени относится это и к прозе. Таблицу умножения знают и школяры. Литература же пишется не ради прописной морали — она исследует алгебру человеческих отношений.

Этой «алгебры» недостает, например, ряду произведений, напечатанных в прошлом году в журнале «Юность» (С. Ласкин «Боль других», И. Ефимов «Смотрите, кто пришел!», А. Гладилин «История одной компании»). Рассказанные то от лица героя, то от лица автора, они удивительно похожи. Порой даже кажется, что мы слушаем бесконечно затянувшийся монолог одного человека. Это бойкая поверхностная скороговорочка, выдержанная в привычных и уже не воспринимаемых всерьез интонациях «исповеди молодого человека», — немного остроумия, немного иронии, немного шегольства эрудицией, немного лирики, немного драматизма и т. д. Вообще, всего понемногу, и до всего герой как бы только касается «перстами, легкими как сон». Может быть, герой и очень серьезный человек, и есть у него крепкий душевный стержень, и жизнь достается ему нелегко, и драмы его — настоящие драмы. Но сам стиль его речи — удивительно легковесный,

порхающий, монотонный — играет с ним злую и непоправимую шутку: и герой-рассказчик, и окружающие его словно бы растворяются в обманчивом блеске суетливого краткоречия.

Этих героев нельзя полюбить, нельзя ненавидеть, с ними нет желания спорить, ибо у них нет лица, нет характеров, нет и судьбы; у них только разные биографии, рассказанные одним и тем же стереотипным голосом.

IV

А живой герой непременно — полюбим мы его или нет — заставит думать о себе, вызовет на спор, и это будет спор о жизни и о человеке. Так случилось, когда появилась в журнале «Молодая гвардия» повесть В. Чивилихина «Елки-моталки». Спорили не о таланте автора, не о том, насколько правдиво и художественно изобразил он нашу действительность, — спорили о Родионе Гуляеве как о живой, реально существующей личности.

В полемической запальчивости были высказаны и прямо противоположные суждения. Одни готовы были видеть в Родионе чуть ли не нравственный идеал эпохи. Другие, находя в характере Гуляева не все совершенным, уверяли, что идеал таким быть не может, что наш идеал совершенно другой.

Последняя точка зрения была с особенной последовательностью и прямолинейностью высказана А. Берзер (журнал «Новый мир» № 7). Вся ее рецензия, по существу, свелась к доказательству столь же неожиданной, сколь и абсурдной мысли: будто повесть В. Чивилихина написана затем, «чтобы доказать, что такие люди, как Родион Гуляев, имеют право убивать таких людей, как Евксентьевский». В интерпретации А. Берзер Гуляев предстает перед нами таким неотесанным таежным медведем, для когo человек не более чем «вошь на гребешке». С другой стороны, критик рисует Евксентьевского безобидным заблудшим агнцем и, апеллируя к гуманности, пытается вызвать к нему сочувствие.

Произвольно толкуя выхваченные из контекста повести фразы и эпизоды, А. Берзер приходит к выводу, что моральные критерии здесь поставлены с ног на голову. Рецензия так и названа: «Когда черное — белое».

А. Берзер писала о журнальном варианте повести (журнал «Молодая гвардия» № 1), в котором Гуляев, хотя и ненароком, действительно убивал Евксентьевского. Подобный сюжетный ход и в самом деле был ложным, не вытекал ни из характера главного героя, ни из обстоятельств. Поняв это, В. Чивилихин в отдельном издании повести изменил его: теперь Евксентьевский погибает случайно, из-за собственной трусости. «И получилось так, — замечает по этому поводу А. Берзер, — что писатель, оставив в основном повесть без изменения, как бы выдернул главный кирпич, на котором она держалась». Здесь-то и обнажается

вся субъективность рецензента. А. Берзер была бы права, если бы идея повести состояла именно в том, в чем ее видит критик. Но от изменения концовки «здание» повести не рухнуло и даже не «зашаталось», а, напротив, стало крепче и прочнее. Был выдернут не «главный кирпич», а убрано чужеродное тело, мешавшее единству и художественной цельности произведения.

Мы уже не спрашиваем вместе с А. Берзер, «зачем же теперь суд?» Как раз теперь-то его появление и оправдано. Для следствия Родион если не прямой, то во всяком случае косвенный виновник гибели Евксентьевского: он сам признает за собой эту вину. И следствию крайне важно установить истину, выкрикнуть в подлинные обстоятельства дела. Выделенные курсивом подглавки — как бы стенографические отрывки бесед следователя со свидетелями — это придиричивый и требовательный суд автора над героем, суд объективный и беспристрастный.

А рядом разворачивается художественное повествование — тоже своего рода «суд» над героем, но уже страстный, эмоциональный, ибо — есть такой грех! — автор действительно любит Родиона Гуляева.

Тут мы вполне разделяем чувства и автора, и Агриппины Чередовой, которая готова нести все тяготы и неурядицы лесной пожарной службы, чтобы быть рядом с полюбившимся ей человеком. Сама профессия Родиона требует незаурядного героизма и мужества, влюбленности в дело и самоотверженности. В том, что Родион — прекрасный пожарник, не сомневается и А. Берзер. Но элементарная логика повелевает в таком случае признать за Родионом и все качества, необходимые сопутствующие его профессии. Здесь не задержится искатель легкой жизни, летун, индивидуалист, человек, для которого любовь к людям, чувство товарищеского локтя не является высшим нравственным законом. Здесь, как на войне: каждый рискует жизнью, и всякий прыжок в район пожара — как прыжок десантника во вражеский тыл.

Особенно возмущает А. Берзер тот эпизод повести, когда, подняв в воздух Евксентьевского, Родион выпалил горяча: «Вы, паразиты, перед Платонычем ползать должны!» — чем, по словам рецензента, высказал «монументальную убежденность, что перед одними людьми (допустим, даже очень хорошими) должны ползать другие люди (допустим, даже очень плохие)».

С точки зрения абстрактного, кабинетного «гуманизма» слова Родиона действительно ужасны. Но ведь моральные нормы — не абстракция. И дело происходит не в уютной квартире за чашкой чая, а на лесной поляне, когда по соседству пожар, горит народное богатство, обезображивается земля и дорога каждая минута. Надо понимать, откуда у пожарников неприязнь к «чужакам». Их, людей, всячески отлынивавших у себя на родине от работы, прислали в тайгу на перевоспитание. Для пожарников это, естественно, обуза, ничем

не оправданная помеха в работе. И тем не менее летнаб Гуцких обучает пришельцев технике пожарной безопасности в то время, когда горит тайга. А «чужакам» это, пользуясь их жаргоном, — «до лампочки».

Евксентьевский ведет себя в высшей степени нагло, он озабочен лишь одним — подольше протянуть волюнку, показать свое «остроумие», всласть поиздевавшись над таежными лапотниками.

«— Разрешите вопрос?»

— Пожалуйста.— Гуцких разыскал его глазами.— Только надо встать.

— Не беспокойтесь, мне так удобней.

— Но я же стою перед вами! — сказал Гуцких и лицо у него дернулось.

— А вы тоже ляжете,— ехидно посоветовал Евксентьевский, и кругом сдавленно хохотнули».

Есть, ей-богу же есть, от чего прийти в бешенство. Родион сказал «ползать». Мы бы не осудили его, выскажись он и покрепче, даже ударь Евксентьевского. Но автор — осуждает. Осуждает устами того же Гуцких.

«— Ты бы полегче с ними, Гуляев.

— А? — очнулся Родион.— Что?

— Да с захребетниками-то этими. Полегче, говорю, надо быть с ними.

— А ну их!

— Я почему-то всегда думал, что поддержки у тебя побольше?»

Как видим, автор далек от «восхищения» поступком Родиона, что приписывает ему А. Берзер. Точно так же он далек от восхищения абсолютно всем в Родионе. Гуляев — цельная и красивая натура. Но «грамотешки... побольше» нужно не одному Бирюзову. Не хватает ее и Гуляеву, причем не только в школьном значении. Родиону не хватает той большой и всесторонней интеллектуальной культуры, которая дала бы ему более широкий взгляд на вещи. Сейчас Родион болеет почти исключительно болью своей профессии. Между тем подлинный положительный герой наших дней — это человек, обладающий, независимо от профессии и занимаемой должности, общегосударственным масштабом мышления. Это действительный хозяин страны, чувствующий личную боль за все хорошее и дурное, что совершается в ней.

Образ такого человека встает перед нами со страниц очерка В. Чивилихина «Светлое око Сибири» (сборник «Сибирка», «Советский писатель», 1965) — страстного, исполненного воинствующей партийности и действенной любви к родной земле. Могут сказать, что герой очерка — журналист, писатель, а Родион-де простой рабочий,— по Сеньке ли шапка? Но герой очерка встречается с разными людьми — рабочими, лесорубами, инженерами, учеными. И эти люди, очерченные бегло, но достаточно выпукло, мысленно подразделяются нами во все не по образовательному либо профессиональному цензу, а по степени гражданской ответственности, которая неотделима от широты и правильности взгляда на мир, от стержневых нравственных качеств личности. Другое дело, что от одного Родиона не

многое зависит, тогда как один равнодушный и ослепленный ведомственным рвением чиновник может натворить тем больше и непоправимее бед, чем большей властью он облечен.

Но ведь затем и написано «Светлое око Сибири», чтобы такие люди, как Родион Гуляев, поднялись к новым высотам гражданского сознания.

Критика, как мы уже видели на примере А. Берзер, подчас допускает одну весьма грубую ошибку, выдавая героя, которому автор явно симпатизирует, за выражение нравственного идеала писателя. Мало того, что в этом случае писателю приписывают недостатки его героя (так получилось с В. Чивилихиным), — сам герой начинает рассматриваться абстрагированно, вне многообразных его связей с реальной средой, порождением которой он в значительной мере является.

С другой стороны, между нравственным идеалом писателя и его любимым героем, хотя и нет тождества, имеется непрямая связь, которую критика тоже не всегда учитывает. Так, никто, кажется, из писавших о повести В. Тендрякова «Полденка — век короткий» (журнал «Новый мир» № 5) не отважился сказать о Насте Сыроегиной как о любимой героине писателя (по крайней мере для этой повести), — ведь тогда бы пришлось говорить, что она положительная, или — одно из двух: упрекать Тендрякова в том, что у него «черное — белое». Поэтому положительный пример стали искать в другой знатной свинарке, Ольге Карповой, и некоторые критики даже пожурили писателя: дескать, зря не показал Карпову пообстоятельнее, ярче. Вот, мол, на кого надо равняться!

Между тем, послушайся автор этих советов, у него получилась бы совершенно другая повесть — другая по замыслу, по идее. Ольга нужна писателю не для противопоставления ее Насте, а скорее для сопоставления. Когда человека начинают выдвигать как «гордое зная» и создают для его трудовых подвигов специальные исключительные условия, бросая сюда все силы и все средства и обделяя в результате других тружеников и другие участки хозяйства, то вопрос о прямых приписках и индивидуальном обмане отходит на второй план. В любом случае тут будет элемент показухи и очковтирательства. И в любом случае это наносит ущерб хозяйству — и потому, что попросту невыгодно, и еще потому, что дезориентирует людей.

Нас волнует судьба Насти не потому, что она пошла на подлог. Будь она заводской карьеристкой, ловкачкой, мы бы нимало не переживали ее падение, а ждали разоблачения и наказания. Но Настя по натуре очень чистый и светлый человек. То, что случилось с нею, — большая беда. И все же жизнь долго и безуспешно ломала Настю, пока она не оказалась внутренне подготовленной к компромиссу с собственной совестью.

И тем не менее в повести нет ни одного героя, которого автор любил бы больше,

чем Настю. И мы солидарны с ним в этом чувстве, потому что, хотя Настя при своем «падении вверх» и «не угрызалась совестью», в ней гораздо больше здоровых, истинно народных нравственных начал, чем в тех людях, с которыми особенно близко сталкивает ее жизнь,— в Кешке Губине, Косте Неспанове. Это здоровое ядро в конце концов и побеждает в Насте, когда, казалось бы, душа ее уже окончательно опустошена и нет никакой надежды на духовное возрождение. Но так только казалось. И теперь, когда ужаснувшись содеянному, Настя бежит по ночному селу и криком умоляет людей о спасении, мы знаем: спасти ее уже не надо — она сама себя спасла.

Образ Насти Сыроегиной заставляет вспомнить целый ряд молодых героев современной прозы, перед которыми жизнь не расстилается скатертью-самобранкой и самоутверждение в ней дается упорством, лишениями, а то и ведет к поражению.

В повести О. Хавкина «Нилка» (журнал «Сибирские огни» № 1—2) Евдоким Макарычев избивает злого браконьера и торговца Григория Кузеванова, за что попадает в заключение. В повести И. Лаврова «Очарованная» (журнал «Октябрь» № 8—9) тракторист Шурка получает в наследство материнский дом и так «окулачивается», что даже невесту выбирает себе по расчету — хозяйственную, домовитую. В повести В. Николаева «Ледяное небо» (журнал «Урал» № 1) капитан рыбацкого сейнера Иван Ермаков в неумной погоне за славой и «длинным рублем» без нужды рискует жизнью подчиненных и своей собственной, пока не погибает нелепо и обидно.

Разные люди, и судьбы разные. Но есть в них и нечто общее и вместе с тем отличное. И Евдоким, и Иван, и Шурка — замечательные, в сущности, ребята. Добрые, трудолюбивые, честные. И перед каждым из них жизнь ставит соблазн, испытывает их на прочность. Кузеванов предлагает Евдокиму войти в долю, Шурке привалило хозяйство — дом, огород, скотина, перед Иваном — возможность зарабатывать почти неограниченная. Евдокиму всех легче. Браконьер — враг, это ясно. С врагом надо бороться. И Макарычев борется, сначала неумело, с поражением, но и тогда не утрачивает веры в торжество правды, продолжает борьбу по выходе из заключения, пока не изобличает Кузеванова и не одерживает над ним победы. Труднее Шурке. Кажется, что предсудительного, а тем более опасного в личном хозяйстве? Но оно засасывает — тихо, неприметно, пока однажды Шурка почти с ужасом не увидит, как изменился в дурную сторону. Уже и с лучшего друга Стебля надумал было деньги взимать за угол в хате, и соседского козленка за потраву капусты до смерти зашиб. Ссора со Стеблем отрезвляет — Шурка возвращается к прежней жизни.

Но, пожалуй, больше всего мужества требует жизнь от Ермакова. Лучший капи-

тан базы, «маяк», он живет вроде бы честно и правильно — по принципу социализма, который не исключает, а даже обязательно предполагает материальную заинтересованность. И не замечает Ермаков, что эта заинтересованность, поощряемая руководством базы, где-то переходит нормальную грань и превращается в обыкновенное рвачество, обедняющее и опустошающее душу Ивана. Где эта грань? В самом Иване? Пожалуй, не только. Ведь если не Ермаков, то другие должны понять, что начальник базы Воронин сознательно играет на слабостях Ивана. Ему-то Иван нужен (как и Настя Артемию Богдановичу), чтобы придать видимое благополучие неблагополучным в целом делам базы. Ради этого он и обделяет другие суда, лучшую снасть, даже в избыточном количестве, отдавая на «Гневный», и прощает капитану «Гневного» любые нарушения техники безопасности, любой произвол: лишь бы давал Ермаков двойной и тройной план. И вот страшный итог — смерть Ермакова.

Воронин, Артемий Богданович, Кузеванов, Шуркина собственность выступают во всех названных случаях как сила, ломающая человека, как враждебные обстоятельства, мешающие нравственному росту личности. Не всегда их одинаково легко распознать, чтобы почувствовать, откуда угрожает опасность. Не легко и бороться. Но бороться нужно, даже если честен и добр смолоду, — и за других людей, и за самого себя, за чистоту и нравственное богатство душ, иначе неизбежен застой, самоуспокоенность и равнодушие, компромиссы с совестью, моральная деградация. Особенно это важно для человека молодого, вырабатывающего свое отношение к жизни.

Сейчас, пожалуй, нет ни одного произведения о современности, в котором в качестве одного из главных не действовал бы молодой герой в возрасте от семнадцати до тридцати лет. И нет ни одной книги, где в числе молодых, определяющихся в жизни героев не было бы работников умственного труда — учителей, журналистов, инженеров и особенно ученых: роман М. Анчарова «Теория невероятности» (журнал «Юность» № 7—8) целиком посвящен физикам, роман В. Маканна «Прямая линия» (журнал «Москва» № 8) написан о математиках.

О науке, о людях науки немало писалось и прежде. Место этой темы в литературе предопределяется тем важным и все увеличивающимся местом, которое занимает наука в жизни советского общества. Не может нас не волновать и различие в общественно-психологическом типе советского ученого. Недаром крыловские и тулякинские лица глядят на нас и со страниц сегодняшних книг. Но в сегодняшней прозе об ученых, интеллигенции видим мы и нечто принципиально новое. Может быть, несколько наивно и прямолинейно, но именно в обращении к теме науки наиболее отчетливо сказалась нынешняя тяга лите-

ратуры к герою широкого интеллектуального, духовного диапазона.

Сколько внутренней душевной силы, гражданского мужества, доброты в герое романа Ю. Германа Владимире Устименко! Как великолепно и по-партийному зрело раскрывается в нем чувство долга перед людьми, перед народом!

В чем-то главным, определяющем, сродни Владимиру Устименко и Вагаршак Саинян, и полковник госбезопасности Штуб из того же романа, и советский разведчик Александр Белов из романа В. Кожевникова «Щит и меч», и Нилка Быстрова из повести О. Хавкина, и трактористка Валя Чивилева — главная героиня повести И. Лаврова «Очарованная», и Володя Белов из романа В. Маканина «Прямая линия», и бульдозерист Павел из повести А. Знаменского «Как все» (журнал «Урал» № 7—8). Представители разных поколений, разные по опыту жизни, профессиям и характерам, они идут в жизни по прямой линии, они не ищут обходных и хитрых путей и отвечают за все. Именно в этих людях, в таких, как они, — будущее нашего народа, будущее планеты.

И когда думаешь, почему так покорны быту молодые обитатели семиринской окраины, отчего сбиваются на ложную дорожку Настя Сыроегина и Шурка, почему оказывается в заключении Евдоким Макарычев и погибает Иван Ермаков, — ответ напрашивается один. Слабость этих хороших людей в немалой степени обусловлена их духовной ограниченностью, узостью их кругозора и мышления.

Сегодня, даже если бы человек и хотел прожить маленьким, незаметным или и впредь вести бездуховное, безличностное существование, ему все труднее этого достигнуть. Ибо соотношение «массы» и «личностей» в старом понимании явно отживает свой век и окончательно отомрет в коммунистическом обществе.

Растет самосознание народа. Люди все решительнее пробуждаются к сознательной, активной, инициативной творческой деятельности. И все труднее безликости слиться с общим потоком, потому что в потоке одно за другим выделяются лица, и настанет день, когда на человека без лица начнут показывать пальцем.

Лучшими своими произведениями наша проза приближает этот день, обращая со-

знание современника к чистейшим родникам народной души и нравственности, давая читателю понимание сегодняшней жизни, обогащая его знанием прошлого и настоящего. Минувший литературный год дал немало нового и ценного в смысле подлинно коммунистического воспитания, пробуждения гражданского сознания и чувства ответственности в человеке. Несомненно усилился, в сравнении с прежними годами, исследовательский и преобразовательный пафос нашей литературы.

Не закрывая глаза на недостатки отдельных прозаических произведений, о чем говорилось выше, мне думается, что в целом наши писатели сегодня лучше осознают свою роль помощников партии. Сейчас, когда страна приближается к своему XXIII партийному съезду и к пятидесятой годовщине Октября, особенно важно подчеркнуть значение ленинского принципа партийности искусства, его правильного понимания. Сущность этого понимания еще в 1931 году хорошо раскрыл А. В. Луначарский в одном из своих выступлений:

«Мы в маленькой группе имели спор. Одни говорили: вот что значит лозунг партийности — надо брать лозунги ЦК и подыскивать к ним беллетристическую иллюстрацию. Я говорил: это не ленинская интерпретация... Ленин совершенно определенно говорит: задача пролетарского писателя — суммировать деятельность и опыт пролетариата и оплодотворять этим партийные лозунги... Вопрос надо ставить не так, чтобы Центральный Комитет писал лозунги, а писатели подыскивали иллюстрации к ним, а так, чтобы партия, Центральный Комитет среди других информационных материалов, которые они получают со всех сторон, читали и писателей и получали от них импульсы для своих постановлений и лозунгов... Один говорит: я действую наверняка — раз ЦК одобряет, я не ошибусь. Другой говорит: я пускаюсь в самые дебри действительности, еще не освещенные. Если я ошибусь, — меня ударят, что ж, а может быть, и не ошибусь... И вот такие старатели-писатели, такие искатели золотиносных жил нам особенно нужны».

Отрадно, что именно такого рода партийность живет в лучших произведениях прозы 1965 года.

МУДРОСТЬ ТАЛАНТА

Есть ли смысл вернуться к неизданной переписке М. Горького с советскими писателями? Ведь том этот вышел в свет почти два года тому назад. Он пользовался большим вниманием читателей и критики, о нем уже сказано много разумного и верного. Однако существуют такие явления литературы, к которым необходимо возвращаться снова и снова. Потому что они обогащаются временем, приобретают новые черты в свете нового опыта народа и каждого человека.

О переписке Горького с советскими писателями уже было сказано, что в ней заключена «школа мастерства»,— и это правда. Очень существенно также и то, что в этом томе восстановлено в правах истинное отношение Горького к ряду писателей, чья судьба, обусловленная атмосферой культа личности, была по-разному сложной и трагической. Да, Горький высоко ценил И. Бабеля и М. Зощенко, с большим вниманием и интересом следил за работой Андрея Платонова и Б. Пастернака — и на это справедливо указывали критические статьи. Была отмечена и действенная забота Горького о здоровье, быте, материальном положении своих друзей и корреспондентов. Это и многое другое из сказанного вполне справедливо. Но для читателя может быть еще дороже в этой книге то общее очарование личности художника и человека — цельного и вместе с тем порой противоречивого в своих суждениях, мудро объективного и пристрастного, влюбленного в людей и человеческую одаренность, нежного, резкого и единого во всем своем многообразии.

Ощущение это острее, чем при чтении писем Горького в собрании его сочинений и отдельных публикациях, острее даже, чем при чтении воспоминаний, написанных теми же корреспондентами, чьи письма опубликованы в этом томе. Острее потому, что письма эти более непосредственно, просто и «наивно» передают тогдашнее отношение к Горькому «молодых» и «старых», первичный их восторг перед этим сложным и замечательным человеком. «Какой... удивительный!» Эти слова любимца Льва Толстого — режиссера Л. Суллержицкого (они приведены в книге М. Горького «Лев Толстой») невольно приходят на ум и «на язык», когда перед читателем встает образ Горького, отраженный одновременно и в его непосредственных высказываниях и в зеркале сознания десятка больших и малых художников Советского Союза.

Критики наши справедливо говорили о том, что темы «Горький — Федин» или «Горький — Леонов» благодаря вновь опубликованным письмам «двух сторон» уже становятся общезначимыми, требующими специального, обстоятельного исследования. Но ведь не менее общезначимы и темы «Горький — Форш» или «Горький — Чапыгин». Более того, в двухсторонней переписке с давно забытой писательницей Феррари (псевдоним А. Голубевой) тема подлинного новаторства, соотношения формы и содержания разработаны более глубоко, чем даже в переписке с Б. Пастернаком. Сама атмосфера литературного Ленинграда в конце двадцатых годов отражена в переписке с Е. Летковой-Султановой не менее ярко, чем в переписке с А. Н. Толстым, а глубочайшие вопросы современности (например, трагичность сознания людей переходных эпох) подняты в обширной и интереснейшей переписке с Сергеем Григорьевым.

Общение с Горьким мобилизовывало в его корреспондентах самое главное и значительное; он же с равной силой излучения откликался на каждый действительно серьезный вопрос любого из них, независимо от степени близости и ранга в литературе. Тот мучительный и беспокойный интерес к каждому человеку, о котором Горький в форме достаточно пародоксальной говорит в одном из писем Федину, заставлял его с бесконечным вниманием вглядываться в замыслы и работу всех литераторов Советского Союза. Вот почему переписка и стала такой же многоцветной и плотной тканью, как и вся литература наша, созданная коллективным и взаимодействующим трудом сотен и сотен творческих индивидуальностей.

Каждый успех «не ведущего» писателя Горький отмечает с тем же вниманием и той же радостью, что и победу большого таланта. И в этом лишней раз — свидетельство того демократизма, того внимания к каждому человеку творческого труда, которые унаследовали от Горького и все «старшие богатыри» литературы нашей — А. Фадеев и С. Маршак, К. Федин и Н. Тихонов.

Противоречивость суждений, о которой мы упоминали, возникает по разной причине. Иногда она объясняется просто тем, что мысли о вопросах однородных и близких Горький высказывает разным людям.

Так, говоря в письмах к А. Чапыгину о

назначении художника, о самой сущности труда писателя-реалиста, Горький ставит во главу угла объективность, отсутствие учительского пафоса. В письме же к Федину Горький говорит о воздействии писателя на жизнь и его активной роли, о его кровном родстве с теми «понукальщиками» истории, которые строят новое общество. И дело тут не в том, что первое высказывание относится к 1910-му, а второе к 1926-му году. Дело в самих адресатах. Начинающего писателя А. Чапыгина (чей очень большой и своеобразный талант сразу угадал Горький), связанного с народнической традицией, надо было уберечь от опасности впасть в дидактику, от «указующего перста». Федина же, увидевшего (или, вернее, домыслившего) в жизни советской деревни середины двадцатых годов некую исконную (и мудрую) неподвижность, противоположную воле «понукальщиков» исторического процесса, надо было убедить в том, что ведущие силы этого процесса объективно совпадают с действиями «понукальщиков» и что проявление косности не имеет ничего общего с мудростью. Кроме того, Горький справедливо указал своему корреспонденту, что он-то сам — Федин — всем творчеством своим уже давно встал в ряды «понукальщиков».

Противоречивы суждения о рассказах Каверина? Да, по форме, но не по существу. Действительно, каждый из рассказов при его появлении удостаивался очень высокой (порой и непомерно высокой) оценки, а недостатки его относились как бы «придаточное предложение». Когда же рассказы эти были собраны в отдельную книгу, критика Горького стала гораздо более суровой. Но ведь суждения в сущности своей не изменились, изменился лишь тон, пропорции похвал и замечаний, потому что книга — это уже не первый шаг нового таланта, а как бы итог первого этапа его творческого пути.

Есть в высказываниях и мнениях Горького и другие противоречия, вызванные раздражением на того или иного писателя, временно или навсегда обманувшего возлагаемые на него надежды; есть оценки «под настроение», есть порой констатация тех же черт в творчестве двух разных художников, причем в одном случае идет это «во здравие», в другом — «за упокой».

Так, в 1927 году он в письмах к М. Пришвину обосновывает свое отрицательное мнение о творчестве Сейфуллиной тем, что он не чувствует в ней, в ее книгах, ничего специфически женского — «все — под мужчину». И то же качество — мужскую руку — он в те же годы отмечает как достоинство творческой манеры Ольги Форш. Однако мнение свое о Сейфуллиной и ее творчестве Горький вскоре изменил. Письма к ней (в 30-е годы), написанные с той же шутилой галантностью, что и письма к О. Форш, в тоне дружеской и веселой «подначки», свидетельствуют не только об очень добром и внимательном отношении к человеку, но и высокой оценке художника.

«Я вам еще раз повторяю — вы человек талантливо чувствующий, и вы имеете все данные для того, чтобы талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного, находить в навозе жизни ее жемчужные зерна».

Все виды противоречий в суждениях Горького отражают глубокую ненависть его ко всякой догме, а также и диалектическое многообразие всех «приемов» Горького-педагога и воспитателя.

Почти всегда в своих высказываниях, в воздействии своим Горький очень осторожен и отнюдь не категоричен. Оценивая произведения больших и малых, сложившихся и начинающих, Горький всегда сопровождает свою критику советом не принимать ее, если она не пробуждает внутренней потребности считаться с ней. Но эта мудрая осторожность, отмеченная нашей критикой, сочеталась с мягким, настойчивым стремлением «повернуть» талант своего корреспондента самой сильной и самой революционной его стороной, отвести художника — особенно молодого — от того направления его пути, которое, по мнению Горького, могло завести в тупик.

Так, с педагогической настойчивостью старается Горький отвести внимание Леонова от «властителя его дум» — Достоевского. «В одной из анкет Леонов указал, — пишет Горький в 1931 году, — что на его творчество влияет Достоевский. Действительно, под бытовыми драмами героев Леонова нередко чувствуется «стихийный бунт инстинкта», анархизированного вековым насилием капиталистического строя, инстинкта «ячности» и «самости», который не могли нормировать хитрые усилия даже такой мощной организации угнетения, какой является церковь. Мне кажется это признание Леонова непродуманным и ошибочным. Я полагаю, что оно объясняется не сродством коренных свойств природы Леонова с натурой человека, у которого страх перед жизнью и болезненный гнев на людей объясняется эпилепсией — его несчастьем, — я полагаю, что это признание Леонова вызвано поспешностью, с которой он хотел «найти опору» для своего творчества».

Дело тут не в оценке «гнева» Достоевского — сознательно упрощенной и потому неверной. Дело тут в желании оберечь могучий талант Леонова от той «опоры», которая, по мнению Горького, могла пойти ему во вред. Отрицая естественность, органичность обращения Леонова к традиции Достоевского, М. Горький, пожалуй, вопреки очевидности, стремится найти в творчестве своего молодого друга, в самом стиле его романов другие — дорогие самому Горькому черты. «В его стиле нет излюбленной многими истерической торопливости Достоевского, который часто заставляет читателя воспринимать диалоги героев, как сплошной вопль раненых. Все более часто встречаешь в рисунке Леонова крепкие штрихи Льва Толстого...» И далее Горький говорит о том, что в леоновских пейзажах ощущается «лирика стихии» Тютчева,

что в очерках фигур порой видна резкая и острая точность прозы Лермонтова.

В статье Л. Лазарева «Ожившая история», посвященной тому переписки, эта оценка Горького приводилась как пример и поучение критикам наших дней. Горький-де не постеснялся сравнивать молодого, почти начинающего писателя с классиками и гениями, а сейчас попытка приравнять «молодого» к гениям прошлого вызвала бы лишь насмешки. Однако на самом деле все обстоит не так уж просто. Во-первых, к 1931 году «молодой» (и действительно молодой) Леонов имел за плечами и «Туатамура», и «Барсуков», и «Соть», и «Вора» — то есть произведения, завоевавшие хорошую, прочную, не сенсационную славу. А во-вторых, не надо ставить знака равенства между умением большого человека и художника с первых шагов разглядеть огромное и самостоятельное дарование и кружковым или групповым стремлением раздуть до размеров классики дарование более чем скромное.

Есть, например, принципиальная разница между тем, что Горький сразу «разглядел» Леонова или Федина и рапповской фабрикой «красных Гейне» и «красных Бальзаков» из забытых ныне поэтов и прозаиков. Думаю, что это разные явления и разные традиции, и второй из них, довольно живучей и в наши дни, следовать не стоит.

С еще большей настойчивостью (хотя и не менее мягко) пытается Горький «повернуть» и сатирический талант М. Зощенко. При всей высокой оценке его дарования Горький все же думал, что главные враги социалистического общества остаются вне поля зрения сатирика. «Вы уже почти безукоризненно овладели вашей «манерой» писать, но, кажется мне, иногда не совсем правильно отбираете материал,— пишет Горький Зощенко по поводу «Голубой книги»,— то есть оперируете фактами недостаточно типичными. Эх, Михаил Михайлович, как хорошо было бы, если бы вы дали в такой же форме книгу о страдании, которое для множества людей было и остается любимой профессией. Высмеять профессиональных страдальцев — вот хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович, высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и уколол палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою, человека, который восхищался могучей красотой Кавказа до той поры, пока не запнулся за камень на дороге, ушиб большой палец на ноге и проклял «уродливое нагромождение чудовищных камней». Нет, ни жестокости, ни отсутствия жалости к страдающему человеку здесь нет. Есть лишь законное, естественное и справедливое отвращение к спекуляции на личной боли и страдании; к стремлению столь частому за рубежами нашей страны — подвести «общекосмический» базис под тяжесть — истинную или мнимую — собственной своей судьбы.

Но, может быть, наиболее любопытна та работа, тот спор, который М. Горький в середине двадцатых годов ведет с К. Феदि-

ным. В 1927 году К. Федин, уже автор романа «Города и годы» и многих более мелких произведений,— пишет М. Горькому (в связи с мыслями о новой книге рассказов своего корреспондента) об основном стержне своего творчества. «Покаюсь вам — я думал о себе и о том, что мне не дано вашей действенной любви к человеку; я, кажется, всегда только жалею и восхищаюсь скупой и ненадолгой. На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака — например — я всегда немножко досадую, а забитая и никчемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом — порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца дней любить только жалкое и ненужное, «покорился», — как писали вы мне, — факту». Не смейтесь над этой неожиданной параллелью — вы и я, — но я не мог не думать о себе, читая вас, не мог не вспомнить, что я всегда почти «соболезную» несчастным, в то время как вы самим несчастьем украшаете и утверждаете жизнь (я говорю, конечно, об иллюзии, возникающей из ваших произведений)».

Сейчас, сорок лет спустя, лишь с улыбкой можно читать о том, что художник, создавший образы Кирилла Извекова, Рогозина, Анночки, обещал в ранней молодости до самого конца дней своих любить только жалкое и ненужное. Но, пожалуй, странно сейчас думать и о том, что слова эти принадлежат художнику, который уже создал в ту пору роман «Города и годы»; и не только потому, что разум истории, воплощенной в образе Курта Вана, произнес в этой книге свой приговор над Андреем Старцевым — заблудшим и «никчемным» носителем чисто человеческих чувств, противостоящих интересам революции. Историзм этого романа проявился прежде всего в том, что Мари Урбах — воплощение женственной силы и глубинной мудрости — идет именно к тем, кого Федин в ту пору теоретически считал «рысаками» и «понукальщиками», вызывавшими его досаду. И это лишний раз свидетельствует о том, что теоретическое осмысление действительности художником-реалистом нередко отстает от его же творческого восприятия правды жизни, правды истории. Об этом мягко и настойчиво говорил М. Горький.

Но как же все-таки быть с «рысаками» и «клячами»? В одной из статей, посвященных тому переписки, было предложено включить любовь к забитым и никчемным клячам в общую сумму чувств, рожденных социалистическим гуманизмом. Я думаю, что решить и этот вопрос столь арифметически было бы так же неразумно, как, скажем, внести предложение включить десять заповедей закона Моисеева в моральный кодекс строителей коммунизма (хотя среди заповедей этих есть и вполне бесспорные). Все дело заключается в том, что «клячи» — это не «прирожденная» и «данная» раз навсегда категория. «Никчемность» и «забитость» рождают социально-исторические условия. И подлинная, а не абстрактно

теоретическая любовь к «клячам» состоит прежде всего в том, чтобы выводить их из состояния «забитости» и «никчемности». И тогда становится очевидным, какое огромное количество потенциальных «рысачков» таится среди «никчемных» и «забитых». Что же касается «кляч» по призванию — любителей ощущать себя несчастными, — то защитников этой сомнительной привилегии Горький, на наш взгляд, не жаловал с полным правом. И справедливо — хотя с большой осторожностью — стремился отвратить молодого Федина от этой разнovidности пережитков христианской этики.

Эта тема, поднятая в переписке с Фединым, ответ, который дает Горький на поставленные в ней вопросы, приобретает сейчас неожиданную актуальность при взгляде на те разновидности «христианского социализма» или теорий «морального» самоусовершенствования внутри любой формации, которые пользуются широким распространением за рубежами нашей страны.

Моральное самоусовершенствование, оторванное от социальной практики, естественно допускает лишь моральное осуждение зла. Вот почему теории такого рода (сторонники которых могут быть и вполне искренними человеколюбцами) встречают поддержку среди наиболее реакционных кругов в странах капитализма. И это вполне естественно. Ведь, скажем, моральное осуждение военных преступников ФРГ у них, что называется «на восточном входе», отрицать столь упрощенные и почерпнутые из христианского прошлого ответы на встающие перед человеком и человечеством вопросы, Горький вместе с тем отнюдь не отрицал естественность и законность самих вопросов.

В замечательной переписке с С. Т. Григорьевым, который советовался с ним по поводу предложения написать утопический роман «О будущем», Горький в 1926 году касается вопроса о сознании новых поколений отнюдь не с позиций легковесного оптимизма. После крупных событий истории люди, естественно, стремятся осмыслить не только внешние, но и глубинные перемены жизни, хотят понять свой внутренний мир, задумываются о смысле и цели бытия. «Таковых людей», — говорит Горький, — народится неисчислимо более того числа, кое ныне существует на земле. Думаю, мне, что уже и теперь у людей возникает, зарождается новый инстинкт — «инстинкт познания». Имейте в виду, я говорю не о тревоге разума, свойственной некоторым хладнокровным Шопенгауэрам и Гартманам, не об увлекательной игре логикой, а именно об инстинкте. Познание же как сила инстинктивная, между прочим, вновь способно претворить телеологию в теологию». Слова эти, написанные сорок лет тому назад, поражают своей обращенностью в будущее — не далекое, не утопическое, а именно в то, которое стало настоящим в наши дни. Так, вторая мировая война и все ее неисчислимы бедствия действи-

тельно обострили в сознании миллионов людей тот «инстинкт познания», о котором говорит Горький. Более того, те многочисленные теории, о которых мы уже говорили, сводятся, в сущности, к формуле «царство божие внутри нас» и являются именно превращением телеологии в теологию, сводящей ответ о смысле жизни к более или менее замаскированной «воле божьей». Но опыт войны, включивший не только страдания, но и неслыханный героизм масс, не только бедствия, но и победу над самыми черными силами социального зла, повернул «инстинкт познания», и не только в странах социалистического лагеря, не к теологии, а к дальнейшей и еще более крепкой и действительной уверенности в неисчерпаемой творческой силе народа и всего человечества.

И все же опасность, о которой сорок лет тому назад говорил Горький, недооценивать не следует, потому что обращение к «теологии» происходит не только в книгах модных писателей и философов зарубежных стран и их поклонников. Влияние церкви, работа сектантов — все это относится к тому же «ведомству», становится упрощенной попыткой превратить «телеологию» в «теологию».

Мы уже говорили о чрезвычайной значительности той переписки М. Горького с О. Форш, которая опубликована в томе. Сразу, может быть, трудно решить, что прибавила эта двухсторонняя переписка к тому, что уже дали другие материалы (письма Горького, воспоминания Форш), вошедшие в собрание сочинений обоих писателей. И там и здесь Горький дает высочайшую оценку острому уму и смелому дарованию писательницы. И там и здесь он обращается к своей корреспондентке (даже когда они оба давно переступили порог шестидесятилетия) с шутилой и чуть старомодной галантностью, вместе с тем непрерывно подначивая и разыгрывая ее. Ответные письма Форш (опубликованные в томе) показывают и ее восхищение своим корреспондентом и почтительную преданность ему, что не мешает ответным шуткам и комическим обвинениям. Но переписка эта раскрывает также и общность «заветных тем» и мыслей, которые определили внутреннюю близость, настоящую дружбу двух художников.

Первая из этих тем — матриархат — излюбленная мысль Горького о том, что именно женщина — мать, хранительница жизни, униженная и лишенная прав в эксплуататорском обществе, — должна найти свое место в великой борьбе всего человечества за разумное и достойное человека общественное устройство, против всех сил реакции и войны.

Повод, рождающий в переписке тему матриархата, — почти случайный, — это критика одного из тезисов реакционной и мистической философии эмигранта Н. Федорова. «...Мне ненавистен его взгляд на женщину, — пишет Горький в письме от 13/XI-26 года, — церковный взгляд. Сформулировал он этот взгляд так: культура — резуль-

тат господства женщин «не тяжкого, но губительного». У меня по этому поводу другие мысли, кратко выражу их так: «человечество обязательно возвратится к матриархату, мужчина доигрывает свою роль».

Мысль эту, которую Горький на протяжении десятилетий высказывал и обосновывал в своей переписке, публицистических статьях, художественных произведениях, — тут же подхватывает его корреспондентка. «Дороги мне написанные вами в прошлом письме слова о «матриархате», — говорит О. Форш. — Для меня это заветная тема, давно к ней готовлюсь. О женщине все лучшее ведь сказано мужчиной, и есть пробелы — опыт наш иной. Но женщине заговорить по-настоящему ужасно трудно. Надо не только сметь, но и верить, что смеешь... Женский вопрос в глубине решается не юридически, а очень сложным и трудным самоосвобождением. К вам храню давнюю благодарность за нежное и рыцарское отношение к женщине, «Бабушка» ваша и «Мальва» — дорогой русский вклад в мировую сокровищницу под гетевским знаком «das ewig Weibliche»¹.

Горький тут же уточняет свою, высказанную в предыдущем письме, мысль: «Мое, от юности свойственное мне преклонение и удивление перед силой женщины, — я говорю, конечно, не только о сексуальном обаянии, а о некоторой сущности ее, непонятной и часто враждебной мне, мужчине, — мое, говорю, чувство к женщине давно уже навело меня на мысль, что царствованию мужа Земли приходит конец и власть над миром должна перейти к жене, к Матери Земли. После гнусной войны 14—18 г. это стало моим убеждением...»

В этой двухсторонней переписке к нему о «матриархате» существенно все. И не только убеждение Горького в том, что последнюю революцию сделала женщина, и не только вера его в неограниченные возможности доброй жизнетворящей материнской силы. Чрезвычайно любопытно здесь и другое. То, что умнейшая женщина — О. Форш — ставит рядом, как глубинное выражение силы и правды женственности, двух героинь Горького — «добрую» и «злую» («Бабушка» и «Мальва»).

Горький же, говоря о некоторой сущности женщины, непонятной и часто враждебной «мужу Земли», как бы санкционирует эту мысль своей корреспондентки.

Я думаю, что здесь «незримо» проявилось очень мудрое и глубокое понимание того, что женственность, униженная, становящаяся объектом купли-продажи, нередко мстит за свое унижение, превращается в разрушительную силу, способную уничтожить утвержденного законом классового общества «мужа Земли».

Вторая — существенная и также заветная для Горького тема, поднятая в его переписке с О. Форш, непосредственно связана с обменом мнений по поводу романа «Дело Артамоновых», в частности —

по поводу характера Ильи Артамонова-старшего — родоначальника артамоновского «клана».

Впрочем, о почти пугающей силе этого образа говорят многие корреспонденты Горького, в частности, лучше всех — К. Федин. «Илья Артамонов — поражает, подавляет своей жизненностью. С первых строк книги и до самой своей нелепой смерти он движется по книге, так что страшновато и сладко за ним глядеть. Замечательно вот что: когда я прочел его (это именно так), мне показалось, что я выше ростом, что у меня очень широкие плечи, что я силен и немножко неуклюж. Я поймал себя на том, что у меня переменялся голос, я помню, как я заговорил с дочерью по-новому — со странным чувством превосходства отца». Вскользь касается Федин и той темы, которая стала центральной в переписке по поводу «Дела Артамоновых» между Горьким и О. Форш. «Вот что мне грустно и больно видеть в вашей книге: ведь старик-то поистине великолепен, Илья-старший. Ведь он умел и сумел. А сыны. У Петра все катится, потому что не может не катиться, Алексей форсит, сюсюкает. (В Нижнем Петр хорош, Алексей — отвратителен). А внучата — дрянь». К. Федин, естественно, оговаривает, делает поправку, касающуюся Ильи Артамонова-внука, но он (и на наш взгляд справедливо) говорит о бесплотности этого образа по сравнению со старшими, особенно с дедом. То же сожаление уже с «общечеловеческих» и «философских» позиций высказывает в связи с судьбой Ильи Артамонова-старшего О. Форш. «Мне он значительнее всех, — говорит она в письме 6 декабря 1926 года, — потому, что никого не «дублирует», всюду сам, первый у источника, — словом: это — он — та новая, прекрасная разновидность и раньше вами художественно закрепленного, обаятельного своей силой жизни, большого удельного веса человека. Но как и раньше, словно нарочно, вы опять оборвали такого «на бегу». А хотелось бы, наконец, досмотреть его во весь рост, и непременно до конца». И далее О. Форш ставит вопрос о том, возможна ли пересадка такого носителя великой жизненной силы в иные условия, то есть, в конечном счете (хотя переписка об этом не говорит), найдется ли место такому «носителю» в новых общественно-экономических условиях.

И в ответе Горького еще раз проявляется мудрость и осторожность педагога и пропагандиста. Проще всего было бы указать на элементарность ошибки, допущенной в самой постановке вопроса в письме О. Форш, указать на классовость, буржуазность жизненной силы русских «грюндеров», начавших свой путь «в лапточках». Но Горький раскрывает перед своей корреспонденткой одновременно хищную и в чем-то ущербную силу своих героев, рисуя с проникновением не только социолога, но и великого художника характеры тех представителей хищной капиталистической силы, с которыми его, Горь-

¹ „Вечно женственное“.

кого, сводила судьба. С неопровержимой убедительностью он показывает в своем письме, что чем выше «удельный вес» человеческого характера таких «носителей» силы, как Савва Морозов или Гордей Чернов — «чудовище нижегородское», тем закономерней появляется в душе их тот «пустырь», то чувство неудовлетворенности, которое привело Савву Морозова к самоубийству, а Гордея Чернова — в монастырь. Самый же точный и исчерпывающий ответ на вопрос, поставленный в письме О. Форш, заключается в гениальной пьесе «Егор Булычев», созданной через пять лет после «обмена мнений» об Илье Артамонове-старшем.

Есть в томе переписки (как и во всей известной нам переписке Горького) и еще одна необычайно привлекательная и характерная черта. В ней появляются «действующие лица», герои, чьих писем к Горькому, а также и его писем к ним или нет в томе, или нет вообще. Так, в переписке Горького с Пришвиным и Чапыгиным встает, в связи с его трагической гибелью, образ Есенина — воссозданный с большой любовью и жестокой горечью, образ очень дорогой всем этим русским людям. Незримым «действующим лицом» проходит сквозь весь том переписки Николай Тихонов, который, сколько мне известно, Горькому не писал, а замечательное письмо Горького к нему (в ответ на присылку книг «Орда» и «Брага») никогда опубликовано не было.

Свою радость, свое восхищение новым и близким ему дарованием Горький неред-

ко выражает в терминах преувеличенных — иногда шутливо (Тихонов в своей прозе-де превзошел «Гурия Мопассана»), а иногда и серьезно (Тихонов дорожит ему, Горькому, чем Блок и Есенин). Но несмотря на это, Горький, как всегда, почувствовал самую сущность нового таланта — ту крепкую связь с жизнью, ту «историческую сознательность» и активное стремление в меру сил своих воздействовать на жизнь, участвовать в творчестве истории — то есть все то главное, что определило жизненный и творческий путь этого художника. Доброжелательность, дружба, радость успеху другого — вот лейтмотив, который проходит сквозь все письма Горького и его корреспондентов.

Нет, розового оптимизма в них не найти. И людские судьбы бывают трудными и трагическими, и творческий путь художника не усеян розами, и мешает порой литературная и околотитулярная возня, и рапповская директивность, и малограмотность редакторов, и лихие наскоки критиков, не перегруженных чувством ответственности за литературу. И все же основное, что дает читателю чтение тома переписки, — это радость и гордость за тот большой, сложный, многоцветный коллектив, который создавал литературу нашу; это — восхищение тем, кто был в нем старшим — по таланту, влиянию и опыту, тем, к которому применимы столь любимые им самим слова, начертанные на надгробии Ньютона: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».



ГОД РОЖДЕНИЯ—1965

КАК ПРОЛАГАЮТ ТРОПЫ

Е. Штенгелов. А мы пойдём дальше. Повесть, рассказы. Симферополь. Издательство «Крым». 1965. 184 стр. Цена 32 коп.



Обложка книги несколько настораживает: молодые люди нетуристского облика с рюкзаками. Опять, значит, о беспокойном племени, о романтике открытий, о геологах, которым в литературе и кино недавних лет везло необычайно, и только физики, блистательные мо-

лодые физики, властно заставили их потесниться.

Действительно, повесть, открывающая первую книгу Евгения Штенгелова, — о геологах. Однако в ней не та романтика, которая может привлечь какого-нибудь жадного до недолгих и не особо изнурительных приключений мечтателя-горожанина. Это повесть о тяжелом, остро необходимом людям, но подчас уныло однообразном труде, о подлинном упорстве и смелости, нужной не только в горных переходах.

Рядом южное море, тысячи людей отдыхают, а ты должен каждый день идти в поход, искать воду — Крыму нужна вода. Ты вымотаешься, высохнешь, обростешь щетиной. У тебя будут красные, изъеденные потом глаза, губы растрескаются, волосы выгорят...

Да, работа у героев штенгеловской повести нелегкая, по пятнадцать часов в сутки, без выходных; ничего летом не видишь, кроме камней и грязи, и отпуск всегда зимой... А кроме того — и опасность, элементарная опасность, с которой тоже приходится считаться, как — пусть не с главным, — но все же реальным условием игры. Пришлось же Виктору спасать сорвавшегося со скалы Вадика, когда тот молча и неподвижно сидел на узком карнизе над ущельем, где на дне виднелись только черные спички — стволы деревьев. Когда Вадик обернулся на голос Виктора, он улыбнулся, но лицо у него было белое, как стеарин, и потом оба они долго отлеживались на уступе, не в силах побороть слабость и тошноту.

А потом Вадик ушел из отряда. И старый геолог Кушлис, пославший его за образцами на тот обрыв, тоже ушел, потому что ему стало тяжело выносить не любовь товарищей Вадика: ведь у него сын-геолог погиб недавно на Алтае.

Кушлис ушел, но в борьбе с Бочаровым он крепко помог Виктору не оступить в трусость, в равнодушие к жизни, прикрытое обветшалой моралью: «Плетью обуха не перешибешь», «Поперед батьки не суйся», «Куда нам с посконным рылом»... Да мало ли придумано слов, которые, как пластырь, удобно налепить на ссадины, полученные в бегстве?

Образ Бочарова — большая удача Штенгелова. Бочаров молод еще, он загорелый и в ковбойке, этот карьерист, неумеха в деле, но умелый демагог, который ни угрозой, ни шантажом не погнушается, чинуша от геологии. Он часто говорит о молоточке, но вовек в руки его не возьмет. Ему не важно истинное положение дел, его интересует лишь отражение этого положения в бумагах, он живет в своем антимире бюрократа-себялюбца.

Отлично сделана сцена, где Виктор в схватке с Бочаровым все-таки сдает позиции, соглашается уйти, откупиться уходом от взысканий, объяснений и унижительной нервотрепки во всех инстанциях, по которым затаскает Бочаров. Уйти, чтобы все осталось как есть. Ведь бочаровым только и надо, чтобы все оставалось как есть, а они — при кормушке, чтобы не было ни воды, ни риска.

Но товарищи из отряда, обыкновенные ребята, не раз ворчавшие на Виктора, сделали то, чего не смог сделать один Кушлис. Они не дали своему молодому начальнику поскользнуться. Они буквально вырвали у Бочарова заявление об уходе. Из портфеля вырвали. Они обрекли Виктора на выговор, на ответственность за несостоявшееся открытие, может быть, на большие неприятности, но они сделали доброе дело. Очень хороша эта сцена. Вот концовка ее:

«— Хорошо, — сказал Бочаров. — Это превышение всяких... Это хищение.

— Отнюдь, — сказал Иосиф. — Хищениями нам наши руки не позволяют заниматься. — Он растопырил пальцы. — Мозолей слишком много. Или, может быть, вам не нравится, что у меня двух пальцев не хватает? А вы в Якутии были? Знаете, что такое — бить шурфы в декабре месяце? Или, скажем, что такое отморозжение четвертой ступени? А? Пока мне отрезали эти пальцы якутским ножом, я сжевал две кожаные рукавицы.

Бочаров поморщился.

— Не беспокойтесь,— сказал Иосиф.— Рукавицы потом списали по всем правилам: акт составили, подписались, все как положено. Никакого хищения.

Бочаров, болтая сумкой, пошел к тягачу. Двигатель уже ревел. Иосиф подошел к Лехе.

— Ну как, мон шер? Что нового в Феодосии в связи с началом весенне-летнего сезона? Короткие юбки модны по-прежнему?

— Попадет вам, ребята.

Иосиф прищурил один глаз.

— А черт его знает. Мне почему-то кажется, что он даже жене не расскажет.

И, может быть, действительно не расскажет. Ведь несмотря ни на что, «его величество Бочаров», как называет его бригадир Семенов, вынужден находиться в состоянии обороны. Тот же Семенов не хочет бурить абы где, хотя бы и получая за это по высшей ставке, он хочет видеть результаты своего труда в действительности, а не на бумажке.

Очень интересна фигура этого Семёнова и в свете нынешней перестройки управления промышленностью. Растущая культура мышления и отношения к труду, чувство личного права на ответственность присущи многим и многим людям повести, активно наступающим на Бочарова.

Обычно первые книги молодых писателей грешат многословием. Штенгелов пишет сдержанно, скупое, нередко даже суховато, излишне полагаясь на подтекст. Очень досадна эта сухость в грустной истории любви Виктора и Гены. Она очень неглупа, эта красивая, но отравленная душевной инертностью Гена. Она понимает Виктора.

Но понимает она и то, что Виктор ей не по плечу. Повисает в воздухе его отчаянный призыв: «— Ну нельзя же так, Генка! Нужно действовать, возмущаться хотя бы. В жизни полно всякой дряни, так надо делать, чтобы ее было меньше, а не хныкать».

История их разрыва ясна и убедительна, а вот начало сближения и любви начертано уж недопустимо сухим пунктиром. Думается, настолько доверяться воображению читателя не следует.

Повесть как бы обрывается в рассказе, и поначалу это досадно, как всегда бывает досадно расставаться с живыми, значительными людьми, которые делают одно с тобой дело. Но прочитав эти десять маленьких, очень поэтических, психологически точных новелл, написанных от первого лица, радостно убеждаешься, что разрыва-то нет. Ведь это же сам Виктор или сверстник и единомышленник его рассказывает о трудном военном детстве, выпавшем на долю их поколения, об отцах, ушедших на фронт, о русских матерях, вынесших все тяготы военного тыла.

Очень надо любить и уважать свою Родину, свое время, чтоб так тепло и ясно писать о трудных годах, случайно встреченных людях, о старшем поколении, которому тоже приходилось нелегко.

Кончается книга небольшим, на полторы странички, рассказом «Тропы».

Маленький мальчик задумался: кто же прокладывает тропы в свежем глубоком снегу, кто эти люди и как самому проложить тропу? Он протоптал свежую тропку и, возвращаясь из школы, волновался: прошел ли кто-нибудь по его следам? Его ждало разочарование. Он еще и еще раз протоптал свою тропку, но все переходили дорогу, как обычно, не обращая внимания на его труды.

«Тогда я обиделся на людей. Я сказал себе, что люди не любят ничего нового, что они ходят только там, где привыкли, и все свои тропы каждый раз прокладывают на месте старых».

Но однажды на его глазах родилась и окрепла новая тропа к реке, и через год вытеснила старую, и всем стало ясно, что здесь ходить удобней и легче, и ветер дует в спину на крутом подъеме, а не в лицо, и о старом пути никто, казалось, не вспоминал.

Так вот они и прокладываются, эти тропы, и идут по ним люди хорошей книги, вспоминая девиз Пржевальского: что бы там ни было, а мы пойдем дальше. Так, кажется...

Евг. Леваковская

СИЛА ДУХА

Наталья Бурова. Семиречье. Стихи М. «Советский писатель». 1965. 142 стр. Цена 14 коп.

**Мне приснилось,
что нет городов,
Темнота и молчание
царят,
А на месте овечьих
следов
Желтоватые звезды
горят...**



Прочтите это вслух — просто, чтобы услышать, что это стихи, просто, чтобы ощутить звуки словно вымытые,— так чисты и звучны они,— просто, чтобы убедиться, что первая книга Н. Буровой — книга сложившегося поэта.

Странный, конечно, комплимент: не поэтов не надо издавать, не так ли? Однако быст...

Но вот перед нами — первая книжка. А поэт — сложившийся:

**Утро пахнет холодным дымком.
Солнце лижет кошку на полу.
Вот и девушка с белым платком
Принесла молона пиалу.**

Чувствуете? Какие четкие грани, какие прочные, локальные цвета, какое звучание: точно говоришь на ветру, и ветер уносит полззвучки и полутона, оставляя только прочную определенность, только ясное, яркое, явное.

Это и правда — все на ветру сказано. Семиречье: степь, простор — вот стихия На-

талы Буровой. Поэтесса любит эту землю, выжженную, сухую, с ее ржавыми оттенками, с безлиственным деревьями, с грудями камней, с загадочным молчанием застывших, нахохлившись птиц, с сухим блеском полированного льда. В этой жестокой природе Бурова любит вызов, который бросает природа человеку. Хмурая, не улыбающаяся, немногословная героиня книжки подстать этой природе: человек готов принять вызов. «Мне бы только с рассветом пойти, чтобы дождик в пути не застал, и у самой тропинки найти семиреченский горный кристалл».

В старых дневниках Мариэтты Шагинян есть мысль о том, что у людей и народов бывают натуры металлургические и кристаллические. Первый тип — ковкий, податливый, быстрый на реакцию, живой, меняющийся. Второй — хрупкий, твердый, устойчиво-однородный, такой, что, раскаляясь, дробится на те же кристаллы.

Пользуясь этими словами, я могу определить характер героини Натальи Буровой. У нее резко выраженный кристаллический характер.

Вот и символ поэзии Н. Буровой — «семиреченский горный кристалл». Чистота и определенность. «Как терпит земля любопытство и грязь, охоту на чувства и скользкую ложь?» Что противоположно этому? Гордость, чистота, одиночество, а если горе — то затаенное в себе... Здесь — в нравственном жестокое самосмирение — исток внутренней драмы поэзии Н. Буровой, внешне опрокинутой на просторные эти степные пейзажи, на ветровые просторы Семиречья. Безграничная чистота и свобода — вот ради чего живешь, вот что дорого. Н. Бурова не знает тесной городской толчей, ей неведомо настроение утомленного городского поэта, который бежит на лоно, потому что в толпе не может удержать в себе своего мира (настроение, столь частое у нынешних городских поэтов). А здесь — не тесно, не суматошно и дан тебе простор — достало бы тебе сил удержаться на таком ветру!

Смешно: в ночном городе человек может бояться человека. А здесь? Ну, волчица померещится, так оно понятно — степь. Но человек?! Да он на вес золота тут, человек — это тепло, жизнь; встреча — праздник, союз, а пройдешь мимо — останешься один. Свобода — не игра, за нее платят жизнью. На ветру надо стоять крепко.

Героиня Натальи Буровой, словно тяжесть земную, носит в себе суровую эту свободу, гордую свою душу. И, бывает, устают от этой тяжести, от непреклонной суровости своей. И — «просит любви, чтоб заплакать», чтоб отворить сердце, чтоб было полегче... Но — нет: «Мир — не очень ласковый творец. Хочешь жить? Родился? Так борись!»

И борется. С собой, со слабостью своей, с пустотой безлюдного мира, на каменистых просторах которого вырастает ее поэзия. И словно оправдывая минутную слабость свою, уговаривает саму себя, что

и такая поэзия имеет право на существование.

**Но чтобы знать, как хороша земля,
Не надо роз и родников не надо,—
Белесые польнные поля,
Раскоса заштрихованные градом,
Строптивость граней, цвель солончака.
Верблюдов горделивое уродство
И робкое сиянье светлячка
Достаточно, чтоб видеть первородство
И жизнеутверждение красоты,
Заложенной в любых земных твореньях,
И потому в моих стихотвореньях
Совсем не обязательны цветы.**

Как стихи — это длинновато и неважно, хотя и любопытно: здесь программа Буровой обрисована очень подробно. С первого чтения видны две-три откровенно дурных, назидательных строки. Да не в них дело. Не в «мастерстве» дело — «мастерство» придумано для ремесленников, а выдает оно всегда, когда фальшь — в самом переживании.

В чем фальшь тут? Оправдывается! Объясняется! Жалуется! Не хватило сил. Не вынесла того бремени, какое взвалила на плечи. Согнулася.

Поэзии не сила объяснений нужна, но сила духа. Поэзия побеждает внутренней красотой, самим фактом своей красоты, своим существованием. Вот поэзия:

**А когда караван вершин
Оболят желтизной заря,
Станет видимым дым равнин,
И не станет богатыря...**

Это — хорошо. Размашисто, резко, гордо. Хорошо написано? Хорошо прожито! Принято агитировать за качество стихов: пишете хорошо, не пишете плохо, копите мастерство.

Не понимаю этого. Где плохо — там и говорить неинтересно. А хорошо бывает каждый раз по-новому: не угадаешь.

Л. Аннинский

ТЕОРИЯ

АЛЕШИ АНОСОВА

М. Анчаров. Теория невероятности. Роман. Журнал «Юность» № 8, 9. 1965.



За прозаическое перо взялся поэт и художник, глядящий на жизнь, на все, даже самые, казалось бы, незначительные ее проявления сквозь призму творчества.

Это во многом определило своеобразие прозы Михаила Анчарова, его двух первых произведений: повести «Золотой дождь» и романа «Теория невероятности». О чем же пишет Анчаров?

Он из тех, которым сегодня за сорок. И пишет он о своем поколении. О довоенных мальчишках и девчонках, отчаянных романтиках и убежденных революционерах, мечтающих с оружием в руках защищать красную Испанию.

Его поколение взяло в руки оружие, но это была уже другая война — мы и фашизм. Он пишет о войне и о фашизме.

После четырехлетнего перерыва вчерашние солдаты снова сели за книги, окончили институты, стали художниками, поэтами, физиками. Он пишет о творчестве. О том, что творчество — наиболее естественное человеческое «поведение». Жить — это служить красоте и истине.

Все это в равной мере относится и к повести и к роману. В них много общего.

«Теорией невероятности» Михаил Анчаров вступает в спор физиков и лириков не для того, чтобы, как нередко бывает, в процессе спора уяснить свою позицию себе самому. Он знает точно, что лирика — это постановка огромных задач без указания на средства к их осуществлению. И художник (неважно кто он — живописец, поэт, музыкант) нередко первым ощущает изменения в духовной жизни общества. Его творчество зачастую подготавливает, стимулирует открытия в технике, в науке. Законы открывают физики. Но их появление предсказывают поэты.

И не случайно герой Анчарова приходит все-таки к своему открытию. Не случайно терпит поражение Митя: Аносов знает, что история техники — это не только история удач; ему доступно, что идея при ее зарождении богаче исполнения — ведь исполняют только возможное, но сделав виток — оказываются над исходной точкой, порядком выше. Словом, Алеша делает открытие, а Митя, человек безусловно и всерьез полезный, — диссертацию, и это будет не бесполезная диссертация, хотя она и отличается от сделанной Алешей, как техническое, грамотное стихосложение от поэзии. Тема творчества — главная в «Золотом дожде» — пронизывает и «Теорию невероятности».

И все-таки не правы, на наш взгляд, критики, которые рассматривают и повесть и роман как единое целое. Одно из главных различий между ними, пожалуй, в том, что повесть, несмотря на всю свою логическую стройность, лишена — в представлении общепринятом — сюжетности сюжетной. По сути дела, сюжета там нет. Это такая, что ли, найденная автором удобная форма высказаться по самым разнообразным, волнующим его поводам и вопросам, скорей — некое развернутое эссе, нежели повесть, как мы привыкли понимать этот жанр. Роман же, наоборот, — произведение строго сюжетное. Настолько «сюжетное», что отдельные его «ходы» кажутся просто невероятными... Они-то и вы-

зывают основные нарекания в адрес романа.

В какой же мере они справедливы? Об этом поразмыслить заманчиво, ибо ясно: нагнетение «невероятностей» конечно же сделано Анчаровым сознательно. Писатель стремится обосновать свою «теорию».

Итак, «Теория невероятности». Герой романа после множества самых неожиданных встреч и событий приходит к мысли, что слепая случайность — это не просто видимость, она вызвана каким-то, порой ускользающим от нашего взгляда внутренним законом.

Проверяя «теорию» на жизненном примере Алеши Аносова, Анчаров иногда ставит героя в такие необычные ситуации, когда, казалось бы, доказать свою точку зрения всего труднее.

Еще в юности Алеша знакомится с австрийским антифашистом Краусом. Вскоре Краус уезжает воевать в Испанию. След его постепенно теряется... И вот внезапно Алеша вновь встречает его в освобожденной от фашистов Вене.

В пустой разбитой избе раненый Алеша сталкивается с ненавистным ему «чертовски аккуратным» блондином с усиками. Он не удивлен, что тот в эссовской форме. Еще тогда, когда он встретил его до войны у Краусов, почувствовал к нему антипатию. Теперь он плюет в холеное лицо «красавчика». Но «красавчик» героически сражается с фашистами, одетыми в ту же форму, что и он сам, выпускает в них обойму за обоймой, лишь последнюю пулю оставляет для себя.

На руках у Алеши Аносова умирает подполковник танковых войск Шурка-певца. Он знал ее с детства, она жила, как и он, на Благуше и совсем девчонкой была влюблена в его отца. А сейчас, через двадцать лет после прощальной встречи с Шурой, Алеша на улице, опять-таки случайно, познакомился с ее дочерью Катей...

По первому впечатлению может показаться, что все эти «случайные» встречи и совпадения — лишь авторское стремление потуже затянуть сюжетный узел. И никакой закономерности здесь нет и быть не может. А она есть. Нашупать ее, при желании, совсем не трудно. Алеша Аносов — рядовой своего поколения. Как и его сверстники, шел он одним путем с теми, кто учил любить и ненавидеть, кто, умирая, завещал быть такими же духовно богатыми и чистыми, какими были они сами. И Краус, и «чертовски аккуратный» блондин, и Шурка-певца были как раз из этих людей... И новые встречи с ними Алеши Аносова — не просто встречи. В них писатель вкладывает большой публицистический и философский смысл.

А Катя? Алешино знакомство с ней и любовь — как объяснить эту «невероятную» случайность? Мне кажется, Катя, по замыслу Анчарова, — не просто та девушка, которая полюбила и которую любит главный герой. Роль ей отведена особая, гораздо более значительная, чем может пред-

ставиться спервоначалу. Она олицетворяет собой Музу творчества, ту самую «простую красоту», что явилась когда-то в облике «непонятно прекрасной девицы» ее прадеду, игрушечнику. Ведь недаром (и это уже не случайно!) встреча с Катей пробуждает в Алеше творческое вдохновение.

Цель «невероятных» случайностей замыкается так:

«Вошла девушка.

— Вот моя невеста,— сказал Митя.

Я пригладился и узнал Катю».

Все это так... Но при чем здесь Катя? Может быть, все-таки это уже, как говорится, перебор? Не нарушает ли стройности созданной Анчаровым «теории» этот и другие сверхневероятные пассажи? Видимо, все-таки нарушают, так же, как некоторая манерность их изложения. И тогда остается заметить, что случайности эти и манерность остаются для читателя необходимостью непознанной, что делает справедливыми некоторые упреки критики, уже высказанные способному автору.

Ю. Томашевский

ВСЕРЬЕЗ И О ГЛАВНОМ

М. Рошин. Каких-нибудь двадцать минут... Рассказы. М., «Советский писатель». 1965. 259 стр. Цена 41 коп.



Рошин не ошелмляет и не поражает. Он думает и побуждает думать. Проза его, серьезная, как-то сразу обращает мысль к жизни, к раздумьям автора о ней...

Налаженны й ритм благополучного бытия таежного фельдшера Алексея Еракина нарушает письмом из дому: при смерти отец — мать просит приехать

(«Дом»). Напряженную жизнь городского хирурга Леры перебивает поездка в таежное село. Поездка, обязательная для героини: обычная практика во время распутицы и метелей — «забрасывать хирургов в медвежьи углы». Поездка, не желанная ей: «А что хирург будет там делать, никого не касается» («Иртумей»).

В этих лучших рассказах сборника намечена одна из интересных писателя жизненных коллизий — воля других по отношению к воле одного. Прослежено и ее разрешение — ради других человек способен поступиться своим.

Примелькавшийся конфликт. Привешный финал — сколько раз предстал он паначеей от всех зол! Но в том-то и дело, что не паначея и не финал: у Рошина — это прелюдия. И суть коллизии совсем в

другом. Столкновение необходимости и свободы — так понял ее рецензент «Литературной газеты» (См. № от 13 ноября прошлого года). И верно понял. Только в самых общих чертах. А Рошин конкретней и определенней, а во многом даже задан... Судьба человека и обыденность, зависимость одного от другого. Здесь преимущественный интерес писателя. Здесь ключ к пониманию его прозы.

Дробит писатель жизнь человека, словно в лупу изучает по частям: житейские заботы, диктат быта, инерция человеческого бытия... И вывод почти predetermined.

Словно в замкнутом кругу герои Михаила Рошина. И до одури работающая Лера («Иртумей»); и умиротворенный «тихой радостью жизни» в таежном поселке фельдшер Алексей Еракин («Дом»); и до умопомрачения словоблудствующий «туник» Чагин («Иртумей»); и не находящий в себе силы вырваться из тупика интимных отношений Юрий Сергеевич («Каких-нибудь двадцать минут...»); и Гриша Панин, разрывающийся между семьей и работой («Мой учитель Гриша Панин»). И т. д. и т. п.

Жизнь «по-ихнему» — и жизнь по-своему, жизнь косная — и жизнь творческая, как только попадает во власть инерции — становится обыденностью, привычностью, притупляющей остроту восприятия, обычностью, нивелирующей явления в их значительности. Такова жизнь, констатирует рассказчик, такова ее закономерность.

«Летописец обыденности» — гипнотизирует и этот вывод и обстоятельность размеренно-спокойного рошинского повествования. А мы чувствуем прозу беспокойного нерва, скрытой полемичности. Мы чувствуем биение мысли, не устающей думать о смысле человеческого бытия...

В который-то раз вопрошает искусство о том же, в который-то раз тщится найти исчерпывающий ответ! И Рошин не страшится быть здесь банальным: его «зачем?» и «как?..» рождены своим временем, жизнью его современников. Постигая эту жизнь, стремится писатель ответить на вечный и всегда злободневный вопрос.

Способна затянуть людей инерция их бытия. Будто вторит здесь Рошин Виталию Семиному, будто перепевает мотив «Семерых в одном доме». Только не выстраивается литературный «ряд», не монтируются разномасштабные здания. И не в пример «семерым» — душно рошинскому герою в этом семинском строении: уж слишком низок его потолок, чересчур герметичны его стены. А он привык к простору, привык дышать полной грудью, этот рошинский «невольник» обстоятельств. Он сам определяет свой путь, сам выбирает дело своей жизни. Он все-таки — хозяин, а не жертва. Подвластный обстоятельствам, он и тогда не склонен растерять себя... Прощается с домом Алексей Еракин, идет «поперек» «ихнего». «Как на фронте», в Иртуме работает Лера — сверх сил, сверх возможностей, сверх привычек. Гриша Панин, Алеша, Оксана... Что-то общее роднит этих героев, какая-то

основательность, прочность, будто убеждены в чем-то важном, будто знают о чем-то главном. Но снова и снова ощущают потребность оглянуться на жизнь, осознать себя в этой жизни.

И будто камертон — звучит настойчивее «зачем?», напоминая о связи одного со всеми, о жизни человека как жизни человечества, словно приподнимает героя над его бытием, чтоб оглянулся окрест. И вдруг начинает он ощущать свою готовность к рывку, готовность к началу чего-то нового...

Так вновь и вновь возвращаясь к исходной ситуации своих рассказов — человек в плену обыденности, — Рошин снова и снова приходит к выводу: наперекор всему неодолимы в человеке тяга к настоящему, стремление к жизни значительной. И тогда, когда становятся они руководством к действию, и тогда, когда существуют как потенциальные возможности.

Не у станка преподносит юнцу свой главный урок мастер Панин. Всей жизнью своей предостерегает — «не втягиваться», ибо знает — тогда не вырвешься. Своей убежденностью в возможности иной жизни учит... Тяготят капитана дальнего плавания зашедшие в тупик отношения с женой, ибо испытал их в полной мере: «оба... привыкли к самому настоящему».

Понимает, тяготится, мучается, готов к наступившему по существу разрыву, а сам порвать не может.

И так — чаще всего у Рошина: силе инерции, обыденности противостоит не действие, а готовность к нему; сила постигающей жизнь мысли.

«Хорошо бы, — мечтает Алексей Еракин, — если бы стояли по всей земле большие, красивые дома, и каждый, кому захочется, поселился в тепле и уюте и никогда не думал, где жить, а думал бы только, как жить».

Это не современный Манилов, это мысли человека, способного строить своими руками. Это его мечты. А в них, как нам думается, ключ к пониманию противоречивости рошинских рассказов.

Ориентир на осознанное начало в жизни, на мыслящего героя — сильная сторона творчества Рошина. Пожалуй, спор с рассказчиком начинается там, где он начинает размежевывать органически взаимосвязанные явления.

Думать не о том, где жить, а как жить! Будто разрешение первого не есть частичный ответ на второй вопрос, будто разрешение второго не имеет никакого

отношения к первому! Будто и впрямь когда-нибудь можно освободить человека от тех связей и зависимостей, вне которых немислима жизнь человека на земле...

Сильно в герое Рошина стремление понять, способность знать, слаб он стремлением решать, способностью действовать. И можно было бы говорить здесь не о слабости, а даже силе писателя, подметившего подобный дисгармоничный характер, если бы речь шла о характере. Но, нам кажется, речь ведется о другом.

«Он думал о той странности жизни, о том ее законе, по которому берет верх не твое, не мое, но как бы чье-то еще и выходит среднее, в котором есть и твое и мое, но только перегнутое и повернутое так, как надо ей, жизни...»

Это — кредо автора. И в нем — весь Рошин: с его аналитичностью и заданностью, с его логичностью и противоречивостью.

Уповая в жизни на волю жизни и декларируя ее как равнодействующую различных волей, Рошин тут же идет на попятную. Страшась какой-либо категоричности, бежит и всякой определенности. Смутность ощущений и чувств, непредвиденность и неосознанность поступков, молниеносная смена полярных желаний и настроений, то есть иррациональное, по произволу автора завладевает его героем и напрочь вытесняет из его жизни все сколь-нибудь рациональное.

Так, искусственно конструируя «текучий» характер, Рошин начинает подменять столкновение волей стечением обстоятельств и незаметно попадает в тенета фатальности. Так, лишая героя определенности мысли, он, по сути, отказывает ему в том, в чем склонен был видеть силу человека вообще — в способности мыслить.

Так художник, стремившийся уловить сложные связи и опосредствования жизни, сдает позиции «теоретику», страдающему схоластичностью мышления. И, плененный «концептуальной» заданностью, писатель начинает терять в тонкой наблюдательности, трезвости присущего ему взгляда на жизнь; начинает противоречить самому себе.

Ну, а как же с дебутом?! А он бесспорен, как бесспорна правомерность искусства размышляющего. Только бы всерьез и о главном, только бы о жизни, а не ее пузтычках. А Рошин — о главном и всерьез. В этом его интерес, в этом его перспективность. А впереди — путь подлинно глубоких выводов и... определенных решений.

В. Софронова

ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ ?

НЕ ПЕРВАЯ КНИГА

Георгий Некрасов. Шаги Стихи.
М. «Советский писатель». 1965. 106 стр.
Цена 25 коп.

Случается же такое: живет человек, по существу, рядом с тобой, в Ленинграде, многие годы живет, печатается, издается, а ты его не знаешь. И надо было тебе поспать не далеко не близко — в Узбекистан, чтобы там узнать и услышать, как воспринимаются слушателями и читателями стихи этого ранее не известного тебе поэта, а затем уже прочитать и его книги...

Именно так несколько лет назад узнал я Георгия Некрасова. Узнал сначала как поэта, сердцем приросшего к Средней Азии, и лишь потом открылась мне его влюбленность и в Сибирь, и в Урал, и в Ладогу, и в близкий ему Ленинград.

И в новой книге Георгия Некрасова тоже есть стихи о Средней Азии, среди них, на мой взгляд, и по-настоящему отличные, такие, как «Мы называем землю сердцу милой...», «Платок», «Над пустыней мы летим...», «Я стоял с аксакалом...», «На границе с пустыней»...

А разве пройдешь равнодушно мимо подобных строк:

Когда похлебка слишком солоня,
Все говорят: хозяйка влюблена.
Она смущенно смотрит на гостей,
И в пору только улыбаться ей.
В такой момент, ворчи иль не ворчи,
Все будет на столе, что есть в печи.
А вот природа, черт ее дери,
Пересолив степной простор полей
Суровостью, с зари и до зари,
Из века в век преследует людей...

И все же, мне думается, что автор куда более прост, естествен и душевен, когда пишет он о даях «с темной кромкой лесов», о пшеничном холме, который «солнца жаркими лучами, как в русской печке, пропечен», о пушкинских михайловских рощах. Многие стихи из цикла «В Михайловских рощах» западают в душу...

Ты говоришь, что нет тебе покоя.
Покой, покой...
А что это такое? —

так восклицает поэт в одном из своих стихотворений. Именно «отсутствием покоя» радуют меня многие стихи Г. Некрасова. И лучшие из них — как раз те, которые идут от сердца, переполнены восторгом и преклонением перед родной землей. Там же, где поэт пытается «философствовать», «размышлять и обобщать» (печать этой попытки особенно явственна на цикле «Ветер времени»), на мой взгляд, появляются более обычные, не самобытные, а значит и менее интересные строки.

«Шаги» — не первая книга стихов Георгия Некрасова. Сравнивая ее с предыду-

щими сборниками поэта, хочется сказать, что это — хорошие «шаги». Шагать бы и шагать так каждому из нас от книги к книге.

Сергей Баруздин

МАРШРУТОМ РАЗДУМИЙ

Виктор Панов. Ворота в Сибирь.
Повесть и очерки. М. «Советский писатель».
1965. 344 стр. Цена 61 коп.

Книга Виктора Панова называется «Ворота в Сибирь», но проблемы, ею затронутые, отнюдь не локального значения: любовь и творческое отношение к земле, к родной природе, шире — творческое, хозяйское отношение к своему делу на своей земле. К этим вопросам обращено внимание автора, эти вопросы волнуют и его героев.

Вместе с автором совершаем мы путешествие по суровым землям Северного Казахстана, по Тоболу и Оби, по Березовскому краю, вместе с ним поражаемся своеобразию одних земель, красоте и богатству других. И вместе с ним вторгаемся в жизнь, наблюдая деяние людей, их бытие, столкновение разнообразных характеров.

Закрываешь книжку и ощущаешь, что прибыло в тебе чувств, как-то острее стала сжимающая сердце забота о родной земле, о ее богатствах, красе и добрых человеческих качествах...

Автор невидимым входит в палату районной больницы, где пятеро больных ведут свои досужие разговоры. Конечно, и о болезнях, и о семейных делах, и о любви, и о детях. Но больше всего — о делах, о хозяйстве; тревожится душа — как сделать, чтобы легче работалось и лучше жилось, чтобы не оскудела природа.

Спорят герои писателя — кажется, что в палате «заседает бюро». Одни, подобно главному инженеру совхоза Оуэну Филипповичу, человеку честному, немного романтическому, отошли от старых методов работы, но еще не совсем понимают то новое, что идет в деревню. Другие, подобно угодливому старичку Федоту, хотя сгладить все разногласия. И автор не стоит в стороне от этого спора. Он беспощаден в разоблачении приспособленцев, страстно восстает против делячества в сельском хозяйстве, способного лишь выхолостить любовь к земле. А выводом в образе председателя колхоза Шишакина тип человека, который «начисто делу отдавался, но в рамках приказа сверху», работал на износ, но оставил после себя не так-то много, автор вскрывает бессмысленность подобной растраты сил. Читая эту книгу В. Панова, задумываешься и о том, как подчас бессмысленно эксплуатируются лучшие человеческие порывы и душевные качества.

Многое, что в дни создания документальной повести «В одной палате» было только проблемой, сегодня находит свое разрешение в практическом утверждении новых принципов организации жизни села. Особенно четко это «многое» показано в очерке «Хозяин в степи». Виктор Панов сталкивает здесь двух героев — живущего сегодняшним днем районного начальника Пузанкова и работающего творчески, с далеким взглядом вперед агронома Тятюшкина. Тятюшкину бывает трудно. Чтобы осуществить планы, которые в будущем принесут богатые плоды, сейчас он иной раз должен ловчить, преодолевать множество препятствий. Но работает он с верой, а вера в любом деле обеспечивает успех.

Есть эта вера у крестьянина. Коренится она в тысячелетнем опыте крестьянских поколений, рождающем особое чувство — чувство земли. Тот же, кто не обладает этим чувством и руководствуется чистым расчетом, считает автор, зачастую терпит неудачу, разрушает эту самую веру и в конечном счете приводит хозяйство в упадок.

К счастью, верящих, любящих, болеющих за дело людей — подавляющее большинство, они-то в конце концов и побеждают. Автор доказывает это живыми примерами и убеждает нас в этой своей правде.

Очерки В. Панова — своеобразный документ времени, который не только фиксирует факты, но заставляет думать, искать, любить. А это не так уж мало.

В. Шапошникова

ОТ СКАЗКИ К БЫЛИ

Валентин Солоухин. Твой лучший друг. Повесть. Издательство «Донбасс». 1964. 102 стр. Цена 10 коп.

Бывают в жизни каждого человека дни, события, встречи, которые заставляют его по-новому и с какой-то особенной остротой взглянуть на свои поступки, на людей, на все, что делается вокруг. А если это совсем еще молодой человек, то такие встречи и события формируют его и как личность. Проходят годы, но что-то в его характере, в его отношении к людям будет всегда связано с тем памятным временем.

Для десятилетнего Степки из повести Валентина Солоухина «Твой лучший друг» таким знаменательным событием была встреча с Михаилом Андреевичем. Еще

не остыли пожарища Великой Отечественной войны, всюду зияют нанесенные ею раны, и жизнь маленького Степки, как тяжкий след этой войны, сиротлива и неустроенна. Мать расстреляли гитлеровцы, отец погиб на фронте. Из детского дома он убежал: «Житуха в детдоме не то, что на воле...», а кроме того, мальчуган взял под свое «покровительство» уголовник Пилагра. И неизвестно, как бы все сложилось дальше, какими бы зигзагами пошла Степкина жизнь, если бы не встреча с Михаилом Андреевичем.

Нет, пусть не подумает читатель, это не сентиментальное повествование о том, как на пути беспризорного мальчугана появился добрый, сильный «дядя». Все оказалось гораздо сложнее. Судьба Михаила Андреевича не менее трудна, чем Степкина. На войне он потерял ногу, а вернувшись в родной город, получил еще удар: дом пуст, жена ушла к другому. И совсем вроде не сильный человек Михаил Андреевич, если начал пить, глуша водкой тоску и боль по разбитой семье. И вдруг встреча со Степкой... Без натяжки, по-солдатски сдержанно рассказывает автор, как складываются отношения этих людей, как каждый из них крепнет характером, открывая в своем сердце необходимый сейчас обоим запас силы и любви. Невеликая по размеру, без ошеломляющих эффектов и ослепительных сюжетных ходов, повесть эта подкупает доброй сердечностью автора.

Сборник Валентина Солоухина включает в себя и несколько рассказов — о первом юношеском чувстве, которое неясной мечтой волнует и манит молодого паренька («Сказка о юности»), о широкой, песенной душе человеческой («Ветер»), о скромном нешумном труженике («Яшка-обходчик»).

Автор умеет подметить живописные детали, но характерам в рассказе явно не хватает глубины и объемности, повествовательная сдержанность порой оборачивается эскизностью и незавершенностью. Впечатление такое, будто автор, почувствовав потребность рассказать о чем-то важном и пережитом, торопится и в результате лишь фиксирует все это. Возможно, так оно и есть: ведь «Твой лучший друг» — литературный дебют молодого писателя. Поэтому, когда закрываешь последнюю страницу, невольно задумываешься: а какова-то будет следующая книга. Что ж, читательским надеждам есть на что опереться...

А. Кулемина

На комическую орбиту!

Так уже повелось, что Новый год ассоциируется с юным улыбающимся крепышом, начинающим свой жизненный путь.

Нам очень хотелось, чтобы и первый выпуск «Юмора-66» походил на этого веселого молодца-удальца.

Вот почему мы пригласили сегодня в гости молодых (по писательскому станку) авторов. Некоторые из них впервые появляются на страницах печати, хотя в основной своей профессии они, быть может, достигли уже успехов и славы. Подборку открывает Чехов, Игорь Чехов, московский журналист.

НА ТРЕТЬЕЙ СКОРОСТИ

(Случай из практики)

— Задание срочное,— сказал редактор и выразительно постучал карандашом по большому настольному календарю.

Но молодой журналист Наскоков и сам отлично понимал: послезавтра День строителя — значит, очерк должен быть в номере.

— Ну вот и договорились,— подвел итог ответственный секретарь.— Вы пишете о директоре домостроительного комбината. Недели три назад о нем говорили на областной конференции. Но это не просто хозяйственник, это руководитель новой формации.— Секретарь сдвинул брови и сделал строгое лицо.— У человека — завод. Заводище, можно сказать! Забот по горло! А ему до всего есть дело. Находит время чуть ли не каждый вечер в рабочем клубе бывать. Сам поет в хоре. Поющий директор — это изюминка к нашему праздничному пирогу.

— Правильно! — одобрил редактор.— И давайте-ка на третьей скорости! Не теряйте времени. А то опять наш изюм перехватит молодежная газета. Собирайтесь сегодня же в путь-дорогу. Очерк — по телефону.

...Скорым вечерним поездом Наскоков катил в Суходольск. В голове его уже созрела схема будущего очерка: портрет героя, ряд любопытных ситуаций и концовка. Одна беда — забыл спросить фамилию директора. Впрочем, городок ма-



Рис. Е. Ноношенко

ленький, предприятие крупное — первый же встречный скажет.

Зашелестели листки блокнота. Наскоков почувствовал вдохновение: «Уже немолодой, с упрямыми складками возле рта, волевым лицом и умными, живыми глазами... Его виски, густо посеребренные сединами...»

Он вспомнил некоторые детали, почерпнутые в беседе с редактором (тот, в свою очередь, слышал о них на областной конференции). Рассказывали, например, что директор домостроительного комбината часто передает свою машину в распоряжение клуба — артистов ли привезти, баянисту лишней

раз в подшефный совхоз съездить. И в блокноте появилось несколько абзацев: пожилой человек в непогоду шагает по бездорожью к родному комбинату, с которым связал всю свою жизнь.

Потом вспомнился такой факт. Готовился самодеятельный спектакль. На сцене не хватает подходящих портьер и настольной лампы. И тогда директор приносит их из дома. Этот факт, решает Наскоков, преподнесу как забавную бытовую сценку: супруга директора жалуется на свою судьбу: «Скоро муж унесет в костюмерную клуба и мои наряды!»...

Прямо с вокзала Наскоков поспешил на домостроительный комбинат. Фамилию директора он узнал в автобусе — Песцов Иван Сидорович. Увидев у подъезда серую «Волгу», перекинулся парой фраз с шофером. Оказалось, что машина директорская,— Наскоков похвалил себя за интуицию.

В приемной Наскокова встретила пожилая секретарша.

— Боюсь, не примет Иван Сидорович,— сказала она.— На совещание собирается.

Но директор, узнав, что приехал корреспондент областной газеты, все же принял Наскокова.

— Но,— сказал он,— в нашем распоряжении несколько минут. Если нужны подробности, приходите послезавтра, в понедельник.

Ведь завтра наш праздник — День строителя.

— Знаю, знаю,— улыбнулся Наскоков,— потому я и здесь. От души поздравляю! А вот беседу откладывать нельзя: материал в номер.— Он тут же задал первый вопрос, немало озадачивший директора: — Как имя-отчество вашей супруги?

— Мария Сергеевна... Но при чем здесь супруга?

Отвечать корреспонденту было некогда.

— Что вы предпочитаете — народный хор или а капелла, так сказать, без музыкального сопровождения?

— Если честно...

— Конечно, конечно, Иван Сидорович!

— Если честно, то меня сейчас больше всего волнует месячный план. А без аккомпанемента поставщиков все летит к черту.

Наскоков вежливо улыбнулся шутке и стал рассматривать собеседника. Никакой седины на висках обнаружить не удалось, зато складки у рта определенно просматривались... Глаза зеленые, руки сильные, брови густые. Вопросов больше не было.

Через два часа очерк был уже передан по теле-

фону в газету. Обратный поезд был утром, и Наскоков решил переночевать в Суходольске. Счастье сопутствовало ему: в гостинице, в одном из двухместных номеров, пустовала койка. Сосед явился за полночь. Долго ворочался, вздыхал, кряхтел и не давал спать.

Утром познакомились. Оказалось, что это хормейстер одного из заводских клубов.

— Пригласили на работу, а квартиру не дают. Вот уже месяц живу тут...

— А вы бы к директору сходили.

— Так разве ж я не ходил!? Слушать не хочет! Да ему и на клуб-то наплевать: за этот месяц ни разу не показался.

«Жаль, что очерк уже в печати,— подумал Наскоков,— очень бы пригодился такой факт: два директора — два подхода к людям».

— А почему я чуть ли не под утро явился? — продолжал жаловаться хормейстер.— Директора в клубе ждали. Весь хор ждал, сорок человек. Обещал на генеральной репетиции быть. Да где уж! А завтра праздник, День строителя. Старый директор так бы не посту-

пил. Душой клуба был. Жаль, я его не застал.

У Наскокова поползли противные мурашки по спине.

— Ф-фамилия?.. — выдохнул он.

— Борисоглебский, Семен Михалыч... Я же вам представился.

— Не ваша — нового директора!

— Песцов. Иван Сидорович.

...Возвращение в редакцию было печальным. Наскокову объявили выговор, но, учитывая молодость и неопытность, оставили в газете.

С первой же редакционной почтой пришло письмо, адресованное «лично Наскокову».

«Ув. тов. Наскоков! Прочитал ваш фельетон. И хоть он был напечатан без соответствующей рубрики, я все понял. На вас в большой обиде. Можно было, конечно, и поругать, и с песочком продрать, а у вас форменное издевательство над личностью. Но критику учту. И. Песцов».

Игорь Чехов,
журналист



Дружеский шарж И. Шмидта

ПИШЕТСЯ...

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ

*Пишется!
Пашется!
Дышится!
Пляшется!
На море пляжится!
.....
В космос
взлетается!
В космосе
носятся!
Нам
космоносятся!
Нам космонавится!*

Михаил Львов

Пишется!	Дуется!
Клеится!	Травится!
Ездится!	Ленится!
Ходится!	Пучится!
Нравится!	Пляшется!
Славится!	Давится!
Носится!	Но ...авторучится!
Водится!	

г. Харьков

А. Житницкий,
искусствовед

МАСТИТЫЕ О НАЧИНАЮЩИХ

Рисунки Л. Непомнящего

Начинающий поэт принес на отзыв известному французскому поэту Пирону тетрадь своих стихов. Зная, что Пирон, читая стихи молодых поэтов, ставит красным карандашом кресты на плохих, он был очень обрадован, не увидев в своей тетради ни одного креста.

— Какое счастье — воскликнул поэт.— Здесь нет ни одного креста!

— Да, да, ни одного,— хмуро заметил Пирон.— Если бы я начал ставить кресты на ваших стихах, я из этой тетради сделал бы целое кладбище!

* * *

Один молодой литератор попросил Вольтера порекомендовать ему какое-нибудь философское сочинение, из которого он мог бы извлечь для себя полезные советы.

— Возьмите побольше чистой бумаги,— порекомендовал Вольтер,— и обстоятельно записывайте все, что покажется вам важным и значительным. Жизнь — лучшая школа мудрости.



* * *

Композитор Гуно не терпел зазнайства у своих учеников. Однажды он сказал одному из них:

— Когда я был молодым и мало известным музыкантом, я признавал только двух композиторов: себя и Моцарта. Получив некоторую известность, я переменял порядок — стал признавать Моцарта и себя. Став знаменитым, всемирно известным, я с благоговением произношу только одно имя — Моцарт!

* * *

Как-то Россини слушал оперу неизвестного ему композитора. В одном месте он улыбнулся и, достав из кармана карандаш, стал что-то записывать на манжете своей сорочки.

Сосед по креслу, узнав великого композитора, спросил его:

— Маэстро, что вас заинтересовало в этой бездарной опере?

— Записываю один мотив,— ответил Россини,— прелесть как хорош! Автору он явно ни к чему, а в моей новой опере зазвучит еще лучше.



* * *

Людовик XIV пописывал плохенькие стихи. Прочитав их как-то знаменитому французскому поэту Буало, он игриво спросил его:

— Ну как, дорогой собрат по перу?

Буало невозмутимо ответил:

— Ваше величество, для вас ничего невозможного нет. Вам пришла в голову мысль сочинить плохие стихи, и вы это очаровательно сделали!

г. Москва

Собрал Б. Шафер.
экономист

ПОГОВОРКИ И ОГОВОРКИ

АГРОНОМ

Прожил жизнь, так ни разу и не перейдя поля.

В ЗАВОДСКОЙ ПРОХОДНОЙ

Семь пьяниц на неделе.

* * *

На вопрос: «Как вы относитесь к спиритизму?» — он ответил: «Не употребляю».

* * *

Свадьба проходила бурно. Пострадавших успокаивали: «Ничего, после свадьбы заживет».

ТРАМВАЙНЫЙ МАРШРУТ

Два кольца, два конца, а в середине — пробка.

* * *

Висевшая в деканате стенгазета называлась: «Знания — силой».

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Говоря по совести,
Начала нет у повести.
И конец писался зря,
Откровенно говоря.

КРИТИК

Вот критик, дьявольски
везучий.
Его не мучают сомненья:
Он о себе на всякий случай
И то завел два разных
мненья.

МОДНЫЕ ПОЭТЫ

Иным поэтам крик приятен:
«Ура! Я тоже непонятен!»

г. Куйбышев

Н. Станиловский,
педагог

ОСТРОЕ СЛОВО

(Изречения, пословицы и поговорки народов Востока)

Когда крокодилы дерутся,
разнимать их не следует.

(Мадагаскарская пословица)

Когда борода твоя горит,
другие норвят раскурить
о нее свои трубки.

(Турецкая поговорка)

Кто торопится, тот мастером
не станет.

(Японская пословица)

При встрече с собакой
под рукой нет камня, а когда
каменной сколько угодно,
не видать собаки. Когда же
собака налицо и камень в
руке, оказывается, что собака
принадлежит королю.
Стоит ли после этого жить?

(Индийское шуточное
изречение)

Лиса знает много, но тот,
кто ее ловит, знает больше.

(Испанская поговорка)

Невелика слава на осла
сесть, невелик и позор с него
слезть.

(Тамильская поговорка)

Умный уповает на свой
труд, глупец — на свои надежды.

(Арабская пословица)

Собрал **А. Фюрстенберг,**
научный работник.
Московская область



* * *

В цейтноте не спят, но
зевают.

* * *

Тенор брал слишком
высоко — в кассе не хватило
средств.

* * *

Знал, что скромность
украшает человека, но не
знал, как ею пользоваться.

Раз сто зарекался не
пить и, наконец, бросил... за-
рекался.

* * *

г. Москва

Лев Зайцев,
журналист

* * *

«Молчанье — золото», —
сказал проворовавшийся зав-
маг, подсовывая ревизору
золотые часы.

г. Магнитогорск

Л. Чернышев,
крановщик

Четырехлетняя Наташа угрюмо:
— У нас стол из занозов сделан.

* * *

— Сколько тебе лет?
— Было шесть...
— А сейчас уже семь?
— Нет... Мама вчера в трамвае
сказала, что мне четыре с полови-
ной.

Ф. Зиньно,
музейный работник

г. Одесса



ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ЮМОРА

Пьер. Тото, куда ты идешь?
Тото. На охоту.
Пьер. А почему ты идешь без патронов?
Тото. Это стоит дешевле, а результат один и тот же!

Тото. Почему у тебя завязан узел на носовом платке?

Жак. Мне его завязала мама, чтобы я не забыл опустить на почте письмо.

Тото. И ты опустил его?
Жак. Нет, мама забыла дать мне это письмо.



Женщина пришла в зоопарк. Остановившись перед клеткой, она сказала: «Интересно, что бы мог рассказать нам этот тигр, если бы мог говорить?»

«Он сказал бы, что он не тигр, а лев!» — ответил стоящий рядом мужчина.

ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА

— Как Джимми сдал экзаме́н по истории?

— Так себе. Но это же не его вина: они спрашивали бедного мальчика о том, что происходило задолго до его рождения.

* * *

— Почему ты не ешь пирог, Томми?

— Спасибо, тетя, мне не хочется.

— Ты что, страдаешь отсутствием аппетита?

— Нет, я страдаю от вежливости.



* * *

— Надеюсь, вы продадите вашу собаку. Вчера моя дочь не смогла закончить урок пения, потому что та все время жалобно выла.

— Простите, но ваша дочь начала первая.

* * *

Гость скульптора: А отчего этот генерал стоит в такой странной позе?

Скульптор: Он должен был сидеть верхом на коне, но на коня у заказчиков не хватило денег.

* * *

Начальник отдела. Вы опять опоздали на полчаса. Вы что не знаете, когда здесь начинают работать?

Клерк. Нет, сэр. Когда я прихожу, они всегда уже работают.



— Алло, Джонс! Это я, Смит. Ты уже читал сегодняшние газеты с этим дурацким некрологом обо мне?

— Гм... А откуда ты говоришь?



Переводы наших читателей: Е. Бараса (г. Москва),
М. Ефимова (г. Ленинград), Ю. Шашлова (г. Севастополь)

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН. Корректоры Н. А. АКИМОВА, М. В. АКСЕНОВА.

Подписано к печати 27/XII—1965 г. А05229. Тираж 150 500 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,127 + 4 вкл. = 22,962 уч. изд. л. Заказ № 3617. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская 16.

50 коп.

Индекс
73 253.